

# СИЛУЭТЫ



*А. Луначарский*

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Работы Луначарского, собранные в предлагаемой книге, очень разнообразны по стилю, по объему, на конец по содержанию: одни больше затрагивают конкретные факты из личной жизни выдающегося человека, которому посвящены, в других преобладает общий, характеризующий всю его жизнь материал. В сборник вошли очерки о многих выдающихся людях.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал mefysto

- 
- [А. Луначарский](#)
    - 
    - 
    - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
    - [ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН](#)
    - [ЛЕНИН](#)
    - [ЛЕНИН И МОЛОДЕЖЬ](#)
    - [ЛЕНИН И ИСКУССТВО](#)
    - [ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ СВЕРДЛОВ](#)
    - [МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ УРИЦКИЙ](#)
    - [ТОВАРИЩ ВОЛОДАРСКИЙ](#)
    - [ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЛЕХАНОВ](#)
    - [АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ](#)
    - [КОММУНИСТЫ И ГЕРЦЕН](#)
    - [ПУШКИН И НЕКРАСОВ](#)
    - [НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ](#)
    - [АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН](#)
    - [ОБ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ОСТРОВСКОМ](#)
    - [В. Я. БРЮСОВ](#)
    - [ГОГОЛЬ](#)

- [А. С. ГРИБОЕДОВ](#)
- [В. Г. КОРОЛЕНКО](#)
- [МАКСИМ ГОРЬКИЙ](#)
- [РОМАНЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО](#)
- [ГЕЙНЕ-МЫСЛИТЕЛЬ](#)
- [ГЕТЕ И ЕГО ВРЕМЯ](#)
- [БАРУХ СПИНОЗА И БУРЖУАЗИЯ](#)
- [СТАНИСЛАВСКИЙ, ТЕАТР И РЕВОЛЮЦИЯ](#)
- [А. С. СЕРАФИМОВИЧ](#)
- [ПУТЬ РИХАРДА ВАГНЕРА](#)
- [Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ](#)
- [ГОГОЛИАНА](#)
- [ФРЭНСИС БЭКОН](#)
- [ПРИЛОЖЕНИЯ](#)
  - [ВОСПОМИНАНИЯ](#)
  - [БОЛЬШЕВИКИ В 1905 ГОДУ](#)
  - [ИДЕОЛОГИЯ НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ](#)
- [КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ](#)
- [INFO](#)
- 
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)

- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)

- [comments](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)

- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)

- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)

- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)

- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)

- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)

- [222](#)
  - [223](#)
  - [224](#)
  - [225](#)
  - [226](#)
  - [227](#)
  - [228](#)
  - [229](#)
  - [230](#)
  - [231](#)
  - [232](#)
  - [233](#)
  - [234](#)
  - [235](#)
  - [236](#)
  - [237](#)
  - [238](#)
  - [239](#)
  - [240](#)
  - [241](#)
  - [242](#)
  - [243](#)
  - [244](#)
  - [245](#)
  - [246](#)
  - [247](#)
  - [248](#)
  - [249](#)
  - [250](#)
  - [251](#)
  - [252](#)
  - [253](#)
  - [254](#)
  - [255](#)
-

ЖИЗНЬ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

ОСНОВАНА  
В 1933 ГОДУ  
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 18  

---

 (412)

МОСКВА  

---

 1965

*А. Луначарский*

# СИЛУЭТЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

---

\*

*Составитель И. ЛУНАЧАРСКАЯ  
Предисловие и примечания И. САЦА*

Издательство «Молодая гвардия», 1965



*A. S. S. S.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Роль Анатолия Васильевича Луначарского в создании жизнеописаний замечательных людей вряд ли возможно очертить точно — так она велика и так разнообразны формы его работы в этой области.

Впрочем, в этом, может быть, нет и надобности.

Один из писателей XVIII века сказал, что выдающийся человек — это не глухая стена, отгораживающая от мира, а скорее дверь, открывающая выход на многие пути. Об этом вспоминаешь, читая Луначарского-биографа. Он оставил нам несколько хороших всесторонних работ, содержащих относительно полное и систематическое описание фактов (например, статьи о писателях в энциклопедических словарях). Но еще большую ценность в его наследии имеют портреты замечательных людей, общие очерки, или «силуэты», как любил говорить он сам, озаглавивший этим словом две свои книги. В этих портретах людей, в очерках их судьбы выявляется значение их творчества для того времени, когда они жили, и для позднейшей культуры.

Во многих биографических очерках Луначарский был подлинным пролагателем путей. Достаточно прочесть его «Очерки по истории западноевропейской литературы», чтобы убедиться в этом. Общий обзор истории литературы в этой книге интересен сам по себе. Но еще, может быть, интересней отдельные характеристики. Прочтите, например, рассказ о жизни Сервантеса; он неразрывно сплетается с анализом его творений, с живописной картиной эпохи, с наглядным изображением драматических противоречий в жизни и умах людей того времени. Прошло сорок лет с 1924 года, когда впервые был опубликован этот труд, и с тех пор ни один серьезный биограф Сервантеса не проходил мимо того, что открыл ему Луначарский в кратких, но сильных и точных чертах. Мы находим во многих трудах цитаты из Луначарского, прямые ссылки на него, не говоря уже о косвенных отражениях его понимания оригинального облика великого испанца. То же можно сказать и об оставленных нам Луначарским описаниях жизни и творчества многих и многих замечательных людей из истории нашей и других стран.

Обширная деятельность Луначарского в этой области не случайна. Познакомим вкратце читателей этой книги хотя бы с некоторыми его мыслями относительно роли биографических исследований вообще.

Приходится начать с того, что в двадцатых годах Луначарский был у

нас одним из немногих марксистских деятелей культуры, признающих важной задачей конкретное изучение биографий.

Очень большое распространение и влияние имели в те годы «школы» профессоров-марксистов В. М. Фриче и В. Ф. Переверзева, последователи которых (гораздо больше, чем сами учителя) считали достаточным ограничиваться «классовым эквивалентом» творчества того или иного выдающегося писателя или живописца. Интерес к личной биографии признавался недостойным историка, обладающего научно-объективным методом; такого историка должны интересовать в жизни отдельного человека лишь те факты и черты, которые подтверждают его принадлежность к тому или иному общественному классу. Если при этом получалось не совсем гладко, если историк натыкался на очевидные противоречия в начертанной им схеме «классовой идеологии» — из затруднения выходили, измышляя внутри общественного класса особенную «прослойку», «труппу» или «подгруппу», под чью идеологию можно было подогнать суть анализируемых явлений.

Среди лиц, стоявших на такой «исключительно классовой» точке зрения, было немало талантливых и образованных людей; тем не менее самое направление их ума (оно осталось в истории наших идеологических споров под именем «вульгарной социологии») было таким, что их деятельность приносила много больше вреда, чем пользы. Односторонность их увлечения можно понять: перед собой они видели главного врага в лице буржуазных последователей «биографического метода». Те часто отрицали вовсе или сводили к второстепенной роль объективных общественно-классовых факторов и пытались объяснить даже главнейшие социальные события проявлением характеров и столкновением личных интересов великих людей. Разумеется, такой ненаучный и ведущий к бесчисленным пошлостям в биографической литературе подход должен быть отвергнут. Но ошибочен и отказ от конкретно-биографического исследования, неприемлем для последователя Маркса, Энгельса и Ленина и нигилистический взгляд на общественную роль человеческой личности.

Сейчас это трудно себе представить, но все же это было так. В Третьяковской галерее со стен исчезли многие замечательные произведения художников XVIII и XIX веков; немногие оставшиеся в развеске шедевры терялись, окруженные маловыразительными полотнами и рисунками третьестепенных художников, которые удостоились такой широкой экспозиции единственно для доказательства, что они выражают тот же самый «классовый стиль», что и произведения выдающегося художника, к которому они близки, — а это и считалось тем главным, что может дать

искусство. Менее ярко, но все же очень сильно «антибиографическое» направление такого рода проявлялось и во всех других областях культуры. Даже авторы монографических исследований главное свое достоинство полагали не в характеристике особенностей изучаемого деятеля, а в выявлении его сходства с тысячами людей его «классовой прослойки». Гражданская история, история науки, история искусств — все теряло свое многообразие, свою многоцветность, все сводилось к некоторому набору теоретических абстрактных схем.

Навлекая на себя немало гнева и насмешек за свой «эkleктизм», Луначарский последовательно и упорно отстаивал против вульгаризаторов подлинно марксистское понимание культуры; он прослыл при этом — и не напрасно! — защитником конкретно исторического исследования. В этом была одна из больших заслуг Луначарского перед советской культурой.

Закономерность, постоянная зависимость между причиной и следствием, отнюдь не равнозначна однообразию, исключаящему индивидуальные качества явлений. Своеобразное скрещение причин вызывает и своеобразные следствия. Особенно это важно помнить, имея перед собой общественные процессы.

То же самое, и еще в большей мере, относится к общественной характеристике отдельных личностей.

Но ведь поведение, мышление, направление деятельности каждого человека всегда имеет в своей основе тенденции того класса, к которому он принадлежит. Не является ли пристальное внимание к особенностям одного человека выделением его из класса, отрицанием классового характера культуры в буржуазном обществе, уклонением от марксизма?

Такие возражения и сомнения повторялись, как мы уже говорили, очень часто и очень громко на первоначальной, незрелой ступени нашей советской историографии, когда многими теоретиками ценность конкретно-биографической литературы отрицалась совсем. Однако возражения этого рода свидетельствовали о поверхностном понимании марксистских взглядов на классовое строение общества и на отражение классовой борьбы в сознании отдельных личностей.

Великие основоположники марксизма неоднократно напоминали: неверно рассматривать классовое общество как общество, составленное из классов. Это единый, но внутренне противоречивый организм, это общественное целое, разделившееся внутри себя на классы. Из этого вытекает чрезвычайно важное следствие: если общество не состоит из классов, а разделяется на классы, то хотя жизненная практика класса ограничивает мышление принадлежащего к нему человека, но

ограниченность эта далеко не так абсолютна, как думают вульгаризаторы классовой теории. По их мнению, каждый человек наглухо замкнут в «психоидеологии» своей общественной группы, ничего чуждого ей понять не способен и ничего другого, кроме своекорыстных интересов этой группы, защищать не хочет. На самом деле в процессе классовой борьбы не редкостью бывал (и бывает) переход отдельных людей с одной социальной точки зрения на другую. Притом, как свидетельствует история, чем значительнее личность человека, тем шире ему доступно понимание интересов всего общества и даже человечества в целом. Выдающаяся личность характеризуется способностью отражать в своем уме сложнейшее сплетение и пересечение реальных противоречий жизни. Гениален тот человек, который способен вместить в своем сознании огромное количество идей и явлений. Его взгляды не обусловлены только его собственным положением или теми идеями, которые он получил в начале своей жизни, — вообще тем, что относят к «лично-биографическим фактам» в узком смысле. Все это лишь первые возможности, с которыми он вступает в жизнь. Действительная же его биография, действительная особенность его личности и ее значение заключаются в том, что он оказался способным воспринять глубже и выразить сильнее, чем другие, жизнь своего общества, своего времени, в том, что он, преодолевая ограниченность, налагаемую особенными условиями его собственного существования, возвысился до понимания ведущих тенденций своего времени.

Какое значение придавал Ленин марксистскому изучению идеологического развития замечательных людей, это видно из его статьи «Памяти Герцена», из его статей о Льве Толстом.

Луначарский содействовал широкому усвоению этих ленинских идей и своей талантливой работой биографа и критикой «антибиографических» литературных направлений. Он, одновременно с Максимом Горьким, проложил путь для позднейшей нашей биографической литературы — в частности, для осуществления той издательской серии «Жизнь замечательных людей», в которой теперь выходит в свет сборник его «силуэтов».

Обратим внимание, например, на маленькую статью Луначарского «А. С. Пушкин», представляющую собой прекрасный образец глубокого единства характеристики общественно-исторического времени и лично-биографической характеристики великого поэта.

Нет надобности пояснять каждую из предлагаемых вниманию читателя работ в отдельности. Луначарский излагает свою мысль всегда так

ясно, что она доступна любому читателю, интересующемуся такого рода книгами. Но, вероятно, следует в нашем предисловии обратить внимание на то, что особенности Луначарского, как автора большой галереи биографических портретов, характерны не только для него, а для того исторического времени, когда его деятельность протекала, и для той коммунистической политики в области культуры, которую он проводил.

После Октябрьской революции трудящиеся нашей страны с невиданной энергией устремились к знаниям, доступ к которым был закрыт крестьянству и рабочим России в течение предшествующих веков. Передовые представители этих классов — большевики, выдвинутые в руководители государства, — обязаны были немедленно ответить на эту жажду знания, направить ее в верную сторону, указывая на подлинные ценности культурного наследия, полученного от старого общества. Они должны были учить массы отделять в культуре прошлого великое и непреходящее от ограниченного, временного, устарелого. На примере изучения этого прошлого строители новой культуры приходили к лучшему пониманию своей собственной задачи. Они шли к выработке коммунистического мировоззрения, свободного от мещанской, полупролетарской, «цеховой» (а не классовой) идеи о создании какой-то «абсолютно новой пролетарской культуры», якобы отбрасывающей, как хлам, все, что было выработано человечеством в течение столетий.

Совет Народных Комиссаров по предложению Ленина принял решение о «монументальной пропаганде» — о постановке многочисленных памятников революционерам прошлого и выдающимся деятелям в любой области науки и искусства. К «монументальной пропаганде» относилось и водружение мемориальных досок с надписями, содержащими изречения замечательных людей, краткие сведения об их жизни или хотя бы имена — народ должен был их узнать.

Массовое осуществление этого ленинского плана было не во всем удачным: плохи были памятники, сделанные скульпторами-футуристами, а многие из лучших памятников (по большей части скульптурные бюсты) вскоре разрушились, так как мы не могли тогда употреблять более дорогие материалы, чем гипс.

Немало было и наивности в выборе лиц, кому ставить памятники, в приемах этой пропаганды. Но какая это была замечательная «наивность»!

Уже давно на стене, окружающей двор тогдашнего Наркомвоенмора (Народного комиссариата по военным и морским делам) в Москве, стерты и закрашены выведенные красной краской надписи, которыми она была вся покрыта. Эти надписи состояли только из имен выдающихся людей

прошлого; Карл Маркс здесь соседствовал с хирургом Пироговым, с химиком Лавуазье, с музыкантом Скрябиным, с Лассалем, Менделеевым, Пушкиным. Наивной можно назвать, однако, лишь форму этой стенной пропаганды, но великим был смысл даже этого простого перечисления имен на стене людной московской площади. Отныне вся мировая культура принадлежит нам, все великое, что создано всеми замечательными людьми всех времен, наше, они наши современники, участвуют в наших трудах и помогают нам в борьбе за коммунизм. Вот о чем говорили начертанные пролетарской властью имена, и смысл этих надписей был внятен и близок всем.

Когда-нибудь найдется у нас историк, который исполнит большой труд — просмотрит тысячи объявлений, извещений, обращений и в столичных и в провинциальных газетах и журналах, вплоть до уездных; он соберет все, что свидетельствует о планах (или о реализации планов) «монументальной пропаганды». При открытии памятников и мемориальных досок устраивались митинги, и, наверное, сохранилась хоть часть стенографических отчетов и репортерских изложений тех речей, которые произносились по этому поводу подготовленными, а порой и импровизированными ораторами. Даже сухой перечень фактов, мы уверены, произведет грандиозное впечатление и позволит почувствовать всякому, кто способен чувствовать, стихийную силу всенародного тяготения к культуре в только еще начинающей жить Советской стране.

Популярные биографические брошюры, издаваемые тогда, по большей части состояли именно из таких речей — на митинге, собранном по случаю акта «монументальной пропаганды» или для ознаменования памятной даты, связанной с рождением или смертью замечательного человека, с появлением великого произведения.

Естественно, Анатолий Васильевич Луначарский уже в силу своего положения народного комиссара по просвещению принимал в этой пропаганде и во всей этой коллективной «биографической деятельности» советского общества очень большое участие. Но он был к этому подготовлен также всей своей предшествующей работой.

В автобиографических заметках Луначарский сообщает, что ученический кружок самообразования, в котором он участвовал еще на пороге между отрочеством и юностью, интересовался художественной литературой, политической экономией, историей естественных наук, музыкой, русским и иностранным языками, гражданской историей, философией. В занятиях этих было много полудетского и, уж конечно, дилетантского. Однако было здесь и нечто большее. Речь идет ведь не

просто о гимназистах из зажиточных семейств, которые обо всем хотят знать понемногу, чтобы при случае блеснуть «культурностью», — нет, этот кружок учащихся Первой киевской гимназии состоял из людей еще очень молодых, но уже начинающих сознательную жизнь и ищущих дороги к новому и лучшему общественному строю. Для самого Луначарского самообразование и революционная деятельность были нераздельны: шестнадцати лет он вел пропагандистскую работу среди железнодорожников рабочего предместья, семнадцати лет стал членом социал-демократической группы. Широта его интересов, таким образом, имела особый и притом знаменательный характер. Может быть, на первых порах не вполне для него самого осознанно, в этой широте сказалось зарождение того же явления, которое так широко захватило процесс советского культурного роста в первые революционные годы. В уме самого Луначарского, несомненно, жила та же потребность, то же стремление овладеть культурой прошлого, чтобы использовать культурное наследие в строительстве всенародной, свободной коммунистической культуры будущего. Блестящая личная одаренность Луначарского и его демократизм — демократизм не только по убеждению, но по самой его натуре — помогли ему сделаться проводником этого стремления революционного пролетариата.

Мы постарались ответить на вопрос — почему устные и литературные биографические очерки Луначарского должны были быть, не могли не быть посвящены необычайно широкому кругу явлений и почему они должны были быть, не могли не быть общедоступными по изложению.

Луначарский, разумеется, нимало не преуменьшал роли тех специальных научно-монографических или частных исследований, чтение которых требует более или менее высокой предварительной подготовки. Сам человек науки, он умел ценить напряженный и кропотливый труд, без которого невозможен прогресс специального знания, невозможно и повышение всего общественно-образовательного уровня. Но трудно преодолимый способ изложения он считал и в научных работах лишь в той мере оправданным, в какой он необходим. И конечно, Луначарскому было совершенно чуждо ученое щегольство, терминологическое кокетство или стремление отгородиться мудреными формулировками, как прочной оградой от «непосвященных».

Идеал общедоступности всей науки, вероятно, недостижим до конца, но к перемещению границы между общедоступной и малодоступной литературой необходимо стремиться; это выгодно и для самой науки, особенно для науки социальной, гуманитарной.

Пример такой выгоды дают многие работы самого Луначарского. Они обращены к массам, но автор не только высказывает (как это часто бывает в популяризациях) уже ранее добытые истины, а открывает нечто новое — здесь же, думая вместе с читателями. Это творчество, и оно сообщает очеркам — «силуэтам» или «этюдам» — Луначарского живость, свежесть и непосредственность. Специалист по тому или иному вопросу находит в них открытия глубокие при внешней простоте и стройности внутренней формы при почти импровизационности литературного стиля. Рядового читателя они радуют тем, что, давая много сведений, не облечены в трудно пробиваемую словесную скорлупу, которой так часто пользуются цеховые ученые, чтобы не дать растечься внутренне бесформенному и жидкому содержанию своих сочинений. Простота и искренность чувства привлекательны в работах Луначарского для его читателей. Сам же Луначарский как исследователь черпал силы в том, что думал не только для масс, но и вместе с массами, разделяя их радость от общения с духовными ценностями, от нового открытия прежде неизведанного, от участия в создании новой культуры.

В настоящем сборнике публикуется речь Луначарского на празднике по случаю открытия памятника Радищеву в 1918 году. Конечно, эта краткая речь не может заменить ни специальных исторических, философских, текстологических исследований, ни научных биографий, построенных на данных специальных трудов. Но облик великого революционера-писателя, обрисованный Луначарским, отражает с такой непосредственно осязаемой силой освежающую грозу Октября, эта речь так насыщена стремлением революционного народа узнать и возвеличить людей, некогда живших для него, что никакие, пусть самые основательные, книги также не могут заменить собой этой небольшой речи в нашей биографической литературе о Радищеве. Эта речь — памятник Радищеву и памятник великому по своему всемирно-историческому значению этапу нашей культуры.

Есть еще одна сторона в литературной деятельности Луначарского, на которую надо указать в связи с настоящей книгой: ее общественно-воспитательное значение.

Если часто говорится о примере, который дают читателю положительные герои повестей, романов, драм, то ведь то же можно сказать с не меньшим основанием о «главных персонажах» биографических сочинений. Даже простое и сухое изложение событий, скажем, жизни Чернышевского, и рассказ о том, как он поступал во всех тяжелейших обстоятельствах, не может не произвести сильного впечатления — особенно на молодых читателей, к которым литература в

первую очередь обращается. Еще больше получает читатель от живого повествования, свойственного биографическим очеркам и силуэтным портретам, написанным рукой Луначарского. Действенность этих работ усиливалась оттого, что пронизывающий их просветительный дух выражал себя не в поучающих словах, не в морализующих тирадах и предписаниях, а воплощался в объективные образы жизни и деяний великого человека, о котором Луначарский рассказывал. Луначарский никогда не обращается к своему читателю с призывом: будь таким, как Пушкин, будь таким, как Чернышевский! — ведь кому это может быть по силам? Но и не помышляя о прямом подражании, молодой читатель испытывает влияние личности выдающегося человека, участвуя с ним во всех его печалях и радостях, неудачах и победах. Он научается думать, круг его чувств расширяется. И, оставаясь самим собой, человек становится богаче, чем был.

Работы Луначарского, собранные в предлагаемой читателю книге, очень разнообразны по стилю, по объему, наконец, по содержанию: одни больше затрагивают конкретные факты из личной жизни выдающегося человека, которому посвящены, в других преобладает общий, характеризующий всю его жизнь материал. Но при всем этом все они относятся к жанру биографических «силуэтов» и своим различием лишь подтверждают, как велико возможное в этом жанре литературное разнообразие.

Отметим еще одну особенность, также очень характерную: работы, относящиеся к последним годам жизни Луначарского (частью собранные им в книге «Юбилей»), в сравнении с работами первых лет (частью собранными им в книгах «Революционные силуэты» и «Литературные силуэты») отличаются большей полновесностью, обстоятельностью, в них больше исторических и культурных ассоциаций, но и они сохраняют общедоступность.

Почему же стало возможным это соединение популярности изложения с большей сложностью содержания?

Ответить на это не трудно: в последний период Луначарский имел перед собой других читателей и слушателей, чем вначале. Для массовой аудитории конца двадцатых, начала тридцатых годов уже не представляло трудности то, что было для нее недостижимым в 1918–1923 годах.

Не задумываясь над этим специально, Луначарский — человек партии, «массовик», пропагандист и агитатор — неразлучно сопровождал своих читателей на их восходящем пути к культуре. Это привело его в конце жизни к мысли о продолжении той же работы в новой форме. В более отдаленном

будущем — года через два-три — он намерен был приступить к биографии Гёте, которую готовил, в сущности, на протяжении всей своей жизни (в 1931–1933 годах, уже тяжело больной, он обновлял прежние размышления, изучая все значительнейшие исследования современных «гётеведов»), Ближайшей же работой Луначарского должна была в то время быть книга о другом великом человеке: он подготовлял биографию Фрэнсиса Бэкона специально для издания в серии «Жизнь замечательных людей». Написать он успел лишь предисловие (впервые публикуемое в настоящем сборнике) и две первые главы, и эти главы показывают, как много мы потеряли, оттого что смерть не дала довести этот труд до конца.

Конечно, перед составителем сборника стояла очень трудная задача — отобрать полтора десятка биографических очерков и речей Луначарского, перечень произведений которого — только изданных и только о литературе и искусстве, — включает 1626 наименований (в библиографии доктора филологических наук К. Д. Муратовой).

При составлении книги приходилось учитывать также объем работ, соотносываться не только с их значительностью, но и с тем, чтобы представить их в возможном разнообразии. Так, например, очень интересный очерк об Александре Блоке занял бы собой почти пятую часть всей книги и потому не мог быть в нее включен.

Напомним, что даже издаваемое Академией наук СССР восьмитомное собрание сочинений Луначарского о литературе и эстетике далеко от полноты. Понятно, что состав одного небольшого тома избранных работ всегда будет до известной степени спорным. Мы уверены, однако, что каждый из помещенных здесь «силуэтов» будет интересен нашему читателю, который хочет составить себе представление о жизни в них изображенных замечательных людей, а все эти очерки, вместе взятые, дадут известное представление об их авторе как писателе-биографе.

В заключение нам остается сказать, что Луначарский, так много писавший о жизни людей прошлого и о современниках, не оставил почти ничего написанного о своей собственной жизни. М. Горький (переписка по этому вопросу хранится в архиве Горького) убеждал его писать мемуары, но Луначарский отшучивался тем, что мемуары — «дело отставное», что если врачи не избавят его от тяжелой болезни и он будет лишен возможности активно участвовать в жизни, тогда он и возьмется за автобиографию и вообще за воспоминания. Однако этого не случилось: своей текущей литературной и политической деятельностью Луначарский был занят до дня смерти.

В приложении к настоящему сборнику публикуются отрывки,

имеющие автобиографическое значение, и краткая биографическая справка. Этими материалами приходится довольствоваться, пока не появится жизнеописание Луначарского, выдающегося деятеля советской культуры — одного из замечательных людей нашего времени.

*Я. Сац*

## ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Первоначальный текст очерка был написан в 1919 г. для книги «Великий переворот», которую Луначарский по рекомендации М. Горького готовил для издательства Гржебина. Первый том, переданный издателю, был, по выражению автора, «в сущности предварительным» и был дан лишь для ознакомления. «Книгу постигла, однако, странная судьба, — сообщает далее Луначарский в предисловии к 1-му изданию своей брошюры «Революционные силуэты» (1923). — В то время как обстоятельства сделали для меня невозможным продолжение работы и я скоро убедился, что писать воспоминания в то время, как ни один акт революции не остыл и мы живем в самом ее горниле, попросту невозможно... — издатель Гржебин, неожиданно для меня, опубликовал 1-й том предполагавшихся воспоминаний». «Я считаю необходимым, — заключает Луначарский, — отметить здесь эти факты во избежание недоразумений в оценке моей книги».

В 1923 году когда московское издательство «Транспосекция» решило издать «Революционные силуэты», поместив среди других и настоящий очерк, Луначарский смог лишь в некоторой мере «перередактировать их», так же как и текст 2-го издания «Революционных силуэтов», выпущенного Укргосиздатством в 1924 году. При этом Луначарский отмечал, что по-настоящему очерки следовало бы совершенно переработать.

История текста достаточно объясняет, почему в обоих изданиях, почти не разнящихся между собою, так много неисправленных очевидных ошибок стенографической записи и опечаток. Все же очерк представляет ценность именно как беглый, но характеристический набросок к портрету Ленина, сделанный писателем, видевшим живого Ленина, подобно тому как мы дорожим карандашными набросками, сделанными с натуры художниками, современниками Ленина.

В предисловии к «Революционным силуэтам», написанном в 1924 году, уже после смерти Ленина, Луначарский пишет:

«Делать поправки или приставки наспех мне не хочется... Написать биографию Владимира Ильича... есть задача и

увлекательнейшая, и грандиозная... Будем надеяться, что такой биограф найдется. По сравнению с этой художественной биографией, коллективные труды о Владимире Ильиче всегда будут, в конце концов, только подготовительными».

В настоящем издании текст публикуется по «Революционным силуэтам» с небольшими сокращениями и исправлениями очевидных ошибок.

.....

Я биографию Ленина не буду пытаться здесь восстанавливать, так как для этого найдется, конечно, немало других источников. Я буду говорить только об отношениях, которые непосредственно у меня с ним были, и о тех впечатлениях, которые я непосредственно имел.

В первый раз я услышал о Ленине после выхода книжки «Тулина» от Аксельрода<sup>{1}</sup>. Книжки я еще не читал, но Аксельрод мне сказал: «Теперь можно утверждать, что и в России есть настоящее социал-демократическое движение и выдвигаются настоящие социал-демократические мыслители». — «Как? — спросил я. — А Струве, а Туган-Барановский?» Аксельрод несколько загадочно улыбнулся (дело в том, что раньше он очень высоко отзывался о Струве) и сказал мне: «Да, но Струве и Туган-Барановский — все это страницы русской университетской науки, факты из истории эволюции русской ученой интеллигенции, а Тулин — это уже плод русского рабочего движения, это уже страница из истории русской революции»<sup>{2}</sup>.

Само собой разумеется, книга Тулина была прочитана за границей, где я в то время был (в Цюрихе), с величайшей жадностью и подверглась всяческому комментарию.

После этого до меня доходили только слухи о ссылке Ленина, о его жизни в Красноярске с Мартовым и Потресовым.

Ленин, Мартов и Потресов казались совершенно неразлучными личными друзьями, с одинаковой окраской. чисто русскими вождями молодого рабочего движения. Странно видеть, какими разными путями пошли эти «три друга»!

Затем дошла до нас книга «О развитии капитализма в России». Хотя я лично менее занимался вопросами чисто экономическими, а самый вопрос о наличии и развитии капитализма в России мне и без того в то время

казался бесспорным, все же я был поражен огромной статистической солидностью книги и талантливостью ее аргументации. Мне казалось тогда (да это так и было), что книга эта наносит окончательный удар народническим предрассудкам.

Я был в ссылке, когда до нас начали доходить известия о II съезде. К этому времени уже издавалась и окрепла «Искра». Я, не колеблясь, объявил себя искровцем. Но самую «Искру» знал я плохо: номера доходили до нас разрозненно, хотя все же доходили.

Во всяком случае, у нас было такое представление, что к нераздельной троице: Ленин, Мартов и Потресов — как же интимно припаялась заграничная троица: Плеханов, Аксельрод и Засулич.

Поэтому известие о расколе на II съезде ударило нас как обухом по голове. Мы знали, что на II съезде будут иметь место последние акты борьбы с «Рабочим делом», но, чтобы раскол прошел по такой линии, что Мартов и Ленин окажутся в разных лагерях, а Плеханов расколется пополам, это нам совершенно не приходило в голову. «Первый параграф устава? — Разве стоит колотиться из-за этого? — Размещение кресел в редакции? — Да что они, с ума там сошли, за границей!»

Мы были скорей возмущены этим расколом и старались на основании скудных данных, которые доходили до нас, разобраться, в чем же тут дело. Не было недостатка и в слухах о том, что Ленин, склочник I?

И раскольник, во что бы то ни стало хочет установить самодержавие в партии, что Мартов и Аксельрод не захотели, так сказать, присягнуть ему в качестве всепартийного хана. Но этому в значительной мере противоречила позиция Плеханова, как известно, вначале весьма дружественная и союзная с Лениным.

Вскоре, впрочем, Плеханов переметнулся на сторону меньшевиков, но это уже всеми было принято в ссылке (не только вологодской, думаю) как нечто дурно характеризующее Георгия Валентиновича. Такие быстрые перемены позиции не в авантаже у нас, марксистов.

Словом, мы были до некоторой степени в ночи. [...].

Почему Богданов<sup>{3}</sup> присоединился к Ленину? Он понял борьбу, разразившуюся на съезде, во-первых, как борьбу за дисциплину, — раз за формулы Ленина голосовало как-никак большинство (хотя бы на 1 голос), то меньшинство должно было подчиниться, — а во-вторых, как борьбу «русской» части партии против «заграничников». Ведь вокруг Ленина не было ни одного большого имени, но зато почти сплошь приехавшие из России делегаты, а там после перехода Плеханова собрались все заграничные божки.

Богданов не совсем точно воспроизвел картину так: заграничная партийная аристократия не желает понять, что у нас теперь действительно партия и что прежде всего надо считаться с коллективной волей русских практических работников.

Несомненно, что эта линия, вылившаяся, между прочим, в лозунг: «Единый центр, и притом в России», подкупающе действовала на многие русские комитеты, в то время довольно густою сетью раскинувшиеся по России.

Вскоре сделалось известным, среди кого имеет успех та или другая линия. К меньшевикам примкнуло большинство марксистской интеллигенции столиц, и они имели несомненный успех среди наиболее квалифицированных рабочих; к большевикам прежде всего примкнули именно комитеты, то есть провинциальные работники — профессионалы революции. И это была, конечно, тоже главным образом интеллигенция, но, несомненно, другого типа — не марксистствующие профессора, студенты и курсистки, а люди, раз навсегда бесповоротно сделавшие своей профессией революцию.

Главным образом этот элемент, которому Ленин придавал такое огромное значение, который он называл бактерией революции, и был сплочен знаменитым Организационным бюро комитетов большинства, которое и дало Ленину его армию.

Богданов в то время уже окончил ссылку, побывал за границей. Я был совершенно убежден, что он должен был более или менее правильно разобраться в вопросах, и поэтому отчасти из доверия к нему тоже занял позицию, дружественную большевикам.

По окончании ссылки в Киеве мне удалось повидаться с тов. Кржижановским, в то время игравшим довольно большую роль, близким приятелем тов. Ленина, однако колебавшимся между чисто ленинской позицией и позицией примиренчества. Он-то и рассказал мне более подробно о Ленине. Характеризовал он его с энтузиазмом, характеризовал его огромный ум, нечеловеческую энергию, характеризовал его как необыкновенно милого, великолепного товарища, но в то же время отмечал, что Ленин прежде всего человек политический и что, разойдясь с кем-нибудь политически, он сейчас же рвет и личные отношения. В борьбе, по словам Кржижановского, Ленин был беспощаден и прямолинеен.

И в то время как мне рисовался соответственный довольно-таки романтический образ, Кржижановский прибавил: «А с виду он похож на ярославского кулачка, на хитрого мужичонку, особенно когда носит бороду».

Едва после ссылки приехал я в Киев, как получил от Бюро комитетов большинства прямое предписание немедленно выехать за границу и вступить в редакцию Центрального органа партии. Я сделал это.

Несколько Месяцев я прожил в Париже отчасти потому, что хотел ближе разобраться в разногласиях. Однако в Париже я все-таки стал немедленно во главе тамошней очень небольшой большевистской группы и начал уже воевать с меньшевиками.

Ленин писал мне раза два короткие письма, в которых звал торопиться в Женеву. Наконец он приехал сам.

Приезд его для меня был несколько неожидан. Лично на меня с первого взгляда он не произвел слишком хорошего впечатления. Мне он показался по наружности своей как будто чуть-чуть бесцветным; ничего определенного он мне не говорил, только настаивал на немедленном отъезде в Женеву.

На отъезд я согласился.

В то же время Ленин решил прочесть большой реферат в Париже на тему о судьбах русской революции и русского крестьянства.

На этом реферате я в первый раз услышал его как оратора. Здесь Ленин преобразился. Огромное впечатление на меня произвела та сосредоточенная энергия, с которой он говорил, эти вперенные в толпу слушателей, становящиеся почти мрачными и вливающиеся, как бурава, глаза, это монотонное, но полное силы движение оратора то вперед, то назад, эта плавно текущая и вся насквозь заряженная волей речь.

Я понял, что этот человек должен производить как трибун сильное и неизгладимое впечатление. А я уже знал, насколько силен Ленин как публицист своим грубоватым, необыкновенно ясным стилем, своим умением представлять всякую мысль, даже сложную, поразительно просто и варьировать ее так, чтобы она отчеканилась, наконец, даже в самом сыром и мало привыкшем к политическому мышлению уме.

[...]. Но уже и тогда для меня было ясно, что доминирующей чертой его характера — тем, что составляло половину его облика, — была воля, крайне определенная, крайне напряженная воля, умевшая сосредоточиться на ближайшей задаче и никогда не выходить за круг, начертанный сильным умом, который всякую частную задачу устанавливал, как звено в огромной мировой политической цепи.

Кажется, на другой день после реферата мы, не помню, по какому случаю, попали к скульптору Аронсону, с которым я был в то время в довольно хороших отношениях. Аронсон, увидев голову Ленина, пришел в восхищение и стал просить у Ленина позволения вылепить по крайней

мере хотя медаль с него. Он указал мне на замечательное сходство Ленина с Сократом. Надо сказать, впрочем, что еще больше, чем на Сократа, похож Ленин на Верлена. В то время карьеровский портрет Верлена<sup>{4}</sup> в гравюре вышел только что, и тогда же был выставлен известный бюст Верлена, купленный потом в Женевский музей.

Впрочем, было отмечено, что и Верлен был необыкновенно похож на Сократа. Главное сходство заключалось в великолепной форме головы.

Строение черепа Владимира Ильича действительно восхитительно. Нужно несколько присмотреться к нему, чтобы оценить эту физическую мощь, контур колоссального купола лба и заметить, я бы сказал, какое-то физическое излучение света от его поверхности.

Скульптор, конечно, отметил это сразу.

Рядом с этим более сближающие с Верленом, чем с Сократом, глубоко впавшие, небольшие и страшно внимательные глаза. Но у великого поэта глаза эти мрачные, какие-то потухшие (судя по портрету Каррьера) — у Ленина они насмешливые, полные иронии, блестящие умом и каким-то задорным весельем. Только когда он говорит, они становятся мрачными и словно гипнотизирующими. У Ленина очень маленькие глаза, но они так выразительны, так одухотворены, что я потом часто любовался их непреднамеренной игрой. (У Сократа, судя по бюстам, глаза были скорей выпуклые.)

В нижней части лица опять значительное сходство, особенно когда Ленин носит более или менее большую бороду. У Сократа, Верлена и Ленина борода росла одинаково, несколько запущенно и беспорядочно. И у всех трех нижняя часть лица несколько бесформенна.

Большой нос и толстые губы придают несколько татарский облик Ленину, что в России, конечно, легко объяснимо; но совершенно или почти совершенно такой же нос и такие же губы и у Сократа, что особенно бросалось в глаза в Греции, где подобный тип придавали разве только фантастическим сатирам. Равным образом и у Верлена: один из близких Верлену друзей прозвал его калмыком. На лице Сократа, судя по бюстам, лежит прежде всего печать глубокой мысли. Я думаю, однако, что если в передаче Ксенофонта и Платона<sup>{5}</sup> есть доля истины, то Сократ должен был быть веселым и ироническим, и сходство в живой игре физиономии было, пожалуй, с Лениным большее, чем передает бюст. В обоих знаменитых изображениях Верлена преобладает тоскливое настроение, тот декадентский минор, который, конечно, доминировал и в его поэзии; но всем известно, что Верлен, особенно в начале своих опьянений, бывал

весел и ироничен, и я думаю опять-таки, что сходство здесь было большее, чем кажется.

Чему может научить эта странная параллель великого греческого философа, великого французского поэта и великого русского революционера?

Конечно, ничему. Она разве только отмечает, как одна и та же наружность может принадлежать гениям с совершенно разным направлением духа, а главное, дала мне возможность описать наружность Ленина более или менее наглядным образом<sup>161</sup>.

Когда я ближе узнал Ленина, я оценил еще одну сторону его, которая сразу не бросается в глаза: это поразительную силу жизни в нем. Она в нем кипит и играет. В тот день, когда я пишу эти строки, Ленину должно быть уже 50 лет, но он и сейчас еще совсем молодой человек, совсем юноша по своему жизненному тону. Как он заразительно, как мило, как по-детски хохочет, и как легко рассмешить его, какая у него склонность к смеху — этому выражению победы человека над трудностями! В самые страшные минуты, которые нам приходилось переживать, Ленин был неизменно ровен и все так же склонен к веселому смеху.

Его гнев также необыкновенно мил. [...] Он всегда господствует над своим негодованием, и оно имеет почти шутовскую форму. Этот гром, «как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Я много раз отмечал это внешнее бурление, эти сердитые слова, эти стрелы ядовитой иронии — и рядом был тот же смешок в глазах, была способность в одну минуту покончить всю эту сцену гнева, которая как будто разыгрывается Лениным, потому что так нужно, внутри же он остается не только спокойным, но и веселым.

В частной жизни Ленин тоже больше всего любит именно такое непритязательное, непосредственное, простое, кипением сил определяющееся веселье. Его любимцы — дети и котята. С ними он может подчас играть целыми часами.

В свою работу Ленин вносит то же благотворное обаяние жизни... Пишет он страшно быстро крупным, размашистым почерком; без единой помарки набрасывает он свои статьи, которые как будто не стоят ему никакого усилия. Писать он может в любой момент — обыкновенно утром, только встав с постели, но также и поздно вечером, вернувшись после утомительного дня, и когда угодно. Читал он все последнее время (за исключением, может быть, короткого промежутка за границей, во время реакции) больше урывками, чем усидчиво; но из всякой книги, чуть не из всякой страницы он всегда вынесет что-то новое, выкопает ту или иную

нужную для него идею, которая служит ему потом оружием.

Особенно зажигается он не от родственных идей, а от противоположных. В нем всегда жив ярый полемист.

Но если Ленина как-то смешно называть «трудолюбивым», то трудоспособен он в огромной степени. Я близок к тому, чтобы признать его прямо неутомимым; если я не могу этого сказать, то потому, что знаю, что в последнее время нечеловеческие усилия, которые приходится ему делать, все-таки к концу каждой недели несколько надламывают его силы и заставляют его отдыхать<sup>[1]</sup>.

Но ведь зато Ленин умеет отдыхать. Он берет этот отдых, как какую-то ванну, во время его он ни о чем не хочет думать и целиком отдается праздности и, если только возможно, своему любимому веселью и смеху. Поэтому из самого короткого отдыха Ленин выходит освеженным и готовым к новой борьбе.

Этот ключ сверкающей и какой-то наивной жизненности составляет рядом с прочной широтой ума и напряженной волей, о которых я говорил выше, очарование Ленина. Очарование это колоссально: люди, попадающие близко в его орбиту, не только отдаются ему как политическому вождю, но как-то своеобразно влюбляются в него. Это относится к людям самых разных калибров и духовных настроений — от такого тонко вибрирующего огромного таланта, как Горький, до какого-нибудь «сиволапого» мужика, явившегося из глубины Пензенской губернии, от первоклассных политических умов до какого-нибудь солдата и матроса, вчера еще бывших черносотенцами, а сегодня готовых во всякое время сложить свои буйные головы за «вождя мировой революции Ильича».

Это фамильярное название «Ильич» привилось так широко, что его повторяют и люди, никогда не видевшие Ленина.

Вернусь к моим воспоминаниям о Ленине до Великой революции.

В Женеве мы работали вместе с Лениным в редакции журнала «Вперед», потом «Пролетарий». Ленин был очень хорошим товарищем по редакции, Писал он много и легко, как я уже говорил, и относился очень внимательно к работам своих коллег: часто поправлял их, давал указания и очень радовался всякой талантливой и убедительной статье.

В первой части нашей жизни в Женеве до января 1905 года мы отдавались главным образом внутренней партийной борьбе. Здесь меня поражило в Ленине глубокое равнодушие к полемическим стычкам; он не придавал такого уж большого значения борьбе за заграничную аудиторию,

которая в большинстве своем была на стороне меньшевиков. На разные торжественные дискуссии он не являлся и мне не особенно это советовал. Предпочитал, чтобы я выступал с большими цельными рефератами.

В отношении его к противникам не чувствовалось никакого озлобления, но тем не менее он был жестоким политическим противником, пользовался каждым их промахом, улавливая и обнажая всякий намек на оппортунизм (в чем был совершенно прав, потому что позднее меньшевики и сами раздули все тогдашние свои искры в достаточно оппортунистическое пламя). В политической борьбе пускал в ход всякое оружие, кроме грязного. Нельзя сказать, чтобы подобным же образом вели себя и меньшевики: отношения наши были довольно-таки испорчены, и мало кому из политических противников удавалось в то же время сохранить сколько-нибудь человеческие личные отношения. Меньшевики обратились уже для нас во врагов. Особенно отравил отношения меньшевиков к нам Дан. Дана Ленин всегда очень не любил, Мартова же любил и любит<sup>[2]</sup>, но считал его политически безвольным и теряющим за тонкостями политической мысли общие ее контуры.

С наступлением революционных событий<sup>[7]</sup> дело сильно изменилось, мы стали получать как бы моральное преимущество перед меньшевиками. Меньшевики к этому времени уже определенно повернули к лозунгу: толкать вперед буржуазию и стремиться к конституции или в крайнем случае демократической республике. Наша же, как утверждали меньшевики, «революционно-техническая» точка зрения увлекала даже значительную часть эмигрантской публики, в особенности молодежь. Мы почувствовали живую почву под ногами.

Ленин в то время был великолепен. С величайшим увлечением разворачивал он перспективы дальнейшей беспощадной революционной борьбы и страстно стремился в Россию.

Но тут я уехал в Италию ввиду нездоровья и усталости и с Лениным поддерживал только письменные сношения, большею частью делового политического характера, поскольку дело шло о газете.

Встретился я с ним уже затем в Петербурге [...]. Конечно, он и тут писал немало блестящих статей и оставался политическим руководителем самой активной в политическом отношении партии — большевиков.

Лично я зорко присматривался к нему еще потому, что в то время стал внимательно изучать по хорошим источникам биографии Кромвеля, Дантона. Стараясь вникнуть в психологию революционных «вождей», я прикладывал Ленина к этим фигурам, и мне казалось, что Ленин вряд ли

представил бы собой «настоящего революционного вождя», каким он мне тогда рисовался...

В то время Ленин, опасаясь ареста, крайне редко выступал как оратор; насколько помню — один только раз, под фамилией Карпова, причем был признан, и ему была устроена грандиозная орация. Работал он главным образом «в углу», почти исключительно пером и на разных совещаниях главных штабов отдельных партий [...].

Ленина в обстановке финляндской — когда ему приходилось отгрызаться от реакции — я не видел.

Встретились мы с Лениным вновь за границей на Штутгартском конгрессе. Здесь мы были с ним как-то особенно близки: помимо того что нам приходилось постоянно совещаться, ибо мне поручена была от имени нашей партии одна из существеннейших работ на съезде, мы имели здесь и много больших политических бесед, так сказать, интимного характера. Мы взвешивали перспективы великой социальной революции, при этом в общем Ленин был большим оптимистом, чем я. Я находил, что ход событий будет несколько замедленным, что, по видимому, придется ждать, пока капитализируются и страны Азии, что у капитала есть еще порядочные ресурсы и что мы разве в старости увидим настоящую социальную революцию. Ленина эти перспективы искренне огорчали. Когда я развивал ему свои доказательства, я заметил настоящую тень грусти на его сильном, умном лице, и я понял, как страстно хочется этому человеку еще при своей жизни не только видеть революцию, но и мощно делать ее. Однако он ничего не утверждал, он был, по-видимому, только готов реалистически выжидать, когда движение пойдет вверх, и вести себя соответственно. У Ленина оказалось больше, чем у всех, политической чуткости, что не удивительно.

Ленин имеет в себе черты гениального «оппортунизма», то есть способности считаться с особым моментом и использовать его в целях общей, всегда революционной линии. За время великой деятельности Ленина в эпоху русской революции он дал несколько замечательных образцов такого гениального «оппортунизма» и отчеканил его в исключительной по содержательности речи на IV конгрессе III Интернационала, дав, так сказать, философию тактики отступления<sup>[18]</sup>.

(Эти черты были и у Дантона и у Кромвеля<sup>[19]</sup>.)

Отмечу, между прочим, что Ленин всегда очень застенчив и как-то прячется в тень на международных конгрессах — может быть, потому, что он недостаточно верит в свое знание языков; между тем он хорошо говорит

по-немецки и весьма недурно владеет французским и английским языками. Как бы то ни было, Ленин ограничивал свои публичные выступления на конгрессах несколькими фразами, и это изменилось после того, как Ленин почувствовал себя сначала в некоторой степени, а потом и безусловно вождем мировой революции. Уже в Циммервальде и Кинтале (где я, впрочем, лично не присутствовал) Ленин, насколько знаю, произносил большие и ответственные речи на иностранных языках. На конгрессах же III Интернационала он выступал зачастую с длинными докладами и притом не соглашался, чтобы их переводили переводчики, а говорил обыкновенно сам, сначала по-немецки, потом по-французски, всегда совершенно свободно и мысль свою излагал ясно и гибко. Тем более трогательным показался мне маленький документ, который я недавно видел в коллекциях музея «Красная Москва». Это анкета, написанная собственноручно Владимиром Ильичем. Против вопроса: «Говорит ли свободно на каком-нибудь языке» — Ильич твердо поставил: «Ни на одном». Маленький штрих, прекрасно характеризующий его необыкновенную скромность. Ее оценит всякий, кто присутствовал при громовых овациях, которые немцы, французы и другие западные европейцы устраивали Ильичу после его речей, сказанных на иностранных языках.

Я очень счастлив, что мне не пришлось, так сказать, в личном соприкосновении пережить нашу длительную политическую ссору с Лениным, когда я вместе с Богдановым и другими в свое время уклонялся влево и состоял в группе «Вперед», ошибочно разошедшейся с Лениным в оценке необходимости для партии в эпоху столыпинской реакции пользоваться легальными возможностями<sup>{10}</sup>.

За время этой размолвки я с Лениным совершенно не встречался. Меня очень возмущала политическая беспощадность Ленина, когда она оказалась направленной против нас. Богданов был до такой степени раздражен, что предсказал Ленину «неминуемый отход от революции» и даже доказывал мне и тов. Е. К. Малиновской<sup>{11}</sup>, что Ленин неизбежно сделается октябристом<sup>{12}</sup>.

Да, Ленин сделался октябристом, но совсем другого Октября!

Прибавлю к этим беглым замечаниям следующее. Мне часто приходилось работать с Лениным при выработке разного рода резолюций, обыкновенно это делалось коллективно — Ленин любит в этих случаях общую работу. Недавно мне пришлось вновь участвовать в такой работе при выработке резолюции VIII съезда по крестьянскому вопросу<sup>{13}</sup>.

Сам Ленин чрезвычайно находчив при этом, быстро находит

соответственные слова и фразы, взвешивает их с разных концов, иногда отклоняет. Чрезвычайно рад всякой помощи со стороны. Когда кому-нибудь удастся найти вполне подходящую формулу: «Вот, вот, это у вас хорошо сказано, диктуйте-ка», — говорит в таких случаях Ленин. Если те или другие слова покажутся ему сомнительными, он опять, вперив глаза в пространство, задумывается и говорит: «Скажем лучше так». Иногда формулу, предложенную им самим с полной уверенностью, он отменяет, со смехом выслушав меткую критику.

Такая работа под председательством Ленина ведется всегда необыкновенно споро и как-то весело. Не только его собственный ум работает возбужденно, но он возбуждает в высшей степени умы других.

Сейчас я не буду ничего прибавлять к этим моим воспоминаниям о Владимире Ильиче до революции 1917 года. Конечно, у меня имеется еще очень много впечатлений и суждений о том абсолютно гениальном руководстве русской и мировой революцией, которое наш вождь сделал достоянием истории.

Я не отказываюсь от мысли дать более полный политический портрет Владимира Ильича на основании позднейшего опыта: целый ряд новых черт — отнюдь не идущих, однако, вразрез с отмеченными мною и характеризующих непосредственно его личность, — конечно, обогатил мое представление о нем за эти последние шесть лет сотрудничества. Но для таких более широких и содержательных портретов придет еще время.

Мне кажется, что товарищи, пожелавшие вновь опубликовать эти слегка лишь мною редакционно измененные страницы первого тома «Великого переворота», не ошибутся, полагая, что и они имеют свою небольшую ценность в истории России и современности, к которой всегда наблюдается в самых широких народных кругах такой обостренный и законный интерес,

# ЛЕНИН

Речь, произнесенная 27 января 1924 г., в день похорон В. И. Ленина, на общем собрании работников искусств Москвы.

Печатается с исправлением явных ошибок по сборнику: А. Луначарский, Ленин. М., изд. «Красная новь», 1924.

.....

## I

Товарищи, я хочу в беглых чертах сказать вам о том, кем являлся Ленин в истории России, нашего отечества, кем он являлся в истории мира, и затем хочу поделиться некоторыми личными воспоминаниями или, вернее, попытаться дать вам абрис, силуэт Владимира Ильича как живого человека, поскольку мне приходилось его наблюдать.

В русской истории значение Ленина так велико, так неизмеримо, что вряд ли какое бы то ни было другое лицо во всей истории России может стать с ним рядом.

В течение веков Россия застыла на отсталых позициях — культурных, политических и экономических. Экономическая отсталость была, конечно, главной причиной отсталости в остальных отношениях.

России особенно не повезло. Ее капитал развился поздно, и хотя он достиг уже довольно значительной стадии к концу XIX века и по структуре своей был очень высок, то есть очень большой процент капитала был вложен в крупные предприятия, концентрировавшие большое количество рабочих в главнейших промышленных городах России, хотя, таким образом, внешне Россия как будто бы уже во много раз превзошла тот экономический уровень, который свойствен был, скажем, Франции в эпоху Великой революции, тем не менее революция русская опаздывала и возросший капитал охотно мирился с самыми отсталыми формами самодержавия. Причиной этого было то, что русский капитал сознавал рискованность буржуазной революции, ибо предшествовавшие буржуазные

революции, чем дальше на восток и чем позже, тем больше выявляли следующую за ними волну — волну пролетарской революции. Пролетариат, так сказать, наступал на пятки революционеров буржуазных, стремился, идя по стопам их, совершить такие акты, которые в расчеты буржуазных революционеров отнюдь не входили. Благодаря этому революция в России задержалась.



*В. И. Ленин и А. В. Луначарский на закладке памятника «Освобожденному труду». 1 мая 1920 г.*



*В. И. Ленин и А. В. Луначарский на пути к Музею изящных искусств. 1 мая 1920 г.*

Самая история нашего революционного движения с тех пор, как оно приобрело важное историческое значение, шла странно. Носителями революционного сознания у нас были интеллигенты, сперва тот небольшой слой передового дворянства, который чувствовал себя более интеллигентами, чем сельскими хозяевами, представлявший собой крайне левое крыло по-европейски развитого помещичества, не мирившегося с положением холопов, на которое осуждены были в России и высшие

классы по отношению к трону, не мирившегося с пережившим себя крепостничеством и т. д. Но дворянская революция в России, создавшая несколько ярких эпизодов, не потрясла сколько-нибудь серьезно трон, и для первых же подлинных революционеров было ясно, что трон можно потрясти только силами масс. Эти массы — конечно, страдающие, конечно, угнетенные, конечно, раздавленные непомерным хозяйственным и политическим гнетом — были налицо. Это были деревенские массы. Но никак нельзя сказать, чтобы деревенские массы в эпоху развития нашего революционного движения, начиная, скажем, с 40-х годов прошлого столетия, играли тут заметную роль.

Бывали полосы крестьянских бунтов<sup>{14}</sup>, разрозненных, малосознательных, без программы, без ясной цели. Революционерам-интеллигентам (частью выходцам из низов) казалось естественным обратиться к крестьянству, воззвать к нему, сорвать повязку с его глаз, показать ему, как обстоит дело, доказать ему, что оно непобедимо и ничто не сможет сопротивляться его воле, если эта воля организуется. Но на этом пути успеха не было. Крестьянство не только было темно, но еще и до такой степени распылено, в такой мере отсутствовали в нем какие бы то ни было организующие начала, что проповедь, пропаганда, агитация революционеров попадала в крестьянскую массу, как в глухую стену, и не вызывала почти никакой реакции с его стороны. Интеллигенция осталась, таким образом, одинокой.

Это была сравнительно небольшая группа людей. На ее левом фланге были решительные революционеры, поставившие своею задачей во что бы то ни стало, хотя бы положив за это душу свою, освободить Россию. Но если добавить к этому левому флангу и более многочисленных, сколько-нибудь революционно настроенных людей, хотя бы не участвовавших активно в революции, — студенчество, лиц «либеральных» профессий (врачей, адвокатов, художников, писателей), из которых большинство в то время было настроено ярко граждански, зачитывалось Некрасовым, увлекалось подвигами революционеров, называло себя народниками, — если даже всех их причислить к революционной группировке, то и тогда получится все-таки небольшая группа.

Когда выяснилось с абсолютной ясностью, что интеллигенция свалить самодержавие при помощи народа не может, в героических интеллигентских группах зародилась другая мысль. Как бы предполагая несомненным, что народ откликнется на призывы революции, если власть будет сломлена помимо народа, что самая катастрофа, которая разрушит трон, вызовет ту народную реакцию, которую не удавалось вызвать

никакими словами, никакой пропагандой, — самая крайняя левая группа, самая героическая, самая мужественная в тогдашней интеллигенции решила взять на себя, и только на себя, на свою конспиративную организацию, на плечи нескольких десятков героев борьбу с самодержавием путем террора, посредством динамита.

Желябов, Перовская, Михайлов, Лопатин<sup>{15}</sup> и другие думали, что смерть царя, разрушительные удары, которые станут сыпаться один за другим на головы правителей, дезорганизуют власть, этот страшный паук будет убит, а тогда начнет рваться и вся паутина, стянувшая народную душу, народ встрепенется.

В этой доктрине, конечно, сразу бросалась в глаза некоторая слабость. Я не знаю, насколько уверены были сами великие руководители «Народной Воли», что крестьянство сделается после смерти Александра II активным в большей мере, чем оно было до его смерти.

Во всяком случае, здесь были порыв отчаяния, протест благородных людей против чудовища, поставившего их в положение бессильных протестантов, здесь была и граничащая с отчаянием надежда — последняя надежда на возможность широкого народного движения. Здесь была бесконечная глубина героизма, самопожертвования и революционной энергии. И насколько «Народная Воля» смогла потрясти устои самодержавия, насколько эффектно и насколько значительны были ее выступления, видно из того, что не только либеральное общество было взволновано и серьезно прислушивалось к деятельности этой кучки отважных людей, не только за границей правительства стали побаиваться за Романовых и считали их трон далеко не обеспеченным, но такой гений и такой необычайно проникательный и трезвый наблюдатель, как сам Карл Маркс, написал однажды, что в России как бы два правительства и что он, в сущности, считает возможным, что гениальные конспираторы-народовольцы смогут нанести существенный и, может быть, решающий удар самодержавию<sup>{16}</sup>.

Тем не менее было заранее ясно, товарищи, что без каких-то коренных изменений в соотношении сил в стране этот героизм ни к чему не приведет.

Отец Владимира Ильича был сын крестьянина Астраханской губернии. Дед Владимира Ильича пахал землю. Этот выходец из народа, отец Владимира Ильича, был типичным интеллигентом-разночинцем, болел душою за крестьянство, пользовался большою любовью и доверием среди учительства, которым руководил, — к концу своей жизни отец Владимира Ильича занимал в области просвещения более или менее

видное место в губернии, но это не сделало его чиновником. Он был преданнейший *народный* учитель, симпатизировавший революционерам и воспитавший своих детей в революционном духе. Старший сын его, Александр Ильич Ульянов, был человек блестящих способностей. Многие, знавшие Александра Ильича студентом, говорят, что он по гениальности своей не уступал Владимиру Ильичу. Владимир Ильич был еще мальчиком, когда Александр Ильич вошел в революцию, в «Народную Волю», и сделался душой большого заговора с целью убить царя. Заговор был открыт, и Александр Ильич был повешен. Через несколько дней после повешения Александра Ильича один из величайших русских ученых — Менделеев — в лекции своей с глубоким горем сказал: эти проклятые социальные вопросы, это ненужное, по моему мнению, увлечение революцией, сколько оно отнимает великих дарований! Два талантливейших моих ученика, которые, несомненно, были бы славою русской науки, — Кибальчич и Ульянов — пожраны этим чудовищем.

Но Александр Ильич погиб не напрасно. Не только как всякий героический народоволец оставил он нам героическую традицию, но он заронил в уже пылавшее революционной ненавистью к несправедливости и революционной любовью к страдающему народу сердце маленького Володи новое пламя, и Владимир Ильич поклялся, что он не только отдаст всю свою жизнь народу и борьбе с Романовыми и их приспешниками, но что он сумеет им отомстить за смерть лучших сынов народа, в том числе и своего любимого брата.

Владимир Ильич, таким образом, был кровным образом связан через отца и брата с революцией прежней народовольческой формации. Ум его жадно искал, каким образом можно помочь страдающему человечеству.

Надежда Константиновна Крупская, героическая подруга Владимира Ильича, на торжественном заседании съезда Советов Союза сказала: «Владимир Ильич никогда не говорил о своей любви к человечеству, но его сердце было полно этой любовью — любовью не к рабочим только и не только к рабочим России, а к рабочим и крестьянам одинаково, к рабочим и крестьянам России и всего мира одинаково»<sup>{17}</sup>. В широчайшей концепции чувства и мысли охватил Владимир Ильич все земное страдание и хотел послужить как можно более рационально, как можно более мощно тому, чтобы привести это страдание к концу. И он искал, повторяю, рациональных, целесообразных путей, чтобы этой цели достигнуть. И тут-то он наткнулся на два факта: на учение Карла Маркса и на развитие пролетариата в России. Учение Карла Маркса объективно, как астроном изучает светила небесные, установило пути, по которым возникает, зреет и

умирает капитал, предрекло процессы, путем которых самим капиталом вызванный к жизни и им сплоченный пролетариат придет к победе над капиталом.

Это учение Карла Маркса, сделавшее социалистическую мечту наукой, было подхвачено в то время несколькими лучшими русскими умами и среди них громадным мыслителем — Георгием Валентиновичем Плехановым. Плеханов в русской заграничной прессе уже развернул идею о применимости марксизма к России. Это было большой заслугой.

Идя по стопам великих революционеров «Народной Воли», но уже отказавшись от настоящей активной борьбы, измельчав, заменив революционную пламенность революционной фразой, эпигоны, вырожденцы народовольчества, — друзья народа на словах больше, чем на деле, жившие процентами с великого капитала мыслителей и деятелей расцвета, Чернышевских и Желябовых, — утверждали, что Россия идет совершенно своеобразным путем, что капитализм в России развернуться не может, так как внутренний рынок ее беден, а внешнего рынка она не добьется, что пролетариат всегда будет ничтожным меньшинством, что поэтому по-прежнему можно ориентироваться только на деревню, на общину. А так, как ясно было, что ни деревня, ни община, ни интеллигенция на путях пропаганды или террористической борьбы изтрясины Россию не выведут, то эта эпигонская доктрина на самом деле никого не удовлетворяла. Интеллигенция к тому времени, как Владимир Ильич выступил на арену деятельности, уже массами отходила от революции или хотя бы даже от сочувствия ей.

Развивалось толстовство, развивалась обывательщина, затягивавшая в тину так называемых мелких дел, служения культурному прогрессу по мелочам, по мелочишкам, развивался пессимизм. Искренние народники, подобные Глебу Успенскому, сходили с ума или убивали себя, как убил себя Всеволод Гаршин. Наступили 80-е годы — те самые годы, которые освещены гениальной кистью Чехова в первый период его деятельности. Революционный очаг больше не согревал ничего — ни искусства, ни жизни. Искусство стало вырождаться. Титаны русского романа уходили в прошлое, поэзия замолкала. Передвижничество вылиняло. То, чем жили 60-е и 70-е годы, вымерло. В 80-х годах жизнь стала сумеречной и безнадежной.

Понятно, почему подраставшая тогда молодежь, гимназическая и студенческая молодежь, сразу наострила уши, заслышав, что есть какой-то новый исход, не народнический, что есть какие-то новые революционные пути. И более жадно, чем другие, откликнулся на эту весть безмерно

величайший во всем тогдашнем молодом поколении — Владимир Ильич Ленин. Он сразу перешел от плехановских доказательств и внимательного изучения трудов Маркса и Энгельса к основательным статистическим исследованиям. Ему было только 23 года; еще не были опубликованы первый легальный труд Плеханова о развитии монистического взгляда на историю и нашумевшая книга Петра Струве о капитализме в России, когда Владимир Ильич написал важное сочинение — сочинение, сейчас впервые легально изданное: «Что такое друзья народа...»<sup>{18}</sup>, резкий памфлет против народников и их отживших путей и самое яркое, кристально прозрачное, убедительное, научно обоснованное доказательство того, что именно рабочий класс, именно пролетариат должен и может взять в свои руки руководство всем революционным движением. Уже тогда этот молодой человек, студент, предвидел, что ни крестьянство без пролетариата никогда не сделает революции, так как нуждается в вожде, и таким коллективным вождем может быть для него только рабочий класс, ни рабочий класс не сможет в России сам по себе и сам для себя сделать ее, а лишь как передовой вождь крестьянства, верный интересам крестьян, как представитель всех трудящихся. В этой естественной смычке руководящего класса-диктатора и класса, представляющего огромное большинство населения, и видел Владимир Ильич несомненный залог победы.

Брошюра эта, конечно, легально издана быть не могла. Но теперь, когда мы читаем ее — многие впервые, многие даже из старых марксистов, так как она была под спудом, сам я был в таком положении и прочитал ее впервые только после революции, — все поражаются ясности взгляда, который там был выражен, и понимают, какое значение имело уже первое появление Владимира Ильича в русской революции.

Вскоре после этого он попытался легально издать под фамилией «Тулин» книгу, в которой критиковал марксистскую же книгу Петра Струве, сдававшего в сторону эволюции, в сторону прославления капитала, в сторону псевдомарксизма, примиренческого, выхолощенного, не пламенеющего революционной энергией. Владимир Ильич тогда в лице Петра Струве уже предвидел вырождение марксизма в мелкобуржуазную доктрину, которой будут прикрываться интеллигенты, далекие, в сущности, от народа, которые захотят использовать даже сам рабочий класс для своих мелких целей — для целей, может быть, и переворота, но переворота либерального, в рамках чисто буржуазных. И в статье, подписанной «Тулин», Владимир Ильич обрушивается в лице Петра Струве на весь грядущий реформизм и меньшевизм.

Когда Аксельрод, соратник и друг Плеханова, живший за границей и

вместе с ним пытавшийся создать первую революционную организацию под знаком марксизма, прочел статью «Тулина», он сказал: вот теперь в самой России, из недр ее появляются подлинные революционные мыслители. Сборник, в котором была помещена статья «Тулина», был запрещен и сожжен. Еще не настала та пора, когда Владимир Ильич мог выступить гласно для всех.

Владимир Ильич, как я уже сказал, был крестьянином по происхождению, он был интеллигентом по образованию. И он был рабочим по усыновлению. Не меньше времени, чем сколько просиживал он за книгами, как студент, проводил он в рабочих кружках. И рабочие — старики, которые помнят его тогдашнего, — до сих пор с умилением о нем вспоминают. Он производил в рабочих кружках впечатление незабвенное. Его мысль захватывала пролетариев. После встречи с ним они раз навсегда, на всю жизнь отдавались революционной борьбе.

Из Казанского университета он был изгнан за революционность. В Петрограде он был арестован, сослан в Сибирь. За время ссылки он написал решающий труд, вполне легальный («Развитие капитализма в России»), в котором доказывал всю неправильность народнических представлений о невозможности развития капитализма в России, ~ труд настолько основательный, так мастерски маневрировавший огромным статистическим материалом, что он сразу выдвинул Владимира Ильича, до тех пор известного лишь в революционных кругах, в первые ряды русских статистиков, исследователей русского хозяйства.

Владимир Ильич бежит из ссылки за границу. Первая его мысль — соединиться с Плехановым, собрать марксистски мыслящую эмиграцию и начать издавать газету, контрабандным путем ввозить ее в Россию и сеять таким образом новое семя. Газету он назвал «Искра» и под заглавием «Искра» поместил слова одного декабриста: «Из искры возгорится пламя». И подлинно, из этой искры, которую направлял Владимир Ильич оттуда, из-за границы, из Швейцарии, сюда, в Россию, возгорелось такое пламя, которое видно со всех четырех сторон света, — пламя, подобного которому не горело еще никогда в мире.

Владимир Ильич сделался одним из главных вождей рабочего класса и части интеллигенции, спаявшихся в социал-демократическую партию. В этой партии вскоре наметилось два главных течения: течение, фактически желавшее буржуазной революции и желавшее использовать для нее рабочих, и течение, желавшее социалистической революции и находившее возможным ее осуществление. Спор шел так. Мелкобуржуазное крыло, фактически желавшее буржуазной революции и, не сознавая этого,

представлявшее только левое крыло буржуазии, заигрывавшее с рабочим классом, как с движущей силой *буржуазной* революции, — это крыло говорило: Россия не созрела, Россия экономически отсталая страна; и если нигде в мире еще нет социалистической революции, какая же социалистическая революция возможна в России? Бог с вами, это все пустяки!

Другое крыло, чисто рабочее, говорило: в России имеется огромный заряд революционной энергии, есть крестьянство, требующее аграрной революции; если рабочий класс сумеет сомкнуться с крестьянством, даст крестьянству помещичьи земли и заручится вследствие этого братской поддержкой крестьянства, то он делается так могуч, русский рабочий класс, что сможет не только довести демократическую революцию до конца, но и занять передовые революционные социалистические позиции, с тем, конечно, чтобы сейчас же бросить горящий факел революции на Запад, по общему признанию, уже достаточно зрелый для социалистической революции.

Это было основное разногласие: поддерживать либералов, оставаться в качестве второй скрипки при них и усесться затем на левых скамьях парламента в качестве оппозиции на австрийский или в лучшем случае на германский лад или, сломив самодержавие, постараться сломить и буржуазию, опереться на крестьянство, довести революцию так далеко, как только возможно, и кликнуть клич всему миру, что наступает поворот к социализму. На этом разошлись меньшевики и большевики, и Владимир Ильич Ленин стал во главе большевистского крыла, и в этот раз не одним из вождей, а бесспорным, авторитетнейшим и — уже тогда — в буквальном смысле слова обожаемым вождем революционного крыла.

Дальнейшее значение Владимира Ильича в русской истории заключается именно в том, что он играл эту роль — руководителя русского большевизма. Ибо что сделал русский большевизм? Русский большевизм, в который притекли все наиболее стальные, наиболее активные элементы народа из рабочего класса, интеллигенции и крестьянства, этот русский большевизм, осекшись сначала на недостаточной подготовленности масс в 1905 году, сначала оказавшийся в ничтожном меньшинстве в рабочих и крестьянских Советах и в 1917 году, сумел путем гигантской пропаганды, в которой главное место занимал тот же Владимир Ильич, перетянуть на свою сторону Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, создал из этих Советов опору для захвата власти, побудил их смело взять власть в свои руки.

Во время гражданской войны, голода, разрухи большевизм навлек на

себя бесконечные нарекания, и казалось, ему грозит изоляция, потому что русская интеллигенция в массе от него отшатнулась, а крестьянство, увидавшее, что революция не дала мира, что приходится вести тяжелую войну, крестьянство, потрясенное уже империалистической войной и разоряемое продовольственной политикой «военного коммунизма», которой тогда нельзя было избежать, все более и более выражало свое недовольство, доходившее до прямых восстаний. Даже рабочий класс часто изнывал в этом далеком пути по пустыням к земле обетованной, которой все не было и не было видно...

Партия, выкованная в течение двадцати пяти лет боев с самодержавием, очищенная великими огненными испытаниями, оказалась сильнее всех этих препятствий. Она железной рукой задавила контрреволюцию внутри страны. Она заново создала Красную Армию и отразила внешние нападения. Она создала новый государственный строй. Она вопреки скептицизму всех буржуазных и мелкобуржуазных критиков у нас и за границей стала направлять на верный путь хозяйство, и оно с каждым годом у нас теперь растет. Она вынудила своих зарубежных противников на этот, шестой год признать рабочую Россию державою полноправной, мощной, развивающейся.

Владимир Ильич не дожил двух дней до первого правительства Рабочей партии в Англии, которое выставило первым пунктом своей программы признание Советской России. За этим последует, конечно, и признание ее всеми другими европейскими странами.

Благодаря большевикам и Ленину русская революция не развернулась по типу ублюдочной; половинчатой, по типу революции-выкидыша, как это было в Германии или в Австрии. Она развернулась в революцию величайшую, гораздо более великую, чем французская, — в революцию, перешагнувшую все до сих пор бывшие в смысле полного очищения страны от всех феодальных пережитков, от всех пережитков помещичье-бюрократического строя и сделала решительнейшие шаги в сторону коммунизма.

Некоторые пророки наши российские, вроде Достоевского, смотря вперед, неясно угадывали, что России предстоят какие-то неизреченно-великие пути, страдальческие, ужасающие по тяжести испытаний, но и светлые и искупительные для всего мира; эти неясные пророчества исполнились в годы, в которые мы живем, Россия сделала революцию, поставившую ее на грани миров. Она сделала первую социалистическую революцию и зовет к ней Запад. Она сделала последнюю в Европе демократическую революцию и зовет к ней Восток. Спаяв обе эти

революции в целостную систему, она завоевала право спаять великую революцию внеевропейских колониальных народов, восстающих против своего угнетения, с великой революцией европейских и американских пролетариев, переламывающих судьбу человечества от капитализма к коммунизму. И все эти великие события определяют роль Владимира Ильича в мировой истории.

## II

Мы марксисты, которые потому и называют себя этим именем, что признают в Карле Марксе великого человека, выразившего закон движения мировой истории и настолько оразившего в своей личности пролетарскую борьбу, насколько мировые события могут воплотиться в человеческой личности. После Маркса для нас не подлежит сомнению, что мир, пережив капиталистический период, войдет в социалистический. Мы знаем, что неравенство, уродство, которое в течение всей истории человечества мы видим на каждой ее странице, исчезнет в социалистическом обществе, которое не только будет, но не может не быть великим сотрудничеством под знаменем науки и техники. И люди победят природу, создадут из нее такие источники творческого наслаждения, о которых мы сейчас и мыслить не можем.

Для нас, знающих счастливое будущее человеческого рода и сознающих все проклятия и все муки, в которые человеческий род погружен сейчас, важнейшим был всегда вопрос — как ускорить эти процессы, как скорее выйти из ада и войти в социалистический мир?

Сделать это можно только путем суровой борьбы, путем прохождения через чистилище, через жестокую войну с врагами человечества, с теми, чьи привилегии стоят человечеству поперек дороги. И в этой борьбе можно победить, только призвав к ней само угнетенное человечество. Но в массе это угнетенное человечество еще слишком темно, дело его просвещения может затянуться на десятки лет. Стало быть, нужно, чтобы какое-то активное меньшинство сделало почин, потрясло бы державу капитала, вырвало бы власть из его рук, бросилось бы в массы с пропагандой делом и фактами и ускорило, таким образом, созревание масс, их превращение в сознательные массы.

Карл Маркс это понял, он превратил освободительные стремления человечества в точную теорию, дал борьбе за свободу научное обоснование, он показал на тысячах примеров, куда и как нужно идти, —

вот почему он был для нас величайшим человеком мировой истории.

Сейчас рядом с этой исполинской фигурой становится другая фигура — Владимира Ильича Ленина. Это не смерть — то, что мы пережили сейчас, это. не похороны — то, что мы совершили сегодня, — это апофеоз, это превращение живого человека, которому мы недавно еще могли пожать руку, в существо порядка высшего, в бессмертное существо, в бессмертного гения и благодетеля человечества, к могиле которого будут приходить вновь и вновь для того, чтобы благодарить судьбу, давшую этого гения ради приближения человечества к счастью.

Владимир Ильич осуществил учение Маркса. К чему пришли марксисты Запада, социал-демократы? К тому, что, поклявшись перед войной 1914 года воздержаться от всякой поддержки буржуазного милитаризма и на всякую попытку буржуазии втянуть народы в войну ответить рабочим бойкотом, они на самом деле каждый в своей стране под лоскутными знаменами ложного патриотизма своими руками погнали рабочих в качестве пушечного мяса на защиту интересов капитала своих стран. Это был ужасающий постыдный крах. Раздалось лишь немного протестующих голосов — голосов тех людей, что тогда, не покорясь поветрию шовинизма, охватившего даже рабочих, сумели остаться верными человечности и социализму, и среди этих людей сразу на первый план выдвинулся Ленин. На социал-демократических конференциях в Циммервальде, в Кинтале и в тогдашней левой прессе они заявили: мы ориентируемся не на Англию и на ее союзников, не на Германию и ее союзников, мы — великая всемирная держава труда, и мы враги всех и всяких империалистов. И в этой мировой державе труда, говорю я, сразу решительным вождем, общепризнанным вождем оказался Ленин.

До тех пор в Ленине видели вождя одной и, быть может, меньшей половины еще слабого русского движения; но с этого времени мир увидел в нем оплот, руководителя, организатора подлинного интернационализма. К Ленину потянулось со всех сторон целое море рук и сердец. Все те, кто ненавидел войну, все те, кто верил в рабочие силы, в нем узрели предвозвестника величайшей мировой борьбы.

Ленин не только дал революционным борцам против империализма заповедь: в каждой стране бороться против своего правительства! — но он тотчас же показал пример такой борьбы в России. Не испугавшись обвинения в пораженчестве, доходившего до гнуснейших и подлейших обвинений в продажности по отношению к Германии, Ленин повел беспощадную борьбу и против царизма и против буржуазного правительства, продолжавшего после свержения царской власти вести

империалистическую войну. Всем европейским рабочим партиям этим самым был дан образец правильной тактики.

Терпение у Ленина было велико. Никогда, ни разу ни слова упрека не срывалось с его уст, когда призывы, бросавшиеся нами Западу, вызывали лишь слабый отклик. Мы рассчитывали, что русская революция, которая решила покончить с властью банкиров, фабрикантов и помещиков, — что эта революция быстро будет окружена семьей новых революций в странах, более нас подготовленных к достижению коммунистического строя. Шесть лет прошло. Революции эти созревают, шествие их, глухие шаги приближающихся переворотов, в Германии, например, явственно слышны. Они уже у дверей<sup>{19}</sup>. Мир меняется, на наших глазах раскалывается: с одной стороны находится фашизм, который срывает с буржуазной диктатуры всякую маску культурности и демократичности, с другой стороны стоит беспощадный, ясномыслящий коммунизм.

Ленин, русский коммунист, явился фигурой, объединяющей мир завтрашнего дня. Среди фашистов, среди буржуазных либералов, среди меньшевиков идет грызня и будут расти нелады. Но в коммунистическом мире мы видим почти абсолютное единство, которое отдельные распри, несогласия и дискуссии так же мало нарушают, как мало горы на земле, даже самые большие, меняют тот факт, что земля — шар.

В коммунистическом мире громадное единство, и в центре этого единства великий вождь — Владимир Ильич, мировой вождь пролетарской революции. И как прав поэт Тихонов, когда он всем нам известные факты обожания по отношению к Владимиру Ильичу со стороны революционных рабочих Западу дополнил этим маленьким фактиком молитвы великому далекому «Ленни» забитого индусского мальчика, который и под стеклом своего сагиба говорит о том, что в красной Москве бедные одержали верх и что оттуда для всех бедных и угнетенных медленными, но верными путями движутся свобода и счастье<sup>{20}</sup>.

Ленин — мировой вождь, потому что он персонификация и один из главных двигателей этого гигантского переворота, равного которому история не знала. Мы нашим решительным шагом вступили в полосу крушения капитала и зарождения коммунизма, в полосу освобождения человечества от борьбы классов, очищения человечества от грязи, от неравенства, невежества, болезней. Это не ощущалось всеми с самого начала. Многие из вас чувствовали только, что яростнее становится борьба, что борьба идет тяжкая, жестокая — она проводила свои линии, похожие на раны, через вашу душу, через вашу профессиональную жизнь, через ваш

обеденный стол, и вы стонали и протестовали, поскольку многие из вас были далеки от сознательного участия в социальной жизни и внутреннего смысла этих явлений в страшных мелочах, перед вами выступавших, не могли уловить. Потом вы видели, что борьба оформляется, что складывается крепкая государственная власть, что жить становится легче, что, сломив врага, мы дали план новой экономической политики, как разумной переходной ступени, и что Россия, перестав быть мировым жандармом и ставши мировым освободителем, выросла в громадную мощь. И многие из вас, интеллигентов, артистов и художников, стали задумываться, переоценивать свое отношение к революции, начали оценивать ее положительно. Но редко кому из вас удастся еще и умственно и сердцем опознать в наших тяжелых днях первые дни зари человечества. Пройдет 100 лет, в мире давно уже будет тогда установлен новый светлый порядок, и люди, оглядываясь назад, не будут знать эры более возвышенной, более священной, чем дни этой российской революции, начавшей революцию мировую. И люди не будут знать человеческого образа, внушающего больше благоговения, любви и преданности, чем образ не только пророка, не только мудреца нового коммунистического мира, но и его зачинателя, его борца, его мученика, ибо Владимир Ильич сгорел еще в сравнительно не старые годы, привел в полную негодность свой гигантский мозговой аппарат путем нарушения кровеносной системы в нем вследствие непомерной, нечеловеческой, чудовищной работы.

Мы наблюдали эту работу. Мы видели ее. И может быть, в будущем будет брошено нам, близко стоявшим к нему, обвинение: разве вы не замечали, что этот драгоценный человек, что этот человек, выведивший вас из всех трудностей, что этот человек, блестяще разрешавший общественные проблемы, — что он изнуряет себя, что так работать никто не может, что человеческая машина изнашивается от такой работы в короткий срок?

Но, товарищи, огромному большинству из нас — г может быть, и нам всем — невдомек было! Владимир Ильич мог работать 14–16 часов в сутки, случалось — и все 24 часа. Он мог входить во все подробности любого дела. Он мог все знать, всюду поспевать и всегда был с веселой улыбкой, всегда крепкий, всегда свежий, всегда готовый к новой и новой работе.

Это был такой колоссальный по слаженности организм, и это была такая естественная, до грации доведенная преданность работе, что казалось, будто на его плечах никакая тяжесть не лежит. Так светло, так весело, так радостно Ленин делал свою работу, что нам невдомек было, что на самом деле этот человек внутренне где-то гнется, ломается под

страшным грузом, который он на себя возложил...

### III

Я хочу теперь перейти, товарищи, хотя к очень краткому и очень слабому абрису того, что представляет собою Владимир Ильич как личность.

Первое, конечно, что бросается в нем в глаза, — это его гигантский ум. Ум этот сказывался во всем: в его сочинениях, прозрачных, ясных, всякому доступных, но всегда новых, всегда безошибочных, он сказывался также в решении мелких государственных проблем, в повседневной жизни сначала партии, а потом российского государства.

Было любо-дорого сидеть в Совнаркоме и присматриваться к тому, как решает вопросы Владимир Ильич, как он внимательнейшим образом вслушивается, вдумывается, взвешивает, пересматривает все для каждого вопроса — а вопросов много — и как он резюмирует затем вопрос. Резюмирует — и нет больше споров и нет больше разногласий; если принял сторону одних против других или согласовал взгляды одних и других в неожиданном синтезе, то с такими аргументами, против которых не пойдешь. И этот его огромный ум вместе с его другой коренной чертой — веселостью, поразительной душевной ясностью сказывался в том, что он все делал с шуточками, улыбаясь: с одним посмеется, другого вышутит, третьего ласково-словесно по плечу потреплет, и в Совнаркоме мы работали так, как будто это веселое общество друзей, благодаря Владимиру Ильичу. Ставились иногда проблемы роковые, требовавшие гигантского напряжения. У Владимира Ильича этого напряжения не было видно. Значит ли это, что он хоть к одному вопросу относился несерьезно? Никогда. Ни малейшего дилетантизма! Если он не знает, он спрашивает всегда, он подготавливает материалы. Он чувствовал постоянно громадную ответственность, которая на нем лежит, и это не мешало ему быть таким радостным, таким бодрым, таким обаятельным во всем, что он делал, что мы все всегда неизменно бывали очарованы. И в этом, конечно, сказывалась и сила ума, помимо особенностей темперамента, делавшая возможным гигантское напряжение без потуг, без признаков утомления, изнурения, уныния.

Если говорить о сердце Владимира Ильича, то оно сказывалось больше всего в коренной его любви. Это была не любовь-доброта в том смысле, в каком это понимает обыватель. Хныкать над тем, что, скажем,

произошло несчастье, что где-то пришлось употребить жестокость, что совершены те или иные разрушения, Владимир Ильич не мог. Он сознавал, что рубит такой лес, от которого щепки не могут не лететь.

[...] Это был великий строитель, типа по меньшей мере Петра Великого: «Была бы только жива Россия!» — Россия как краеугольный камень для мирового здания, Россия как инструмент мировой победы коммунизма. Этот его идеализм<sup>{21}</sup> возможен был только потому, что, кроме ясного, всеобъемлющего ума, в нем было горящее, всеобъемлющее сердце. Когда он изредка заговаривал о правде, об исконной человеческой морали, о добре, то чувствовалось, как непоколебимо у него это чувство, и оно согревало его и давало ему эту опору, которая делала его могучим, стальным в проведении своей воли. Если он ненавидел — а ненавидел он политических врагов, личных врагов у него не было, он ненавидел классы, а не личности, — если ненавидел, то ненавидел во имя любви, во имя той любви, которая была шире сегодняшнего дня и сегодняшних отношений.

Но это не значит, что Владимир Ильич был сух, что он был фанатик, что для него существовало только дело. Там, где он мог проявить непосредственную свою ласковость и сердечность, там он их проявлял в трогательных чертах.

Придет еще время друзьям Ильича, которые близко к нему стояли, рассказать, что это был за человек в личных отношениях. Я хочу остановиться сейчас лишь на некоторых отдельных черточках. Скажу вам, что товарища более заботливого, более нежного, более преданного нельзя себе вообразить. И таким товарищем он был не только для стоявших рядом помощников, но и для всякого члена партии и просто для всякого, кто приходил к нему в кабинет. Почему эти «простые» люди, которых он любил, из бесед с которыми он выносил так много, что мы, грешные, из десяти томов книг не выносили столько сведений, сколько он из беседы с каким-нибудь тверским или рязанским мужичком, — почему они выходили от него всегда с такой счастливой улыбкой на лице? Бывали они и у нас, и ничего — побывал и побывал, хоть разницу с прежними чиновниками они, может быть, и видели. Но что касается Владимира Ильича, то они выходили от него с особенными лицами. «Дошли до самого большого, — говорили. — Прост! Обо всем расспросил и все разъяснил». И если бы Владимиру Ильичу возможно было, то он, кажется, только и купался бы что в этом крестьянском и рабочем море. Всяким случаем, всяким свободным моментом он пользовался для этого. Часто говорил: вот там назначено дело такое-то и такое-то, а вот тут есть промежуток времени, и за это время я приму ходок — из его ли Симбирской губернии, или из

Сибири, или из Туркестана. И конечно, хотя он мог принять на 15 минут, они, бывало, пробудут и час и полтора. И он говорит потом, как будто немножко устыдившись этого: «Извините, задержался, уж очень интересно было!»

Товарищи, я уже сказал о том, что огромный ум Владимира Ильича позволял ему сохранять ясность и веселость. Эту постоянную ясность и веселость позволяла ему сохранять его марксистская уверенность в окончательной победе. Он знал, что каждая ошибка опасна и, может быть, много унесет жертв, и поэтому был всегда серьезен, принимая решения. Но была в нем уверенность, что в конце концов враги будут побеждены, и это внушало ему непоколебимую уверенность и создало его тонкую, хитрую, полную ума усмешку. Он знал, что история всех хитрецов пережит, что история всех могучих врагов поборет, и знал, что история с ним, что он любимый сын истории, что он ее наперсник, что он подслушал у ее сердца, чего она хочет и к чему ведет. Поэтому он был так уверен. И эта черта, к которой я вновь возвращаюсь, эта поразительная веселость и ясность душевная, заставляла нас горячо любить Владимира Ильича.

Товарищи, велика фигура Ленина в русской истории. Он сделал Россию самой передовой, самой близкой к коммунизму республикой мира. Он омыл наш позор сотен лет рабства, он поставил Россию впереди всех народов мира. Он больше чем кто-нибудь другой дал свободу ее национальным меньшинствам, он связал неразрывными узами рабочих и крестьян, он, создавший советскую власть, в то же время начертал своей рукой, что по мере изживания контрреволюционных настроений надо распространить советские права на все население без исключения и понимать советскую власть, как втягивание в живую, реальную, подлинную государственную работу всех, до самого отсталого крестьянина — так, чтобы каждая кухарка научилась государством управлять. Вот это будет демократия! Как осуществить эту демократию? Образованием? Да. Но больше всего тем, чтобы втягивать слой за слоем рабочих и крестьян в управление своей собственной судьбой.

Сделать это слишком быстро, доверить темным массам их судьбу партия не смеет. Она для того на посту, чтобы руководить и не допустить ошибок. Задержать этим рост сознания масс, закрепиться в качестве каких-то «опричников» партия не смеет — она от этого погибнет. Ее дело, ее живая работа — воспитывать массы и перейти к первой в мире, единственной демократии, в которой действительно «демос», народ, будет управлять собой. В этом смысле то, что выполнено Владимиром Ильичем, и то, что Владимиром Ильичем намечено в рамках России, ставит его в

разряд первейших государственных людей и первейших работников культуры нашего отечества, и не только для великого русского народа, но для всей семьи народов, населяющих наш нынешний Союз. Велика фигура Владимира Ильича и в мировой истории, ибо он стал осуществителем великого учения Маркса.

Но когда мы говорим, что велик Ленин в русской истории, велик Ленин в мировой истории, мы вовсе не отрекаемся от нашего марксистского учения о том, что роль личности ограничена. Ленин был создан всем ходом русской революции, Ленин был создан мощной волей созревавшего русского пролетариата. Ленин был создан нынешними мировыми событиями. Ленин есть отражение, создание, воплощение великой борьбы рабочих и крестьян всего мира. Мы вступили в великую эпоху, поэтому у нас появляются великие люди, и первый из них Ленин — может быть, величайший; а может быть, из недр всколыхнувшегося и взволновавшегося теперь мирового крестьянского и рабочего моря выйдут вслед за Лениным не меньшие мудрецы и борцы. Но именно вследствие величия этой эпохи, говорю я, и появляются такие великие люди.

Вместе с тем хочется сказать уже теперь, кроме всей этой исторической оценки, что это был человек, в котором историческое величие гармонировало с необычайным личным обаянием, в котором моральная и умственная стороны натуры существовали в необычайной гармонии. Это был человек столь свободный, столь преданный великому делу, столь внутренне незлобивый, такой чистый идейно, такой прекрасный в каждом мельчайшем своем проявлении, что стоишь у гроба его с этими воспоминаниями в душе и думаешь: а были у него хоть какие-нибудь недостатки, а вспомни что-нибудь — ну, может быть, признак какого-нибудь тщеславия, самодовольства, какую-нибудь враждебную выходку по отношению к кому-нибудь, какую-нибудь слабость, какое-нибудь желание личного удовольствия за счет дела, которое он должен был делать? Нигде, ничего, никак не припомнишь.

Говорят, всегда бывают мертвенны «чисто положительные» типы в романах и драмах. А вот это был в жизни чисто положительный тип. Золотой человек умом, сердцем, каждым своим движением, человек из цельного, чистого, беспримесного золота наилучшей чеканки. И говоришь себе: да, это первый социалист. Это не только первый социалист по подвигам, которые он совершил, это первый образчик того, чем может быть человек. Утрата его есть не только утрата вождя, это есть смерть человека, равного которому по симпатичности облика, по очаровательности мы, люди, котором уже под 50 лет и которые виды видывали, не знаем и вряд ли

в своей жизни будем так счастливы, чтобы еще встретить.

Товарищи! Конечно, это правда, что Ленин жив. Конечно, остались его сочинения, его традиции, его дух. Разве такие люди могут умереть? И даже более того: теперь Ленин, может быть, более жив, чем когда-нибудь. Живого человека как-то еще критикуют, как-то с ним меряются, а тут, на краю его могилы, мы все ощутили, что критиковать и меряться с ним — все это зря. Был великий дар нам дан — дорогой, безукоризненный, безошибочный кормчий. И в этом нынешнем апофеозе своем Ленин, быть может, еще сильнее, чем он был при жизни.

И все-таки каждый из нас чувствует себя осиротевшим. Как-то остались мы, люди, одни на земле — мы, всякие люди, маленькие люди, средние люди, большие люди, очень большие люди, но люди — люди обычного для нашего времени калибра, кто на вершок меньше, кто на вершок больше... И будем мы, конечно, бороться и будем идти по путям Ленина. Но вот этого сверхчеловеческого существа, этого человека, так бесконечно одаренного, что он, казалось, превосходил границы человеческого, хотя на самом деле впервые их заполнял, впервые давал образ настоящего человека, каким он должен быть, — его уже нет. Остались мы в нашей среде, в нашей людской компании.

Энгельс, когда хоронил Маркса, сказал: человечество стало на целую голову ниже. И мы испытываем то же: темнее стало, сумерки какие-то. Нет того сияющего светоча, к которому обращались, чтобы лучше разглядеть большое и малое.

Унывать тут нечего. Человечество, создавшее Ленина, создаст и Лениных. Придет свежих ратников строй. И в этом строю будут, конечно, гении. Велико человечество. Бездонно и неисчерпаемо богатым вступило оно в период кризиса и творчества. С самого дна его будут подниматься теперь люди, которые в другую эпоху прошли бы безмолвными мудрецами в какой-нибудь далекой деревне, а теперь смогут подняться к государственному кормилу. Будем их ждать. Будем их воспитывать. И сами, каждый в меру своих сил, каждый на своем посту, с трепетом, сознавая величие эпохи, будем трудиться в направлении, указанном всей мировой историей, уясненной гением Владимира Ильича Ленина.

Товарищи, такое великое явление, как Ленин, конечно, найдет себе отражение и в мировом искусстве. Пусть не непосредственно с Ленина написаны будут какие-то колоссальные образы в музыке, изобразительных искусствах, театрах. Но помните, что мы подняты на огромную высоту. Еще недавно мы оглядывались и говорили: «Где же гении, где же героическое, где же абсолютно светлое?» А ведь мы его видели, мы видели

Человека с большой буквы, мы дышали с ним одним воздухом, мы наблюдали его в его исторической деятельности и в повседневном быту. В нем, как в фокусе, сосредоточились лучи света и тепла, широкими волнами ходящие теперь по земле в героизме рядовых рабочих, крестьян и красноармейцев.

Мы вступаем в героическую эпоху, и квинтэссенция ее, ярчайший фокус и сосредоточие ее — Ленин — должен нас вдохновлять и поднимать и в том художественном творчестве, к которому мы, здесь собравшиеся, призваны. О, если бы искусство, которое мы будем творить с сегодняшнего дня, было бы достойно такого человека, который стоял во главе нас! Это было бы поистине великое искусство.

И так это не только в искусстве, это так для всех сторон жизни. Равняться по Ленину никто не может, но всякий должен. Всякий должен из всех сил равняться по Ленину и, в чем только можно, поднимать до этого уровня свою теоретическую мысль, свою работу, свою жизнь, свою борьбу.

Ленин умер. С нами скорбит весь мир, устремленный в будущее. И не без скрежета зубовного, но и клеветники, враги наши, признают величие Ленина.

Сегодня мы опустили его в землю, и мы взяли его в наше сердце, и он пребудет и в наших сердцах и в сердцах наших детей.

## ЛЕНИН И МОЛОДЕЖЬ

Публикуемый доклад — один из первых непосредственных откликов А. В. Луначарского на смерть Владимира Ильича. Он был прочитан в День революционного студенчества, 25 января 1924 г., для слушателей Коммунистического университета имени Свердлова в Москве. В первой публикации (брошюра А. В. Луначарского «Ленин», М., «Красная новь», 1924) стенографическая запись, ввиду спешности выпуска в свет, была плохо отредактирована. В настоящей публикации сделано несколько уточнений.

.....

Товарищи! Я охотно следую вашему желанию припомнить вместе с вами основные взгляды Ильича на молодежь и ее задачи. Сделать это сейчас не очень трудно, так как большая часть идей Владимира Ильича — тех по крайней мере, которые он сумел изложить письменно, — большая часть идей его, касающихся молодежи, выражена в тех его работах, которые посвящены вопросам просвещения и которые изданы издательством «Красная Новь» в сравнительно небольшой книжке. Надежда Константиновна по моей просьбе недавно проделала дополнительную работу: она отыскала некоторое количество резолюций, пунктов программ и решений ЦК» автором которых был Владимир Ильич. Но это прибавляет немного к тому, что в этой книжке имеется.

Владимир Ильич вообще не любил тратить слов попусту и в большинстве случаев давал формулы яркие и простые при всей их огромной глубине. Часто то, что высказывал Владимир Ильич, казалось необычайно легким. Правда, это не обманывало его большую народную и международную аудиторию. Все понимали, что за этой простотой, сквозь эту прозрачность сияет большая мудрость, хотя эта общественная мудрость и выражалась в таких общедоступных формах; тем не менее мудрость есть всегда мудрость, и только путем постоянного обдумывания, проникновения в ее недра можно полностью ею овладеть. Я не хочу сказать этими словами, чтобы мне казалось, что мысли Ленина о молодежи мало распространены

или дурно поняты. Я этого не знаю и предполагаю обратное. Я хочу только сказать, что на немногих относительно цитатах из сочинений т. Ленина мы должны построить последовательное, по возможности исчерпывающее изложение его взглядов на молодежь. Вот их-то я и постараюсь теперь перед вами изложить.

Конечно, естественно, что молодежь и образование — это два понятия, неотделимые друг от друга. Говоря о взглядах Владимира Ильича на молодежь, мне придется постоянно обращаться к его взглядам на народное образование. С этого я и должен начать.

Владимир Ильич, разумеется, не принадлежал к числу тех либералов-идеалистов, которые полагали, что степень культурного развития народа определяет близость его к революции. Вы помните, конечно, эти вульгарные положения, которыми богат был русский либерализм: сначала необходимо, чтобы массы достигли известного культурного уровня, а потом уже можно думать о свободах, хотя бы и вырванных путем протеста народных масс. Владимир Ильич стоял на совершенно обратной точке зрения. Он считал, что образования массам эксплуататорское правительство не даст. И он нисколько не видел противоречия в том, что буржуазные демократии, будучи обществами эксплуататорскими, тем не менее дают известное образование массам: он понимал, что это образование — по объему своему недостаточное, по составу своему отравленное такими специфическими примесями, которые должны были задержать развитие критической мысли в народе, и вовсе не имеет своей целью превратить ложную демократию, дающую возможность удерживать власть в руках десятков тысяч эксплуататоров, в подлинную, т. е. в действительную, власть огромного большинства, в действительное творчество политических, хозяйственных и культурных линий судьбы всего народа, определяемой всем массивом этого народа. Ленин прекрасно понимал, что народное образование в буржуазных странах служит для того, чтобы, пуская в глаза массам пыль внешней, декоративной демократичности, задерживать их на уровне довольства своей конституцией.

В особенности же, когда дело шло о такой стране, как Россия, было ясно для Владимира Ильича, что не через двери народного образования можно было продвигаться вперед. Хотя развитие капитализма в России должно было толкать ее по крайней мере к минимальному осуществлению тех сторон народного образования, которые развертывал капиталистический строй Запада, но самодержавие сознавало, что для его существования и для существования той формы союза между помещиками

и капиталистами, каким была наша самодержавная власть, даже эта степень образования вредна.

В душе нашего помещичьего государства боролись два начала: с одной стороны, сознание того, что без народного образования нельзя развернуть капитализм, а с другой стороны, сознание, что если от этой отсталости отчалить, если начать систематическую работу по подъему образования народных масс, то рискуешь моментально вызвать в представлении массы сознание чудовищности гнета, а тем самым вызвать и осуждение, могущее завтра перейти в борьбу против тебя. Если было на свете такое правительство, которое должно было употребить все свои силы к тому, чтобы тормозить дело народного образования, то это, конечно, было самодержавное правительство.

Но как же быть? Если требуется известное самосознание для народа вообще и в частности для пролетариата, чтобы поставить революционные проблемы и найти правильные пути к их решению, а этого просвещения никак не добьешься без революции, — не есть ли это змея, кусающая свой хвост? Не есть ли это неразрешимая проблема: без сознания нет революции, без революции нет самосознания? Этот вопрос разрешался, очевидно, в некоторой степени «аристократически», т. е. путем постановки проблемы в такую плоскость: народные массы выдвигают — хотя бы туго, хотя бы через страдания, хотя бы путем жертв — известный авангард, конечно, главным образом из пролетариата, из наиболее передовой части своей. Вся масса не может еще стоять на высоте этого самосознания; поэтому, предоставленная сама себе, она неизбежно наделает ошибок. Этот авангард, обладающий всей полнотой сознания, — это коммунистическая партия. Это будет орган сознания масс, предваряющий ее развитие орган. И масса сможет действовать, потому что никакой авангард за нее действовать не может — и будет действовать правильно как масса, ибо революция есть действие массовое, — в том случае, если будет питать достаточное доверие к своей передовой партии и если передовая партия будет достаточно крепка и последовательна, чтобы руководить массой. Вот это и было предварительное, первое разрешение проблемы: выдвигается авангард, революционное меньшинство, совершается революция.

Вы скажете, что это похоже на синдикализм? Ни капельки не похоже. У синдикалистов, которые в этом отношении восприняли бланкистскую идею<sup>{22}</sup>, выходит так, что это меньшинство творит революцию само, при инертном отношении масс. Владимир Ильич в такую революцию не верил; у него это меньшинство творит революцию, как бесконечно героический, самоотверженный командный состав масс. Нельзя требовать от армии,

чтобы каждый отдельный из рядовых в ней сознавал весь план сражения и чтобы можно было полагаться на их инстинкт в ведении какой-нибудь стратегической операции. Конечно, еще более безумно думать, что командный состав может сражаться один. И третьим безумием было бы предполагать, что командный состав может держаться насилием. В революции командный состав командует только потому, что ему верят. Он не может победить, если вся масса или огромная ее часть не втянута в битву, но и масса не может победить, если у нее нет хорошего командного состава.

При такой постановке вопроса образование, как предварительное условие, не необходимо. И темная страна, отсталая, невежественная страна при таких условиях может сделать революцию, если массы страдают, если назрел революционный кризис и если имеются налицо массовые руководители, т. е. тысячи, если не десятки тысяч людей такого командного состава.

Но вот революция происходит. Что же дальше? Первое положение Владимира Ильича: нужно быть ребенком, чтобы думать, что коммунисты своими руками могут построить коммунизм. Коммунисты — капля в море. Исходя из этого тезиса, Владимир Ильич формулирует и другие: необходимо опираться на силы вне партии, привлечь их к работе государственной, хозяйственной, культурной; по образцу Красной Армии, где мы перемалывали и подчиняли себе офицерство, надо привлечь административное, техническое, торговое, просветительское, врачебное и т. д. «офицерство» — то самое, которое служило буржуазии, с его правым флангом, уходящим в черносотенство, и с его левым флангом, эсэровским и меньшевистским. Надо это «офицерство» к нам приблизить, контролировать его и принудить работать в нужном нам направлении. И Владимир Ильич говорит: тот коммунист является действительно заслуженным в области вверенного ему дела, кто сумел высмотреть, приблизить и как следует использовать возможно большее количество некоммунистических «спецов».

Совершенно отчетливо сформулированная мысль, но эта отчетливо сформулированная мысль сейчас же натывается на внутреннее противоречие.

Хорошо, конечно, если коммунистам удастся таких спецов действительно переделать, хорошо, если коммунисты найдут достаточную опору в некоторой части некоммунистических пролетариев, всю свою жизнь полностью готовых отдать коммунистическому делу! Но пролетариат, как Владимир Ильич много раз подчеркивал, в течение

революции является еще классом в достаточной мере невежественным и уже классом в достаточной степени истощенным, пожертвовавшим так много жизней для революции, что он перестал быть неисчерпаемым резервуаром сил; да и трудно черпать из него силы квалифицированные, в смысле всякого рода специалистов.

Владимир Ильич систематически и постоянно требовал привлечения спецов. Он совершал в этом отношении целые перевороты. Он создал Коллегию ВСНХ, в которую входит целый ряд профессоров, он создал Госплан. Он боролся, иногда с крайней степенью ожесточенности, против политики коммунистических ячеек в вузах, которые вели свою борьбу с профессорами. Он говорил: если мы не сумеем этих людей использовать, чтобы у них выучиться и чтобы дать им возможность приложить свои силы к строительству по нашему плану, то мы никуда не годимся, ибо мы без них никак не можем продвинуться вперед.

И с этой точки зрения всякого рода буржуазные и полубуржуазные спецы сейчас готовы молиться на гроб Владимира Ильича, и они чуть не со слезами на глазах рассказывают (их вожди по крайней мере), как Владимир Ильич их принимал, как он умел войти в их нужды, как он интересовался судьбами науки в России и т. д.

Но это не мешало Владимиру Ильичу сознавать, что мы ведем нашу строительную борьбу плохим оружием. Конечно, среди этих спецов есть блестящие умы, блестящие таланты, есть и такие, которые целиком переходят на нашу сторону. Но в общем-то и целом, в особенности если вы к ним прибавите всех этих бесчисленных мелких спецов, техников канцелярского труда, которые составляют толщу, так сказать, естественно вдвинувшуюся между административными верхами и народными массами, — тогда вы, конечно, поймете, что это в значительной степени негодный материал. И Владимир Ильич не впадал с собою ни в малейшее противоречие, говоря: мы можем пользоваться старым царским командным составом в своей армии, но мы должны вырабатывать свой, потому что среди тех, конечно, есть изменники и враги, есть, конечно, и равнодушные люди, которых тянет назад к мясным котлам Египта<sup>{23}</sup>, а есть и такие люди, которые и хотели бы, да не могут — не имеют наших снарочков, не умеют понять того, что нам нужно. Есть же и просто люди халатные, все дело для которых заключается только в том, чтобы как-нибудь около нашего аппарата прокормиться.

Если к этому прибавить то, что Владимир Ильич постоянно подчеркивал известную неопытность самих коммунистов во многих отраслях их работы, подчеркивал наличие того факта, что слишком часто

коммунист может быть комиссаром, но не может быть специалистом того дела, около которого стоит, — то вы поймете, в какой огромной мере вновь построенный нами государственный аппарат должен был отдавать старой отрыжкой, в какой мере здесь мертвый хватал живого, какое внутреннее трение этот механизм развивал. Как неподмазанные колеса, все это вопило, визжало и не двигалось с места. Все винты и гайки нашей государственной машины представляли из себя набор, который фигурировал прежде в совершенно другом механизме и который пришлось случайно коммунистическому молотку пригнать и набить друг на друга. Когда эту чудовищную машину из старых чиновников тот или другой коммунист пускает в ход, она, конечно, болтается, она гремит, она стучит и пускает пыль, она ломается на каждом шагу и дает весьма мало результатов. Это Владимир Ильич с полной ясностью видел.

Две задачи рисовал Владимир Ильич с этой точки зрения. Во-первых, необходимо как можно скорее поднять культурный уровень масс, и не только масс пролетарских, но и масс крестьянских. Путем к этому подъему является грамотность. С этой точки зрения Владимир Ильич часто ожесточенно высказывался против введения «пролетарской культуры» в высших формах образования. Он сравнивал защитников такой точки зрения с людьми, стремящимися построить четвертый этаж в то время, как не готов еще фундамент. Он с удивительной трезвостью мысли обращал нас, часто довольно жестко, к тому, чтобы мы смотрели на землю, и говорил: первой задачей является грамотность. Буржуазная вещь грамотность или пролетарская — я не знаю, но знаю, что она нам нужна. Читать, писать, считать — вот этому нужно научить необъятное количество людей. А без грамотности, он говорил, эти граждане будут гражданами десятого сорта, которые питаются баснями, слухами и не могут проверить, что делает их правительство. Они окажутся слепыми людьми.

На I съезде по ликвидации неграмотности<sup>{24}</sup> Владимир Ильич говорил речь и много смеялся. Ликвидация неграмотности! — восклицал он. — Это значит, что мы, как бы помягче выразиться, вроде дикарей, потому что у недикарей кто ликвидирует безграмотность? Не чека, особо для этого придуманная, а школа. Но мы дикари. Школа у нас этого, видимо, и сейчас еще не может полностью сделать и сейчас не охватывает всех вновь вступающих в жизнь. Нам надо нагнать то, что они пропустили, и приходится в чрезвычайном порядке учить грамоте. Но раз уже это так, давайте в чрезвычайном порядке грамоте учить. И Владимир Ильич, как вы знаете, очень серьезно об этом думал.

Голод шарахнул по всей нашей борьбе с неграмотностью и разрушил

почти по всему лицу нашей страны все ликпункты. Но когда голод прошел, Владимир Ильич — уже, можно сказать, коснеющим языком, уже в то время, когда страшный недуг очень и очень давал себя знать после первой болезни — поторопился написать недвусмысленную яркую статью и подчеркнуть, что наша прямая обязанность — ликвидировать неграмотность населения до 35-летнего возраста к 10-летнему юбилею. Это очень трудно. 17 миллионов людей надо обучить — это очень трудно. И Владимир Ильич прекрасно знал, что это трудно. Он был большой реалист, и эти трудности чувствовал лучше, чем кто-либо другой из нас, знал и количество неграмотных и сколько приблизительно это будет стоить и сказал, что можно. И я был бесконечно рад, что по крайней мере съезд Советов РСФСР одобрил этот план. Сейчас его приняла и Украина. И мы имеем, таким образом, уже волеизъявление в советском порядке наивысших учреждений, что это должно быть проведено в жизнь.



*Портрет А. В. Луначарского работы художника Л. Пастернака 1920 г.*

*Подарен Н. А. Розенель-Луначарской в 1933 г.*

Конечно, точно так же интересовали Владимира Ильича и вопросы школы и вопросы массовых библиотек. И понятно почему. Потому что он, будучи в полной мере демократом в самом святом и светлом значении этого слова, хотел всячески приблизить сроки, когда народные массы, не только рабочие, но и крестьянские, будут во всей полноте осознавать свои нужды и пути к своему избавлению не только в плоскости политики, но и в плоскости всего своего повседневного хозяйствования и быта.

В момент, когда нам грозил катастрофический отрыв от крестьянской массы, Владимир Ильич дал многозначительный клич. Задержимся, сказал он, в нашем порыве и даже отступим назад, если это необходимо для смычки с крестьянской массой. Зацепим эту крестьянскую массу покрепче и пойдем с нею вместе вперед, может быть, гораздо медленнее, чем шли бы без нее. Но зато верней! Мы пойдем вместе с нею, неразрывно с нею. Только тогда это движение вперед будет непобедимым.

Это так. Но из этого не следует, что мы можем целиком уйти в низшее образование, что к этому-то и сводится вся основная задача: школы для ликвидации безграмотности, массовые библиотеки.



*Выступление А. В. Луначарского на I Всероссийском съезде по просвещению,*

*август 1918 г.*

Владимир Ильич прекрасно понимал, что мы школы как следует не поставим, и массовой библиотеки не поставим, и неграмотность не ликвидируем, если у нас в то же время не будет развиваться хозяйство, если сама государственная администрация будет той вечно дающей перебои и в корне испорченной машиной, какую он перед собою видел. Ведь он говорил прямо: у нас, за исключением, может быть, Наркоминдела, который еще на что-нибудь похож, ни один комиссариат ни на что не похож, все из рук вон плохо работают. Он это заявлял со всей суровостью. Построили мы государственный механизм, который выдержал бой, который оказался жизнеспособным, — но смотрите, какие он перебои дает, какой он бестолковый, какой он нелепый, какой он варварский... Надо его перестроить, надо научить людей управлять, и управлять хорошо, в удобных формах, ясных, четких и простых.

Да, надо научиться хозяйствовать — торговать в том числе. Надо научиться просвещать, просвещать так, чтобы все три стороны — общее образование, начиная с грамоты, техническое образование и политическое просвещение — были бы перевиты в один жгут, превращены были бы в один железный канат единой системы образования. Но для всего этого надо, чтобы были налицо сами просветители, чтобы были хозяйственники, чтобы были администраторы. А их мало.

Ждать, пока маленькие дети, после того как мы построим для них удовлетворительную школу, вырастут и превратятся в хороших хозяйственников? Но мы не можем организовать удовлетворительной школы, потому что мало учителей.

Ждать, пока неграмотный крестьянин и рабочий, получивший только сейчас первый букварь, дорастет до марксизма, также нельзя. Это бы значило стараться капля по капле поднимать уровень целого моря.

Чтобы поставить самый вопрос о поднятии народного образования на должную высоту, нужно весь руководящий аппарат, верхушкой которого была коммунистическая партия, обновить. Обновить как? Так, чтобы вышибить из него старые элементы, чтобы остатки этих старых элементов снизу, сверху, с боков закрепить нашими собственными людьми.

Какой из этого выход? Выход один: апеллировать к молодежи. К какой молодежи? К нашей молодежи, конечно, не к молодежи буржуазной.

Известно, что мы и из числа интеллигенции средней, даже высшей, из числа даже родовитой аристократии или крупных капиталистов имели социалистических деятелей в России и вне России. Но это были «белые вороны», основная же масса таких людей только и мечтает о своих привилегиях и может превращать науку в ту доктрину, прикрываясь которой можно, сидя на шее у народа, закрепить свою образованность, как источник привилегии. Такие люди обычно заинтересованы не в том, чтобы поднимать как можно скорее уровень развития народных масс, а в том, чтобы задерживать этот подъем.

Мы апеллируем к нашей собственной молодежи, к рабоче-крестьянской молодежи. Она невежественна? Да. Надо ее образовать — дать ей то образование, которое и ей и нам нужно.

Высоких специалистов можно получить через высшие учебные заведения; но эта наша молодежь еще неспособна в них учиться. Первым жестом Владимира Ильича был приказ отворить двери университета для всех, кто жаждет образования. Хлынули эти люди в университет, заполнили его. Пока были только лекции — ничего: отдают друг другу бока, но слушают. Но когда дело дошло до лабораторий, до анатомического театра,

дело пошло хуже. Пришлось вернуться к тому, чтобы отбирать, потому что само-то лукошко российского высшего образования довольно мелкое, и в него не насыплешь сразу всех, желающих получить это образование. Стало быть, нужно было выбирать тех, кто сейчас нужнее, кто способнее, и устраивать проверку. А для тех, кто представляет из себя прекрасный материал, но еще неподготовленный, — для тех надо было создать формы подготовки. Так выросли идея рабфака и классовый принцип приема в высшие учебные заведения.

Сейчас же после этого встали новые проблемы, которые Владимир Ильич превосходно знал, о разрешении которых очень заботился, о которых беспрестанно с нами беседовал, хотя, может быть, в его трудах особенно обильных следов его размышлений в этой области мы не найдем.

Прежде всего — принципиальный вопрос. Ясно, что рабоче-крестьянская молодежь существовать за свой счет не может, что надо придумать какое-то соединение учения и заработка — а это очень трудно при незначительном количестве оплачиваемого труда у нас — или же давать учащимся государственные стипендии. Конечно, наиболее рационально было бы содержать эту молодежь за счет государства. Потребность в образовании в стране огромная, наплыв желающих гигантский, потребность страны в людях уже образованных не меньшая, а трубочка, через которую приходится пропускать эту волну жаждущих знания в резервуар, который должен быть наполненным, узенькая, средств мало, и эта трубочка всегда будет недостаточной, вплоть до того счастливого момента, когда у нас будет такое время, что мы скажем: мы можем содержать столько-то сотен тысяч студентов за государственный счет более удовлетворительно и привольно, чем сейчас. Это будет значить, что мы государственную и хозяйственную задачу на три четверти разрешили. А разрешить-то мы ее можем только путем «накачивания» этой самой молодежи. Значит, самый этот процесс пройдет болезненно, будет сопровождаться нуждой, разочарованиями, усталостью, заболеваниями, возможно, и смертями. Это будет в настоящем смысле слова боевой фронт, на котором люди ставят на карту свою жизнь. «Даешь науку!» Вот она... И чтобы ее взять, нужно с такой же отвагой, с такой же готовностью ставить свою жизнь на карту, как на войне.

Я не хочу этим сказать, чтобы все доступные нам методы были исчерпаны. Мы еще и еще раз обдумываем со всех сторон вопрос о государственных ассигнованиях. Может быть, придется подумать и о сужении приема студентов с будущего года, об уменьшении количества стипендий при их укрупнении, о всякого рода хозяйственных улучшениях,

о привлечении студенчества к работам, которые были бы одновременно и более или менее педагогическими и более или менее хлебными. Я не говорю, чтобы все эти проблемы перед нами не стояли, но говорю, что, если даже мы их разрешим удачно, они облегчат положение, но полностью устранить материальный кризис не смогут. Мы бьемся именно за такое государство, которое сделалось бы в полной мере способным проводить культурную политику, и пока мы его еще не добились, должны будем в точном смысле слова биться.

Второй вопрос — вопрос о том, чему учить и как учить. Вы знаете, что Владимир Ильич посвятил именно этому вопросу свою блестящую и бездонно-глубокую речь к комсомольцам. В общих принципиальных контурах он на этот вопрос с исчерпывающей ясностью ответил. Коммунист часто останавливается с содроганием перед той наукой, в которую он собирается нырнуть, перед тем кубком знаний, который ему своею рукой протягивает «господин профессор», ибо он не знает, не ныряет ли он в омут, и не знает, не протягивают ли ему яду? Он говорит: я марксист, и я знаю, что каждая идеология есть отражение классового бытия. А наука — идеология? Да. Какой класс ее создал? Буржуазно-помещичий. Значит, эта наука мне не нужна, она мне даже враждебна. Но все же идеология мне нужна, мне нужна наука... Какая же мне наука нужна? Та, которая выражает мое бытие, пролетарское. Значит, мне нужна пролетарская наука! Где она? Нет ее, за исключением марксизма... В остальных областях ее нет. Как же быть? Надо ее придумать. Тогда, значит, надо не учиться, а сразу учить, надо не искать науку, которую нужно одолеть, а создать свою собственную. Но пока ведь мы равным счетом ничего не знаем. Откуда же мы приобретем знания? Из бытия нашего, из нутра нашего, от себя самих. И когда нам самим покажется, что жидковата наша пролетарская наука, то стоит только поэнергичнее поплевать на эти ученые лысины и говорить: ну, вы там, буржуи, со всеми вашими сокровищами, что вы стоите перед одним росчерком моего пролетарского пера — раззудись, плечо, размахнись, рука! Я такую пролетарскую науку выведу, что в одной брошюре в 33 страницы дам разрешение всех вопросов бытия.

Вот такая возможность страшно пугала Владимира Ильича. Я несколько юмористически изложил ее. Но какое из этих изложенных положений можно игнорировать? Что идеология отражает бытие — это всякий марксист знает, и усомнившись в этом лучше свой партийный билет отдать. А что же, идеология, которая до сих пор существовала, разве она не отражала буржуазного бытия? Как же можно в этом сомневаться...

Так зачем же она нам нужна? Вот как ставится вопрос.

В чем тут ошибка? В чем заблуждение? В том, что идеология отражает не только отрицательные стороны бытия данного класса, а отражает бытие во всем его объеме, т. е. и в его прогрессивных сторонах. Буржуазия, капитализм имели в себе прогрессивные стороны? Конечно, имели. В чем заключалась эта главная прогрессивная сторона? В том, что буржуазия, например, была организатором машинной техники. Машинная техника — это основа новейшего буржуазного общества. Для того чтобы придумать машину, которая работала бы правильно, необходимой предпосылкой является знание математики, физики, химии, ботаники, зоологии и т. д. Для миллионов задач, связанных с торговлей, с мореплаванием, строительством, обработкой металлов, горных пород, земли и т. д., для всего этого нужна масса положительных знаний. Буржуазии нужна прибыль, а чтобы была прибыль, нужно дешевое и рациональное производство. Для этого нужна машина: построй-ка мне ее! Но инженер скажет: я бы построил, но для этого нужно иметь правильное представление о материальном мире, который нас окружает, для этого нужно стать материалистами, для этого надо изучать законы природы, изгнав бога и всех его родственников, а затем на основе такого изучения приступить уже к чертежам и выкладкам. Хочет этого капиталист или нет? Капиталист говорит: «Конечно, бог мне для себя не очень-то нужен, можно и без него, но для подлого народа он необходим. Сделаем так: ты в своей лаборатории действуй, как материалист, и на фабрике действуй, как материалист, и на рынке действуй, как материалист, и я буду действовать, как материалист, — брать толстые пачки вполне материальных билетов и совать в толстые карманы моих вполне материальных брюк. Но рядом с этим мы дадим профессоров-идеалистов, которые будут делать свое дело. И не только они будут говорить о боге и идеализме в философии, не только будут запоганивать идеализмом промежуточные сферы естественных наук, но и в самих естественных науках будут, пожалуй, говорить: а что такое материя? Если подойти к вопросу «глубже», тут можно найти и соллипсизм, и «совокупность человеческих ощущений», и все что угодно другое... Но ты, инженер, этим всем не смущайся и сам работай, как материалист». Таким образом и создается двулика, фальшивая, отвратительная культура.

Так вот, когда мы подходим к этой культуре, мы, несмотря на все ее пороки, должны понять, что в ней накоплено изумительное богатство подлинного опыта — ведь буржуазия хотела получить барыш-то реальный и реальными путями! Она не хотела этот барыш ни с кем разделить,

поэтому она была заинтересована в народной глупости, отсюда и ее стремление распространять дурман. С дурманом нужно бороться, а огромную сокровищницу реальных знаний и их применения нужно взять из рук буржуазии. Правда, их нужно переработать. Буржуазный НОТ<sup>{25}</sup> — не то, что наш НОТ, буржуазная фабрика — не то, что наша фабрика. Но следует ли из этого, чтобы мы сказали: к черту все локомотивы — они буржуазные, и пока не выдумаем своих, по своему фасону, пусть не будет железных дорог? Нет, мы этого не хотим. Владимир Ильич высказывал свою мысль со всею резкостью: печален будет тот коммунист, который воспитывается только на коммунистических брошюрах и книгах; если мы не усвоим себе всей культуры прошлого, мы вперед не двинемся никоим образом.

Если вы перечитаете его речь на съезде комсомола, то увидите, что Владимир Ильич бесстрашно доводит эту мысль до конца. Он говорит: учись всему, всю буржуазную культуру усвой, а после этого разберись, что тебе ко двору, а что нет. К полученным знаниям прибавляй свой пролетарский инстинкт, прибавляй свою пролетарскую философию, свою марксистскую школу, и они тебе осветят весь материал по-новому. Тогда ты разберешься и изгонишь ненужное. Но помни, что учить и строить ты сможешь только тогда, когда в течение длительного времени будешь учиться.

Конечно, я понимаю, товарищи, что из этого заявления Владимира Ильича можно сделать неверный вывод. Неверный вывод сделает прежде всего торопыга из враждебного нам интеллигентского лагеря. Там, пожалуй, найдутся умники, которые скажут: «Вот это умный человек, Ильич! Он предписал своим ребятам — усваивай, а нам, людям науки, сказал — учи, и так дело продлится всерьез и надолго. Чего же лучше, если они будут усваивать то, чему мы их будем учить! По всей вероятности, они, наконец, так доусваиваются, что очень далеко от Владимира Ильича отойдут. Дайте им в качестве педагогов старых опытных гувернеров, и они скоро этих молодых орлят превратят в телят, а то и в поросят...»

Но этот торопливый вывод был бы, конечно, неумным. Владимир Ильич прекрасно знал, что опасность того, чтобы буржуазная наука отравила бы и сбила бы с толку рабоче-крестьянскую молодежь при существовании пролетарского контроля, не очень велика, хотя борьбу по этому фронту вести нужно неуклонно. А вот обратная опасность: оттолкнуть от себя буржуазную науку и ввергнуться целиком в ересь комчванства, — эта опасность огромна. А это создало бы ту атмосферу верхоглядства, дилетантства, всяких фантазмагорических легковесных

выдумок, которые могли бы в корне испортить все дело. Вот почему Владимир Ильич говорил комсомольцам: учись без страха! Тут ты получишь огромный и нужный для тебя материал и не бойся, что при этом ты «оторвешься от марксизма». Нутро у тебя здоровое, и ты прекрасно разберешься потом, где тебе нужно, а где ненужное. Черпай из того, что тебе пришлось зачерпнуть из моря так называемого всечеловеческого знания, которое в значительной мере было детерминировано до сих пор буржуазным миром. И когда ты это сделаешь, тогда ты детерминируешь науку своей пролетарской мыслью и придашь ей совершенно новое направление и небывалый размах.

Как учить? Этот вопрос — о том, как учить, — Владимир Ильич ставил так. Он говорил: учиться нам нужно для того, чтобы сломить класс буржуазии и чтобы добиться коммунизма, и эта задача должна быть незыблемой полярной звездой, которая указывает путь. Поэтому нужно учить в непосредственной связи с жизнью. Школа — даже низшая, а тем более высшая, — не должна быть замкнутой в себе. Она должна быть волнуема всеми великими бурями социальной жизни, она должна на них откликаться, принимать в них живейшее участие. Студент есть гражданин, а не «академист». И не только студент, даже подросток в школе 2-й ступени или фабзавуча, даже ребенок должны быть в эту сторону дела посвящены.

Надо позаботиться, говорит Владимир Ильич, о том, чтобы по возможности всякое знание усваивалось в порядке реальной трудовой проблемы. Это очень трудная, с точки зрения педагогической, задача, но чисто марксистская и глубоко верная. Тебе нужно дать задачу по вычислению — возьми какое-нибудь вычисление, необходимое для твоего района, для кооператива, который рядом работает, для ремонта, который производится в том же здании, возьми по возможности пример из реальной жизни, чтобы каждая задача была разрешением задачи, поставленной окружающим миром труда. Надо учить механику, или химию, или астрономию, входя, внедряясь в те органы общественной жизни, которые этим и для этого живут, где все это применяется как отдельные элементы общественного строительства. Это трудно, мы все это знаем. Но это нужно. Мы считаем, что может быть в широком смысле сельскохозяйственный уклон обучения или промышленный, которые несколько будут отличаться, что мы можем опираться на муниципальное хозяйство, на общественную жизнь города с его больницами, почтой и телеграфом, пожарными командами, канализацией и водопроводами, всякого рода городской статистикой и т. д. Мы знаем, что людям, которые займутся постановкой такого обучения, придется у нас встретиться с массой препятствий в части

учебно-практической, лабораторной. Занятия, продуманные и вытекающие из хода дидактического плана, им придется заменять рассказом, книгой, диапозитивом, говорящими о том, что дает или должна дать жизнь. И чем больший круг у нас, в нашей педагогике займет трудовой метод, метод целесообразного и общепольного труда, как воспитательного импульса, тем мы будем ближе к тому, что, изучая все стороны буржуазной науки в глубокой связи с практическими задачами времени и с размахом революции, мы будем застрахованы от восприятия лжи за истину. Ложь будет отпадать, потому что она будет проверяться практикой, а Маркс говорил: схоластичен вопрос о том, что такое истина сама по себе, ибо единственная проверка истины есть практика. И Ленин, конечно, на этой марксистской точке зрения целиком стоял.

Таким образом, вы видите, что эта сторона мыслей Владимира Ильича о молодежи может быть резюмирована так. Не покладая рук надо работать над общим подъемом уровня масс как в школьном, так и во внешкольном порядке, но в то же время надо выдвигать из массы — или, вернее, выпускать оттуда — десятки, по возможности сотни тысяч молодых людей, которых мы должны в ускоренном порядке, с помощью рабфаков, вести ко всеоружию знаний, через усвоение старой культуры, причем усвоение этой культуры должно происходить трудовым порядком, в связи с общественной практикой и при постоянном освещении каждого приобретаемого данного общей идеей коммунистической революции.

Чего же мы можем ждать, если эта программа будет выполнена? Не возвращаясь к уже сказанному об опасностях и о положительных сторонах, мы скажем так: победит «нэпман» или мы — это зависит от того, создаст ли рабочий класс свою собственную интеллигенцию.

Мы видим перспективу чрезвычайно обнадеживающую и важную, но и чреватую опасностями — смотря по тому, на каком слове этой фразы мы поставим ударение.

«Победит нэпман или мы — это зависит от того, создаст ли рабочий класс свою *интеллигенцию*». Под интеллигенцией в данном случае приходится разуместь орудие пролетариата и орудие совершенное, людей талантливых, людей знания. Какие перспективы у нас в этом отношении? Если мы пойдем по пути, указанному Лениным, если мы будем брать молодежь, преимущественно рабочую и во вторую очередь крестьянскую, если ее будем учить тому, чему сказал Ленин, и так, как он сказал, то мы, несомненно, интеллигенцию получим, несмотря на нашу бедность, на узость той «трубочки», о которой я вам говорил, — трубочки, через которую сейчас в резервуар нашей будущей интеллигенции напирает волна

жаждущей знания молодежи. Несмотря на все это, эта проблема разрешима.

Но мы можем ту же фразу прочесть с другим ударением. «Победит ли нэпман или мы — это зависит от того, создаст ли пролетариат *свою* интеллигенцию». Может быть, он создаст чуждую ему интеллигенцию? В грубых чертах можно сразу отринуть эту возможность: мы не станем заботиться о том, чтобы давать образование детям нэпманов, мы поставим их на самый задний край, мы дадим огромное преимущество рабоче-крестьянской молодежи. Значит, мы, конечно, *свою* интеллигенцию будем воспитывать. Но не может ли эта интеллигенция, по мере того как рабоче-крестьянские парни и девушки будут превращаться в интеллигенцию, перестать быть *своею*? Вот тут есть проблема, о которой нужно подумать.

Владимир Ильич многократно говорил и о ком-чванстве и о возможности со стороны командного состава понять свою роль как господствующую. В своей последней статье о РКИ и ЦКК<sup>{26}</sup>, говоря о том, что у нас самый метод администрации неправильный, он, между прочим, такую бросает мысль: в сущности говоря, администрирование — дело простое, если научиться управлять по упрощенному и четкому способу. Впоследствии окажется, что это дело такое, при котором всякое начальствование может быть отброшено; мы идем к тому, чтобы государство совсем убить, чтобы послать его вместе с каменным топором в музей. По пути к этому мы будем отбрасывать «комчванство» и всякое излишнее «начальствование».

Ленин был человеком огромной авторитетности, и он умел достаточно пользоваться суковатой «дубинкой Петра Великого».

Физически он нас не колотил, но пробирал довольно неласково, и почти каждый, конечно, имеет на своей духовной спине соответственные почетные синяки. Авторитет этого человека был большой, ни единицам, ни массам он не потворствовал, но тем не менее «начальственности» в нем не было никакой. Какая уж там начальственность? Более простого обращения, решительно со всяким, нельзя себе вообразить. Если бы это было что-то искусственное, если бы человек находил тон, каким можно с самым простым мужичком поговорить, это было бы не такое чудо, как то, что этот человек, Ленин, не чувствовал себя начальником никак и ходил, как все, по той же самой земле, по которой все ходят. Это был человек в поношенном пальто, который разговаривает с другим человеком без малейших гримас, без малейшего тона чванства. Всегда он мог признать: ах, какую я глупость сделал! И скажет он это, может быть, почтальону или подростку, если тот перед ним откроет что-то новое, скажет какое-нибудь новое соображение,

укажет какой-нибудь неизвестный ему факт. Ни малейшей начальственности! И ему страшно хотелось, чтобы ни у кого ее не было. Он часто это высказывал, и какому-нибудь советскому сановнику было обидно слышать, когда Ленин в Совнарком начинал об этом распространяться. И хотя у нас там сановничества очень мало, но перед лицом кристального антисановничества Ильича любому приходило в голову, а в самом деле, не сановник ли я?

С этим, пожалуй, «на верхах» дело еще сносно обстоит. Но начальственной! дури немножко пониже можно встретить сколько угодно. Если нарком любезен, то секретарь его обыкновенно груб. И если в Москве разговаривают по-человечески, то в губернии уже помалкивают и мычат, а в уезде рычат. Начальственности изрядно даже в среде самих коммунистов.

Так вот начальственность эту Ильич хотел отбросить совершенно. И вот вопрос: если мы будем иметь так называемый командный состав, прошедший через рабфаки и вузы, не может ли случиться так, что он вырождается в «начальственный» командный состав? Это очень большой вопрос.

Вообразите такую вещь. Россия освобождается от помещиков и буржуазии, выгоняет их вон. Страна остается главным образом мелкобуржуазной и находится под сильным давлением и контролем пролетариата, но по отношению ко всей стране он очень малочислен. На всем этом мелкобуржуазном молоке поднимаются новые сливки, новый командный состав. Выдвинулся, получил орден Красного Знамени, назначен на такой-то пост из уезда — в губернию, затем в центр и т. д. Мы людей ищем, повышаем, фиксируем на известных местах, это естественный процесс, иначе и быть не может. Но не получают ли все-таки из них «совбуры» — «советские буржуи» и сановники? Сливки-то эти не скиснут ли? Не может ли получиться так, что эта публика рядом с нэпманами, которые тоже поднимаются вверх, превратится в зачатки нового командного класса?

С точки зрения марксизма существует не только вероятность, но и неизбежность того, что мелкобуржуазная страна стихийно выделяет из себя крупную буржуазию. При этом, что касается нэпмановских «сливок», то их можно собирать и употребить на пользу государства, а если они уж очень горчат, то можно и куда-нибудь в Нарым скинуть. Это не так опасно, как другое. Не случится ли так, что свой человек, который хозяйственно, административно, культурно вырос и который по всем правам — потому что он действительно талантливый, знающий, опытный, — руководит страной, не превратится ли он в «совбура»?

При каких условиях он останется коммунистом и слугой народа?

Во-первых, это будет при условии, если мы уже сейчас будем вырабатывать у него верное понимание того, что отрыв от масс для него гибель, что так же губительно неумение дать массе то, что он от нее и за ее счет взял. Когда Лавров (Миртов)<sup>[27]</sup> писал свои письма к интеллигенции и укорял интеллигенцию дворянскую, буржуазную и в лучшем случае разночинскую в том, что она имеет долг перед народом, — это был навязываемый извне долг. А когда мы теперь это повторяем рабоче-крестьянской молодежи, то остаемся в согласии с вашим собственным инстинктом, идем по тому направлению, которое дала вам жизнь. И только против таких пересекающих ваш путь сил, которые могут заставить вас уклониться от этого прямого пути, надо бороться.

Молодежь уже биологически — это те люди, которым предстоит решать судьбы человечества на завтрашний день, это основная сила, коренная мощь человечества на завтрашний день. Молодежь вместе с тем переживает такое время своей жизни, когда она особенно восприимчива и к дурному и к хорошему. В это время на ее гибкую, мягкую, как воск, душу можно положить пятно, наложить изъян, который потом затвердеет, заостенет и станет пороком; но в это же время можно положить на нее священную печать преданной любви к человечеству, которая жила в сердце Владимира Ильича и о которой свидетельствовала нам Надежда Константиновна в день торжественных поминок его Съездом Советов СССР.

Вы являетесь той частью молодежи, которая в наибольшей мере определит судьбу всех ваших сверстников и в значительной степени следующие за вами поколения.

Какая печать ляжет на вас — та печать станет наиболее возможной и для всех ваших сверстников, не попавших в число счастливцев, приобретающих знания, являющихся кандидатами на командные посты. Повторяю: не только для них, но отчасти и для последующих поколений, для ваших братьев и сестер, сынов и дочерей. Вы сейчас находитесь в центре борьбы двух сил — растущего социализма и огромной крестьянско-мещанской, мелкобуржуазной стихии, в которой говорит голос эгоизма, голос честолюбия, которая находит подкупающие, льстивые ноты для того, чтобы прокрасться в ваше сердце. Поэтому, кроме той тяжелой материальной борьбы, которую вы ведете, и борьбы за специальные знания, вы должны будете вести также борьбу за свою душу и за душу своего соседа по койке, по столу, за которым вы учитесь, — вести борьбу за скорейший подъем к свету законченного коммунистического сознания,

внедренного в плоть и кровь вашу до самых костей и мозга костей, чтобы оказаться раз навсегда отрезанными от всякой возможности подпасть мелкобуржуазным тенденциям.

Эта борьба за молодежь есть одна из важнейших именно потому, что поскольку молодежь будет завоевана и не выпадет из рук у рабочего класса, постольку она будет мощным оружием в предстоящей борьбе. И она гарантирует нам победу, поскольку мы с нею вместе сможем развернуть несравнимую с нынешним масштабом борьбу за просвещение масс.

Вот. тогда, когда на ваши молодые рабоче-крестьянские плечи, на десятки и сотни тысяч молодых плечей перенесется в значительной своей мере тяжесть по решению наших социальных вопросов, — вот тогда мы сможем сказать, что мы могучи по-настоящему, тогда мы сможем сказать, что задача наша нам по плечу. Сейчас же она обременяет плечи уже редющей старой гвардии коммунизма и плечи часто неприспособленных и сравнительно редкой сетью разбросанных, понимающих наши задачи работников, партийных и внепартийных. Она, эта задача, тяжела сейчас, но она будет облегчаться и становиться все более радостной по мере того, как вы, пройдя ваш путь образования, будете вставать в ряды деятелей нового государства и нового общества.

Не для того, конечно, я указываю на эти опасности, чтобы напустить на ваше небо какие-то темные облака. Наоборот, я именно для того говорю, чтобы эти облака никак не могли сгуститься в тучу. Я лично целиком разделяю тот титанический оптимизм, которым проникнут марксизм вообще. В частности, Владимир Ильич в смысле оптимизма идет много дальше, чем большинство марксистов его поколения. Марксисты эти исходили априорно из того, что социалистическую революцию могут сделать страны с многочисленным пролетариатом. Когда Владимир Ильич говорил, что мы сделаем марксистскую революцию в России, что отвечали на это марксисты-меньшевики? — У тебя слишком много оптимизма, Ленин, — говорили они. — Ты забыл, что Россия страна отсталая, ты забыл, что пролетариата в ней мало, что он не организован и не образован, что рабочий класс, как муха в молоке, плавает в огромном крестьянстве. При таких условиях и сам Маркс, — так говорили марксисты-меньшевики, — никогда не посмел бы помыслить о марксистской революции: хорошо, если будет более или менее приличная буржуазная революция, а остальное мы отложим до тех пор, пока пролетариат созреет... А Владимир Ильич думал, что не только в России, но и в Персии, в Китае, на Индостане и на Яве возможны руководимые марксистским учением революции. Они не выльются, конечно, сразу в коммунистические формы, но несомненно, что

революции в мелкобуржуазных странах, революции мужицкие, революции бедняцкие могут получить закваску, фермент, окраску от своего пролетариата и через свой пролетариат, как бы он ни был малочислен сравнительно с пролетариатом Западной Европы и Америки.

Смычка с крестьянством — это центральная идея Ленина. Пролетариат заражает своими идеями и настроением мелкую буржуазию, притягивает ее к себе, двигает ее за собою. На этом базируется Владимир Ильич. Вот почему он не боялся того, что коммунисты — капля в море. Вот почему он призывал: используйте всякого рода спецов! Он знал, что эта все притягивающая сила, вот эти пролетарские дрожжи так мощны, что могут заставить взойти очень большую опару. Это позволяло ему предполагать, что все бесчисленное море крестьянское может быть поднято пролетариатом.

Все эти мысли меньшевики, конечно, слушали с трясущимися коленками. Меньшевики припомнили, что они «рабочедельцы»<sup>{28}</sup>, что у них «настоящая пролетарская, рабочая душа», и они занули: что ты делаешь, Ленин? Ты потопишь пролетариат во всей этой неразберихе. Это эсеровщина, это ересь! Но они нули так не потому, что у них, меньшевиков, пролетарская душа, а потому, что у них короткая интеллигентская кишка, и они, воспринимая идею пролетариата как передового класса, не понимают ее с той точки зрения, что этот класс — одновременно слуга и водитель человечества.

Никто в такой мере, как Ленин, не подчеркнул эту идею. Когда мы, первые поколения русских марксистов, изучали Маркса, мы его понимали таким образом: пролетариат в передовых странах делает пролетарскую революцию и после этого протягивает руку отсталым братьям, заботится о них, а не эксплуатирует их. А что сказал Ленин? Пролетариат не сможет освободиться сам, не опираясь на крестьянство, и в том числе крестьянство колониальных стран. Он должен еще до своего освобождения втянуть их в свою орбиту. Мог ли при таких условиях Владимир Ильич испугаться того, что наша молодежь, если она не будет исключительно пролетарской по своему составу, свихнется в другую сторону, что эта молодежь пойдет не по тому пути, на который зовет ее голос мировой истории и на который направляет ее своею верной рукой наша испытанная коммунистическая партия? Он этого бояться не мог. Когда он указывал нам на опасности нэпа, когда он указывал на опасность комчванства, он делал это не для того, чтобы сеять среди нас уныние, а для того, чтобы мы знали, с какой действительностью мы имеем дело, чтобы мы все это приняли во внимание и сказали себе: наш путь чреват опасностями, но мы их избегнем, мы их

преодолеем.

«Ленин и молодежь» — так назван мой сегодняшний доклад. Вот эта отвага Ильича — она была молода. Он был молод в свои 53 года и остался бы молод, сколько бы ни прожил на свете. Молод и ленинизм — от него веет мировой молодостью, веет колоссальным будущим впереди и безудержной молодеческой отвагой.

И если Ильич молод, то и молодежь должна быть «Ильичевой» молодежью. Она должна проникнуться не только этой его заразной и родной для нее молодостью, но и мудростью Ленина, и осмотрительностью, и умением делать выводы из седой культуры, приобретенной столетиями. И когда это все в ней соединится, когда она станет достойной Ильича, когда она десятками тысяч зеркал отразит в себе этот сияющий образ и сделается, насколько кто может это вместить, подобной нашему вождю, — тогда это будет уже поистине богатырская молодежь. Тогда, само собою разумеется, ни внутренние, ни внешние опасности не будут для нас ничего значить.

Сегодня мне передали одно смешное письмо. Его написал какой-то француз<sup>[29]</sup>.

«Ваш Ленин, по крайней мере, втрое больший вождь и водитель людей, чем Магомет. Ваш СССР в десять раз больше, чем Аравия Магомета. Поэтому, по моим вычислениям, к 1944 г. вы должны завоевать три четверти мира». «Я не сомневаюсь, — говорит он, — что все откажутся от принципа частной собственности, и ваш новый Коран — марксизм будет принят повсюду. Одни идут путем насилия, другие путем мелких уступок, но, несомненно, положено начало гигантскому мировому движению. И та кипучая энергия, которая в вас имеется, должна, — говорит он, — потом разлиться по всему миру. Важно только то, чтобы, как у Магомета оказался хороший наследник — Абубекр, который мог всех конкурирующих Али и Османов устранить со своего пути и превратить внутреннюю моральную энергию Магомета в завоевательную энергию, так нужно, чтобы и у вас нашлся Абубекр». И он кончает свое письмо такими словами: «Мир просит у тебя, Россия: дай ему вслед за твоим Магометом твоего Абубекра».

И вот, может быть, Абубекра мы и не дадим, и он не очень нам нужен. Владимир Ильич, стоя над гробом своего друга Свердлова, сказал: таких людей заменяет только коллектив. И мы также скажем: Магомета, может быть, Абубекр заменить мог, а Ильича никаким Абубекром не заменишь, его заменишь только коллективом.

Старайтесь же, товарищи, чтобы каждый из вас стал элементом этого

великого, неслыханного, победоносного коллектива.

# ЛЕНИН И ИСКУССТВО

## (Воспоминания)

Впервые опубликованы в журнале «Художник и зритель», 1924, № 2–3.

Печатается по сб. статей А. Луначарского «Ленин», 1924 г. с исправлением очевидных ошибок застенографированного текста.

.....

У Ленина было очень мало времени в течение его жизни сколько-нибудь пристально заняться искусством, и он всегда сознавал себя в этом отношении профаном<sup>{30}</sup>, и так как ему всегда был чужд и ненавистен дилетантизм, то он не любил высказываться об искусстве. Тем не менее вкусы его были очень определены. Он любил русских классиков, любил реализм в литературе, в живописи и т. д.

Еще в 1905 году во время первой революции ему пришлось раз ночевать в квартире товарища Д. И. Лещенко<sup>{31}</sup>, где, между прочим, была целая коллекция кнакфуссовских изданий<sup>{32}</sup>, посвященных крупнейшим художникам мира. На другое утро Владимир Ильич сказал мне: «Какая увлекательная область история искусства. Сколько здесь работы для коммуниста. Вчера до утра не мог заснуть, все рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». Эти слова Ильича запомнились мне чрезвычайно четко.

Несколько раз приходилось мне встречаться с ним уже после революции на почве разных художественных жюри. Так, например, помню, он вызвал меня, и мы вместе с ним поехали на выставку проектов памятников на предмет замены фигуры Александра III, свергнутой с роскошного постамента около храма Христа-Спасителя. Владимир Ильич очень критически осматривал все эти памятники. Ни один из них ему не понравился. С особым удивлением стоял он перед памятником футуристического пошиба, но когда спросили его об его мнении, он сказал: «Я тут ничего не понимаю, спросите Луначарского». На мое заявление, что

я не вижу ни одного достойного памятника, он очень обрадовался и сказал мне: «А я думал, что вы поставите какое-нибудь футуристическое чучело».

Другой раз дело шло о памятнике Карлу Марксу. Известный скульптор М.<sup>{33}</sup> проявил особую настойчивость. Он выставил большой проект памятника: «Карл Маркс, стоящий на четырех слонах». Такой неожиданный мотив показался нам всем странным и Владимиру Ильичу также. Художник стал переделывать свой памятник и переделывал его раза три, ни за что не желая отказаться от победы на конкурсе. Когда жюри под моим председательством окончательно отвергло его проект и остановилось на коллективном проекте группы художников под руководством Алешина, то скульптор М. ворвался в кабинет Владимира Ильича и пожаловался ему. Владимир Ильич принял к сердцу его жалобу и звонил мне специально, чтобы было созвано новое жюри. Сказал, что сам приедет смотреть алешинский проект и проект скульптора М. Пришел. Остался алешинским проектом очень доволен, проект скульптора М. отверг.

В этом же самом году на празднике Первого мая в том самом месте, где предполагалось воздвигнуть памятник Марксу, алешинская группа построила в небольшом масштабе модель памятника. Владимир Ильич специально поехал туда. Несколько раз обошел памятник вокруг, спросил, какой он будет величины, и в конце концов одобрил его, сказав: «Анатолий Васильевич, особенно скажите художнику, чтобы волосы вышли похожей, чтобы было то впечатление от Карла Маркса, какое получается от хороших его портретов, а то как будто сходства мало»<sup>{34}</sup>.

Еще в 18-м году Владимир Ильич позвал меня и заявил мне, что надо двинуть вперед искусство как агитационное средство, при этом он изложил два проекта. Во-первых, по его мнению, надо было украсить здания, заборы и т. п. места, где обыкновенно бывают афиши, большими революционными надписями. Некоторые из них он сейчас же предложил.

Во всей полноте этот проект был подхвачен т. Брехничевым, когда он был заведующим Гомельским ОНО<sup>{35}</sup>. Гомель я нашел буквально испещренным такими надписями, не плохими по мысли. Даже все зеркала в каком-то большом ресторане, превращенном в просветучреждение, т. Брехничев расписал изречениями.

В Москве и Петрограде это не привилось не только в столь преувеличенной форме, но даже в форме, соответствовавшей мысли Ильича.

Второй проект относился к постановке памятников великим революционерам в чрезвычайно широком масштабе, памятников

временных, из гипса, как в Петербурге, так и в Москве. Оба города живо откликнулись на мое предложение осуществить идею Ильича, причем предполагалось, что каждый памятник будет торжественно открываться речью о данном революционере и что под ним будут сделаны разъясняющие надписи. Владимир Ильич называл это «монументальной пропагандой».

В Петрограде эта «монументальная пропаганда» была довольно удачной. Первым таким памятником был Радищев — Шервуда<sup>[36]</sup>. Копию его поставили в Москве. К сожалению, памятник в Петрограде разбился и не был возобновлен. Вообще большинство хороших петербургских памятников по самой хрупкости материала не могли удержаться, а я помню очень неплохие памятники, например бюсты Гарибальди, Шевченко, Добролюбова, Герцена и некоторые другие. Хуже выходили памятники с левым уклоном, так, например, когда открыта была кубически стилизованная голова Перовской, то некоторые прямо шарахнулись в сторону, а З. Лилина на самых высоких нотах потребовала, чтобы памятник был немедленно снят. Так же точно, помнится, памятник Чернышевскому многим показался чрезвычайно вычурным. Лучшее всех было памятник Лассалю<sup>[3]</sup>. Этот памятник, поставленный у бывшей городской думы, остался и до сих пор. Кажется, его отлили из бронзы. Чрезвычайно удачен был памятник Карлу Марксу во весь рост, сделанный скульптором Матвеевым. К сожалению, он разбился и сейчас заменен в том же месте, то есть около Смольного, бронзовой головой Маркса более или менее обычного типа» без оригинальной пластической трактовки Матвеева.

В Москве, где памятники как раз мог видеть Владимир Ильич, они были неудачны. Маркс и Энгельс изображены были в каком-то бассейне и получили прозвище «бородатых купальщиков». Всех превзошел скульптор К. В течение долгого времени люди и лошади, ходившие и ездившие по Мясницкой, пугливо косились на какую-то взбесившуюся фигуру, закрытую из предосторожности досками. Это был Бакунин в трактовке уважаемого художника. Если я не ошибаюсь, памятник сейчас же по открытии его был разрушен анархистами<sup>[37]</sup>, так как при всей своей передовитости анархисты не хотели потерпеть такого скульптурного «издевательства» над памятью своего вождя.

Вообще удовлетворительных памятников в Москве было очень мало. Лучше других, пожалуй, памятник поэту Никитину. Я не знаю, смотрел ли их подробно Владимир Ильич, но, во всяком случае, он как-то с неудовольствием сказал мне, что из монументальной пропаганды ничего не

вышло. Я ответил ссылкой па петроградский опыт. Владимир Ильич с сомнением покачал головой и сказал: «Что же, в Петрограде собрались все таланты, а в Москве бездарности?» Объяснить ему такое странное явление я не мог.

С некоторым сомнением относился он и к мемориальной доске Коненкова. Она казалась ему не особенно убедительной. Сам Коненков, между прочим, не без остроумия называл это свое произведение «мнимореальной доской». Помню я также, как художник Альтман подарил Владимиру Ильичу барельеф, изображающий Халтурина. Владимиру Ильичу барельеф очень понравился, но он спросил меня, не футуристическое ли это произведение?<sup>{38}</sup> К футуризму он вообще относился отрицательно. Я не присутствовал при разговоре его в Вхутемасе<sup>{39}</sup>, в общежитие которого он как-то заезжал, так как там жила, если не ошибаюсь, какая-то молодая его родственница. Мне потом передавали о большом разговоре между ним и вхутемасовцами, конечно, сплошь левыми. Владимир Ильич отшучивался от них, насмехался немножко, но и тут заявил, что серьезно говорить о таких предметах не берется, ибо чувствует себя недостаточно компетентным. Самую молодежь он нашел очень хорошей и радовался ее коммунистическому настроению.

Владимиру Ильичу редко в течение последнего периода его жизни удавалось насладиться искусством. Он несколько раз бывал в театре, кажется исключительно в Художественном, который очень высоко ставил. Спектакли в этом театре неизменно производили на него отличное впечатление.

Владимир Ильич сильно любил музыку, но расстраивался ею. Одно время у меня на квартире устраивались хорошие концерты. Пел иногда Шаляпин, играли Мейчик, Добровейн, Романовский<sup>{40}</sup>, квартет Страдивариуса<sup>{41}</sup>, Кусевицкий<sup>{42}</sup> и др. Я много раз звал Владимира Ильича, но он всегда был занят. Один раз прямо мне сказал: «Конечно, очень приятно слушать музыку, но представьте, она меня расстраивает. Я ее как-то тяжело переношу». Помнится, т. Цюрупа<sup>{43}</sup>, которому раза два удавалось залучить Владимира Ильича на домашний концерт того же пианиста Романовского, говорил мне также, что Владимир Ильич очень наслаждался музыкой, но был, по-видимому, взволнован.

Прибавлю к этому, что Владимир Ильич очень нервно относился к Большому театру. Мне несколько раз приходилось указывать ему, что Большой театр стоит нам сравнительно дешево, но все же по его настоянию ссуда ему была сокращена. Руководился Владимир Ильич двумя

соображениями. Одно из них он сразу назвал: «Неловко, — говорил он, — содержать за большие деньги такой роскошный театр, когда у нас не хватает средств на содержание самых простых школ в деревне». Другое соображение было выдвинуто, когда я на одном из заседаний оспаривал его нападения на Большой театр. Я указывал на несомненное культурное значение его. Тогда Владимир Ильич лукаво прищурил глаза и сказал: «А все-таки это кусок чисто помещичьей культуры, и против этого никто спорить не сможет».

Из этого не следует, что Владимир Ильич к культуре прошлого был вообще враждебен. Специфически помещичьим казался ему весь придворно-помпезный тон оперы. Вообще же искусство прошлого, в особенности русский реализм (в том числе и передвижников, например), Владимир Ильич высоко ценил.

Вот те фактические данные, которые я могу привести из моих воспоминаний об Ильиче. Повторяю, из своих эстетических симпатий и антипатий Владимир Ильич никогда не делал руководящих идей.

Товарищи, интересующиеся искусством, помнят обращение ЦК по вопросам об искусстве, довольно резко направленное против футуризма<sup>{44}</sup>. Я не осведомлен об этом ближе, но думаю, что здесь была большая капля меду самого Владимира Ильича. В то время, и совершенно ошибочно, Владимир Ильич считал меня не то сторонником футуризма, не то человеком, исключительно ему потворствующим, потому, вероятно, и не советовался со мною перед изданием этого рескрипта ЦК, который должен был, на его взгляд, выпрямить мою линию.

Расходился со мной довольно резко Владимир Ильич и по отношению к Пролеткульту. Один раз даже сильно побранил меня. Скажу прежде всего, что Владимир Ильич отнюдь не отрицал значения кружков рабочих для выработки писателей и художников из пролетарской среды и полагал целесообразным их всероссийское объединение, но он очень боялся поползновения Пролеткульта заняться и выработкой пролетарской науки и вообще пролетарской культуры во всем объеме. Это, во-первых, казалось ему совершенно несвоевременной и непосильной задачей, во-вторых, он думал, что такими, естественно, пока скороспелыми выдумками пролетариат отгородится от учебы, от восприятия элементов уже готовой науки и культуры, и, в-третьих, побаивался Владимир Ильич, по-видимому, и того, чтобы в Пролеткульте не свила себе гнезда какая-нибудь политическая ересь. Довольно недружелюбно относился он, например, к большой роли, которую в Пролеткульте играл в то время А. А. Богданов.

Владимир Ильич во время съезда Пролеткульта, кажется в 20-м году,

поручил мне поехать туда и определенно указать, что Пролеткульт должен находиться под руководством Наркомпроса и рассматривать себя как его учреждение и т. д. Словом, Владимир Ильич хотел, чтобы мы подтянули Пролеткульт к государству, в то же время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к партии. Речь, которую я сказал на съезде, я средактировал довольно уклончиво и примирительно. Мне казалось неправильно идти в какую-то атаку и огорчать собравшихся рабочих. Владимиру Ильичу передали эту речь в еще более мягкой редакции. Он позвал меня к себе и разнес. Позднее Пролеткульт был перестроен согласно указаниям Владимира Ильича. Повторяю, об упразднении его он никогда и не думал. Наоборот, к чисто художественным его задачам относился с симпатией.

Новые художественные и литературные формации, образовавшиеся во время революции, проходили большей частью мимо внимания Владимира Ильича. У него не было времени ими заняться. Все же скажу — «150 000 000» Маяковского Владимиру Ильичу определенно не понравились. Он нашел эту книгу вычурной и штукарской<sup>[4]</sup>. Нельзя не пожалеть, что о других, более поздних и более зрелых поворотах литературы к революции он уже не мог высказаться.

Всем известен огромный интерес, который проявлял Владимир Ильич к кинематографии.

# ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ СВЕРДЛОВ

Очерк написан в 1923 г. Печатается по сборнику А. Луначарский, Революционные силуэты (с исправлением очевидных ошибок записи и опечаток).

.....

С Яковом Михайловичем я познакомился сейчас же по приезде в Россию, раньше я о нем только слышал, знал, что это неутомимый социал-демократический, большевистский борец, знал, что он беспрестанно попадал в тюрьму и ссылку и всякий раз фатально бежал оттуда, а если его ловили и водворяли вновь, он бежал опять и сейчас же, куда бы ни забрасывала его судьба, начинал организовывать большевистские комитеты или ячейки. Типом подпольного работника — тем, что именно является цветом большевика-подпольщика, — был в то время Яков Михайлович Свердлов, и из подпольной своей работы вынес он два изумительных качества, которым, быть может, нигде, как в подполье, нельзя было научиться.

Первое — совершенно исключительное, необъятное знание всей партии; десятки тысяч людей, которые составляли эту партию, казалось, были насквозь им изучены. Какой-то биографический словарь коммунистов носил он в своей памяти. Касаясь всех сторон личности, в пределах годности или негодности для той или другой революционной задачи, он с необыкновенной тонкостью и верностью судил людей. В этой плоскости это был настоящий сердцевед, он ничего никогда не забывал, знал заслуги и достоинства, замечал промахи и недостатки.

Это первая вынесенная из подполья черта Свердлова. Второй было несомненное организационное умение.

Конечно, я не знаю, каким именно оказался бы Свердлов организатором живого дела хозяйства и политики после вступления революции на путь медленной и трезвой реализации наших идеалов. Но в подпольной области» в интенсивной, хотя и узкой работе организатора-революционера он был великолепен, и оказалось, что этот опыт был достаточен для того, чтобы сделать из Свердлова создателя нашей

конституции, чтобы сделать из него всем импонирующего председателя ВЦИК, соединявшего при этом в своих руках и главное руководство секретариатом партийного центра.

В свое время, до июльских дней, Свердлов состоял, так сказать, в главном штабе большевиков, руководя всеми событиями рядом с Лениным. В июльские дни он выдвинулся на передний план. Я не стану здесь распространяться ни о причинах, ни о значении июльского выступления петроградского и кронштадтского пролетариата. Но в значительной степени техническая организация (после того как выступлению помешать оказалось невозможно) проходила через руки Свердлова. Он же пропустил в гигантском смотре несколько десятков тысяч людей, составлявших демонстрацию, мимо балкона Кшесинской, давая проходившим отрядам необходимые лозунги.

В высшей степени странно, что в то время как был отдан приказ об аресте Ленина, а я и целый ряд других большевиков и левых эсеров посажены были в тюрьму, Свердлов не был арестован, хотя буржуазные газеты прямо указывали на его руководящую роль в том, что они называли «восстанием». Во всяком случае, это позволило Свердлову быть, насколько я знаю, главным руководителем партии в тот роковой момент и придать ей бодрый дух, несмотря на понесенные ею поражения.

Опять на гребень истории подымается Яков Михайлович в пору созыва Учредительного собрания. Ему поручено было быть его председателем до выборов президиума.

В этих самых силуэтах<sup>[5]</sup> мне неоднократно приходилось отмечать одну черту, которая всегда восхищала меня в крупнейших революционных деятелях: их спокойствие, их безусловную уравновешенность в моменты, когда, казалось, нервы должны были бы быть перенапряжены, когда, казалось, невозможно не выйти из равновесия. Но в Свердлове эта черта достигала одновременно чего-то импонирующего и, я сказал бы, монументального, и вместе с тем отличалась необыкновенной естественностью.

Мне кажется, что не только во всей деятельности Свердлова, но даже в его слегка как бы африканской наружности сказывался исключительно сильный темперамент. Внутреннего огня в нем, конечно, было очень много, но внешне этот человек был абсолютно ледяной. Когда он не был на трибуне, он говорил неизменно тихим голосом, тихо ходил, все жесты его были медленны, как будто каждую минуту он молча говорил всем окружающим: «Спокойно, неторопливо, тут нужно самообладание».

Если поражал своим спокойствием в дни острого конфликта

Советского правительства и «учредилки» комиссар Учредительного собрания Моисей Соломонович Урицкий, то все же он мог показаться чуть ли не суетливым рядом с флегматичным с внешней стороны и бесконечно внутренне уверенным Свердловым.

Огромное большинство делегатов-коммунистов, как и делегатов-эсеров, вибрировало в тот день, и весь Таврический дворец жужжал, как взволнованный рой: эсеры распространяли слухи о том, что большевики затеяли перебить правую и центр Учредительного собрания, а среди большевиков ходили слухи, что эсеры решились на все и, кроме вооруженной демонстрации (которая, как мы знаем из процесса<sup>{45}</sup>, действительно готовилась, но сорвалась), окажут еще вооруженное сопротивление разгону Учредительного собрания и, может быть, прямо перед лицом всего мира «со свойственной этой партии героичностью» совершат тот или другой аттентат<sup>{46}</sup> «против опозоривших революцию узурпаторов», которые «нагло сидели на захваченных насильем скамьях правительства».

На самом деле эсеры никаких таких эксцессов не совершили, а мы, большевики, даже и не думали совершать. Разница в поведении обеих партий заключалась в том, что большевикам вовсе не понадобилось никакого применения оружия, достаточно оказалось одного заявления матроса Железняка: «Довольно разговаривать! Расходитесь по домам», чтобы со стороны эсеров проявлена была величайшая «лояльность», которую потом некоторые из них горько оплакивали как явный признак малодушия, окончательно подломившего престиж партии в глазах части населения, еще питавшей иллюзии на их счет.

Так вот, в этой нервной обстановке, когда все заняли свои места и когда напряжение достигло высшей точки, правые и центр заволновались, требуя открытия заседания. Между тем Свердлов куда-то исчез. Где же Свердлов? Некоторыми начало овладевать беспокойство. Какой-то седобородый мужчина, выбранный, несомненно, за полное сходство свое со старейшиной, уже взгромоздился на кафедру и протянул руку к колоколу. Эсеры решили самочинно открыть заседание через одного из предполагавшихся сеньоров...<sup>{47}</sup> И тут-то как из-под земли вынырнула фигура Свердлова, не торопившегося сделать ни одного ускоренного шага. Обычной своей размеренной походкой направился он к кафедре, словно не замечая почтенного эсеровского старца, убрал его, позвонил и голосом, в котором не было заметно ни малейшего напряжения, громко, с ледяным спокойствием объявил первое заседание Учредительного собрания

открытым.

Я потому останавливаюсь на подробностях этой сцены, что она психологически предопределила все дальнейшее течение этого заседания. С этой минуты и до конца левые<sup>{48}</sup> все время проявляли огромное самообладание. Центр, еще кипевший, от маленького холодного душа Свердлова как будто сразу осел и осунулся: в этом каменном тоне они сразу почувствовали всю непоколебимость и решительность революционного правительства.

Я не стану останавливаться на конкретных воспоминаниях о встречах со Свердловым и о работе с ним в течение первых лет революции, но просто суммирую все это.

Если революция выдвинула большое количество неутомимых работников, казалось превзошедших границы человеческой трудоспособности» то одно из самых первых мест в этом отношении должно быть отдано Свердлову. Когда он успевал есть и спать — я не знаю. И днем и ночью он был на посту. Если Ленин и некоторые другие идейно руководили революцией, то связью между ним и массами, партией, советским аппаратом и, наконец, всей Россией, винтом, на котором все поворачивалось, проводом, через который все преходило, был именно Свердлов.

К этому времени он — вероятно, инстинктивно — подобрал себе и какой-то всей его наружности и внутреннему строю соответствующий костюм. Он стал ходить с ног до головы одетый в кожу. Во-первых, хватит надолго, а во-вторых, это установилось уже в то время, как «прозодежда» комиссаров.

Этот черный костюм, блестящий, как полированный лабрадор, придавал маленькой, спокойной фигуре Свердлова еще больше монументальности, простоты, солидности очертания.

Действительно, этот человек казался тем алмазом, который должен быть исключительно тверд, потому что в него упирается ось какого-то тонкого и постоянно вращающегося механизма.

Лед — человек, алмаз — человек... И в этическом его облике была та же кристалличность до прозрачности. В нем отсутствовали и холодная колючесть, и личное честолюбие, и какие-либо личные расчеты. [...]

Я не могу сказать наверное, сломился ли наш алмаз — Свердлов именно в силу чрезмерной работы. Это так всегда бывает, что трудно сказать...

Мне кажется, что врачи недооценивают всей интенсивности переживаний революционера. Часто приходится слышать от них:

«Конечно-де, переутомление сыграло здесь значительную роль, но настоящий корень болезни другой, и при самых благоприятных условиях, может быть, лишь несколько позднее болезнь сказалась бы». Я думаю, это не так. Я думаю, что таящиеся в организме недуги и внешние опасности, всегда его окружающие, превращаются в роковую беду именно на почве такого переутомления, и оно поэтому является подлинной доминирующей причиной катастрофы.

Свердлов простудился после одного из своих выступлений в провинции, но на деле просто, не сгибаясь, сломался, наконец, от сверхчеловеческой задачи, которую положил он на свои плечи. Поэтому, хотя умер он не на поле сражения, как многие другие революционеры, мы вправе говорить о нем, как о человеке, положившем свою жизнь, жертвуя ее делу, которому он служил.

Лучшей надгробной речью ему была фраза Владимира Ильича: «Такие люди незаменимы, их приходится заменять целой группой работников»<sup>{49}</sup>.

# МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ УРИЦКИЙ

Очерк написан в 1919 г. Печатается по сборнику: А. Луначарский, Революционные силуэты.

.....

Я познакомился с ним в 1901 году.

Между тюрьмой и ссылкой я был отпущен на короткий срок в Киев к родным.

По просьбе местного политического Красного Креста<sup>{50}</sup> я прочел реферат в его пользу. И всех нас — лектора и слушателей, в том числе Е. Тарле и В. Водовозова<sup>{51}</sup> — отвели под казацким конвоем в Лукьяновскую тюрьму.

Когда мы немного осмотрелись, то убедились, что это какая-то особенная тюрьма: двери камер не запирались никогда — прогулки совершались общие, и во время прогулок попеременно то занимались спортом, то слушали лекции по научному социализму. По ночам все садились к окнам, и начинались пение и декламация. В тюрьме имелась коммуна, так что и казенные пайки и все присылаемое семьями поступало в общий котел. Закупки на базаре за общий счет и руководство кухней с целым персоналом уголовных принадлежало той же коммуне политических арестованных. Уголовные относились к коммуне с обожанием, так как она ультимативно вывела из тюрьмы битые и даже ругательства.

Как же совершилось это чудо превращения Лукьяновки в коммуну? А дело в том, что тюрьмой правил не столько ее начальник, сколько староста политических — Моисей Соломонович Урицкий.

В то время носил он большую черную бороду и постоянно сосал маленькую трубку. Флегматичный, невозмутимый, похожий на боцмана дальнего плавания, он ходил по тюрьме своей характерной походкой молодого медведя, знал все, поспеивал всюду, импонировал всем и был благодетелем для одних, неприятным, но непобедимым авторитетом для других.

Над тюремным начальством он господствовал именно благодаря своей спокойной силе, властно выделявшей его духовное превосходство.

Прошли годы. Оба мы были за это время в ссылке, оба стали эмигрантами.

Левый меньшевик, Моисей Соломонович Урицкий был искренним и пламенным революционером и социалистом. Под кажущейся холодностью его и флегмой таилась исполинская вера в дело рабочего класса.



*А. В. Луначарский.*

Он любил подтрунивать над всяким пафосом и красивыми речами «обо всем великом и прекрасном», он гордился своей трезвостью и любил пококетничать ею, как будто даже с некоторым цинизмом. Но на самом деле это был идеалист<sup>[52]</sup> чистейшей воды! Жизнь вне рабочего движения для него не существовала. Его огромная политическая страсть не бушевала

и не клокотала только потому, что она вся упорядоченно и планомерно направлялась к одной цели: благодаря этому она проявлялась только деятельностью, и притом деятельностью чрезвычайно целесообразной.

Логика у него была, непреклонная. Война 1914 года поставила его на рельсы интернационализма, и он не искал средних путей... Он быстро почувствовал полную невозможность удерживать хотя тень связи с меньшевиками-оборонцами, а потому радикально порвал и с группой Мартова, которая этого не понимала.

Впрочем, еще до войны он уже стоял ближе к большевикам, чем к меньшевикам.

Мы свиделись с ним после долгой разлуки в 1913 году в Берлине.

Опять та же история! Не везло мне с моими рефератами... Русская колония в Берлине пригласила меня прочесть несколько лекций, а берлинская полиция меня арестовала, продержала недолго в тюрьме и выслала из Пруссии без права въезда в нее.

И тут Урицкий опять оказался добрым гением. Он не только великолепно владел [немецким] языком, но имел повсюду связи, которые привел в движение, чтобы превратить мой арест в крупный скандал для правительства. И я опять любовался им, когда он со спокойной иронической усмешечкой беседовал со следователем или буржуазными журналистами или «давал направление» нашей кампании на совещании с Карлом Либкнехтом, который тоже заинтересовался этим мелким, но выразительным фактом.

И все то же впечатление: спокойная уверенность и удивительный организаторский талант.

Во время войны Урицкий, живя в Копенгагене, играл и там крупную роль, но свою огромную и спокойную организаторскую силу он развернул постепенно, во все более колоссальных размерах, в России во время нашей славной революции.

Сперва он примкнул к так называемой межрайонной организации<sup>[53]</sup>. Он привел ее в порядок, и дело ее безусловного и полного слияния с большевиками было в значительной мере делом его рук.



*А. В. Луначарский. 1918 г.*

По мере приближения к 25 октября оценка сил Урицкого в главном штабе большевизма все росла.

Далеко не всем известна поистине исполинская роль Военно-революционного комитета в Петрограде, начиная приблизительно с 20 октября по половину ноября. Кульминационным пунктом этой сверхчеловеческой организационной работы были дни и ночи от 24-го по конец месяца. Все эти дни и ночи Моисей Соломонович не спал. Вокруг него была горсть людей тоже большой силы и выносливости, но они утомлялись, сменялись, несли работу частичную, — Урицкий с красными от бессонницы глазами, но все такой же спокойный и улыбающийся, оставался на посту в кресле, к которому сходились все нити и откуда

расходились все нити, откуда расходились все директивы тогдашней внезапной, неналаженной, но мощной революционной организации.

Я смотрел тогда на деятельность Моисея Соломоновича, как на настоящее чудо работоспособности, самообладания и сообразительности. Я и теперь продолжаю считать эту страницу его жизни своего рода чудом. Но страница эта не была последней. И даже ее исключительная яркость не затмевает страниц последующих.

После победы 25 октября и следовавшей за нею серии побед по всей России одним из самых тревожных моментов был вопрос о тех взаимоотношениях, какие сложатся между Советским правительством и приближавшейся «учредилкой». Для урегулирования этого вопроса нужен был первоклассный политик, который умел бы соединить железную волю с необходимою сноровкой. Двух имен не называли: все сразу и единогласно остановились на кандидатуре Урицкого.

И надо было видеть нашего «комиссара над Учредительным собранием» во все те бурные дни! Я понимаю, что все эти «демократы» с пышными фразами на устах о праве, свободе и т. д. жгучею ненавистью ненавидели маленького круглого человека, который смотрел на них из черных кругов своего пенсне с иронической холодностью, одной своей трезвой улыбкой разгоняя все их иллюзии и каждым жестом воплощая господство революционной силы над революционной фразой!

Когда в первый и последний день «учредилки» над взбаламученным эсеровским морем разливались торжественные речи Чернова и «высокое собрание» ежеминутно пыталось показать, что оно-то и есть настоящая власть, совершенно так же, как когда-то в Лукьяновне, той же медвежьей походкой, с тою же улыбающейся невозмутимостью ходил по Таврическому дворцу товарищ Урицкий — и опять все знал, всюду попевал и внушал одним спокойною уверенностью, а другим полнейшую безнадежность.

«В Урицком есть что-то фатальное!» — слышал я от одного правого эсера в коридорах в тот памятный день.

Учредительное собрание было ликвидировано. Но наступили новые, еще более волнующие трудности — Брест...

Урицкий был горячим противником мира с Германией. Это воплощенное хладнокровие говорило с обычною улыбкой: «Неужели не лучше умереть с честью?»

Но на нервничанье некоторых «левых коммунистов» Моисей Соломонович отвечал спокойно: «Партийная дисциплина прежде всего!»

О, для него это не была пустая фраза!

Разразилось февральское наступление немцев.

Вынужденный уехать, Совет Народных Комиссаров<sup>[54]</sup> возложил на остающихся ответственность за находившийся в почти отчаянном положении Петроград. «Вам будет очень трудно, — говорил Ленин остающимся, — но остается Урицкий», — и это успокаивало.

С тех пор началась искусная и героическая борьба Моисея Соломоновича с контрреволюцией и спекуляцией в Петрограде.

Сколько проклятий, сколько обвинений сыпалось на его голову за это время! Да, он был грозен, он приводил в отчаяние не только своей неумолимостью, но и своей зоркостью. Соединив в своих руках и Чрезвычайную комиссию, и Комиссариат внутренних дел, и во многом руководящую роль в иностранных делах, он был самым страшным в Петрограде врагом воров и разбойников империализма всех мастей и всех разновидностей.

Они знали, какого могучего врага имели в нем. Ненавидели его и обыватели, для которых он был воплощением большевистского террора.

Но мы-то, стоявшие рядом с ним вплотную, мы знаем, сколько в нем было великодушия и как умел он необходимую жестокость и силу сочетать с подлинной добротой. Конечно, в нем не было ни капли сентиментальности, но доброты в нем было много. Мы знаем, что труд его был не только тяжек и неблагодарен, но и мучителен.

Моисей Соломонович много страдал на своем посту. Но никогда мы не слышали ни одной жалобы от этого сильного человека. Весь — дисциплина, он был действительно воплощением революционного долга.

Они убили его. Они нанесли нам поистине меткий удар. Они выбрали одного из искуснейших и сильнейших врагов своих, одного из искуснейших и сильнейших друзей рабочего класса.

Убить Ленина и Урицкого — это значило бы больше, чем одержать громкую победу на фронте.

Трудно сомкнуть нам ряды: громадна пробитая в них брешь. Но Ленин выздоравливает<sup>[6]</sup>, а незабвенного и незаменимого Моисея Соломоновича Урицкого мы посылно постараемся заменить, каждый удесятерив свою энергию.

# ТОВАРИЩ ВОЛОДАРСКИЙ

Очерк написан в 1923 г. и опубликован в сборнике: А. В. Луначарский, Революционные силуэты.

.....

С товарищем Володарским я познакомился вскоре после приезда моего в Россию<sup>{55}</sup>.

Я был выставлен кандидатом в Петербургскую городскую думу и на выборах, если не ошибаюсь, в июне месяце, был выбран гласным. На первом же собрании объединенной группы новых гласных большевиков и межрайонцев я встретил Володарского. Надо сказать, что эта объединенная группа включала в себя немало более или менее крупных фигур. Ведь к ней принадлежали и Калинин<sup>{56}</sup>, и Иоффе<sup>{57}</sup>, и такие товарищи из межрайонцев, как Товбина и Дербышев, входили в нее товарищи Закс, Аксельрод<sup>{58}</sup> и многие другие. Но я не мог не отметить сразу на этом далеко не заурядном фоне фигуру Володарского.

Яков Михайлович Свердлов был, так сказать, инструктором группы и дал ей некоторые общие указания, а вслед за тем мы сами стали обсуждать все предстоящие нам проблемы, и в обсуждении этом сразу выдвинулся Володарский. С огромной сметливостью и живостью ума схватывал он основные задачи нашей новой деятельности и обрисовывал, каким образом можем мы объединить реальное и повседневное обслуживание пролетарского населения Петрограда с задачами революционной агитации. Я даже не знал фамилии Володарского. Я только видел перед собою этого небольшого роста ладного человека, с выразительным орлиным профилем, ясными живыми глазами, чеканной речью, точно отражавшей такую же чеканную мысль.

В перерыве мы вместе с ним пошли в какое-то кафе, расположенное напротив Думы, где мы заседали, и продолжили нашу беседу. Я там невольно и несколько неожиданно для себя сказал: «Я ужасно рад, что вижу вас в группе, мне кажется, что вы как нельзя лучше приспособлены ко всем перипетиям той борьбы, которая предстоит нам вообще и в Думе в частности». И только тут я спросил его, как его фамилия и откуда он. «Я —

Володарский, — ответил он. — По происхождению и образу жизни рабочий из Америки. Агитацией занимаюсь уже давно и приобрел некоторый политический опыт».

Володарский очень скоро отошел от думской работы. Еще до Октября он определился как одна из значительных агитаторских сил нашей партии.

Но больше всего он развернулся после Октября. Тут его фигура стала в некоторых отношениях наиболее ярко представлять всю нашу партию в Петрограде. Таким положением он обязан был и своему выдающемуся агитаторскому таланту, и своей мужественной прямолинейности, и своей совершенно сверхчеловеческой трудоспособности, наконец, и тому, что поистине гигантскую агитацию он соединял с деятельностью редактора «Красной газеты», создателем самого типа которой являлся.

Прежде всего постараюсь хоть несколько охарактеризовать Володарского как оратора и агитатора.

С литературной стороны речи Володарского не блистали особой оригинальностью формы, богатством метафор. Его речи с этой стороны были как бы суховаты. Они должны были бы особенно восхитить нынешних конструктивистов (если бы, впрочем, эти конструктивисты были настоящими, а не путаниками)<sup>[59]</sup>. Речь его была как машина, ничего лишнего, все прилажено одно к другому, все полно металлического блеска, все трепещет внутренними электрическими разрядами. Быть-может, это американское красноречие? Но Америка, вернувшая нам немало русских, прошедших ее стальную школу, не дала все же ни одного оратора, подобного Володарскому.

Голос его был словно печатающий, какой-то плакатный, выпуклый, металлически-звонящий. Фразы текли необыкновенно ровно, с одинаковым напряжением, едва повышаясь иногда. Ритм его речей по своей четкости и ровности напоминал мне больше всего манеру декламировать Маяковского: его согревала какая-то внутренняя революционная раскаленность. Во всей этой блестящей и как будто механической динамике чувствовались клопочущий энтузиазм и боль пролетарской души.

Очарование его речей было огромное. Речи его были не длинные, необычайно понятны, как бы целое скопище лозунгов-стрел, метких и острых.

Казалось, он ковал сердца своих слушателей.

Слушая его, понималось больше, чем при каком угодно другом ораторе, что в эту эпоху такого расцвета политической агитации, какого, может быть, мир не видел, агитаторы поистине месили человеческое тесто, как какой-то вязкий и бесформенный сплав, который твердел потом под их

руками, превращаясь в необходимое революции орудие.

Ораторская сторона дарования Володарского была наибольшей, но эта блестящая натура не исчерпывалась ею. Володарский был также превосходным организатором-редактором и в своем роде незаменимым публицистом. Его «Красная газета» сразу сделалась действительно боевой газетой, газетой революционного лагеря, необычайно доступной массам — еще более доступной, чем даже тогда столь изумительная своей всенародностью «Правда». Вся его газета стала такая же, как он. Ладная, по-американски слаженная и изящная отсутствием всего лишнего, простая и в простоте своей разительная, могучая. Писал он необыкновенно легко, так же как говорил. За особой оригинальностью не гонялся. Посылал свои статьи, как и слова, словно пули, — а никто ведь, отстреливаясь и атакуя, не думает о том, чтобы пули были оригинальные. Но зато его слова-пули, написанные и напечатанные, пробивали любые препятствия.

Володарский был вообще хорошим организатором. Как он чудесно и с легкостью инстинкта сразу организовывал любую речь на любую тему, а вокруг нее организовывал случайную толпу слушателей, так, думаю я, удалось бы ему ладно организовать любой аппарат управления. Но ему не пришлось проявить во всей полноте эту свою сторону, так как он вскоре был убит, и мы смогли до его смерти использовать его вне области агитации только как организатора «Красной газеты» и как заведующего отделом печати в тогдашнем Исполкоме Союза Северных Коммун.

Как «цензора» буржуазия ненавидела его остро. Ненавидела его буржуазия и все ее прихвостни и как политика. Я думаю, никого из нас не ненавидела она тогда так, как его. Ненавидели его остро и подколенно эсеры. Почему так ненавидели Володарского? Во-первых, потому, что он был *вездесущ*, он летал с митинга на митинг, его видели и в Петербурге и во всех окрестностях чуть ли не одновременно. Рабочие привыкли относиться к нему, как к своей живой газете. И он был *беспощаден*. Он был весь пронизан не только грозой Октября, но и пришедшими уже после его смерти грозами взрывов красного террора. Этого скрывать мы не будем: Володарский был террорист. Он до глубины души был убежден, что если мы промедлим со стальными ударами на голову контрреволюционной гидры, она не только пожрет нас, но вместе с нами и проснувшиеся в Октябре мировые надежды.

Он был *борец* абсолютно восторженный, готовый идти на какую угодно опасность. Он был вместе с тем и беспощаден. В нем было что-то от Марата в этом смысле. Только его натура в отличие от Марата была необыкновенно дневной, он отнюдь не желал как-то скрываться, быть

таинственным учителем из подполья — наоборот, всегда сам, всегда со своим орлиным клювом и зоркими глазами, всегда со своим собственным металлическим клетком, — всегда он на виду в первом ряду, мишень для врагов, непосредственный командир.

И вот его убили.

Оглядываясь назад, видишь, что это было совершенно естественным. Железной рукой, которая реально держала горло контрреволюции в своих пальцах, был Урицкий, и его тоже вскоре убили. Но нашим знаменосцем, нашим барабанщиком, нашим трубачом был Володарский. Шел он впереди не как генерал, а как тамбурмажор, великий тамбурмажор титанического движения.

Уже многие из наших рядов пали в то время, но пали в открытом бою. Володарский был первым, павшим от пули убийцы. Мы все поняли, что это дело эсеров, — так оно и оказалось: ведь это была самая решительная часть буржуазии.

Но не буржуазная рука сразила Володарского, преданного трибуна, рыцаря без страха из ордена пролетариата. Да, его сразила рабочая рука. Его убийца был маленький болезненный рабочий... Годами этот тихий человек со впалой грудью мечтал о том, чтобы послужить революции своего класса, послужить подвигом и, если понадобится, умереть мученической смертью. И вот пришли эсеры-интеллигенты, побывавшие на каторге, заслуженные, так сказать, с грудью, увешанной революционными орденами. Эти интеллигенты, в сущности, воспринимали революцию, как именно их дело, как дело продвижения к власти их группы, то есть авангарда мелкой буржуазии. Эти интеллигенты уже сели в мильерановские кресла<sup>160</sup>, они уже сталкивались с буржуазией, они уже вкусили сладости быть первыми приказчиками капитала и раззолоченной розовой ширмой своей революционной фразы защищать капитал от ярости проснувшегося пролетариата. И вот во главе этого яростного народа становятся трибуны, которые ведут его вперед, опрокидывают к черту эту розовую раззолоченную ширму, опрокидывают кресла этих высокоуважаемых Черновых и Церетели, железной рукой выметают интеллигентских героев, интеллигентскую надежду, вместе с наспех приспособившимися к новым порядкам капиталистами.

О, какая ненависть, какой преисполненный сентиментальности героический пафос пустозвонного фразерства горел в груди отвергнутых «новобрачных революции»!

И эти-то интеллигенты, пользуясь доверием маленького рабочего со впалой грудью, говорят ему: «Ты хочешь совершить подвиг во имя твоего

класса, ты готов на мученическую смерть? Пойди же и убей Володарского. Правда, мы тебе этого не приказываем. Мы выберем момент. Мы еще подумаем. Но только в одном мы тебя уверяем — что это будет подлинный подвиг и за это стоит умереть!»

И, снабдив беднягу оружием и поставив его душу под пытку самоподготовки для террористического покушения против окруженного любовью его класса трибуна, господа эсеры влачат день за днем, неделю за неделей и в то же время выслеживают Володарского, как красного зверя. Видите ли, убийца оказался для другой цели в пустом месте, где должен был проехать Володарский! Видите ли, эсеры несколько не виноваты в его убийстве, потому что они не хотели, чтобы именно в этот момент спустил курок убийца! Спустил он его просто потому, что у автомобиля лопнула шина, и убийце показалось очень удобным расстрелять Володарского. Он это и сделал... Эсеры были «не только смущены, но даже возмущены», и тотчас же объявили в своих газетах, что они здесь ни при чем.

И надо вспомнить, в какие дни произошло убийство Володарского.

В день своей смерти он телефонировал, что был на Обуховском заводе, что там — на этом тогда полупролетарском заводе, где заметны были признаки антисемитизма, бесшабашного хулиганства и мелкой обывательской реакции, — очень беспокойно.

В те дни эсеры — вкупе и влюбле с офицерами минной дивизии — взбулгачили ее матросов настолько, что на митинге, на котором говорили я и Раскольников<sup>{61}</sup>, был прямо выставлен и подхвачен обманутыми матросами миноносцев лозунг: «Диктатура Балтфлота над Россией». Никто не возражал, когда мы доказывали, что за этой диктатурой стоит диктатура нескольких офицеров, помазанных жидким эсерством, и нескольких лиц, еще более неопределенных, со связями, уходившими через иронически улыбавшегося адмирала Щастного в черную глубь. Минная дивизия стала тогда за Обуховским заводом, она и протянула ему руку

...Горе и ужас охватили пролетарское население. Пуля, убившая Володарского, убила также и всю минно-обуховскую затею. Петербургский Исполком разоружил минную дивизию, и вся буря Обуховского завода сразу улеглась.

В Большом Екатерининском зале Таврического дворца, утопая в горе цветов, пальмовых ветвей и красных лент, лежал Володарский, застреленный орёл. Как никогда резко, словно у бронзового римского императора, выделялось его гордое лицо. Он молчал важно. Его уста, из которых в свое время текли такие пламенные, острые, металлические речи, сомкнулись, как бы в сознании того, что сказано достаточно.

Неизгладимое впечатление произвело на меня отношение старых работниц к покойнику. На моих глазах некоторые из них подходили с материнскими слезами, долго с любовью смотрели на сраженного героя и с судорожным рыданием говорили: «Голубчик наш».

Шествие, хоронившее Володарского, было одним из самых величественных, которые знал издавший виды Петербург. Десятки, а может быть, и сотни тысяч пролетариев провожали его к могиле на Марсовом поле.

Что чувствовали при этом убийцы-эсеры? Понимали ли они, на кого подняли руку? Сознали ли, как — в глубине, внутри — *весь* петербургский пролетариат был с ним и с нами, с Коммунистической партией?

Ни в коем случае. В это время они хотели только поднять свой револьвер выше, вели переговоры с доброхотными террористами, присматривались к тому, насколько подходяща та или иная Коноплева, та или иная Каплан для дальнейших «подвигов и жертв».

Ненависть к Володарскому сказалась и в том, что временный памятник ему, поставленный недалеко от Зимнего дворца, был взорван в дни, когда Юденич подступал к Петербургу. В последнее мое посещение Петербурга я видел этот памятник, разорванный и полуискалеченный, в вестибюле Музея Революции. Я не могу сказать, чтобы художнику памятник очень удался. Его все равно позднее пришлось бы заменить и более прочным и более художественным. Но и такой, как он есть, этот серый исполин с орлиным лицом, разорванный и раздробленный внизу, гордо смотрит в будущее победоносным челом.

# ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЛЕХАНОВ

## *Несколько встреч с Георгием Валентиновичем Плехановым*

Очерк написан и впервые опубликован в 1923 г. (в журнале «Под знаменем марксизма», № 5 и 6). Печатается с небольшими сокращениями по сборнику: А. Луначарский, Революционные силуэты.

Та часть этого очерка, где речь идет об отношении Плеханова к классической философии и неопозитивизму, близка к тому, что об этом сказано в воспоминаниях «Из революционного прошлого» (см. Приложения в конце книги).

О Плеханове А. В. Луначарский писал и специально ему посвященные статьи и обращался к характеристике его личности и политических и литературных взглядов в работах на различные темы (в статьях об Ибсене, Л. Толстом, Чернышевском и др.). См. «Памяти Г. В. Плеханова», воспоминания, в журн. «Пламя», 1918, № 7; «Плеханов как идеолог. К 10-летию со дня смерти Г. В. Плеханова», в «Красной газете», 1928, № 14; «Плеханов, как искусствовед и литературный критик» — статью, написанную в 1930 г., но впервые опубликованную посмертно в журн. «Литературный критик», 1935, № 7.

.....

Личных воспоминаний о Георгии Валентиновиче у меня немного. Я встречался с ним не часто. Встречи эти, правда, не лишены были некоторого значения, и я охотно поделюсь моими воспоминаниями.

В 1893 году я уехал из России в Цюрих, так как мне казалось, что только за границей я смогу приобрести знания необходимого для меня

объема и характера. Мои друзья Линдфорс<sup>[62]</sup> дали мне рекомендательное письмо к Павлу Борисовичу Аксельроду.

Сам Аксельрод и его семья приняли меня с очаровательным гостеприимством. Я был уже к этому времени более или менее сознательным марксистом и считал себя членом социал-демократической партии (мне было 18 лет, и работать как агитатор и пропагандист я начал еще за два года до отъезда за границу). Все же я чрезвычайно многим обязан Аксельроду в моем социалистическом образовании, и, как ни далеко мы потом разошлись с ним, я с благодарностью числю его среди наиболее повлиявших на меня моих учителей. Аксельрод в то время был преисполнен благоговения и изумления перед Плехановым и говорил о нем с обожанием. Это обожание, присоединяясь к тем блестящим впечатлениям, которые я сам имел о «Наших разногласиях»<sup>[63]</sup> и некоторых статьях Плеханова, преисполняло меня каким-то тревожным, почти жутким ожиданием встречи с человеком, которого я, без большой ошибки, считал великим.

Наконец Плеханов приехал из Женевы в Цюрих. Поводом был большой конфликт между польскими социалистами по национальному вопросу. Во главе национально окрашенных социалистов в Цюрихе стоял Иодко. Во главе будущих наших товарищей стояла уже тогда блестящая студентка Цюрихского университета Роза Люксембург. Плеханов должен был высказаться по поводу конфликта. Поезд каким-то образом запоздал, и поэтому первое появление Плеханова обставилось для меня самой судьбой несколько театрально. Уже началось собрание, Иодко уже с полчаса с несколько скучным эмфазом защищал свою точку зрения, когда в зал союза немецких рабочих «Eintracht»<sup>[7]</sup> вошел Плеханов.

Ведь это было 28 лет тому назад! Плеханову было, вероятно, лет тридцать с небольшим. Это был скорее худой и стройный мужчина в безукоризненном сюртуке, с красивым лицом, которому особую прелесть придавали необычайно блестящие глаза и чрезвычайно большие, своеобразные, густые и косматые брови. Позднее на Штутгартском съезде одна газета говорила о Плеханове: «Eine aristokratische Erscheinung»<sup>[8]</sup>. И действительно, в самой наружности Плеханова, в его произношении, голосе и во всей его конструкции было что-то коренным образом барское — с ног до головы барин. Это, разумеется, могло бы раздражить пролетарские инстинкты, но если принять во внимание, что этот барин был крайним революционером, другом и пионером рабочего движения, то, наоборот, аристократичность Плеханова казалась трогательной и

импонирующей: «Вот какие люди с нами».

Я здесь не хочу заниматься характеристикой Плеханова — это другая задача, — но отмечу мимоходом, что в самой внешности Плеханова и в его манерах было что-то такое, что невольно меня, тогда еще молодого, заставило подумать: должно быть, и Герцен был такой.

Плеханов сел за стол Аксельрода, где и я сидел, но мы обменялись только несколькими фразами.

Что касается самого выступления Плеханова, то оно меня несколько разочаровало — может быть, после острой, как бритва, и блестящей, как серебро, речи Розы. Когда прекратились громкие аплодисменты в ответ на ее речь, старик Грейлих<sup>{64}</sup>, уже тогда седой, уже тогда похожий на Авраама<sup>{65}</sup> (а между тем я и 25 лет после видел его таким же почти энергичным, хотя, увы, вместе с Плехановым уже не принадлежавшим к нашей передовой колонне социализма), — так вот, Грейлих взошел на кафедру и сказал каким-то особенно торжественным тоном: «Сейчас будет говорить товарищ Плеханов. Говорить он будет по-французски. Речь его будет переведена<sup>{66}</sup>, но вы, друзья мои, все-таки старайтесь сохранить безусловную тишину и следите со вниманием за его речью».

И это призывавшее к благоговейному молчанию выступление председателя и огромные овации, которыми встретили Георгия Валентиновича, — все это взволновало меня до слез, и я, юноша — так что простительно было — был необычайно горд великим соотечественником. Но, повторяю, сама речь его меня несколько разочаровала.

Плеханов хотел, по политическим соображениям, занять промежуточную позицию. Ему, очевидно, неловко было, как русскому, высказаться против польского национального душка, хотя вместе с тем он был целиком теоретически на стороне Люксембург. Во всяком случае, он с большой честью и с большим изяществом вышел из своей трудной задачи, сыгравши роль многоопытного примирителя<sup>{67}</sup>.

Георгий Валентинович остался тогда на несколько дней в Цюрихе, и я, конечно, рискуя даже быть неделикатным, просиживал целые дни у Аксельрода, ловя всякую возможность поговорить с ним.

Возможностей представлялось много. Плеханов разговаривать любил. Я был мальчишка начитанный, неглупый и весьма задорный. Несмотря на свое благоговение перед Плехановым, я петушился и, так сказать, лез в драку, особенно по разным философским вопросам. Плеханову это нравилось, иногда он шутил со мной, как большая собака со щенком, каким-нибудь неожиданным ударом лапы валил меня на спину, иногда

сердился, а иногда весьма серьезно разъяснял.

Плеханов был совершенно несравнимым собеседником по блеску остроумия, по богатству знаний, по легкости, с которой он мог мобилизовать для любой беседы огромное количество духовных сил. Немцы говорят: Geistreich<sup>{68}</sup> — богатый духом. Вот именно таким и был Плеханов.

Должен, впрочем, сказать, что мою веру в громадное значение левого реализма, то есть эмпириокритики Авенариуса, Плеханов не поколебал<sup>{69}</sup>, и трудно было ему ее критиковать, так как он не дал себе труда познакомиться с философией Авенариуса.

Шутливо иногда он говорил мне: «Давайте лучше поговорим о Канте, если вы уж хотите непременно барахтаться в теории познания, — этот по крайней мере был мужчина». Может быть, Плеханов и мог бы нанести сокрушительный удар [махизму], но он часто попадал то вправо, то влево, как он сам любил говорить: «мимо Сидора в стену».

Зато неизмеримо огромное влияние на меня имели эти беседы, поскольку они в конце концов свернули на великих идеалистов Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Я, конечно, уже тогда превосходно знал, какое огромное значение имеет Гегель в истории социализма и насколько невозможно правильное историческое понимание марксистской философии и истории без хорошего знакомства с Гегелем.

Позднее Плеханов укорял меня в одном из наших публичных диспутов за то, что я не проштудировал как следует Гегеля. Я все-таки это довольно тщательно проделал, отчасти благодаря Плеханову, но и без Плеханова я, конечно, почел бы это своим долгом, как человек, готовившийся стать теоретиком социализма. Другое дело — Фихте и Шеллинг. Мне казалось за глаза достаточным знакомство с ними по истории философии, я считал, что это уже совсем превзойденная стадия, и мало интересовался их учением. Плеханов же с неожиданным для меня восторгом отозвался о них. Ни на одну минуту не впадая, конечно, в какую-либо ересь, вроде — «назад к Фихте!», что потом провозгласил Струве, — он, однако, произнес передо мной такой пламенный, глубокий и великолепный дифирамб Фихте и Шеллингу, нарисовал такие монументальные портреты их, как носителей определенных мировоззрений и мироощущений, что я немедленно же побежал оттуда в Цюрихскую национальную библиотеку и погрузился в чтение великих идеалистов, наложивших на все мое мирозерцание, могу сказать больше, на всю мою личность огромную, неизгладимую печать.

Бесконечно жаль, что Плеханов только бегло высказывался по поводу великих идеалистов. Знал он их чрезвычайно основательно, даже до удивительности точно, и мог бы написать книгу о них, конечно, не менее блестящую, чем его книга о материалистических предшественниках марксизма<sup>{70}</sup>. Правда, я думаю, что в общем все же несколько базаровскому уму Плеханова его вечные друзья Гольбах и Гельвеций из предшественников марксизма были роднее, чем великие идеалисты. Но глубоко погрешил бы против Плеханова тот, кто подумал бы, что другой мощный корень марксизма им игнорировался.

Георгий Валентинович предложил мне переехать к нему, чтобы продолжить наши беседы; но только уже значительно позднее — может быть, даже приблизительно через год, точно не помню, — я смог приехать в Женеву из Парижа.

Это тоже были счастливые дни. Георгий Валентинович писал в то время свое предисловие к русскому переводу «Манифеста Коммунистической партии» и очень интересовался искусством, я же им интересовался всегда со страстью. И поэтому в этих наших беседах вопрос зависимости надстройки от экономической базы, в особенности в терминах мира искусства, был главным предметом наших разговоров. Я встречался с ним тогда у него в кабинете на Rue de Candole, а также в пивной Ландольта, где мы, меняя немало кружек пива, проводили иногда несколько часов.

Помню» какое огромное впечатление произвело на меня одно обстоятельство. Плеханов ходил по своему кабинету и что-то мне втолковывал. Вдруг он подошел к шкафу, вынул большой альбом, положил его на стол передо мною и раскрыл. Это были чудесные гравюры Буше, крайне фривольные и, по моим тогдашним суждениям, почти порнографические. Я немедленно высказался в том смысле, что вот это-де типичный показатель распада правящего класса перед революцией.

— Да, — сказал Плеханов, смотря на меня своими блестящими глазами. — Но вы посмотрите, как это превосходно, какой стиль, какая жизнь, какое изящество, какая чувственность.

Я не стану передавать дальнейшей беседы — это значило бы написать целый маленький трактат об искусстве рококо. Я могу сказать только, что важнейшие выводы Гаузенштейна<sup>{71}</sup> были более или менее предвосхищены Плехановым, хотя не помню, чтобы он совершенно определенно сказал бы мне, что искусство Буше являлось, в сущности говоря, искусством буржуазным, вылившимся лишь в рамки придворного быта.

Для меня главным образом был удивителен его эстетический дар — его свобода суждения в области искусства. У Плеханова был огромный вкус — как мне кажется, безошибочный. О произведениях искусства, ему не нравившихся, он умел высказываться в двух словах с совершенно убийственной иронией, которая обезоруживала, выбивая у вас шпагу из рук, если вы с ним были не согласны. О произведениях искусства, которые он любил, Плеханов говорил с такой меткостью, а иногда с таким волнением, что уже отсюда становилось понятно, почему Плеханов имеет такие огромные заслуги именно в области истории искусства. Его сравнительно небольшие этюды, обнимающие не так много эпох, стали краеугольными камнями для дальнейшей работы в этом направлении.

Никогда ни из одной книги, ни из одного посещения музея не выносил я так много действительно питающего и определяющего, как из тогдашних моих бесед с Георгием Валентиновичем.

К сожалению, остальные наши встречи происходили уже при менее благоприятных условиях и на политической почве, где мы встречались более или менее противниками.

В следующий раз встретился я с Плехановым только на Штутгартском конгрессе. Наша большевистская делегация поручила мне официальное представительство в одной из важнейших комиссий Штутгартского конгресса, именно в комиссии по определению взаимоотношений партии и профсоюзов. Плеханов представлял там меньшевиков. Сначала у нас произошел диспут в пределах нашей собственной, русской делегации. Большинство голосов оказалось за нашу точку зрения, колеблющиеся к нам присоединились. Дело шло, конечно, не о какой-либо моей личной победе над Плехановым — Плеханов с огромным блеском защищал свою тезу; но сама теза никуда не годилась. Плеханов настаивал на том, что близкий союз партии и профсоюзов может быть пагубным для партии, что задача профсоюзов — в улучшении положения рабочих в недрах капиталистического строя, а задача партии — разрушение его. В общем он стоял за «независимость». Во главе противоположного направления стоял бельгиец де Брукер<sup>{72}</sup>. Де Брукер в то время был очень левый и очень симпатично мыслящий социалист, позднее он сильно свихнулся. Де Брукер стоял на точке зрения необходимости пронизать профессиональное движение социалистическим сознанием неразрывного единства рабочего класса, руководящей роли партии и т. д. В тогдашней атмосфере горячего обсуждения вопроса о всеобщей стачке, как орудия борьбы, все были склонны пересмотреть свои прежние взгляды, все считали, что парламентаризм становится все более недостаточным оружием, что партия

без профсоюзов революции не совершит и что на другой день после революции профессиональные союзы должны сыграть капитальную роль в устройстве нового мира и т. д. Поэтому позиция Плеханова, общим интернациональным представителем которой был Гэд<sup>{73}</sup>, была в конце концов отвергнута и комиссией конгресса и самим конгрессом.

В то время в Плеханове меня поразила некоторая черта староверчества. Его ортодоксализм впервые показался мне несколько окостеневшим. Тогда же я подумал, что политика далеко не самая сильная сторона в Плеханове. Впрочем, об этом можно было догадаться по его странным метаниям между обеими большими фракциями нашей партии.

Дальше следует встреча на Стокгольмском съезде. Тут только что упомянутая черта политики Плеханова проявилась со всей яркостью. Плеханов отнюдь не был уверенным меньшевиком на этом съезде — он и здесь хотел сыграть отчасти примиряющую роль, стоял за единство (ведь это был объединительный съезд), утверждал, что в случае дальнейшего роста революции меньшевики не найдут нигде союзников, как только в рядах большевиков, и т. д. Вместе с тем его пугала определенность позиции большевизма. Ему казалось, что большевизм не ортодоксален.

На самом деле главной отличительной чертой между фракциями в то время была политика по отношению к крестьянству.

Схема революции перед меньшевиками была такова: в России происходит буржуазная революция, которая приведет к конституционной монархии, в лучшем случае — к буржуазной республике. Рабочий класс должен поддержать протагонистов этой революции, капиталистов, в то же время отвоевывая у них выгодные позиции для грядущей оппозиции, а в конце концов — и для революции. Между революцией буржуазной и революцией социалистической предполагалась пропасть времени.

Между прочим, я должен сказать, что в одной передовой статье в «Новой жизни» я высказался в смысле возможности захвата власти пролетариатом и сохранения тем не менее под его руководством быстро «врастающего» в социализм капитализма. Я тогда рисовал картину чрезвычайно близкую к нынешнему нэпу, но получил нагоняй от Л. Б. Красина, который нашел статью неосторожной и не марксистской.

Большевики, тов. Ленин в первую голову, действительно были осторожны и отнюдь не говорили, что *начнут* с социалистической пролетарской революции; но они считали, что революцию нужно продвинуть как можно дальше, не занимаясь теоретическими гаданиями и предсказаниями, которые вообще были не в духе Владимира Ильича. Практически большевики уверенно шли по правильной дороге. Для

устройства плебейской революции — революции по типу Великой французской, но с возможностью продвижения дальше 93-ю года — союз с буржуазией никуда не годился; поэтому наша тактика была: разрыв с буржуазией. Но мы отнюдь не хотели изолировать пролетариат. Мы указывали ему на огромную задачу — организовать вокруг него крестьянство, в первую очередь крестьянскую бедноту.

Плеханов этого понять не мог. Обращаясь к Ленину, он говорил ему: «В новизне твоей мне старина слышится!» Какая старина? Эсеровская... Плеханову казалось, что сближение наше с крестьянством заставит нас пойти вместе с эсерами и потерять нашу типичную пролетарскую физиономию.

Не нужно с совершенным легкомыслием относиться к этому непониманию Плеханова — с легкомыслием, которое сводило бы все к узости и заскорузлости плехановской сверхортодоксальности. Разве в нашей Великой революции мы не вынуждены были одно время включить в правительство эсеров, хотя бы то и левых, и разве это было вполне безопасно? Разве мы не радуемся сейчас, что своей мальчишеской политикой левые эсеры произвели сами свое отсечение от правительства? Опасения на счет «омужичения» советской власти, которым поддаются иногда гг. Шляпников и Коллонтай и др. <sup>{74}</sup>, неосновательны, но почва, их питающая, каждому ясна. Сейчас даже нельзя с полной уверенностью сказать, как пройдет равнодействующая рабоче-крестьянского правительства, хотя все говорит за правильность предсказания тов. Ленина на партийном съезде, что огромный груз крестьянства, который мы после смычки вынуждены будем нести с собою, замедлит наше движение, но, «тяжкой твердостью своею его стремление крепя», не заставит его уклониться от прямого направления на коммунизм.

Но все это выяснилось позднее. В то время было ясно одно: рабоче-крестьянская революция есть пролетарская революция, а буржуазно-рабочая революция есть измена рабочему классу. Для нас это было ясно, но не для Плеханова. Я помню, что во время очень кусательной речи Плеханова сидевший рядом со мною Алексинский, тогда «крайний» большевик <sup>{75}</sup>, чуть не бросился на него с кулаками, вовремя, однако, подхваченный за фалду отнюдь, впрочем, небестемперamentным тов. Седым <sup>{76}</sup>.

Увы! Печальным союзом Алексинского с Плехановым все это должно было позднее кончиться.

Я возражал Плеханову на Стокгольмском съезде. Мое возражение

сводилось главным образом к противопоставлению его взгляду взгляда другого ортодокса — Каутского. Это было легко, ибо в то время Каутский в брошюре «Движущая сила русской революции» высказался в нашем духе. Но Плеханов особенно рассердился на то, что на его упрек в бланкизме я сказал, что он имеет о практике активной подготовки и активного руководства революцией представление, почерпнутое, по-видимому, из оперетки «Дочь мадам Анго». В последней реплике по этому поводу Плеханов говорил всяческие сердитые слова.

Опять прошло несколько лет, и мы встретились на Копенгагенском международном конгрессе, уже после того, как надежды на первую русскую революцию были потеряны. На Копенгагенском конгрессе я присутствовал в качестве представителя группы «Вперед» с совещательным голосом, но практически я совершенно сошелся с большевиками и, так сказать, принят был в их среду и даже уполномочен ими представлять их опять-таки в одной из важнейших комиссий: по кооперативам. Здесь произошло то же самое. Плеханов стоял за строжайшее отграничение партии от кооперативов, главным образом боясь прилипчивости «лавочного» кооперативного духа.

Надо сказать, что Плеханов на Копенгагенском конгрессе стоял гораздо ближе к большевикам, чем к меньшевикам. Насколько я помню, Владимир Ильич не слишком тогда интересовался вопросами о кооперативах, но все же в русской делегации был заслушан мой доклад и возражения Плеханова. Разногласия были приблизительно параллельны тем, которые были между нами в Штутгарте по поводу профсоюзов. В этот раз, однако, Плеханов мало работал по соответствующему вопросу, так что спорить с ним особенно не приходилось.

Зато у нас установились почему-то очень хорошие взаимные личные отношения. Он несколько раз приглашал меня к себе, мы оба вместе уезжали с заседаний домой, и он с удовольствием делился со мною впечатлениями, я сказал бы, главным образом беллетристического характера, о конференции. Плеханов к этому времени уже очень постарел и был болен, болен весьма серьезно, так что мы все за него боялись. Это не мешало тому, чтобы он был по-прежнему блестяще остер, раздавал чудесные характеристики направо и налево, причем заметно было и сильное пристрастие. Любил он главным образом старую гвардию. Особенно тепло и картинно говорил он о Гэде, о тогда уже покойном Лафарге. Заговаривал я с ним и о Ленине. Но тут Плеханов отмалчивался и на мои восторги отвечал не то чтобы уклончиво, скорей даже сочувственно, но неопределенно. Помню я, как во время одной из речей Вандервельде

Плеханов сказал мне: «Ну, разве не протодиакон?» И это словечко так в меня запало, что для меня и до сих пор великолепные протодиаконские возглашения и ораторский жар знаменитого бельгийца сливаются воедино. Помню также, как во время речи Бебеля Плеханов поразил меня скульптурной меткостью своего замечания: «Поглядите на старика, совершенно голова Демосфена». В моей памяти выросла сейчас же известная античная статуя Демосфена, и сходство показалось мне действительно разительным.

После Копенгагенского конгресса мне пришлось делать доклад о нем в Женеве, и при этом Плеханов был моим оппонентом. Еще несколько раз устраивались дискуссии, иногда философского характера (по поводу, например, доклада Деборина), и на них мы с Плехановым встречались. Я ужасно любил дискуссировать с Плехановым, признавая всю огромную трудность таких дискуссий, но давать здесь какой бы то ни было отчет об этом не решаюсь, так как, может быть, могу быть односторонним.

После отпадения Плеханова от революции, то есть уклонения его в социал-патриотизм, я с ним ни разу не встречался.

Повторяю, здесь дело идет не о характеристике Плеханова, как человека, мыслителя или политика, а о некотором взносе в литературу о нем из запасов моих личных воспоминаний. Быть может, они окрашены несколько субъективно — иначе человек и писать не может. Пусть с этой субъективной окраской и примет их читатель. Такую большую фигуру объективно вообще не в силах охватить один человек. Из ряда суждений выяснится в конце концов этот монументальный образ. Но одно могу сказать, часто мы сталкивались с Плехановым враждебно, его печатные отзывы обо мне в большинстве случаев были отрицательными и злыми, и, несмотря на это, у меня сохранилось о Плеханове необычайное, сверкающее воспоминание. Просто приятно бывает подумать об этих полных блеска глазах, об этой изумительной находчивости, об этом величии духа — или, как выражается Ленин, физической силе мозга, — об аристократическом челе великого демократа. Даже самые огромные разногласия, в конце концов приобретаю исторический интерес, скинутая в значительной мере с чаши весов, — блестящие же стороны личности Плеханова останутся навеки.

В русской литературе Плеханов стоит в истории социализма в самом близком соседстве с Герценом, в том созвездии (Каутский, Лафарг, Гэд, Бебель, старый Либкнехт), которое лучисто окружает два основных светила, полубогов Плеханова, о которых он, сильный, умный, острый, гордый, говорил, однако, не иначе, как в тоне ученика, — Маркса и

Энгельса.

# АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ

Речь, произнесенная на открытии памятника Радищеву в Петрограде 22 сентября 1918 г. Первоначально издана брошюрой (изд. Петроградского Совета, 1918). Перепечатывалась в двух изданиях «Литературных силуэтов».

.....

«Я оглянулся окрест меня. Душа моя страданиями человечества уязвлена стала»<sup>{77}</sup>.

Какой величавой и торжественной скорбью веет от этих простых, старинных слов! Вы видите картину: первый человек в своей стране, который оглянулся вокруг, посмотрел человеческим, любящим, критикующим оком и... ужаснулся.

Эти слова произнес пророк и предтеча революции Александр Николаевич Радищев, первый, еще в царствование Екатерины, в пламенных строфах воспевавший вольность и восславивший грозный суд народный над царями.

Слава ему!

А. Н. Радищев родился в 1749 году. Он был сын небогатого, но гуманного помещика. Однако вокруг царил весь ужас крепостничества. Понимал ли его маленький Радищев? Это вероятно, как вероятно то, что и родители его, люди добрые, могли осуждать своих диких соседей и рано заронить зерно мучительной жалости и огненного негодования в сердце подрастающего человека великой совести.

Радищев получил очень хорошее образование, сперва под кровом новооткрытого в то время Московского университета, а потом в Лейпциге<sup>{78}</sup>. За границей его прельстила, однако, не столько полусхоластическая немецкая философия, сколько блестящая и свободная мысль великих предшественников французской революции. Гельвеций, Мабли, Монтескье, Руссо, открывавшие разуму новые горизонты, 122 потрясавшие своей критикой устои старого порядка и мощно двигавшие сознание народов к идеалам народовластия» стали тогда и остались на всю жизнь учителями Радищева.

Сперва это вольномыслие не казалось опасным. Ведь сама Екатерина кокетничала с либерализмом. Но так было, лишь покуда ей и дворянству либерализм этот не стал казаться губительной угрозой. По мере приближения революции русские власти все круче относились к свободной мысли, еле теплившейся в России, а когда революция во Франции разразилась, императрица ответила на нее свирепыми репрессиями против своих недавних друзей.

Вольнодумный таможенный чиновник Радищев, уже раньше ратовавший за справедливость и имевший столкновения с непосредственным начальством, оказался на самом дурном счету.

Но это его не остановило. Наоборот, революция звала его своим гремящим голосом, и — верный сын и ученик ее — он ответил.

Свою знаменитую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» он начал еще в 1785 году, но кончил и выпустил как раз в дни, когда бушевало во Франции революционное пламя, в 1790 году. Книга разошлась всего в ста экземплярах, но весь Петербург говорил о ней. Редко кто с восхищением: большинство читателей, за безграмотностью народа, принадлежало к врагам идей, которые проводил этот отщепенец своего класса, этот опасный перебежчик в лагерь угнетенного и спящего народа, видимо затеявший разбудить его.

Екатерина была права, когда она всполошилась. Екатерина была права, признав Радищева мятежником. Он был им, и в том его немеркнущая слава.

Нет, то был не только гуманист, потрясенный зверствами крепостного права, предшественник кающегося дворянина, вроде либерального Тургенева, то был революционер с головы до ног, в сердце своем носивший эхо мятежного и победоносного Парижа. Не от милости царей ждал он спасения, а «от самого излишества угнетения», то есть от восстания. В своей яркой книге, которую и сейчас читаешь с волнением, он не только, то бичуя, то рыдая, то издеваясь, рисует нам мрак помещичьей и чиновничьей России, он замахивается выше, он прямо грозит самодержавию, он зовет к борьбе с ним всяким оружием и радуется плахе для царей.

О помещиках он говорит:

«Звери алчные, пиявицы ненасытные, что мы крестьянину оставляем: то, чего отнять не можем, воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко от него не только дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон воспрещает отъяти жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у крестьянина постепенно! С одной стороны — почти всесилие; с другой — немощь, беззащитная. Се жребий заклепанного в узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола в ярме...»

Так тоном библейского пророка клеймит Радищев свое сословие. В оде «К вольности» он раздражается грозю:

*О, дар небес благословенный,  
Источник всех великих дел,  
О вольность, вольность, дар бесценный,  
Позволь, чтоб раб тебя воспел.  
Исполни сердце твоим жаром,  
В нем сильных мышц твоих ударом  
В свет рабства тьму ты претвори,  
Да Брут и Телль еще проснутся,  
Седяй во власти да смятутся  
От гласа твоего цари...  
Возникнет рать повсюду бранна,  
Надежда всех вооружит;  
В крови мучителя венчанна  
Омыть свой стыд уж всяк спешит.  
Меч остр, я зрю, везде сверкает,  
В различных видах смерть летает,  
Над гордою главою паря.  
Ликуйте, скованы народы,  
Се право мщение природы  
На плаху возвело царя.  
И ноци се завесу лживой  
Со треском мощно разодрав,  
Кичливой власти и строптивой  
Огромный истукан поправ,  
Сковав сторуцна исполина,  
Влечет его как гражданина  
К престолу, где народ воссел...*

Печатаая в открытой, легальной книге те отрывки из «Вольности», которые я привел, Радищев еще добавляет, что такое будущее ждет именно наше отечество.

Удивительно ли, что по появлении книги автор был арестован и заключен в Петропавловскую крепость? Удивительно ли, что обвинителем против него выступила сама императрица? Удивительно ли, что крамольник приговорен был к смертной казни?

Скорее удивительно, что он все-таки был помилован, и смерть заменена ему была десятилетней каторгой в Илимске.

Радищев вернулся лишь при Павле в 1796 году и поселен был в Саратовской губернии<sup>{79}</sup>. Тело его было сломлено лишениями сибирской жизни. «Взглянув на меня, — пишет он, — всяк может сказать, ко-лико старость предварила мои лета».

Но вот воцарился Александр, в воздухе опять повеяло той вредоносной весной, которою самодержцы порой угощали народ. Она принесла с собой смерть великому человеку, душой пребывавшему верным своим идеям.

Вот что рассказывает об этом Пушкин:

«Император Александр приказал Радищеву изложить свои мысли касательно некоторых гражданских установлений. Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался прежним своим мечтам. Граф Завадовский удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич! Охота тебе пустословить по-прежнему, или мало тебе было Сибири?»

В этих словах Радищев увидел угрозу; огорченный и испуганный, он вернулся домой и... отравился».

Убежденный, как никогда, в неисправимости самодержавия и чувствуя, как далек еще предсказанный им революционный рассвет, Радищев сказал: «Уйду я лучше от вас, звери, а заветы мои пребудут до лучших дней».

Эти дни пришли.

Победоносная трудовая русская революция ведет беспощадную войну с помещиками, и на ту часть интеллигенции, которая осмелилась стать ей поперек дороги, она наложила тяжелую руку трудовой диктатуры, но не случайно, что первый памятник, воздвигаемый ею, отдает честь помещику и интеллигенту. Ибо тут стоит перед вами образ помещика, отрясшего прах дворянский от ног, с ужасом отошедшего от них, к народу принесшего сердце, полное святого гнева и горячей любви. Тут перед вами интеллигент, который знанием своим воспользовался, чтобы бросить яркий луч в ад старого порядка и осветить перед всеми его гнойные язвы.

Вы видите, товарищи: мы заставили для Радищева посторониться Зимний дворец, бывшее жилище царей. Вы видите: памятник поставлен в брешу, проломанной в ограде дворцового сада. Пусть эта брешь являет собою для вас знамение той двери, которую сломал народ богатырской рукой, прокладывая себе дорогу во дворцы. Памятнику первого пророка и

мученика революции не стыдно будет стоять здесь, словно стражу у Зимнего дворца, ибо мы превращаем его во дворец народа: в его кухнях будем готовить для трудящихся пищу телесную, в его Эрмитаже, в его театре и великолепных залах обильно дадим пищу духовную.

Теперь смотрите на величественное и гордое, смелое, полное огня лицо нашего предвестника, как создал его скульптор Шервуд. В нем живет нечто смятенное, вы чувствуете, что бунт шевелится в сердце этого величаво откинувшего орлиную голову человека.

Радищев сам дал характеристику своей души. Вот что говорит он о людях, ему подобных:

«Люди сии, укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных путей и вдаются в неизвестные и непреложные. Деятельность есть знаменующее их отличие, и в них-то сродное человеку беспокойство является ясно. Беспокойствие, произведшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюдно даже до пределов невозможного и непонятого, возродившее вольность и рабство, веселие и муку, покорившее стихии, родившее мечтание и истину, ад, рай, сатану и бога».

Могучую душу носил в себе этот человек, но когда подбирал выражения для общей ее характеристики, то называл ее «умом изящным», и черты этого изящества сумел рядом с мощью и мятеж. — ностью придать его голове Шервуд.

Пока мы ставим памятник временный.

Наш вождь Владимир Ильич Ленин подал нам эту мысль: «Ставьте, как можно скорее, хотя бы пока в непрочном материале, возможно больше памятников великим революционерам и тем мыслителям, поэтам, которых не хотела чтить буржуазия за свободу их мысли и прямоту их чувства. Пусть изваяния предшественников революции послужат краеугольными камнями в здании трудовой социалистической культуры».

В исполнение этого плана мы и ставим здесь первый памятник нашей серии монументальной пропаганды. Но памятник так прекрасен, что мы сейчас же приступим к работе для того, чтобы отлить его в бронзе на долгие века.

Товарищи! Пусть искра великого огня, который горел в сердце Радищева и отсвет которого ярко освещает вдохновенное лицо его, упадет в сердце каждому из вас, присутствующих на этом открытии, и в сердце всех тех многочисленных прохожих, которые в этом людном месте Петербурга остановятся перед бюстом и на минуту задумаются перед доблестным предком<sup>[9]</sup>.

## КОММУНИСТЫ И ГЕРЦЕН

Впервые статья напечатана в однодневной газете памяти А. И. Герцена «Колокол», Пб., 1920 (см. также А. В. Луначарский, Литературные силуэты, изд. 2-е, 1925).

Первую статью о Герцене А. В. Луначарский написал в 1912 г. («Памяти Герцена»), а в 1920 г. произнес о нем речь на заседании ВЦИК (эти статья и речь объединены в одну статью в сборнике «Литературные силуэты»), прочел в 1924 г. лекцию «А. И. Герцен и люди сороковых годов» (опубликована посмертно в журнале «Литературный критик», 1937, № 4 и в книге: А. В. Луначарский, Статьи о литературе, М., 1957).

.....

Коммунисты соединяют в себе адептов самого точного и объективного научно-исторического направления и самых горячих, энтузиастических практиков-революционеров.

По одну сторону от них стоит революционер-романтик со всеми своими пламенными фразами и экстатическими позами, совершенно неспособный считаться при борьбе ли, при оценке ли фактов прошлого с объективными условиями, человек, всецело охваченный своей часто возвышенной эмоцией; по другую сторону — чистокровный историк, беспристрастный, как дьяк, в приказах поседельй.

И, однако, никогда пламенные рыцари непосредственной страсти не проявляли такой вулканической энергии, такого беззаветного самоотвержения, такого боевого духа, какие проявила и какими победила Российская Коммунистическая партия.

И, с другой стороны, никогда ни одна историческая школа, ни одно направление социально-критической мысли не приступало к оценке прошлого и настоящего с таким холодным, натуралистическим<sup>[80]</sup> подходом, как ортодоксальный марксизм.

Потому-то коммунист точнее оценивает великую фигуру Герцена и крепче ее любит, чем те, что кажутся более к ней близкими.

Коммунист не создаст себе иллюзий, не подкрасит Герцена

анахронически, чтобы в нем найти себе псевдосоюзника, он не преклонит колени и не заменит исследование акафистом. Зато он и не упрекнет Герцена в отсутствии таких чувств и взглядов, каких он исторически иметь не мог. Для марксиста Герцен человек своего времени, передовой и великий, но все же дитя своей эпохи, и сквозь эту эпоху он рассматривает героя.



*А. В. Луначарский.*

А вместе с тем пламенное сердце Герцена, его интенсивная жизненность, его непомерная отзывчивость, сила его негодования против тюрьмы феодализма и пошлятины буржуазного уклада, яд его сарказмов, нежность и гордая вера в будущее обездоленных, пророческая

обращенность лица его к великому завтра — все это рисует в Герцене для коммуниста великого старшего брата.

Постойте, но ведь Герцен был своего рода революционный славянофил? ведь он не понял чреватости ненавистного, сухого, желтого капитала? ведь он мечтательно ждал спасения от отсталого мужицкого уклада?

Конечно. Даже для самой передовой русской мысли в то время не пришло еще время не только учуять марш приближающихся пролетарских батальонов, но и понять, что спасение России и Запада пойдет теми же путями. Зато какая духовная мощь сказала в этом великолепном презрении Герцена к либеральному прогрессу; зато если он отворачивается от Запада, то от брезгливости к наступавшему там «демократическому» обману; если он с мучительной надеждой всматривается в туманную русскую даль — это от величия мессианических ожиданий. Он писал: «Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-судьями, царями-представителями, царями-полицейскими. Мы, может быть, требуем слишком многого... но мы не отчаиваемся».



*А. В. Луначарский и Ф. Е. Махарадзе. 1924 г.*

И еще: ведь Герцен великий индивидуалист, в нем так силен аристократ, что он начисто отвергал что-либо над личностью и саркастически отзывался о подчинении человека неопределенному будущему и расплывчатой идее человечества. А коммунизм — ведь это самый чистый коллективизм, и пафос его в том, что *личность* готова зачеркнуть себя ради победы передового *класса* человеческого рода.

Уверяю вас, однако, что сильное самосознание, блестящее здоровьем стремление Герцена к счастью, преобладание у него идеи права человека над идеей долга во сто раз ближе коллективисту-пролетарию, чем полумистическая жертвенность миртовцев, присущая кающейся интеллигенции. Коммунизм мажорен, весел! Он плотский, он языческий,

как Герцен! И если он строит для будущего и, увлекаясь разрушением и созиданием, не жалеет сынов своих, бестрепетно сгорающих в пожаре революции, то уверяю вас — не вследствие сознания долга и не в виде скрытого самоубийства, а от самой полноты сил, жажды счастья и гордой невозможности склонить шею перед тем, что сознание проснувшихся масс осуждает.

Так отразились взаимоотношения великих общественных сил в психике коммуниста. И сквозь всю разницу времени он чувствует и любит богатыря духа Герцена. Будто чудом великан этот видел коммунистическую революцию сквозь пелену десятилетий. Как же он не современник и не брат нам, если ему принадлежит пророчество: «Вся Европа будет втянута в общий разгром: пределы стран изменятся, народы соединятся группами, национальности будут сломлены и оскорблены. Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики останутся и в деревнях будет пусто. А победители будут драться за добычу... И тут — на краю гибели и бедствия — начнется другая война, гражданская расправа неимущих с имущими».

Она началась. Она предотвратит гибель, она откроет двери еще неслыханным достижениям, и те, кто начал ее, в день пятидесятилетия твоей смерти чтят тебя, навеки живой пророк!

## ПУШКИН И НЕКРАСОВ

Статья к столетию со дня рождения Н. А. Некрасова. Впервые напечатана в «Известиях ВЦИК», № 273 за 1921 г. Позднее — в сборнике «Литературные силуэты».

.....

Плеханов в своих недавно напечатанных воспоминаниях о похоронах Некрасова рассказывает замечательный в своем роде инцидент.

Над гробом, готовым опуститься в могилу, говорил Федор Достоевский, которого мы недавно чествовали. Достоевскому казалось, что он сделал величайшее усилие над собою, чтобы почтить покойного, сказав: «Он был не ниже Пушкина». Но целый хор молодых голосов из обступившей могилу толпы закричал: «Выше, выше!» Достоевский поморщился, но продолжал: «Не выше, но и не ниже Пушкина». И опять хор молодых голосов: «Выше, выше!» И за этим хором голосов стояло очень много сознательных элементов тогдашней России. К ним присоединились и другие голоса тогдашней народнической критики с ее великими корифеями.

А между тем писатель, которого Достоевский считал немножко своим конкурентом и который разделял с ним честь и успех говорить речи о Пушкине на посвященном великому поэту торжестве, Тургенев презрительно отзывался о Некрасове, что «в его стихах поэзия и не ночевала».

Это вовсе не показывает, как изменчивы человеческие вкусы и что на вкус и цвет товарищей нет. Это показывает только, что различные группировки в человеческом обществе, имеющие разную классовую окраску, разно оценивают культурные факты.

Прошло, вероятно, безвозвратно то время, когда можно было относиться к пушкинской поэзии как к своего рода дворянской забаве, «приятной, как лимонад», но не имеющей большого социального значения. Мы уж все теперь знаем, что почти небрежное отношение к поэзии Пушкина нашей разночинной и революционно настроенной интеллигенции 60—70-х годов объяснялось напряженностью их гражданского

самосознания и захватившей своей горячностью полемикой «детей и отцов».

Теперь мы ценим Пушкина не только за «пленительную сладость» его стихов. Вдумываясь в него, мы открыли в этой на вид до поверхностности счастливой натуре глубинные мысли и переживания, живучий зародыш почти всех важнейших мотивов, которые развернула потом русская литература. Целый ряд проблем, над которыми мы еще и сейчас можем биться, получил определенные стимулы от Пушкина. Знаем мы теперь уже твердо, что счастливый Пушкин— это легенда. Разве в том смысле счастливый, что мог бы быть безмерно счастливым, что сумел бы быть счастливым, если бы это счастье далось ему. Нет, в наших глазах это не легкомысленный гений, которому ничего не стоит одновременно послать послание «Декабристам» на Восток и «Клеветникам России» на Запад, Протей, которому его политические шатания необходимо простить потому, что «с такого что возьмешь?». Нет, мы знаем, что страшная тень царя пала на дорогу Пушкина и что он так и не смог выйти из-под нее, что он жил во внутреннем смятении и умер несказанно трагической смертью и что боль, которую он сдерживал, тем не менее кровавыми жилками пошла по тому бокалу золотой и шипучей поэзии, который он протянул векам. Нам незачем уступать Пушкина сторонникам искусства для искусства, нам незачем говорить: Некрасов наш поэт, а Пушкин ваш поэт, — оба наши!

Но тем не менее не характерно ли, что и сейчас, вот в эти революционные годы, идет знаменательная борьба под теми же знаменами, что борьба эта перекидывается через головы последних старых интеллигентов и попадает в сердце новой интеллигенции, выдвигаемой пролетариатом?

Когда прислушиваешься к беседам и спорам пролетарских поэтов, оказывается, что там все то же: и там есть сторонники формы как единственно ценного в искусстве, единственно подлинно принадлежащего к области искусства, и сторонники содержания, которым кажется, что новое содержание естественно создает новую форму. И там есть люди, которые упрекают иных из своих товарищей в том, что они уходят в стихию общечеловеческой (а иной раз скажут прямо буржуазной) поэзии и отступают от исконных мотивов поэзии рабочей. И там отвечают на это, что не желают писать «тенденциозных стихотворений», служить гражданской поэзии, которая-де при всей своей благонамеренности отнюдь не удовлетворяет размаха их поэтических волнений. Поэтому для нас серия больших юбилеев, которая наступила сейчас<sup>[81]</sup>, весьма полезна. Отдавая себе отчет в произведениях величайших писателей момента расцвета

русской интеллигентской литературы и в общественной роли, которую сыграли титаны этой литературы, мы при свете зажженных ими огней можем лучше понять дошедшую до нас проблему.

В моей речи о Достоевском<sup>{82}</sup> я указывал на то, что Достоевский сам по себе лучший пример тому, в какой степени при несовершенной и незаконченной форме то, что называется содержанием, то есть кипение чувств и мыслей, самый поток мечты, может быть так титанически силен, что вопросы формальные возникают разве только для объективного исследователя, сумевшего искусственно выйти из-под очарования писателя и подступить к роману с анатомическим ножом, заставляя его на время смолкнуть и превратиться в чистый объект обследования. Исследовать Достоевского нелегко, это так же трудно, как исследовать извергающую огнедышащую гору.

Еще раз по этому поводу припоминаю горькие слова величайшего писателя безвременья Чехова, который жаловался, что «нет бога в сердцах современных ему писателей», а потому и пишут они очень хорошо по форме и очень ненужно по существу. И что был же этот «бог», было что-то, что старые писатели ставили выше всего на свете и выше себя самих и во имя чего они пророчествовали, — был и придавал пророчествам их величавость и силу.

Пушкин вступил в жизнь в такое время, когда русский народ, даже в лице своей интеллигенции, еще почти ничего не осознал, еще почти ничего эстетически не оформил.

Вокруг было бесчисленное количество материалов, бесчисленное количество проблем, способных быть художественно разрешенными. И молодой, свежий гений сначала действительно почти по-ребячески, потом все более серьезно и вдумчиво «пел» то ту, то другую сторону жизни. И в его песне сказывалось, рядом со многим дворянским, свойственным общественной группе его времени, также его нации свойственное, и многое общечеловеческое, то есть такое, что может быть близким миллионам людей за пределами этих ограничений.

Первые песни созревшей юности каждой национальной литературы имеют в себе неизъяснимое очарование, именно благодаря этому соединению в совершенно своеобразном субъекте, как бы впервые отражающем весь мир, вечный источник грядущих вдохновений: Гомер, Гёте, Пушкин.

Классовое в Пушкине можно, конечно, выделить, можно, конечно, определенно установить, что это поэзия дворянская и при этом определенного времени дворянства — тех самых годов, из которых вышел

декабризм. Но чем дальше мы отходим от Пушкина, тем меньше значения имеет такое выделение, тем больше значения — рассмотрение вопроса о созданных Пушкиным ценностях, оставшихся живыми и для нас. Поэтому поэты, не имеющие серьезного содержания, готовые только по-новому, в новой форме откликнуться на такие вечные явления, как природа, любовь, смерть и т. д. и т. п., даже далекие от Пушкина по форме, вырабатывая, как они думают, совершенно новый язык, тем не менее склонны видеть в нем своего патрона.

Наше время должно было выдвинуть и выдвинуло поэзию гражданскую. Я склонен думать, что мы не имеем еще в этой области ничего, что стояло бы наряду с гражданской поэзией Некрасова, и я думаю, что объяснением этому является сама революционная кипучесть нашей эпохи. Великие поэты революции поют до нее и после нее. Во время революции с ее боями и бедами искусству трудно развернуться.

Но дело не в достоинстве тех или других произведений. Некоторое оскудение литературы под громом революции отражается ведь на всех направлениях, как, вероятно, на всех направлениях благотворным образом отразится революция после того, как она прошумит, в особенности при условии, в котором мы все убеждены, что на этот раз дело кончится ее безусловной победой. Дело не в этом, а в самом понятии о достоинстве гражданской поэзии.

В «Фаусте» Гёте сказано: «Политическая песня — скверная песня». И это отвечало особенностям гётевского времени и гётевского настроения, по определенным причинам старавшегося быть и отчасти бывшего аполитичным. Но это ни на минуту не принижает гражданской поэзии вообще. Ее место чрезвычайно широко в поэзии, и если хорошенько присмотреться, то окажется, что многие шедевры человеческой литературы сознательно, а порою бессознательно, оказываются политическими песнями. Но политические песни может создавать каждый класс. Нам родны наши вечные и время от времени вновь все мощнее возникающие стихийные революционные песни. Мы чувствуем, как сочувственно бьется наше сердце, когда слышим голос того или другого класса, хотя бы за пределами седых веков, переживавшего наши горести и радости в бурном движении протеста, в самоотверженном служении новому прекрасному до его смертного последнего боя.

Достоевский предрекал России великое будущее, и вот оно выполняется. Россия вписывает в историю человечества страницы необычайной, никогда непревзойденной яркости. Великая русская революция, величайшая из всех когда-либо имевших место, не могла не

иметь и пророков соответственной напряженности. Таким является для нас Некрасов. Это была заря революции, это был, можно сказать, первый отголосок пробуждения низового народного сознания. Пробуждался он так медленно, симптомы пробуждения были так незначительны, что некрасовская песня — больше песня о сне народном, чем симптом такого пробуждения. Но если помещик Некрасов пел мужицкое горе и гражданскую скорбь и гражданское негодование интеллигенции, то это потому, что он со всех сторон окружен был дружной фалангой разночинцев, людей, народные корни которых были еще недалеко, людей, которым можно было петь о себе: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой» и которые вместе с тем чувствовали до глубины души то, что выражено было в «Исторических письмах» Миртова: долг, почти гнетущий, почти страдальческий долг отдать свои силы народу именно потому, что им удалось быть счастливыми, достигшими состояния критической и разумной личности в момент глухой ночи и полусонных стенаний родивших их масс.

И, несмотря на то, что мы стоим на гребне волны самой революции, мы ясно сознаем, что являемся продолжателями того же дела, что мы с ними во многом из одного куска. Не пройдет равнодушно рабочий мимо великой песни о деревне, пропетой Некрасовым, и редко кто из интеллигентов-революционеров почувствует себя чуждым некрасовским настроениям сострадания, надежды, гнева, внутренней борьбы.

Конечно, и в Некрасове много своеобразного, временного; он в полной мере сын своей эпохи. Но поскольку эта эпоха не безразлична, поскольку эта эпоха важное звено именно в этой цепи, к которой мы и сами себя относим, постольку токи, проходившие через сердце Некрасова, живут и в наших собственных сердцах. Вот почему мы носим в себе огромное содержание (когда я говорю мы, я больше думаю о пролетариате). Я знаю, что содержание это должно вылиться в великую поэзию, насыщенную революционным настроением. И мы не можем не осознать в Некрасове учителя, на которого приходится показывать, как на пример.

В стихах Некрасова поэзия не ночевала? Разве не ясно, что так мог писать только человек, совершенно узко понявший, что такое вообще поэзия. Во всяком произведении, которое потрясает, есть поэзия, и чем более потрясения, тем более там поэзии. А если его нет, то при всем внешнем искусстве есть только кимвал бряцающий. Потрясает тебя Некрасов? Нет. Это еще не значит, что в Некрасове нет поэзии. Это значит только, что нет в твоём сердце тех струн, на которых играла муза Некрасова. И человек, понимающий некрасовскую музыку, может только с

сожалением посмотреть на своеобразного глухого, которому она недоступна, будь то хоть сам Тургенев.

Поэзия не может не быть поэзией своего времени и должна быть ею. Но тот, кто выражает черты своего времени, роднящие его с будущим, оказывается бессмертным.

# НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

Впервые напечатано в журнале «Коммунистический Интернационал», № 19 за 1921 г., позднее — в сборнике «Литературные силуэты», изд. 1-е и 2-е.

Кроме двух статей, помещенных в настоящей книге, см. статью Луначарского «Некрасов и место поэта в жизни» (1928).

.....

Проклятому царизму предстояло еще догнивать до 1917 года, чтобы кончить распутищиной и бесславным падением, но крепостное право ко времени зрелости Некрасова уже созрело для смерти.

Основным фактором, который осудил на гибель крепостное право, было развитие капитализма в России. Подневольный труд становился менее выгодным для эксплуататора, чем труд наемный. Не только выросший индустриальный капитал требовал себе свободных рук, но и наиболее прогрессивные в экономическом отношении помещики понимали, что малоземельный вольный крестьянин окажется более удобным для эксплуатации материалом, чем крестьянин-раб.

Однако в сознании различных классов России готовившийся знаменательный переворот — крупный шаг от грубого феодализма к капитализму, хотя еще и заключенному в слегка лишь расширившиеся рамки самодержавия, отражался не только в голом экономическом учете.

Рядом с людьми, уверенными в том, что крепостное право невыгодно, рядом с такими помещиками и капиталистами, рядом с государственными людьми, сознававшими, что крепостное право стало поперек дороги железнодорожному развитию и военной мощи России и при этом может разразиться целым рядом крестьянских восстаний, рядом с экономически передовыми слоями крестьянства, крупно-и мелкокулаческими, заранее рассчитывавшими свободу на звонкую монету, — мучительно, торжественно и трогательно разворачиваются романтические чувства. За такую романтику нельзя, конечно, считать тот официальный патриотический восторг, из которого вынырнуло грошовой умиление вокруг царя-освободителя, но несомненно, что в самом дворянстве, в

гниению крепостного права все сильнее и сильнее разворачивалось мучительное сознание чудовищности самого факта рабства и особенно на всяком шагу проявлявших себя злоупотреблений им.

Всеми красками переливает это дворянское покаяние. Еще Радищев берет из глубины прочного крепостничества острую революционную ноту, которую потом подхватывают Рылеевы и Пестели и в некоторой степени, передают ее Некрасову. Рядом с этим гуманное барство с целой серией крупных представителей, венчающееся Тургеневым, и, наконец, слезливое покаяние с каким-то нарочитым преклонением перед выпоротым мужиком и его исконной мудростью, причем в мужиковстве этом часто сильно сказывался страх дворянства перед наступавшей на него капиталистической культурой. Мужиковствующее, кающееся дворянство тоже увенчалось грандиозной фигурой Толстого<sup>{83}</sup>.

Одно перечисление этих дворянских, частью крупнодворянских имен показывает, что культурные люди из русских феодалов очень глубоко переживали неправду своего положения. Этому способствовало, конечно, то, что они сами были холопами. Русское крепостное право почти на таких же началах подчиняло конюха помещику, как штальмейстера<sup>{84}</sup> — царю. Дворяне, побывавшие за границей, начитавшиеся вольных книг, утонченные, талантливые сыны уже клонящегося к упадку, уже перезрелого, но тем более рафинированного класса, мучительно сознавали свою бесправность перед самодержавием. Это не могло не заставить их оглянуться на самодержавие свое над бесправным крестьянством. Люди острой оппозиции, а подчас революционеры, они не могли не чувствовать неразрывного единства самодержавия с крепостным правом. Да и нервы людей офранцузившихся, тонко воспитанных, художественно развитых, не переносили соседства толстого и длинного хвоста помещичества, более отставшего, чем его небольшая голова, и состоявшего из насильников и подлецов.

Иными были романтики-разночинцы. В то время как помещики, даже наиболее левые, даже герценовского типа<sup>{85}</sup>, в значительной степени ограничивались оппозиционным словом, боялись прямого обращения к крестьянской революционной стихии, за совершенно ничтожными исключениями, не знали, как подойти к грозному чудовищу самодержавия, — разночинцы, непосредственные выходцы из народа, со свежими нервами, сильные мужичьей кровью, хотели схватить врага за горло.

Неправильно относить разночинцев к буржуазии, утверждать, что будто именно первые волнения «буржуазной революции» выдвинули

фалангу типичных людей 60—70-х годов. Буржуазия тогда более чем когда-либо готова была мириться с самодержавием. Неправильно зачислять разночинцев в мелкую буржуазию, разумея под этим сознательную защиту промышленного и кулацкого слоя городов и деревни. Единичные случаи проникновения этой идеологии в общую идеологию руководящей группы разночинцев ничтожны. Неправильно, наконец, говорить о разночинцах, как об интеллигенции в качестве между-классовой группы, которая-де своими непосредственными интересами сталкивалась с самодержавием и, естественно, искала себе опоры в массах — в ком же еще?

Все подобные подходы не попадают в цель. Конечно, разночинство должно было потом породить из себя интеллигенцию, определенным образом уравновесившись между различными социальными явлениями, определенным образом развернувшись потом вследствие тяготения к тем или иным классам. Но в разночинце тогдашней России, в том, который жил Чернышевским, зачитывался Добролюбовым, сторона идеологическая, по самым условиям его быта, перевешивала его экономические, классовые или групповые интересы. Он чувствовал себя настоящим авангардом народных масс. В своем сознании он оценивал себя как неразрывную часть всей народной трудовой массы, в первую голову — крестьянства. Он, вышедший из народа, дитя семьи трудовой, добился положения критически мыслящей личности, и это значило, что он вооружен сознанием гражданина, выплеснутого темной массой, и, стало быть, он — орган этой темной массы, стало быть, он должен отдать перед массой долг, превратить свою критическую мысль в острое оружие в руках масс.

Огромная скорбь кипела в сердце такого человека, когда он оглядывался назад, на море страданий и унижений своих непосредственных братьев и родичей. Огромная надежда захватывала его дух, так как, чувствуя родство свое с этой стихией, он предполагал вполне возможным, вполне естественным повести ее, непобедимую, всесокрушающую, на приступ твердыни крепостничества и самодержавия.

Все казалось возможным, и мысль разночинца лишь ненадолго остановилась на освободительном, но индивидуалистическом оптимизме Писарева. Это нужно было только, чтобы самому встать прочнее на ноги. Но и Писарев уже звал от «разумной жизни» вперед, к задаче «одеть голого, накормить голодного». Как одеть голого, как накормить голодного, устроить как можно справедливее, как можно счастливее, как можно светлее народ, после того, как он в великой буре сбросит с себя все цепи?

Откуда взять краски для того, чтобы представить себе и тем, кого надо учить, как можно конкретнее это светлое будущее? Откуда же, если не у

западноевропейских мыслителей, выражающих желания тамошних народных масс, то есть у последних утопических социалистов, у Оуэна, Виктора Консидерана, у молодого Маркса?

Я, конечно, не хочу сказать, что все русские разночинцы были, таким образом, юношеским социалистическим авангардом народа. Такими были руководители разночинства. Но редко когда руководители имели такое большое влияние на всю социальную группу, как в эпоху «Современника» и «Отечественных записок». Беда, конечно, была в том, что крестьянство, глотая слезы обиды и злобы после расправы на конюшне, после увода на барскую усадьбу новых наложниц, после отдачи в солдаты, было и идеологически и экономически настолько еще слабо организовано, что все надежды на его поддержку оказались тщетными, зародышевый же пролетариат еще не играл сколько-нибудь серьезной роли.

Вот почему эта весна русской первой революции, этот первый натиск кучки вышедших из народа мыслителей и бойцов фатально должен был выродиться в бессильный призыв к народным массам, а потом в трагический поединок «Народной Воли» с самодержавием.

Некрасов в своей поэзии живейшим образом отразил это знаменательное явление.

Некрасов — дворянин. Как дворянин, он был как будто самой судьбой поставлен в такое положение, чтобы обнять все противоречия дворянства. Мать — русокудрый, голубоглазый ангел, пани Закревская, сказочница, повествовавшая о рыцарях, монахах и королях, нежный благоуханный цветок дворянской культуры, обвеянный дыханием Запада, мать — сама крепостная по отношению к своему извергу мужу, горько и кротко осуждавшая ад, который был кругом. Отец — сатана в этом аду. Отец — помещик, офицер, исправник, картежник, развратник, самодур. Как будто нарочно выбраны эти два типа, чтобы в еще детском сердце Некрасова укоренить пафос дистанции между высокой дворянской гуманностью и низким дворянским тиранством.

И на народ насмотрелся молодой Некрасов, на народ деревни. Непрерывным ужасом текли картины страданий народа под ударами режима, и тем не менее между этими ужасами проскальзывала та радость жизни, на которую народ мог быть способным, вся поэзия крестьянского труда на лоне широкой волжской природы, крестьянские праздники, крестьянские песни, не только тоскливые, но и ликующие, соль мужицкого юмора, чудесные белые и русые головки очаровательных цветков деревни — ребятишек, — все это воспринял Некрасов. Во многих его произведениях сквозь слезы, сквозь скорбь, сквозь гнев, как луч солнца

среди лохматых туч, проглядывает великая жизненная радость. Некрасов так хотел бы этой радости, и все с большей болью сжимаются его кулаки, когда он вспоминает, что искалечен, кругом замучен и иссечен его народ.

Таков Некрасов-дворянин. Но Некрасов еще и разночинец. Он разночинец потому, что в ранней юности попадает в Петербург, лишается поддержки отца и становится нищим до того, что спит в ночлежках или на скамейке под открытым небом, нищим до голода, нищим до мелкой кражи, чтобы не подохнуть с голоду. И не замечательно ли, что первые его очерки посвящены именно пролетариату и полупролетариату: «Голод», «Петербургские углы», «Физиология Петербурга»?<sup>[86]</sup>

Он разночинец потому, что рано начинает зарабатывать себе на жизнь, и зарабатывать сначала не литературой, а литературной каторгой, писанием всего, что закажут, по дешевке. Он разночинец по силе своей натуры. Не только дворяне, но близкие ему друзья-разночинцы удивлялись тому, как в этой школе закалился Некрасов. Крепко расчетливый хозяин, организатор — вот каков Некрасов в своей роли в литературе. Он разночинец по своим связям. Белинский, Чернышевский, Добролюбов — вот его ближайшие друзья и единомышленники, его соратники, а маленькие Чернышевские, маленькие Добролюбовы — его читатели, его поклонники. Он разночинец по всему своему настроению, он рвется в бой, он рвется к революционной постановке вопросов.

Правда, дворянское его происхождение, одновременно и расшатавшее его волю и приковавшее его к радостям жизни, ибо этого тяготения Некрасов никогда в себе победить не мог, сделало то, что борцом он не стал. Но зато тот факт, что он в первые годы смертельной схватки народа с угнетателями только пел, что он позволял себе этим известную роскошь, стал внутренне грызущей болезнью Некрасова и создал в его душе страшную дисгармонию, заставил его метаться и умолять свой народ о прощении. Эта черта самобичевания за то, что на плечи не взят самый тяжелый подвиг самоотвержения, за покладистость по отношению к земным соблазнам, за оппортунизм, на который Некрасов часто бывал вынужден, чтобы спасти свой журнал от полицейских водоворотов, довершает облик Некрасова. Ибо, конечно, миртовский долг, возложенный на себя интеллигенцией, тяжел был, как вериги, и не всякий делался подвижником, не всякий шел погибать за великое дело любви, и многие и многие, охваченные горячей проповедью пророков народничества, но не могущие вместить, каялись и бичевали себя.

В этом сказалось, конечно, безвременье. Если б поднялся вихрь революции, то и Некрасов и маленькие Некрасовы все кинулись бы очертя

голову в борьбу. Но она только вскипала и замирала вновь, и это подкрепляло колебания и прибавляло к мукам за муку народа собственную муку, стыд за свою душу, душу сына безвременья.

Но в настроении некрасовского покаяния за столь небольшие грехи — огромная революционная этическая сила.

Было бы излишне здесь говорить о поэтическом творчестве Некрасова вообще, об этом слишком много писалось и этого нельзя не заменить советом углубленно и любовно прочесть все его сочинения. Но на одном вопросе необходимо остановиться.

С легкой руки эстетической критики пошло представление о Некрасове, как о поэте не совсем даровитом, и сам Некрасов о своей музе говорит, как о суровой, о своем стихе, как о неуклюжем. И даже в юбилейных статьях, прочитанных мною вчера и третьего дня, я нахожу такие признания: «Поэтический талант был не особенно силен, форма шероховата» и т. д. А вот Чернышевский из глубины каторги, умирая там мучительной психической смертью и узнав, что Некрасов умирает физически и мучится на своей постели угрызениями совести, послал ему письмо через Белоголового<sup>[87]</sup>, в котором говорил: «...скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек высокого благородства души, великого ума, и, как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов».

Что же, в этом суждении сказывается только духовная близость людей одного поколения, людей одного лагеря? Конечно, может быть, в этом есть горячее преувеличение, конечно, не гениальнейший, конечно, не величайший. Русская литература числит в своих рядах нескольких гениальных поэтов, которые, конечно, не уступят Некрасову. Но за исключением этого горячего преувеличения, все остальное верно.

Когда перечитываешь Некрасова вот теперь, зрелым человеком, издавшим виды, читавшим почти всех великих поэтов мира, то недоумеваешь, как могут люди продолжать говорить о каком-то слабом поэтическом даре, о каком-то несовершенстве формы.

Некрасов *гражданский* поэт, но это *гражданский поэт*, — в том-то и вся сила. Слабые поэты с сильным гражданским чувством заслуживают уважения, но редко приносят пользу. Прежде всего искусство должно быть искусством, то есть должно, по слову Льва Толстого, заражать душевным переживанием художника, зажигать нашу душу духовным его пламенем.

Для этого нужны две вещи. Нужно, чтобы в душе художника горело это пламя, чтобы его переживание было выше наших переживаний, чтобы это был великий человек; человек не великий не может быть великим поэтом, потому что заражать ему нечем, и на века прав апостол Павел, сказавший, что без любви все языки человеческие — кимвалы бряцающие.

Когда я говорю, что поэт должен быть великим человеком, я не хочу этим сказать, что он должен быть таким в своей частной жизни. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен». Мало того: «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»<sup>188</sup> — потому что таков он как обыватель, как Иван Иванович, как Александр Сергеевич, как Николай Алексеевич. А что это такое — тот момент, когда «до слуха чуткого коснется» «божественный глагол»? Что такое этот «божественный глагол»? Это социальность. Поэт, когда он творит, перестает быть Николаем Алексеевичем, он становится глашатаем огромных массовых, человеческих дум, ощущений и эмоций. Поэт, когда он творит, знает, что он говорит для сотен тысяч, может быть, для миллионов, что он трибун, что он перед лицом сограждан и, может быть, вечности. И вот тут-то побеждает в нем его социальная личность. Он перерождается, только лучший, только чистый металл звучит теперь в колоколе его души.

Вот этот-то перерожденный человек, вот этот социальный человек, вот этот-то человек должен быть велик в индивидууме, чтобы личность могла стать великим поэтом.

Это первое условие. Оно целиком выполняется Некрасовым.

Его лиризм горяч, горек, величествен, глубок. Это прекрасная душа. И кроме того, те большие чувства, которыми он заражает нас, суть чувства, которые были бесконечно необходимы для роста русской общественности и которые необходимы еще и сейчас, ибо задачи, стоявшие перед русской разночинческой, крестьянской общественностью 70-х и 60-х годов, еще стоят и перед пролетарской общественностью 20-х годов нового века.

Но этого еще мало для того, чтобы быть великим художником. Можно представить себе великую душу, полную прекрасных страстей и ярких мыслей, но неспособную передать их в образах, словно порван провод, замыкающий ток между душой автора и душой читателя, можно быть Рафаэлем без рук.

Ничего подобного у Некрасова. Его произведения как нельзя больше адекватны его мысли. С самого начала он всем понятен, все его подхватывают, его прочитывают, его заучивают наизусть и все его поют, вплоть до неграмотного крестьянства. Заметьте, никогда не жаловался

Некрасов, как Тютчев, что «мысль изреченная есть ложь»<sup>[89]</sup>. Трагедия Некрасова совсем другая: он часто жалуется, что стихи его недостаточно правдивы. В каком смысле? В том, что жизнь его не стоит на высоте его проповеди, а не в том смысле, что проповедь его не стоит на высоте его замысла.

Стихи Некрасова недостаточно гладки? А кто сказал, что гладкость стиха есть непременно достоинство? Кто это доказал, что об ужасах жизни народа надо непременно писать гладкими стихами? Разве от прозы художника требуется не то, чтобы весь ритм ее соответствовал содержанию? Разве не велик художник, проза которого задыхается, прыгает, падает вместе с содержанием, о котором он повествует, и разве стихи не должны быть именно такими? Разве надо зализывать до степени салонной акварели портреты чудовищной действительности?

Какие это пустяки! Если бы стихи Некрасова были более вылощены, более мелодичны, то это действовало бы как ложь. Если человек о смерти своей матери рассказывает, соблюдая все правила синтаксиса и стилистики, то это произведет на всех впечатление чудовищного лицемерия или бессердечия. То, что сам Некрасов принимал за неуклюжесть своего стиха, было поистине только его суровостью. Неуклюж он потому, что тема его неуклюжа, потому что он искретен; и неуклюж он потому, что мощен. Было бы жалко, если бы в нем хотя бы на грань было менее этой неуклюжести.

Но зачем же тогда не проза, а стихи?

Затем, что высший пафос, в котором жила душа Некрасова, просится петь. И вот вам совет, как надо проверять хороших поэтов. Если поэт не поется. то пусть бросит стихи и пишет прозой, — он, быть может, окажется прекрасным прозаиком. Стихи его сами должны петь, петь внутренне, в вашей душе, если вы читаете стихи про себя, невольно ритмизироваться и мелодизироваться, если вы читаете их вслух. Именитые и безыменные композиторы перелагают их на настоящую музыку.

Разве все это не верно для Некрасова? Я не знаю, породили ли даже Пушкин и Лермонтов такое количество музыкальных произведений, как Некрасов. Кто из русских поэтов больше поется? Где, в каком захолустье не раздавалось «Выдь на Волгу» или полная счастья песня «Коробейники»?

Но я все еще держусь темы о некрасовской лирике, а между тем Некрасов живописец, Некрасов — эпик, Некрасов создает типы, которые поселяются в вас раз навсегда. Некрасов дает вам пейзажи непревзойденной убедительности. Некрасов рисует перед вами картины, которые словно стоят перед вами воочию. И он дает это не только как реалист — нет, превосходна, незабвенна и фантастика Некрасова.

Достаточно только вспомнить взлет народной фантастики в появлении Мороза-воеводы в великой, изумительной поэме Некрасова этого имени<sup>{90}</sup>. Какая удаля, какая ширь, какой демонизм!

В Некрасове таились огромные возможности, как в этой красавице славянке, которую он нам в этой же поэме описывает. Если у него вырвался раз стих: «Мне борьба мешала быть поэтом», то мы можем сказать: нет, она не мешала ему быть поэтом, но если бы он жил в счастливую пору, он пел бы счастливые песни, тогда все эти маленькие критики почувствовали бы, что и в счастливой песне, песне красоты, любви, летучей жизни Некрасов оказался бы так же, а может быть, еще более велик. Может быть, еще более велик в том смысле, что дал бы еще более великие, еще более чарующие образы. Но более ли велик был бы он тогда в том огромном уроке, который он преподавал? Рыдая, грозя, он поднял рыдания и угрозы до степени высокой музыкальной и живописной красоты и ни на минуту их не ослабил.

В краткой статье нельзя исчерпать и десятой доли урока, который дает нам Николай Алексеевич Некрасов. Не принижая ни на минуту ни великих алтарей Пушкина и Лермонтова, ни более скромных, но прекрасных памятников Алексея Толстого, Тютчева, Фета и других, мы все же говорим: нет в русской литературе, во всей литературе нашей такого человека, перед которым мы с любовью и благоговением склонялись бы ниже, чем перед памятью Некрасова.

# АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Статья представляет собой переработанную стенограмму вступительного слова А. В. Луначарского на вечере, посвященном 85-й годовщине со дня смерти А. С. Пушкина 8 февраля 1922 г. Впервые напечатана в «Известиях ВЦИК», № 34 за 1922 г. Позднее перепечатана в «Литературных силуэтах».

.....

Мысль ежегодно праздновать пушкинский день — хорошая мысль, ибо значение Пушкина для русской литературы и русского народа неисчерпаемо.

Конечно, ни на одну минуту нельзя сомневаться в огромности гениального дарования Пушкина, но дело не только в этой огромности дарования.

«Не родись богат, — говорит русская пословица, — а родись счастлив». Ее можно перефразировать так: родись гениальным, но в особенности родись вовремя.

Тэн утверждал, что литература определяется расой, климатом и моментом, как будто бы даже стирая таким образом личность<sup>{91}</sup>. Гёте в предисловии к своей автобиографии говорит: родись я на двадцать лет раньше или позже, я был бы совсем другой. И мы, марксисты, говорим нечто подобное. Мы утверждаем, что личность, по крайней мере в весьма и весьма значительной мере, является отражением своего времени. Конечно, большое время может получить отражение только в большом человеке. Можно представить себе подходящую эпоху без подходящего человека (хотя это и редко бывает, ибо в среднем талантливость человечества одинакова во все времена). В этом случае мы имели бы многосодержательного поэта, формально несовершенного. Можно себе представить (и это часто бывает) очень большое дарование в эпоху безвременья. Тогда мы имеем очень большое формальное совершенство при пустоте содержания.

Но читатель скажет: да разве эпоха Пушкина была эпохой великой? Да разве она была эпохой счастливой? Трудно представить себе эпоху более

тусклую, и Пушкин метался в ней, страдал, рвался за границу, погиб полусамодурством, запутанный в сетях самодержавия, бездушного света, отвратительных литературных нравов и т. д. и т. п.

Все верно. То было ранней весной, такую ранней, когда все было покрыто туманом, талым снегом, когда в воздухе с необыкновенной силой множились и роились болезнетворные микробы, — ветреной, серой, грязноватой весной. Но те, которые пришли раньше Пушкина, не видели весеннего солнца, не слышали журчания ручьев, не оттаяли их сердца. Косны были их губы и бормотали в морозном воздухе неясные речи. А те, кто пришел после Пушкина, оказались в положении продолжателей, ибо самые-то главные слова Пушкин сказал.

Классический век для каждой национальной литературы — это вовсе не наиболее блестящий в политическом, экономическом или культурном отношении век. Это первый век относительной, первоначальной, я бы сказал, отроческой зрелости интеллигенции данной нации. Как только обстоятельства позволяют этой нации родиться, упрочиться, как только ее таланты могут сколько-нибудь округлиться, так сейчас же они начинают ковать язык, а он еще гибок, он еще податлив. Вовсе не нужно фиглярничать, выдумывать, умничать и заумничать. Достаточно брать обеими руками из сокровищницы народной речи и при помощи ее называть вещи, как Адам в библии называет впервые первозданные феномены окружающего.

И то же относится к содержанию. Никто еще не выразил ни одного живого, ни одного гибкого, ни одного сложного чувства. И когда они накопились в душе, они прорываются с живительной свежестью, необыкновенной естественностью. Естественность, ограниченность, первозданность — вот те печати, которые лежат на счастливом челе классических произведений. И будь ты хоть семи пядей во лбу, превосходи ты даже гениев классической эпохи, все равно ты во многом будешь эпигоном, ибо будешь писать языком, которым они писали, а он уже обычен, ибо, желая идти дальше, начнешь впадать в манерность, в преувеличенность, в педантизм, в провинциализм и т. д. и т. п.

По содержанию самое время становится гораздо более сложным, приходится гораздо более углубляться в огромное многообразие, постепенно накапливающееся во внешней и внутренней жизни. Да, кроме того, из всего этого запаса нам приходится, если мы хотим быть оригинальными, брать не те черты, которые являются самыми важными. Надобно уходить в импрессионизм — то есть вместо существенного отмечать случайное и беглое, потому что существенное уже отмечено, —

либо в деформацию, то есть в стремление исказить явления природы, потому что так, как они есть, они уже чудесно отражены и возвеличены великанами классиками, — либо в туманный символизм, пытаюсь через вещи видеть сложное и тайное, чем богата душа эпигона.

Эпигонство — вещь ужасная. Мы не отрицаем того, что среди эпигонов могут быть тоже великаны по дарованию, не меньшие, чем классики, ни того, что эпигонская литература может быть чрезвычайно изящной, оригинальной, сильной, потрясающей даже; но всегда люди невольно, в лучшие минуты свои, оглянувшись на Гёте, на Моцартов или глубже, в другие классические времена, на Гомеров, Калидас, будут чувствовать, что там истинная, безмятежная, глубинная, успокаивающая, целительная, возвышающая красота и что все позднейшие выверты, судороги, домыслы отнюдь не являются прогрессом, хотя и не лишены своей ценности.

Быть может, великий потоп социальной революции, быть может, выступивший пролетариат способен совсем до дна, с самого основания освежить искусство. Но это еще большой вопрос, и, уж конечно, нельзя ради этого предполагаемого обновления предъявлять претензии на состояние голого человека на голой земле.

Пролетариат может обновить человеческую культуру, но в глубокой связи и преемственности с достижениями прошлой культуры. И быть может, самой верной является надежда на то, что тут мы будем иметь явление еще небывалое, не явление новых рождений, а фаустовского возвращения к юности с новыми силами и новым будущим и со всей памятью о былом, не обременяющей, однако, душу.

Пока оставим в стороне этот вопрос и вернемся к Пушкину. Пушкин был русской весной, Пушкин был русским утром, Пушкин был русским Адамом. Что сделали в Италии Данте и Петрарка, во Франции великаны XVII века, в Германии Лессинг, Шиллер и Гёте, — то сделал для нас Пушкин. Он много страдал, потому что был первым, хотя ведь и те, которые пришли за ним, русские «сочинители», по признаниям их, от Гоголя до Короленко, немало скорби вынесли на плечах своих. Он много страдал, потому что его чудесный, пламенный, благоуханный гений расцвел в суровой, почти зимней, почти ночной еще России, но зато имел «фору» перед всеми другими русскими писателями. Он первый пришел и по праву первого захвата овладел самыми великими сокровищами всей литературной позиции.

И овладел рукою властной, умелой и нежной; с такою полнотой, певучестью и грацией выразил основное в русской природе, в

общечеловеческих чувствах, во всех почти областях внутренней жизни, что преисполняет благодарностью сердце каждого, кто, впервые принося к родникам священного истинного искусства, пьет из Пушкина.

Если сравнить этого корифея нашей замечательной литературы с другими зачинателями великих литератур, с бесценными гениями: Шекспиром, Гёте, Данте и т. д., то невольно останавливаешься перед некоторым абсолютным своеобразием Пушкина, притом своеобразием неожиданным.

В самом деле. Чем позднее оказалась особенно богатой и замечательной наша литература? Своей патетикой, почти патологической патетикой. Наша литература идейна, потому что нельзя ей не мыслить, когда такая пропасть разверзается между самосознанием ее носительницы — интеллигенции и окружающим бытом. Она болезненно чутка, она возвышенна, благородна, она страдальческая и пророческая.

А между тем если сразу, не вдумываясь в детали, кинуть взгляд на творчество Пушкина, то первое, что поразит, это молодость без конца, молодость, граничащая с легкомыслием. Звучат Моцартовы менуэты, носится по полотну и вызывает гармоничные образы Рафаэлева кисть.

Отчего же Пушкин в целом, в главном так беззаботен, беззаботен до того, что даже говорят иногда: «Все-таки это не Шекспир, все-таки это не Гёте; те более глубокомысленны, те более философы, более учителя!»

Положим, что говорящие так не правы, по крайней мере не совсем правы, ибо стоит только приподнять пелену грации Пушкина, и можно увидеть глубины, предрекающие дальнейшую русскую литературу: «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» со своей раздирающей песнью Председателя, некоторые сцены «Бориса Годунова», некоторые лирические порывы в «Евгении», загадочный «Медный всадник» и многое другое, — все это какой-то широкий океан, какие-то жуткие провалы и виды на такие вершины, куда только-только хватило бы донестись крыльям Дантов и Шекспиров.

Но эти угадки, эти с необычайной легкостью на abordаж взятые психологические и интеллектуальные ценности, на которые Пушкин как будто не обращает особенного внимания, вроде поразительного «Фауста», где в небольшой сцене Пушкин становится вровень с веймарским полубогом, — все это создано как будто бы невзначай, как будто бы великая рука, пробегающая по клавиатуре только что открытого инструмента, знакомясь и знакомя других со всеми волшебными сочетаниями звуков на нем, от времени до времени извлекает несколько аккордов, вернее, диссонансов, потрясающих слушателей.

Откуда же это пушкинское счастье при несчастье его личной жизни? Может быть, это совершенно индивидуальная черта? Я думаю: нет. Я думаю, что и здесь Пушкин был органом, элементом, частью русской литературы во всей ее исторической органичности.

Встал богатырь; силушка по жилочкам так и переливается. Уже предчувствуются горести и скорби, уже предчувствуется вся глубина и мука отдельных проблем, но пока не до них, и даже они радуют. Все радуется, ибо сильна эта прекрасная юность. В Пушкине-дворянине на самом деле просыпался не класс (хотя класс и наложил на него некоторую свою печать), а народ, нация, язык, историческая судьба. Вот эти семена, которые привели-таки в конце концов к нашей горькой и ослепительной революции. Пушкин послал первый привет жизни, бытию в лице тех миллиардов человеческих существ в ряде поколений, которые его устами впервые вполне членораздельно заговорили.

Там, даже у Данте в XIII веке, большая культура за плечами, своя, схоластическая и античная. А русский народ проснулся поздно, варварский и свежий. Конечно, Пушкин усваивал с гениальной быстротой и Мольера, и Шекспира, и Байрона, а рядом Парни и всякую мелочь. В этом смысле он культурен, но все это совсем его не тяготило, это не было его прошлое, это не было в его крови. Его прошлое, то, что жило в его крови, это было русское свежее варварство, это была юность просыпающегося народа в глубокой ночи безрадостной исторической судьбы — тяжелой, громадной силы народа, начавшего оттаивать в казематные времена Николая I. А его будущее было не те годы, которые он прожил на земле, не скорбная кончина, даже не бессмертная слава. Его будущее было все будущее русского народа, громадное, определяющее собою судьбы человечества даже с того холма, на котором стоим мы еще в загадочной дымке.

Великолепно начали мы с Пушкиным. Страшно сложно и глубоко и вместе с тем с какой-то беззаботностью огромной силы. Знать Пушкина хорошо, потому что он нам дает утешительнейшее знание сил нашего народа. Не патриотизм ведет нас сюда, а сознание необходимости и неизбежности несколько особого служения нашего народа среди других народов-братьев. Любить Пушкина хорошо и, может быть, особенно хорошо любить Пушкина в наше время, когда наступает новая весна, как-то непосредственно за довольно гнилой осенью.

Русская буржуазия, русский буржуазный уклад кратчайшим путем впал в последние судороги эпигонства, в декаданс, с декаданса — к той художественной кувырколлегии, которую породила изживающая себя культура других народов буржуазного Запада.

Новая весна приходит в грозах, в бурях, и надо отдать искусству ту дань внимания, какая возможна была для лучших людей России в первую, пушкинскую весну. Но между пролетарской весной, какой она будет, когда земля начнет одеваться цветами, и весной пушкинской гораздо больше общего, как я уже говорил однажды, чем между этой приближающейся весной и тем разноцветным будто бы золотом, на самом деле сухими листьями, которыми усеяна была почва до наступления нынешних громовых дней.

# ОБ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ОСТРОВСКОМ И ПО ПОВОДУ ЕГО

Статья печаталась в «Известиях ЦИК СССР и ВЦП К» И и 12 апреля 1923 г., перед празднованием 100-летия со дня рождения А. Н. Островского (13 апреля). Включалась автором в оба издания «Литературных силуэтов». Печатается по 2-му изданию этого сборника.

.....

Юбилей Островского надвигается.

Сейчас время переоценки ценностей. Эта переоценка ведется двумя путями: одним — неправильным, другим — правильным.

Неправильный путь — это футуристический путь. Общеввропейское явление футуризма, на ближайшей характеристике которого я не буду останавливаться, повсюду отрекается от старины; и страшно характерно, что, в то время как многие русские футуристы требуют отмены академизма во имя коммунизма, итальянские футуристы почти сплошь стали на сторону Муссолини и требуют как раз такой же отмены академизма, но во имя фашизма. Это должно служить некоторым предостережением<sup>[92]</sup>.

Я не то хочу сказать, что футуристы-коммунисты в России не искренни. Наоборот, я полагаю, что те из футуристов, которые искренне придут или пришли к коммунизму, постепенно освободятся совершенно от всех футуристических гримас, выступят в качестве какой-то совершенно новой формации, и указания на это уже имеются.

Это — между прочим. А по существу нашего вопроса надо сказать, что отмена академизма или борьба со всем художественным прошлым человечества, как буржуазным искусством, есть вредная нелепость, против которой я всегда буду протестовать.

Совсем другое дело — серьезная марксистская переоценка нашего культурного прошлого, — переоценка» которая заставляла Маркса вновь и

вновь с любовью перечитывать Шекспира, Гомера или Бальзака и в то же время с едкой иронией относиться к многим художественным кумирам буржуазии. Мы в России должны пересмотреть наше культурное достояние под углом зрения интересов пролетариата, широко понимаемых.

Это трудная задача. Этому помогают юбилеи, но, к сожалению, у нас нет людей, совершенно свободных от другого дела и способных в достаточной мере отдаться работе таких переоценок даже по поводу юбилеев. Наша литературная критика еще очень слаба. У нас таких критиков один-два, и обчелся. Например, тов. Воронский<sup>[93]</sup>, с которым можно соглашаться или не соглашаться в деталях, но который производит в некоторой степени методическую работу, и, конечно, полезную, — взялся за нее только в самое последнее время, только, можно сказать, с краешка подошел к ней, и притом с краешка наиболее активного, то есть с разбора литературы текущей.

Интересно остановиться при переоценке и на фигуре Островского. Интересен он не столько даже сам по себе — хотя и сам по себе он чрезвычайно интересен, — сколько по ряду вопросов, касающихся театра и драматургии, необычайно живых, страшно важных для роста нашей новой культуры, которые поднимаются невольно в голове и сердце по поводу его юбилея.

Островский с известным опозданием, а поэтому в иной плоскости, повторил то, что во Франции сделал Мольер, а в Италии Гольдони.

Надо раз навсегда отвергнуть поверхностное представление о литературе века Людовика XIV, как о литературе по преимуществу придворной. Придворной она была единственно только по внешней форме. Она делала уступки приютившему ее двору, часто внутренне ярко ненавидя его. На самом деле, Мольер (менее очевидно, но не менее верно это и относительно Расина) был самым подлинным буржуазным писателем, высмеивавшим дворянство, заботливо указывавшим буржуазии на ее собственные пороки, на опасности, которые окружают ее еще юный рост, и воспевшим ее добродетели.

Мольер вырос в огромную величину именно в силу того закона, который я неоднократно указывал, — закона, так сказать, первого захвата. Он являлся первым писателем не только во Франции, но, пожалуй, даже во всей Европе (за исключением разве Англии, да и то с натяжкой), который подошел к нравоописательной и нравоучительной драматургии от имени нового великого класса, каким являлась тогда буржуазия.

Уже у Мольера заметны особенности, чрезвычайно характерные для гения, берущегося за классовую задачу во время весны данного класса. Во-

первых, он не только прославляет быт своего класса, но в некоторой степени и преодолевает его. Многие в этом быте кажется ему слишком плоским или, наоборот, слишком манерным. Он как бы стремится очистить его от различных шлаков. Во имя чего? Строя в своем сердце и в своем уме чувством согретую идею о жизни своего класса, какую он хотел бы ее видеть, такой писатель не может не подойти близко к общечеловеческим идеалам, то есть к таким идеалам, которые могут говорить сердцу каждого, которые при своем осуществлении удовлетворили бы всех и которые поэтому всенародны.

Не высказываю ли я при этом какой-нибудь антимарксистской мысли? Конечно, нет, ни на одну минуту. Вспомните Энгельса, который говорил о классических поэтах и великих идеалистах Германии как о людях, нашедших подлинных своих наследников только в пролетариате<sup>[94]</sup>. Вспомните о том же Энгельсе, который по отношению даже к политической идеологии французской буржуазии в конце XVIII века заявляет, что буржуазия, став тогда во главе народных масс, без которых она не могла добиться своей победы, вынуждена была написать на своем знамени *общенародные идеалы*, от которых позднее она, конечно, отказалась и которые, конечно, на практике она значительно исказила<sup>[95]</sup>.

И то же с еще большей силой высказывал Энгельс, да и Маркс, по поводу французских материалистов XVIII века, которые тоже выражали интересы класса в его счастливую весну и тем самым близко подошли к подлинной философии, той самой философии (а в других случаях — культуре), которая является философией класса пролетарского и одновременно с тем единственно общечеловеческой<sup>[96]</sup>.

До Мольера во Франции, как и в Италии до Гольдони, существовал в высокой степени «театральный» театр, значительно, однако, чуждавшийся быта.

То же самое и с Островским.

Островский, конечно, — почти вся русская драматургия. Князь Одоевский, прочитавший его «Банкрота», позднее названного «Свои люди — сочтемся!», писал: «Этот человек — талант огромный. Я насчитываю в России три трагедии (sic!): «Недоросль», «Горе от ума» и «Ревизор». На «Банкроте» я поставил № 4».

Если к этим трем номерам до Островского прибавить еще «Бориса Годунова» и с натяжкой «Маскарад», то в конце концов это действительно весь наш значительный русский театр.

А после Островского?

После Островского по причинам, о которых ниже, мы опять не имели значительного театра.

Мольер, Гольдони, Островский были замечательны тем, что, выступая как представители нового класса, они глубоко интересовались его бытом, старались его отразить во всей его кипучей и свежей жизненности, старались его преодолеть в его темных и порочных сторонах, старались, словом, «показать времени его зеркало» и, «забавляя, поучать».

Как это старо, не правда ли? Это очень старо. И когда о поучающем театре, или вообще о поучающем искусстве, когда о «зеркале времени» говорит какой-нибудь беззубый академик, то действительно он, пожалуй, может впасть в ужасающую безвкусную, распроклятую и скучнейшую дидактику.



*А. В. Луначарский среди жителей Пскова 1927 г.*

Но совсем другое дело, когда на арену выступают поэты *нового класса* с огромным запасом *новых* жизненных и этических воззрений. Тогда мы имеем как раз момент расцвета искусства.

Не характерно ли, что к началу войны<sup>[10]</sup> повсюду, а в России в особенности, начался поворот от бытового театра к театру «театральному», то есть исключительно стильному? Гоцци стали любить больше Гольдони, комедию «дель арте» — больше Мольера. Островского стали отстранять не ради даже тех или других пьес, а ради тех или других постановок,

открывавших перспективы чистой театральности.

В высшей степени ярким представителем такого направления явился Таиров (правда, сейчас переживающий некоторый перелом)<sup>{97}</sup> со своим заявлением, что текст для театра не важен и драматург играет в нем самую последнюю роль.

«Театральный» театр, театр, лишенный идейного содержания и моральной тенденции, — словом, по возможности не агитирующий театр — в оправдание свое может в конце концов приводить те соображения, которыми вообще защищается теория искусства для искусства.

А теория эта всегда имеет только два исхода и никаких других иметь не может: либо под лозунгом «искусство для искусства» таится искусство для развлечения людей, переставших интересоваться серьезными сторонами жизни или по крайней мере переставших требовать серьезности от искусства, либо какая-нибудь мистическая теория служения чистой красоте как проявлению абсолюта.

Я очень хорошо знаю, сколько красивых слов можно сказать и в защиту идеализма типа Шеллинга<sup>{98}</sup> (подобные вещи у нас недавно говорили и Вячеслав Иванов<sup>{99}</sup>, и Сологуб<sup>{100}</sup>, и другие) и в защиту чистого веселья, чистого развлечения, чистой радости глаза, симпатии к прекрасно движущемуся человеку и т. Д. Но все это тем не менее как раз и есть, безусловно, старинка, которую мы должны отвергнуть в общем и целом. Не в том дело, чтобы мы думали, что театр должен держаться какого-то будничного уровня и мелких задач. Наоборот, театр *мелкой тенденции*, театр *повседневщины* внушает нам живейший ужас, но наш идеализм не имеет ничего общего ни с какими потусторонними абсолютами и их выявлениями в красоте.

Неверно также было бы, если бы мы сказали, что пролетариат хочет откинуть самодовлеющий смех, что он хочет совсем забыть развлекаться. Вздор! Элемент игры, а поэтому и развлечения, должен быть всегда присущ театру, но только как его одеяние. Если за этим одеянием скрывается просто сухой манекен, то всему этому все-таки грош цена по сравнению с живым драматическим организмом, хотя бы даже и не так к лицу одетым. Поскольку же пролетариат и новый мир вообще будет иметь, может быть, учреждения или вечера простого развлечения, он никогда не смешает их с театром, как нельзя смешать, скажем, игру на бильярде с работой инженера, творящего план какого-нибудь значительного здания.

Несомненно, что идею «театрального» театра в отличие от литературного театра, от этического театра развернули классы упадочные.

И буржуазия и значительнейшие слои интеллигенции, вся публика, доминирующая в театре, почти единственная в Европе и в Америке публика, либо совсем перестала требовать серьезности от жизни за своим вырождением и пустозвонством, как, например, какие-нибудь модничающие дамы и их кавалеры, как вся эта пестрая толпа паразитов, кочующая с курорта на курорт, из одной блестящей столицы в другую, либо не требует этой серьезности от театра, заявляя откровенно, что художник создан быть шутком и чесать пятки дельцу во время его досуга, когда он уже ничего делового знать не хочет.

Отсюда для меня совершенно ясно, как дважды два, и это подтверждается и нынешними первыми шагами пролетарской или полупролетарской драматургии, что театр *пролетариата* не может не быть бытовым, литературным и этическим.

Конечно, время наше может потребовать особых приемов бытоизображения, театральной компоновки и театральной пропаганды, но суть тут должна быть та же. Вот почему мы так многому можем поучиться у Мольера, Гольдони, Островского (конечно, и у Шекспира и некоторых других драматургов, но это уже в другой плоскости), идя назад к Островскому не только для того, чтобы оценить правильность основных баз его театра, но еще для того, чтобы поучиться у него некоторым сторонам мастерства.

Просто же подражать Островскому значило бы обречь себя на гибель.

Пятидесятые, шестидесятые годы, когда развернулась театральная деятельность Островского, конечно, являются годами окончательного выступления буржуазии на первый план нашей жизни, художественной и культурной.

Однако она выступала крайне своеобразно.

Если уже в конце XVIII века французская буржуазия, совершившая революцию, очень скоро раскололась на непримиримые лагеря, имея на правом фланге монархически настроенных крупных буржуа, а на левом фланге руссофианцев<sup>{101}</sup>, террористов, даже коммунистов, как Бабеф, то тем более можно было ожидать этого в России.

Русский капитал пёр в виде Колупаевых и Разуваевых, долго не желая снимать ни долгополого сюртука, ни сапог бутылками, долго оставаясь верным своеобразно преломленному крестьянско-кулацкому бытовому укладу. А в то же самое время другое крыло русской буржуазии — разночинцы — выступало под красным знаменем и во главе своей колонны поставило людей, подобных Чернышевскому, Добролюбову и Желябову.

Если я сказал, что у Мольера в XVIII веке мы видим не только

отображение быта, но и его преодоление, если я сказал, что у Мольера встречаются то и дело общечеловеческие ноты (например, в «Мизантропе» или «Тартюфе»), то это, конечно, не может не быть сугубо верным для Островского.

Островский был типичным разночинцем. Правда, отец его был чиновником, дослужившимся до дворянства, но дед его был духовного звания, а сам он был «крапивным семенем», «стрекулистом», «канцелярской косточкой». Его определили на 4 рубля жалованья сначала в один какой-то суд, а затем в другой, и он медленно восходил со ступеньки на ступеньку канцелярской иерархии.

И вот тут-то этот ясноокий чиновничек, малюсенький чиновничек, пером своим копаясь в делах коммерческого суда и, наострив уши, вслушиваясь в кляузы, жалобы, предложения взяток, которые со всех сторон окружили его, пожал первую обильную жатву своей гениальной наблюдательности.

Вскрылось перед нами дяляческое Замоскворечье, вскрылся перед нами постепенно этот темный мир, полный свежих сил и богатых, тяжелых страстей, мир самодуров, жестоких, как феодальные сеньоры, и грубых, как мужики, лицемеров, мошенников и в то же время полных внешней благопристойности и благочестия.

Вскрылись за ними фигуры угнетаемых ими, загоняемых ими в землю детей, у которых просыпалась искорка человечности и стремления к какому-то неопределенному свету, фигуры безответных страдалиц — жен и дочерей. Быстро проникали его творческие глаза в души искалеченных, то гордых, то униженных существ, полных глубокой женственной грации или печально машущих надломленными крыльями высокого идеализма.

Весь своеобразный мир, все великое здание, воздвигнутое Островским, гримасничает перед нами, как готические соборы своими каменными ликами. И как кариатиды впереди, в этом храме, воздвигнутые русской тьме и русскому стремлению к свету, высятся три страдальческие фигуры: актера Несчастливцева, пропойцы Торцова и неверной купецкой жены Катерины. Из глубины их могучих грудей рвется иногда почти смешной по своему формальному чудачеству, но такой бесконечно человеческий вопль о выпрямленной жизни.

Островский любит этот быт, любит его за сочность, многокрасочность его образов, любит, словно Колумб, который только что открыл новую землю. Он и ненавидит его, ненавидит его как буржуа, которым он все-таки на три четверти был, ненавидит, потому что в этом русском буржуазном быте видит слишком много уродства; ненавидит и как человек, настоящий

человек, каким был все-таки на одну четверть, как человек, который в нем уже проснулся и который готов порой отрицать этот быт целиком, ради вдали мерцающих великолепных огней свободы, вольного счастья, разумного бытия.

У Островского была, таким образом, великолепная почва под ногами. У него было что рассказать и было чему поучить.

То, о чем рассказывал Островский, начинает отходить в прошлое, и пьесы его, оставаясь глубоко художественными, превращаются постепенно в исторические. То, что мог проповедовать Островский, когда он хотел это делать сколько-нибудь конкретно, уже покрыто плесенью. Мы переросли далеко его конкретные устремления. А то, что в нем осталось живым — так называемый общечеловеческий его идеализм — страшно всеобщ и поэтому почти ничего не в состоянии дать.

В этом смысле Островский мало может дать нашему дню, в этом смысле Островский только великолепное прошлое, которое не надо забывать.

Но важно то, что Островский принадлежит к тому центральному массиву русской литературы, который создан был русской интеллигенцией при ее пробуждении и на который мы должны опереться, если мы хотим правильным путем идти вперед, разметаив все позднейшие наслоения с их многообразным декадентством, кладбищенски ли оно кривляется вместе с какими-нибудь символистами, кривляется ли оно шутовски или под лжепроизводство вместе с какими-нибудь футуристами.

Нам нужно искусство *серьезное*, нам нужно искусство, *способное усвоить наш нынешний быт*, нам нужно искусство, которое обратилось бы к нам с *проповедью нынешних*, только еще растущих *этических ценностей*.

Это трудно, я не отрицаю этого.

Возьмем центральный класс — пролетариат. Способен ли он уже оказывать достаточное давление на театр? Нет, по-видимому. Как публика, он в огромном большинстве наших театров отсутствует, а где присутствует — присутствует немым гостем.

В первый период революции было несколько страшно толкать маститые театры вперед из опасения разрушить их в тяжелое время, между тем как они были передаточными аппаратами от богатого прошлого к еще более богатому будущему, и не ради же, конечно, худосочных выдумок изобретателей различных однодневок, предлагавших свои услуги, могли мы опрокинуть это наследие! Но пришли более спокойные времена, когда мы можем, когда мы *должны* потребовать от русского театра — от *каждого* *посильно*, от *каждого по-своему* — *идти вперед*.

К сожалению, сейчас мы начинаем терять экономическую власть над театрами, ибо появилась уже новая публика, нэпмановская публика, к которой он приспосабливается.

Оставим пока эту сторону дела. К этому больному вопросу придется еще неоднократно вернуться. Факт несомненный, что нэпмановская публика серьезного театра полюбить не может, что она на день-другой может позабавиться той или иной штукой, которую потом бросит. Нэпмановская публика требует раздетых женщин, кувыркающейся клоунады и возможно больше неприличия на сцене. И будет большая беда, если эти стороны, каким-нибудь образом соединясь с поверхностными революционными лозунгами, захватят в мутное нэпмановское течение нашу прекрасную, но в отношении вкуса, конечно, еще неустойчивую молодежь.

Но, допустим, что пролетариат приобрел бы решающее влияние на театр. Могла ли бы сейчас же развернуться та бытовая и этическая драматургия, о которой я говорю? Не знаю. Потребуется, очевидно, довольно много времени для этого.

Прежде всего, пролетарский быт. В сущности говоря, его нет.

Быта своего пролетариат любить не может. Да и какой же это быт? Это одна сплошная мука. Единственным светлым островом пролетарского быта является сам завод, то есть труд. Это большой источник для искусства, но почти никак не применимый на сцене.

Конечно, тут кое-что сделать можно. Есть некоторые интересные попытки («Паровозная обедня» Каменского<sup>{102}</sup>, кое-что у Форрегера<sup>{103}</sup>, кое-что у Мейерхольда).

Конечно, за этими попытками последуют другие, гораздо более логичные, гораздо более твердые, но тем не менее, повторяю, именно между театром и заводом больших мостов не перекинешь.

Если говорить теперь о том, что так прекрасно у пролетариата, о его борьбе с буржуазией, то здесь мы имеем уже дело с другими факторами, остро идейными, конечно, и притом слишком легко вливающимися в те формы, к которым пролетариат не может не прибегать, — в формы митинга.

«Ткачи» Гауптмана, «Углекопы» Делле-Грацие<sup>{104}</sup> и некоторые другие пьесы в значительной степени преуказали все возможности в этом направлении — и как пролетарский домашний быт слишком одноцветен для того, чтобы быть отраженным многообразно театром, так и эта борьба в ее чисто пролетарских формах. Она может еще найти необыкновенное

вдохновенное отражение на сцене, превышающее все, что до сих пор было, но как только какой-то большой мастер один раз изобразит во весь рост стачку или восстание, другим уже нечего здесь будет делать, кроме эпигонского кропанья, потому что, повторяю, это недостаточно богато многообразием при всей своей огромной значительности.

Пролетарская этика? Поскольку она нужна пролетариату, она выкована была в несколько нигде, кроме сердец человеческих, не записанных максим. Иллюстрировать их в театре можно, но и здесь опять-таки возможно какое-то одно колоссальное произведение, основанное на этих простых «красных прописях». И здесь нет источника для *богатого* творчества, в особенности в области театра. А та этика, которую пролетариат, конечно, несет с собою, которая должна обнимать *все вопросы жизни*, — она ведь еще не выработана даже и самим классом, даже его передовыми идеологами, и здесь драматургу пришлось бы прокладывать целину, пробивать своей творческой киркой каменную грудь совершенно неразработанных проблем.

Следует ли из этого, что перспективы пролетарской коммунистической драматургии более или менее безнадежны? Ни на одну секунду! Надо только выйти за пределы чисто рабочего быта, то есть быта в казарме, в квартире рабочего, на фабрике и заводе как таковых. Надо коснуться вопросов *революционного быта*, надо суметь охватить рядом с чисто рабочим моментом и моменты работы пролетариата вне специфических рамок — работы широко коммунистической. Красная Армия со всем ее героизмом и со всеми ее внутренними конфликтами, гражданская война, проводящая часто линию между любящими сердцами или даже поперек одного и того же любящего сердца, ее слава, ее ужасы, работа по созданию нового государственного аппарата, по поднятию хозяйства, мучительные конфликты на этой почве, падения и подвиги, культурная работа, выработка новой этики в муках содрогающихся сердец, отражение вечных вопросов любви и смерти, властолюбивого эгоизма и высокой, но бездеятельной жалости и т. д. и т. п. — в особых и бесконечно значительных гранях нашей, ни на что прошлое не похожей современности — вот необъятные темы, вот необъятные краски, вот необъятная сокровищница, из которой должна черпать современная драматургия.

Уже есть нечто подобное в области поэзии. Уже можно назвать с гордостью и некоторые произведения Маяковского и некоторые стихи Асеева, Третьякова<sup>{105}</sup>, Николая Тихонова, Безыменского и некоторых других поэтов.

Уже подходят к этому и наши беллетристы-прозаики. Правда, они

пишут непременно какими-то странными, нарочитыми красками: все необыкновенно формально, напряженно, все неспроста. Проклятый формализм, наследие выжившей из ума буржуазии, так крепко схватил даже лучших среди интеллигентов, что они чуждаются простоты. Это ужасно. Это приводит к тому, что, как я убедился в том, некоторые из лучших наших беллетристов, пишущих якобы крестьянским языком, оказываются совершенно непонятными для среднего рабочего и высокограмотного крестьянина, непонятными, словно их произведения написаны на французском языке, в то время как тут же рядом прочитанные для опыта страницы Гончарова понятны и принимаются от первого слова до последнего.

Но за всем тем новый русский роман и новая русская повесть обеими руками хватает в самой глубине хаотического взвихренного потока нашей жизни и часто поднимает в своих крепких руках изумительные чудовища или сверкающие сокровища.

Драматурги отстали больше всех. Это не значит, что они не начинают нагонять и, я не думаю, чтобы в нашей драматургии не было ничего достойного быть отмеченным, истолкованным, поставленным в фокус общественного внимания.

Превосходна была идея устройства мастерской коммунистической драматургии.

А. Н. Островский для своего класса, для его более или менее передового отряда, к которому принадлежал, затеял общество русских драматических писателей и оперных музыкантов. Сейчас это общество мирно живет и взимает с театров гонорары для своих членов. То ли думал о нем Островский? Нет. Он говорил, что оно должно сделаться средоточием нравственного содействия писателям, способствовать развитию репертуара, иметь центральную библиотеку по драматургии, устраивать серии лекций по сценическому искусству, выдавать премии за лучшие драматические сочинения, быть, так сказать, наблюдательной станцией, умеющей чутко отразить все то, что делается в драматургическом мире, и вовремя прийти на помощь, куда надо.

Пока, конечно, нигде в литературе не создали мы еще подобного центра, но надо стремиться к созданию таких центров для писателей-коммунистов и сочувствующих им писателей.

И конечно, для такого общества драматургов необходим был бы и особый театр.

Некогда мне сию минуту писать о достигнутом фактически в области театра, нашего прекрасного современного русского театра, бесконечно

богатого новыми исканиями, но тем не менее зияющего определенной пустотой, отсутствием большого революционного театра, строго построенного на началах, которые я здесь предлагаю вниманию читателей; театра, не подпадающего под влияние мятущегося и неустойчивого футуризма и допускающего его только отчасти к сотрудничеству; театра, ищущего прежде всего в направлении содержания, в направлении *современного быта* и рядом с этим, конечно, отражения глубоко родственных эпох прошлого или попыток создать образы будущего; театра, ищущего яркой, горячей, зажигательной проповеди новых истин, а со стороны формы — необыкновенной простоты и убедительности, которые, конечно, ни на минуту не отрицают подъема. Пусть это будет скорее мелодрама и фарс с их яркими красками, невольными слезами и откровенным хохотом, чем какая бы то ни была игра на нюансах или головоломные выдумки людей, до того привыкших считать эпатирование публики за настоящее искусство, что они уже не могут словечка в простоте сказать, а все с ужимкой.

По поводу юбилея Островского следовало бы подумать обо всем этом. Наш Островский, и некто больший, чем Островский, наверное, уже где-нибудь в пути, может быть, уже родился, может быть, уже пишет. Но нам не довольно одного индивидуального Островского; нам нужно полдюжины Островских да две дюжины под-Островских для того, чтобы создать расцвет театра и для нас самих и для Европы. Все объективные возможности к тому есть.

Но, может быть, не время задаваться такими культурными задачами? Может быть, опять мы натолкнемся здесь на то же: тут нужны деньги, а денег нет, деньги у нэпмана, а для того, чтобы достать деньги у нэпмана, нужно играть для нэпмана и т. д.

Островский прервал оцепенение русского театра и нашел огромную публику, держась в теснейшей связи с великанами тогдашней сцены — Щепкиным, Садовским и другими. А нас ждет еще более громадная публика, правда, и сейчас еще экономически бедная, но богатая своим политическим авторитетом, своим недавним, но таким героическим прошлым и своим необъятным, еще более героическим будущим.

Я мало сказал здесь об Островском, больше по его поводу, но это совершенно сознательно. Найдется много людей, которые дадут более или менее исчерпывающие характеристики достоинства и недостатков крупнейшего из русских драматургов. Я указал на важнейшее — на то, чем он жив для нас.

В свой юбилей люди выходят из могилы и шепчут в сердце каждого, а

потому в конце концов гласят, как звонкая труба, о том, что осталось от них живого. Много красот живых осталось от Островского, но также одно глубинное, великое поучение. Он крупнейший мастер нашего бытового и этического театра, в то же самое время такого играющего силами театра, такого поражающе сценичного, так способного захватывать публику, и его главное поучение в эти дни таково: возвращайтесь к театру бытовому и этическому и вместе с тем насквозь и целиком художественному, то есть действительно способному мощно двигать человеческие чувства и человеческую волю.

## В. Я. БРЮСОВ

Статья написана после смерти Брюсова 9 октября 1924 г., напечатана в «Правде» № 232–233 за 11–12 октября 1924 г. Включена автором во 2-е издание «Литературных силуэтов».

.....

### I

Сначала несколько личных воспоминаний об этом замечательном человеке, память о котором я сохранию на всю мою жизнь.

Как всякий русский интеллигентный человек, я очень хорошо знал Брюсова по его сочинениям. Ведь недаром же он занимал одно из самых первых мест в русской литературе 90-х и 900-х годов, и при этом место, всех волновавшее и задевавшее, одних положительно, других отрицательно.

У меня было двойственное чувство к Брюсову как к писателю. Мне не нравился его журнал «Весы»<sup>{106}</sup>, с его барско-эстетским уклоном и постоянной борьбой против остатков народничества и зачатков марксизма в тех областях литературы и искусства вообще, какие этот журнал освещал.

Мне не нравился во многом особый изыск в некоторых его произведениях, иногда щеголяние напряженною оригинальностью и многие другие эмоции и мотивы, которые были органически чужды не только мне лично, но всем нам, то есть той части русской интеллигенции, которая уже решительно повернула в великий фарватер пролетариата.

Но многое и привлекало меня к Брюсову. Чувствовалась в нем редкая в России культура. Это был, конечно, образованнейший русский писатель того времени, да и нашего тоже. Нравилась мне кованность его стиха в отличие от несколько расслабленной музыки виртуозного Бальмонта. Даже у Блока слышалась часто какая-то серафическая арфа или цыганская гитара. В отличие от них Брюсов блеснул металличностью своего стиха, экономностью выражения — одним словом, каким-то строгим,

требовательным к себе самому мастерством. Может быть, вдохновения в этом было меньше, чем у искрометного и талантливоего, но неровного и даже шалого Бальмонта и странного мечтателя, сильного чувством и умом, но в то же время туманного Блока. Но зато мужественности, сознательности как технической, так и по содержанию у Брюсова было больше, и это в моих глазах подымало его над фалангой других поэтов. От такой интеллектуально заостренной и мужественной натуры казалось естественным слышать гимны в честь революции и те жгучие инвективы по отношению к оппортунистам, которые прозвучали из его уст в 1905 году<sup>{107}</sup>.

Встретился же я с Брюсовым только в 1918 году в Москве, когда я был уже наркомом по просвещению. Брюсов пришел ко мне вместе с профессором Сакулиным<sup>{108}</sup> обсудить вопросы о согласовании литературы и нового государства.

У Брюсова вид был несколько замкнутый и угрюмый. Вообще его угловатое калмыцкое лицо большею частью носило на себе печать замкнутости и тени, а в эти дни, когда он первый раз со мной встретился, он был озабочен серьезностью шага, который он намеревался сделать, шага, порывавшего по крайней мере в то время его связь с широкими кругами интеллигенции и связывавшего судьбу поэта навсегда с новой властью, властью рабочих, казавшейся в то время многим эфемерной.

Брюсов вел переговоры со мной в высокой степени честно и прямо. Его интересовало, как отнесется советская власть к литературе. Ведь вы помните, в своих первых революционных произведениях он приветствовал грядущих варваров<sup>{109}</sup>, но приветствовал их скорбно, сознавая, что они разрушат накопленную веками культуру, и соглашаясь с тем, что культура эта, как барская, слишком виновна, чтобы сметь морально апеллировать против свежих и полных идеала убийц своих.

Но если Брюсов готов был сам лечь под копыта коня какого-то завоевателя, несущего с собой обновление жизни человеческой, то для него было, конечно, несравненно приемлемее встретить в этом завоевателе осторожное и даже любовное отношение к основным массам старых культурных ценностей. Мне на долю выпала честь в беседах с высокодаровитым поэтом развить идеи об отношении к старой культуре, директивно данные нам партией и прежде всего незабвенным учителем.

И вот во время этих разговоров я иногда видел, как изумительно меняется Брюсов. Вдруг он подымал морщины своего, словно покрытого мглою лба, свои густые брови, немножко напоминавшие брови Плеханова,

и смотрел вам прямо в сердце светлым голубым взглядом. В то же время лицо его как-то сразу внезапно заливалось необычайно милой, задушевной и какой-то детской улыбкой. Навсегда остался у меня в памяти от Валерия Яковлевича этот странный аккорд его внешности: лицо его, всем своим, как прежде говорили, дегенеративным строением указывавшее на противоречия, на сложность его богатой натуры: складка упорства, как будто знаменовавшая собой огромными усилиями достигнутую победу разума над хаосом страсти, и рядом с этим — вот эта непосредственная детская улыбка.

Между прочим, для параллели скажу, нечто подобное есть и в Горьком. И Горький подчас хмурится, съеживается и в то же время вдруг поражает вас ясным, добрым, радушным каким-то взглядом и ласковой, влекущей к себе улыбкой. Но все это было разительнее в Брюсове; его мучительно и нескладно страдальческое лицо было трагичнее и просветы веселости и ласки неожиданнее.

Брюсов, сначала показавшийся мне слишком замкнутым и странным, после этих моих наблюдений стал мне очень симпатичен. Потом нам пришлось с ним немало поработать. Он вступил в партию и сейчас же попросил работу в Наркомпросе и одновременно начал целый ряд трудов в Госиздате, между прочим, и по переводам иностранных классиков и по изданию Пушкина.

Брюсов стремился относиться к своим обязанностям с высшей добросовестностью, даже педантизмом. Вначале он заведовал библиотечным фондом. Дело это было, конечно, почти техническое, и мы рассматривали его, по правде сказать, больше как синекуру. Но Брюсов относился к этому иначе. Храня очень большое и громоздкое государственное имущество, он входил иной раз в неприятные столкновения, которые порождались не уходящимся еще хаосом разрушительного периода революции. Он протестовал, жаловался, волновался и в конце концов добивался удовлетворительного разрешения всех этих неприятностей.

В ходе развития Наркомпроса коллегии его показалось необходимым иметь особый литературный отдел, который параллельно тогдашним ИЗО, МУЗО и т. д. был бы регулятором литературной жизни страны. Во главе этого отдела мы поставили Брюсова. И здесь Брюсов внес максимум заботливости, но сам орган был слаб и обладал лишь ничтожными средствами. К тому же Брюсов мало годился для этой службы. Ему очень хотелось идти навстречу пролетарским писателям, он в революционный период своей жизни с любовью отмечал всякое завоевание молодой

пролетарской поэзии. Но вместе с тем он был связан всеми фибрами своего существа и с классической литературой и с писателями дореволюционными. Он, несомненно, несколько академично подходил к задачам литературного отдела, поэтому через несколько времени его заменил другой писатель-коммунист с более ярко выраженной радикально-революционной, уже тогда в некоторой степени «напостовской»<sup>{110}</sup> позицией — тов. Серафимович. К сожалению, и этому писателю не удалось сделать что-нибудь путное из нашего литературного отдела, но на этот раз уже по отсутствию решительно всяких средств.

Литературный отдел был закрыт. Но этот не совсем удачный опыт отнюдь не закончил работу Валерия Яковлевича в государственном аппарате. Сначала он был привлечен в Главпрофобр<sup>{111}</sup> в качестве помощника заведующего отделом художественного образования, затем сделался заведующим методической комиссией отдела художественного образования, и им оставался до последних дней. В то же время он стал членом ГУС<sup>{112}</sup> по художественной секции и председателем его литературной подсекции.

П. С. Коган<sup>{113}</sup> в своей статье о Брюсове очень верно отмечает необыкновенную четкость, которую Брюсов вносил в свою службу. Действительно моя последняя встреча с ним была такова. На заседании художественной секции ГУС перед нами встало несколько недоразумений относительно практики в назначении и увольнении профессоров. Брюсов, как это ему часто приходилось, дал точные разъяснения со ссылками на относящиеся сюда правила и распоряжения.

Брюсов был необыкновенно точным и аккуратным исполнителем. Добросовестность — вот что бросалось в нем прежде всего, как в сотруднике нашем по Наркомпросу. Широкой инициативы на своем посту он не проявлял — инициатива отводилась у него целиком в его богатое поэтическое творчество; она вылилась также и на почве художественного образования в России, но не столько в его «чиновничьей» работе, сколько в работе живой, педагогической. Он создал Институт художественной литературы. Конечно, в этом молодом учреждении он должен был давать талантливой молодежи необходимое техническое вооружение и арсенал знаний, кроме этого, целью своей поставил выработать редакторов, инструкторов, и к нему сейчас же потянулись со всех сторон молодые силы, подчас очень талантливые. Не все с самого начала ладилось, может быть, и сейчас не все ладится — дело новое. Но Валерий Яковлевич вносил в него всю душу, и главная его забота, его гордость была в том, чтобы

придать пролетарский характер своему ВЛХИ — пролетарский по составу студенчества, по духу и по ясности поставленных задач.

Я от души желаю, чтобы это широко и энергично начатое дело поэта-общественника осталось ему длительным памятником и чтобы ВЛХИ сумел просуществовать долго и плодотворно и без своего создателя и руководителя<sup>{114}</sup>.

Мне редко удавалось присутствовать на лекциях Валерия Яковлевича, но, как я знаю из отзывов и из книг, он умел вносить в свое преподавание с необычайной, опять-таки почти педантичной щепетильностью по части уразумения формальной стороны художественно-литературной работы и большую широту взглядов и глубоко общественный подход. Я, например, был совершенно очарован его блестящей лекцией о Некрасове, которая, как я это видел, произвела глубочайшее впечатление на всю его молодую аудиторию.

Помню еще один случай. Валерий Яковлевич захотел прочесть лекцию о мистике. Почему именно о мистике? Как поэт, Валерий Яковлевич при всем интеллектуализме влекся к еще неизведанному, а этого неизведанного ведь очень много и внутри нас и вокруг нас; но, как рационалист и коммунист, он стремился истолковать мистику как своего рода познание, как познание в угадке, как помощь науке в еще не разработанных ею вопросах со стороны интуиции и фантазии.

Никто, конечно, не может отрицать, что интуиция и фантазия могут помогать науке в некоторых областях, но было бы в высшей степени неправильно скрещивать этот род работы словом «мистика», которая имеет совсем другое значение и в тысячу раз больше вредит науке, чем приносит ей пользы... Брюсову казалось, что он нашел какое-то довольно ладное сочетание того, к чему влекла его натура, и той абсолютной трезвости, которой он требовал от себя как коммуниста.

Теперь нельзя не отметить, что Брюсову приходилось проделать в этом отношении очень большую внутреннюю работу.

Он гордился тем, что он коммунист. Он относился с огромным уважением к марксистской мысли и несколько раз говорил мне, что не видит другого законного подхода к вопросам общественности, в том числе и к вопросам литературы. И если иногда эти усилия большого поэта целиком перейти на почву Нового миросозерцания, новой терминологии бывали неудовлетворительны и неуклюжи, то они, эти добросовестнейшие усилия, не могут не вызвать у партии чувства уважения за ту несомненную и серьезнейшую добрую волю, которую Брюсов вносил в свое преобразование.

Я жалею, что обстоятельства не позволили мне гораздо ближе подойти к Брюсову, узнать его хорошенько как человека, но его облик стоит передо мною — пуританский, добросовестный, высококультурный, весь устремленный к задаче гармонизировать свои великие внутренние противоречия между старыми навыками, детьми старой культуры, и новыми убеждениями. А внутренне этот строгий и несколько нескладный в своем усилии образ освещен тем очаровательным идеализмом, который светился порою в глазах Брюсова и который сообщает для чуткого человека живую теплоту холодной красоте и подчас сумрачным усилиям, которыми полны его поэтические произведения.

## II

Валерий Яковлевич Брюсов вступил в нашу литературу остро и знаменательно. Конечно, не личность его вызвала перелом в этой литературе, а переломом в настроении интеллигенции определилась его личность. Я даже скажу больше: перелом, происшедший в настроениях нашей интеллигенции, не совсем соответствовал природе Брюсова, и — живи он в другое время — он, может быть, вольнее развернулся бы. Брюсов-поэт — продукт своего времени, как всякий поэт, но продукт, не лишенный противоречий, и по природе своей, повторяю, предназначенный к другому пути, чем продиктованный ему обстоятельствами.

Чем была литература брюсовской эпохи? Она ознаменовала собою своеобразный социальный процесс. Русская разночинческая интеллигенция, недавно разбитая самодержавием, потеряла свою народническую идеологию. После смутных и тяжелых 80-х годов она начинала приходить в себя, ласкаемая новым солнцем — увы, солнцем капитала. Колупаевы и Разуваевы превратились в меценатов. Из растущей мощны они охотно швыряли деньги на театры, поощряли художников. Они являли собою несколько неуклюжих русских Медичисов и Карнеги<sup>[115]</sup>. При дворах миткалевых магнатов и биржевых тузов собирались поэты, музыканты, художники кисти, и русский «джентельмен», которого так удачно изобразил в комедии этого имени Сумбатов-Южин, гордился европейским покроем своего платья, своих мыслей, своей квартиры и окружавшего его общества. «Покровительствуя» культуре, российский капитал, кроме того, — и это важнее — вызвал к жизни многочисленную служилую интеллигенцию, дал ей работу, дал ей «хороший заработок». Появился большой слой богатой или зажиточной интеллигенции,

кормившейся около капиталистического класса. Эта интеллигенция — инженеры, врачи, адвокаты — взапуски с меценатами устремлялась меблировать свою жизнь на западноевропейский лад и проводить свои досуги с изящной утонченностью. Идеологическая интеллигенция приобрела, таким образом, широкую возможность творчества. Но, конечно, к ее новой аудитории устарелое народничество никак не подходило — и потому, что было устарелым, и потому, что было народничеством. Было немного таких интеллигентов, которые уже ощущали на себе притяжение противоположного капиталу полюса — пролетариата. Массы интеллигенции и ее художественные корифеи остались под влиянием капитала.

Было бы, однако, в высшей степени грубым сделать отсюда заключение, что в искусстве 90-х годов царил дух капитализма. Ничего подобного. Капитализм не искал в искусстве апологетов своей сущности. Он знал, что сущность эту с точки зрения идеалов защитить трудно, да и не нуждался ни в самооправдании, ни в оправдании перед другими. В эти годы он чувствовал себя молодым и сильным, трезвым и наглым. От интеллигенции он ждал прежде всего широко поставленных развлечений, хотел, чтобы она узор-но позолотила ему его быт. Интеллигенция пошла на это. Минуя какие бы то ни было капиталистические тенденции, она прибегла для этого к нейтральным краскам, больше и прежде всего к теории и практике «чистого искусства». Ведь это и есть, в сущности говоря, беспредметный узор.

Но российская интеллигенция была заряжена слишком большим зарядом идейности и даже идеализма, чтобы героический подъем 60-х и 70-х годов — наследие Белинского и Герцена, — а затем острое метание и скорбь 80-х годов сразу заменились песнью звонкоголосого кастрата. К этому присоединилось западное влияние. Французская поэзия расправила свои символические паруса. Французский символизм был отражением некоторой дряхлости буржуазии. Изысканный по форме, как продукт «сверхкультуры», перезрелой цивилизации, он брал за содержание явления подсознательной области, мистики, и старался уложить их в так называемые символы.

Ничего от этой сверхкультуры в России на самом деле не было. Поэтому наши символисты, заимствуя деланную утонченность французов и их поэзию намеков и интуированный полубред, вносили в него иногда довольно жизнерадостное содержание. Но эта жизнерадостность представителей молодого народа, придавая свой привкус, тем не менее из приличия сдерживалась, и румяные лица разрисовывались в бледную маску

французского символического Пьеро. Таким образом, на первом плане интеллигенция 90-х годов ставила изысканность формы, на втором плане — загадочное и выпященное содержание, густо смешанное с заимствованным у Франции культом пороков и извращенности.

Брюсов был одним из первых среди русских поэтов, почувствовавших внутренне этот поворот. Он не только понял, но именно почувствовал, что пришло время для поэзии, для стиха, что можно свободно развертывать мастерство как таковое, что можно вместе с тем наполнять эти мастерские рамки самыми причудливыми образами. Царство мастерства и чудодейства вновь началось, и Брюсов выступил как молодой мастер-чудодей. Он любил тогда покривляться, как Маяковский или Бурлюк<sup>{116}</sup> двадцатью годами позже.

Однако индивидуальность Брюсова, как я уже сказал, не была настроена в унисон с этой эпохой. В гораздо большей мере ее прямым сыном был Бальмонт и — в своеобразных преломлениях — Блок первого периода<sup>{117}</sup>, Сологуб и многие другие, меньшие.

Первое, что отличало Брюсова от поколения символических чудодей, — это его крепкая скифско-мужицкая натура. Недаром с гордостью и упоением возвращается от времени до времени Брюсов к этому своему «скифству». Сын купца, внук мужика — Брюсов отличался большою мужественностью натуры. Это терпкое начало сказалось и в его крестьянском трудолюбии (помните знаменитое обращение к воле — музе: «Я сам тружусь, и ты работай»<sup>{118}</sup>). Это сказывалось часто и в выборе жестких тем, это сказывалось и в последующих судьбах общественной стороны его природы.

Может быть, в каком-нибудь родстве с этой плебейской мужественностью стояла у Брюсова и его любовь к науке. Он был начетчик, книгари, усердный филолог, он глотал и запоминал огромное количество данных, относившихся к различным эпохам, он умел почувствовать каждую эпоху и нанизать на это свое чувство необычайное богатство деталей. Образованность у него была изумительная и граничила со своеобразной полиграфической ученостью.

Брюсов был во многом рационалистом, и к стихам своим он относился как разумный садовник, и темы ему часто подсказывала наука. И каким-то холодком рассудительности и анализа тянуло всегда от его ювелирных поэм. Это было мало присуще его братьям символистам. Символы Брюсова в большинстве случаев — аллегории. Брюсов иногда старается быть крайне загадочным, играть на струнах неуловимых, почти только нервам

говорящих намеков. Но это ему плохо удается, и он становится сразу сильным, когда пользуется символами другого порядка, а именно крепкими, резко очерченными, почти научно определенными образами, долженствующими представить собою, охватить собою целую большую область культуры.

Даже форма произведений Брюсова оказалась отличной от других символистов. Другие пели, не очень-то спрашивая себя о костяке своих песен. Они были еще импрессионистами, они еще шалили с расплывчатыми световыми красками. А Брюсов уже шел своей немного тяжелой стопой к изображению весомых вещей, к точному рисунку. Все это совершенно выделяет Брюсова из остальных символистов. Я бы сказал, огромное большинство его произведений, плавающих по символическому каналу в собственном смысле слова, представляют собою вещи второстепенные, но как только Брюсов откладывает волшебную флейту и берет в руки медную трубу, как только он начинает объективную эпическую песню, часто проникнутую звенящим героизмом, он становится интересным, а иногда могучим.

Брюсов — эпик, объективист, живописец фресок, Брюсов, создавший — в рассыпанном, правда, виде — нечто параллельное «Легенде веков» Гюго<sup>{119}</sup>, — вот что, по-моему, в нем действительно бронзовое и будет долго жить.

Лирика Брюсова гораздо слабее.

О Брюсове говорят, что он был рыцарем индивидуализма, что его святая святых — это как раз провозглашение неограниченного права своего «я». Это отчасти так. На это толкала и эгоцентричная мода того времени и сильная, замкнутая, скуластая, крестьянская личность самого автора.

Но вот, когда Брюсов старается изукрасить свою личность, углубить ее разными французскими прелестями, намеками на какие-то загадочные пороки и чудовищные аппетиты, на свою гиперкультурную сверхчеловечность, он становится чуждым нам и, по правде сказать, довольно сухим. Конечно, Брюсов был натурой замкнутой, страстной, и из этой страсти питались многие родники его поэзии. Но как раз, повторяю, та «сверхличность», которой он иногда кадил, была заемной, была отражением буржуазно-эстетического сверхмещанского поветрия.

Первый раз выступили черты общественности в Брюсове в 1905 году. Не сразу разобрался он в явлениях японской войны, в явлениях революции. Его песни того времени далеко не совсем чисты, они отнюдь не приемлемы для нас как *наша* музыка, но они чрезвычайно интересны и сразу показывают, как настоящий, мужицкий Брюсов стал было высвобождаться

из-под пышных одеяний парижской моды.

Три доминирующие ноты, кажется мне, можно различить в его тогдашних революционных произведениях.

Во-первых, Брюсов чувствует, что старая культура закатывается, и он не очень о ней жалеет. Он прошел ее насквозь, он пил все ее напитки и вдыхал все ее ароматы. Он почти готов начертать слова роковые на стенах ее лабиринта. Конечно, со многим он тут связан, многое он тут любит, но многое кажется ему бесповоротно дряхлым и ненужным.

Он предчувствует обновление. Он знает, что человечество должно сменить кожу, сбросить с себя капиталистическую оболочку и предстать в новом виде. Сам он еще относит себя к старому миру, но относит себя к нему скорбно. Он приветствует победителей, обновителей, он призывает их сокрушить старую культуру и его, самого поэта, вместе с нею и не боится варварских горизонтов, которые раскроются перед человечеством, когда падут старые храмы.

Второй его нотой было презрение к либерализму, половинчатой полуреволюции. Он прямо заявляет, что считал ниже своего достоинства идти на призыв революции крохоборческой. Только тогда, когда революция взмахнула мечом, когда она явилась грозой, Брюсов, как повторяет он это несколько раз в своих стихах, не мог не откликнуться сочувственным эхом на стихию, в которой чувствовалось что-то родное его собственному сердцу. К тем, кто готов помириться на малом, кто радуется, когда революционная гора родила какую-то куцую конституционную мышь, поэт Брюсов относился с суверенным презрением.

Наконец, третьим мотивом его отношения к революций было почти грустное чувство того, что он сам не приспособлен быть как «боец времен», хотя и времен самых грозных и значительных; он слишком привык ориентироваться в вечности, ставить вопросы метафизически. Порой в нем самом звучит недоумение: хорошо или плохо то, что он парит выше бурь житейских и битв? Может быть, это просто обозначает оторванность от земли, от ее кипящей жизни?

Эта яркая вспышка интереса к общественности угасла вместе с революцией или, вернее, отодвинулась в сторону. Но она вновь вспыхнула, когда поднялась новая, несравненно сильнейшая революционная волна. Вновь сбросил Брюсов со своей груди всякие эстетские ожерелья, вновь забило его скифское сердце в унисон с бушевавшей пламенной стихией, и он отдался ей — отдался настолько, насколько мог.

Интереснейшей задачей является разобраться в революционных стихах, написанных Брюсовым-коммунистом, но у меня здесь нет для этого

времени<sup>{120}</sup>. Эту задачу я выполню, может быть, особо.

Я заканчиваю воспоминанием об одном моменте: мы чествовали Брюсова<sup>{121}</sup>. Много было всевозможных речей и поздравлений, живописен был момент, когда представители армянского народа положили свой национальный музыкальный инструмент к ногам поэта, превратившего в достояние русской культуры лучшие плоды их поэзии. И вот, в самом конце, Брюсов заявил, что вместо благодарности он попытается прочесть несколько своих стихотворений. Он вышел на авансцену. Он был бледен, как смерть, страшно взволнован. Он чувствовал, что в этот момент лично выступает перед народом, представленным этой переполненной залой; и своим четким, хотя глуховатым голосом, слегка картавя, стараясь говорить как можно громче, он прочел свой ответ на пушкинскую тему «Медный всадник» и свой гимн новой Москве. В ритме этих стихотворений, в каждом обороте и образе. в этом бледном лице с загоревшимися глазами, со спутанным вспотевшим чубом над лбом, было столько энтузиастической веры в новую грозную и плодотворную силу, что зал разразился громкими аплодисментами, и все почувствовали, как потускнели остальные моменты юбилейного чествования.

Зал готов был бы еще и еще слушать певца революции, но силы его были исчерпаны, и он, дрожащий от волнения, отошел в глубину сцены, где несколько друзей безмолвно пожимали ему руку.

# ГОГОЛЬ

Впервые статья напечатана в журнале «Красная нива», № 12 за 1924 г., затем во 2-м издании «Литературных силуэтов».

.....

Страшна судьба Гоголя. Вообще трудно себе представить во всей истории русской литературы более трагический образ. Его острый черный силуэт тем более ранит, что ведь одновременно с этим Гоголь — царь русского смеха.

Несмотря на то, что при малейшем усилии памяти в вашем мозгу возникают сотни комических положений, карикатурных фигур и физиономий, уморительных словечек, все же крайне трудно — мне, по крайней мере, — представить себе веселого Гоголя.

Конечно, над его остроумием хохотала вся читающая Русь, от наборщиков, у которых шрифт валился из рук от смеха, до Пушкина, и продолжает хохотать сейчас в лице каждого нового ученика школы первой степени, у которого расплываются губки над книжкой Николая Васильевича.

Опираясь на портрет, стараешься себе представить украинца с этими узкими, орехового цвета, искрящимися лукавством и наблюдательностью глазами, с обильными, тщательно причесанными волосами, полного своеобразной самоуверенности, готового подчас на хлестаковские выходки, вечно впитывающего в себя все курьезное и перерабатывающего этот материал в бессмертный смех.

И никак не можешь удержать перед собою этого образа. Он заслоняется вновь другим Гоголем: желтым, худым, как скелет, обтянутый кожей, с неестественно вытянутым носом, с потухшими глазами, [видишь Гоголя] согбенного, угловатого, бесконечно 186 скорбного, убитого, задумчивого, движением руки бросающего лист за листом свою рукопись в огонь, помешивающего щипцами, в то время как лицо его странно озаряется пожирающим его душу при виде этих листочков огнем, который играет в глазах, потускневших, ушедших в себя и переставших даже быть печальными от бесконечной муки.

Конечно, с самого начала в Гоголе было много противоречий, с самого начала душа его была богата элементами мучительными.

Мы знаем, например, что он был болезненно, почти отвратительно честолюбив. Ум его был занят грандиозными мечтами, граничащими с манией и иногда делавшими его каким-то гениальным Недопюскиным<sup>{122}</sup>. Это честолюбие заставляло его все время братья за разрешение проблем, абсолютно не бывших ему по плечу. И свою болезненную развязность он сам распял потом не только со смехом, но и с внутренним страхом и раздражением в фигуре Хлестакова.

Это непомерное честолюбие, ревнивое и подозрительное, легко получало раны. Горестное положение «русского сочинителя» усугубляло такие возможности. Не будь даже в Гоголе этих хлестаковских замашек, то и тогда самолюбию его жизнь нанесла бы железные щелчки. А при своеобразном сдержанном «империализме» его — щелчков таких приходилось переживать очень много. И тут вырисовывалась другая сторона Гоголя-Хлестакова — его огромная неуверенность в себе.

Это ведь часто бывает: много внешнего апломба, большие запросы, грандиозные мечты и за всем этим, рядом со всем этим целая пропасть робости, робости провинциала, робости человека, у которого никогда не ладилась половая жизнь, — робости, подчас повергавшей Гоголя в настоящую одичалость и грубую замкнутость.

Вероятно, часто бывало, что вспенившиеся порывы Гоголя, его волшебные постройки распадались от какого-нибудь толчка. Тогда он угасал весь, его фейерверк портился, он становился похожим на какую-то мокрую ворону, забившуюся в угол и пугливо насупившуюся.

Это было далеко не единственное противоречие. Рядом с ним и, может быть, глубже его жило то, что отметил в своем превосходном труде о Гоголе тов. Переверзев<sup>{123}</sup>.

Кто же не знает теперь, что Гоголь был романтик и вместе с тем натуралист? Тов. Переверзев совершенно верно отмечает, что фантазия Гоголя, когда она заносилась в звездные поднебесья, когда она разбухала, становилась гиперболичной, очень часто оказывалась вместе с тем худосочной. Его положительные типы, даже в сказочных его произведениях, всегда трафаретны и лубочны. Знаменитые описания его (припомним хотя бы «Днепр») не имеют ничего общего с действительностью и сбиваются на велеречивые фразы. Это не значит, конечно, чтобы Гоголь-романтик был вообще слаб. Нисколько. Навеки и для всех живут в его произведениях многие поверья украинского народа,

навек и для всех созданы им сказки, то неудержимо смешные, то непобедимо страшные. И просто выбросить Гоголя-романтика и просто сказать, что живым и интересным он становится только тогда, когда опирается на конкретные, материальные рожи и сцены из помещичьей Печенегин, конечно, нельзя.

Удовлетворяла ли романтика Гоголя какую-нибудь сторону его души? Конечно, это не было случайностью, это не было каким-нибудь посторонним влиянием, скажем, Гофмана или других. Романтика, фантастика Гоголя были совершенно законным плодом его природы.

Гоголь, как и Горький, страстно хотел красоты. Это общая черта, присущая почти всем художникам; но можно сквозь их произведения прощупать, каков их рай, каковы пределы их мечты в области красивого, каков для них смысл этого слова.

Разве не чувствуется, например, за всеми произведениями Короленко гармоничного подъема к какой-то царственно эллинской мечте, к какой-то музыкальной, солнечной жизни, где мудрые и полные любви люди величаво мыслят, разговаривают и двигаются на фоне классического пейзажа? Над всем русским, что есть у Короленко, над всей его сердобольностью, над всеми его протестами или, вернее сказать, под всем этим и в качестве родника всего этого живет гармоничная, уравновешенная, на какой-то блестящий кристалл похожая душа Владимира Галактионовича, жаждущая в дополнение к себе такого же кристального, уравновешенного мира.

А Чехов? Для Чехова идеальный мир Короленко был бы, пожалуй, скучен. Он никогда не любил и не мог любить законченных форм. Его идеальный мир должен был бы быть весь изящным, ажурным, полным каким-то трепетанием красок и ароматов, счастливым, каким-то полупризнанием, каким-то угадыванием друг от друга таящихся в самом человеке или даже в природе многообещающих тайн. Это мир ночи с небом в алмазах, это мир беглых и тем более драгоценных наслаждений. Это не хорал, не спокойное дорическое молчание, но трепетно зовущая и загадочная музыка, какая развивалась от Шопена к Дебюсси.

По сравнению с этими глубокими эстетамы новой русской литературы Горький грубоват. Его красота несколько аляповата, но ярка, и, когда он описывает природу, он становится весь четкий, весь наливается красками, иногда наподобие олеографии. Ему нужно синее небо, синее море, золотое солнце, яркие цветы и какие-то люди, смуглые и белозубые, огненноглазые, в ярких костюмах, в сплетениях пляски с страстью, с вольными выкриками и дикой песней. Его рай — южный, цыганский.

Но каждый из этих трех писателей тем не менее тоскует по этому своему раю, который мы бледными намеками старались наметить здесь. И глубокое противоречие между этим раем, всегда покоящимся на внутреннем согласии и победе благого начала, и жизнью, как она есть, есть та мука, которая рождает художественные перлы.

Как я уже сказал, Гоголь несколько родственен Горькому в этом отношении. Если взять самые красивые описания природы у Гоголя, если взять его положительные типы, его кузнецов и казаков, его парубков и дивчат и противопоставить им подобные же элементы из сказок и полусказок Горького, известная родственность бросится в глаза. Но все равно, живет ли в мечтах Гоголя преклонение перед широкой казацкой стариной или смутно мерещится ему какое-то счастливое будущее Украины, полное смеха, песен и могущее всей своей молодой грудью отдаться ласкам солнца и ветра, — все равно мечта эта целой пропастью отделена от кривляющейся жизни тогдашней идиотской России, в недрах которой должен был жить и развиваться Гоголь.

Сейчас я хочу обратить внимание читателей не на самый факт противоречия мечты и действительности, а на особые, мучительные комбинации их в Гоголе. Все толкало его на то, чтобы быть только романтиком. В правильно развитом обществе Гоголь должен был бы стать автором широчайших сказочных фресок, и та некоторая бессодержательность, шоколадность, что ли, в которой упрекает его тов. Переверзев, совершенно исчезла бы при этом. Вскормленный грудью счастливого человечества, Гоголь, несомненно, был бы счастливым человеком и поэтом счастья, поэтом веселья и радости, разлитых в природе и ее здоровых детях.

Но в том-то и дело, что жизнь не позволила ему уйти в царство грез, и Гоголь сам, конечно, сознавал, что этого нельзя. Не в том смысле, чтобы какая-нибудь цензура запрещала ему писать вещи в духе «Тараса Бульбы» или «Майской ночи», но в том смысле, что он сам понимал малую ценность таких произведений на фоне кошмарной действительности. Просто сказочником быть при этих условиях казалось Гоголю недостойным. Кричащее противоречие между миром, жившим в его душе и звучащим в унисон с украинской природой, и пошлой действительностью манило к себе. Подлые рожи быта дразнили и звали к оплеухе.

Не только в русской литературе встречаем мы карикатуристов-бытописателей, злобных разоблачителей всей скверны буржуазного быта, ставших таковыми вследствие коренной романтики, коренного пафоса и врожденного чувства красоты. Укажу мимоходом на Флобера. Флобер всем

своим существом был мечтатель и полностью находил себя только в своих грандиозных картинах «Салаambo» и в «Видении святого Антония». Конечно, и эти произведения проникнуты горечью, но в них все грандиозно. Флобер в своем рае искал не счастья, а размаха, силы и целостности страстей, какой-то дух захватывающей насыщенности. Этого-то он и не находил в действительности, и отсюда не только его очаровательный реализм, странная и до сих пор еще, по-моему, не нашедшая достойной оценки «Госпожа Бовари», но прежде всего беспощадная, злая, сама своей желчью задушенная сатира «Бувар и Пекюше». Флобер превратил свое золотое перо в ядовитую стрелу и пустил ее в наглуемую рожу буржуазии за то, что она маячила перед ним, заслоняя собою все перспективы и отравляя все его сны.

Так и Гоголь от романтики повернулся к карикатуре вследствие ненависти к быту, а не вследствие любви к нему.

В людях тонкой организации есть некоторый инстинкт самосохранения в социальном порядке. Помните, Маркс на обвинение Гёте в олимпийской холодности и в самоустранении от жизни сказал: «Надо быть благодарным Гёте за то, что он спрятался, как черепаха, в свой звездоносный сюртук министра, чтобы его не изранила и не убила мелкая действительность, его окружавшая». Я не цитирую здесь точно Маркса, у меня нет под руками его статьи, опубликованной в свое время Струве в журнале «Начало»<sup>{124}</sup>, но я ручаюсь за правильность мысли и нахожу ее, эту мысль, чрезвычайно глубокой.

На примерах русской литературы мы можем видеть это беспрестанно. В самом деле, неужели Гоголь не понимал, что за всеми Плюшкиными, Собакевичами, Петухами, за всем этим отребьем человечества, владевшего живыми душами, висится сверхпомещик — царь? Что все они представляют собою элементы единого целого царско-помещичьего самодержавия? Неужели Гоголь с его огромным умом не понимал, что над всеми его Сквозник-Дмухановскими, Тяпкиными-Ляпкиными, прокурорами висит сверхчиновник, сверхпрокурор — царь? Что все эти ужасные морды мелкой чиновничьей России, в цепких лапах зажавшей судьбы народа, есть только элементы одного громадного кошмара царско-чиновничьего самодержавия? Разумеется, он это прекрасно понимал, но он понимал также, что нельзя поднять своих глаз слишком высоко. Апеллес сказал сапожнику, осуждавшему его картину: «Не суди выше сапог»<sup>{125}</sup>. По совсем другим причинам и царская цензура говорила то же: держись ближе к земле. Пожалуй, что уже предосудительно говорить такие гадости

о помещиках и чиновниках и следовало бы сказать сочинителю «цыц». Но если бы он решился дойти до архиереев, генерал-губернаторов, министров и крупных капиталистов и т. д. и с них намалевал бы «такие каки»<sup>{126}</sup>, ведь это была бы уже злостная пропаганда.

Напрасно думает читатель, что каждый русский сочинитель просто разрешал эту задачу, то есть говорил себе: что же тут поделаешь, нельзя заходить в своей критике выше городничего, надо говорить эзоповским языком. Далеко не все русские сочинители были в этом отношении так честны с самими собою. Щедрин действительно был таким, но уже никак не Достоевский и равным образом и не Гоголь. Искренен или неискренен был Достоевский, когда он, обожженный адovým огнем каторги, стал благословлять самодержавие и православие? Будет бесконечно грубо нечутко тот, кто скажет: Достоевский приспособлялся и лгал. Будет простаком в психологии, кто скажет: Достоевский убедился и прославлял в самом деле. Достоевский действительно приспособлялся, но отнюдь не лгал. Он приспособлялся какой-то страшной внутренней судорогой души, приспособлялся так, что переместил внутри себя свой полюс, сам себя загипнотизировал и заставил себя быть искренним, заняв позиции, которым где-то, в самой сокровенной глубине своей совести, не мог найти оправдания. И благо заключается в том, что сквозь все софизмы, которыми этот гений оправдывает себя и свое отношение к действительности, слышны завывающие голоса его ада, которые он не смог заставить замолчать. Как ни направлял он свою ненависть в другую сторону, как ни благословлял торжествующее зло, ругал бесами и пачкал своих бывших товарищей, протестантов, все же какой-то революционный ветер веет сквозь Достоевского и оставляет его слишком великим для тех публицистических выводов, которые он делал.



*А. В. Луначарский и А. М. Горький 1928 г.*

Гоголь — фигура более от нас далекая по времени, а может быть, и по душевному типу, но не менее мученическая и мучительная. Если и его кисть внезапно стала ломаться [{127}](#), подло виляя, ломаться, задавшись целью нарисовать портреты миллионеров, откупщиков, царских архипастырей и вельмож, то и это делалось тоже в силу такого же коренного внутреннего сдвига. Ни на одну минуту не верю я, чтобы Гоголь при нормальных, скажем, просто нормальных конституционных условиях мог навлечь на себя громы Белинского и начать играть в руку реакции. Ничего глубоко реакционного в нем нет. Если у Гоголя (менее, чем у Достоевского) находится иногда искренняя и глубокая нота в его реакционной музыке, то это потому, что он вообще талантлив, поэтому, фальшивя всей душой, он остается гением. Опять-таки, прошу заметить, фальшивя *всей* душой, но не потому, чтобы Гоголь сказал: плетью обуха не перешибешь, чтобы он сдался на власть сатаны, благословляя его и признав

его богом, чтобы он сознательно чему-то изменил. Нет, просто этот самолюбивый и вместе с тем болезненно чуткий человек, этот человек, душа которого сплетена была из фибр жажды славы, доходившей до мании величия, и фибр сомнения, доходившего до мании преследования, внутренне полусознательно убоявшийся кошмарной власти мира сего, пошатнулся, внутренне исказился весь так, что самая искренность его стала уже фальшью. Коренные критерии покосились, вся душа его стала гримасой, но гримасой окаменевшей и превратившейся в личность. И так как не мог же в самом деле Гоголь пресечь весь таившийся в нем протест против мелочности и безобразия жизни, то он не остановил его, но облек его в грозное проповедничество пустякового морального свойства, проповедничество от имени церкви и властей предрежащих против порочности малых сих. Как и Достоевский, внутренний запас едких кислот Гоголь выбросил в противоположном направлении, против неверия, суемудрия интеллигенции и т. д. И это подкашивало силы Гоголя как карикатуриста.

Какая судьба! Художник хотел создать себе мир южной красоты, какую-то мировую майскую ночь, полную чувственной прелести, буйной воли, человеческой ласки и ласки природы, а тут вокруг ужасные рожи, которые, как лишаями, закрыли облик мира. Тогда с переливчатым смехом, в котором столько сознания силы, что порою сам гнев кажется отсутствующим в нем, бросается Гоголь на этих кикимор и показывает им зеркало, глянув в которое они должны были лопнуть от хохота и рассеяться в воздухе.

Но вот оказывается, что зеркало это смеет отражать только карликов. А за карликами идут средней величины, и большой величины, и колоссальные Вии, чудовища гороподобные, кошмарные, но это уже силы непреодолимые, и Гоголь чувствует, что стоит только ему, маленькому философу и художнику, прямо глянуть в глаза Виив, чтобы они в порошок его стерли. А хочется жить, хочется творить, и в страшной внутренней конвульсии природа его раскалывается. Глаза ему уже изменили. На месте кошмаров он видит какие-то далекие светлые образы, какие-то величавые туманные лики. Ему кажется, что гадкие карлики, ползающие вокруг него, не порождение и не подножие, не почва, из которой выросли эти ужасные лики, грозные лики чудовищ, а наоборот, болото, не соответствующее величавым богам, в которые превратила вышеупомянутая судорога его души в этих глазах его миродержащих уродов.

Что же делать? А между тем Гоголь не хочет «пописывать». Между тем страстная жажда славы и величия колышет его душу. Это жажда уже

получила свою пищу, и слава теплыми лучами озарила Гоголя. Он чувствует, что все взгляды обращены на него, что он заместитель Пушкина, что он главный жрец всероссийской литературы. Он высоко понимает свою задачу. Он хочет быть учителем жизни. И он учит, он проповедует, он грозит, он гремит, но, увы, совсем не теми словами, совсем не в ту сторону, и все его проповеди, вместо того чтобы украсить его в вечности, чтобы сверкающим нимбом окружить лик его в Пантеоне русских писателей, превращаются в смрадное облако, в чадный дым, порой совершенно закрывающий от нас его дорогие нам черты.

Последние годы жизни Гоголя с этим попом, оплевывающим в нем все радостное, все творческое<sup>{128}</sup>, с этим забитым, испуганным смирением, с этим сомнением и самосокрушением, представляют собою действительную пытку.

Кто же это корчится перед нами, вот этот худой, длинноносый, с потухшими глазами? Кто это сжигает свою душу? Это великий писатель от природы, поэт счастья, царственный фантаст, волшебник искрометного смеха, получивший удар железной палицей самодержавия, переломивший его пополам; самодержавие вкупе и влюбое со всем русским бытом, которого оно было порождением и причиной, наступило на мозг и сердце Гоголя: потому он и корчится теперь, как червь, не смеет протестовать или протестует не против того. Извивается, желая защититься, но извивается бесплодно, нецелесообразно.

Почти у всякой русской писательской могилы — у могилы Радищева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Толстого и многих других, — почти у всех можно провозгласить страшную революционную анафему против старой России, ибо всех их она либо убила, либо искалечила, обузила, обгрызла, завела не на ту дорогу. Если все же они остались великими, то вопреки этой проклятой старой России, а все, что в них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, — все это дала им она.

## А. С. ГРИБОЕДОВ

Стенограмма речи на торжественном заседании, посвященном памяти А. С. Грибоедова 11 февраля 1929 г. Первая публикация — в журнале «Русский язык в советской школе», 1929, № 1.

Цитаты из писем и документов приводятся А. В. Луначарским по памяти с некоторыми отклонениями от текстов.

.....

### I

Несмотря на то, что прошел целый век, комедия Грибоедова «Горе от ума» и сейчас числится лучшей комедией в нашей литературе, наряду с гоголевским «Ревизором». Не знаю, можно ли поставить рядом с этими двумя жемчужинами первейшего калибра хотя бы одну какую-нибудь другую комедию, не исключая комедий Щедрина, Островского, Сухово-Кобылина и Чехова.

Но комедия ли это? Сам Грибоедов, который, конечно, неоднократно слышал взрывы смеха, когда читал такие меткие строки, какие рассыпал своей гениальной рукой писателя перед слушателем или читателем такие необыкновенно выпуклые уморительные фигуры, — сам Грибоедов с большой скорбью, с большой желчью отвергал звание веселого писателя, а тем более — звание веселого человека. «Я, — спрашивает он, — веселый писатель? Я создал веселую комедию?» «Эти Фамусовы, Скалозубы...» — беспрестанно повторяет он. Это показывает, с какой гадливостью смотрел он на свой век, как страшно ему было жить в этой рабской среде. И когда жизнь бросала его по всему лицу обширного отечества, с каким непередаваемым ужасом он восклицал: «Какая страна! Кем она населена! Какая нелепая у нее история!»

Комедия названа «Горе от ума». Горе в комедии уму — уму, который был провозглашен безумием; уму, от которого все отвернулись; уму,

которому лучшая, красивейшая, наиболее умная, наиболее самостоятельная девушка из тех, которые фигурируют на сцене, предпочла лакейскую натуру. Это все, конечно, не комическое впечатление создает. Правда, немножко в стиле тогдашней эпохи, немного по-помещичьи звучит: «Карету мне, карету!», но в этой карете Чацкий отправляется «искать по свету» какого-нибудь пристанища. И неизвестно, найдет ли он его. Если, паче чаяния, его выпустят за границу, то и тут надо подумать о том, насколько Чацкий привыкнет к новой среде, насколько эта среда сможет удовлетворить потребности его разума и совести.

Комедия «Горе от ума» — драма о крушении ума человека в России, о ненужности ума в России, о скорби, которую испытал представитель ума в России.

Разве Пушкин не восклицал: «Догадал меня черт родиться в России с умом и талантом!» А Чаадаев, написавший самую умную книгу в тогдашней литературе, разве не был провозглашен безумцем? Все высшее общество — высокопоставленные «престарелые Несторы», выжившие из ума старухи — всем стадом твердило об этом безумии.

Комедия — точный, совершенно точный самоотчет о том, как живет, вернее, как гибнет, как умирает на Руси умный человек. Когда мы присматриваемся к биографии Грибоедова, мы прекрасно понимаем, почему он пришел к таким настроениям. Под всякой биографией имеется большая социальная подоплека. Откуда пришел в Россию этот ум, откуда он взялся и что это за ум? Если Фамусов не очень умен, то ведь рядом с Фамусовым были такие вельможи, у которых черт ума не съел, были смышленные купцы, мужики, которые иной раз «выходили в люди». Во всяком случае, они могли очень неплохо рассудить всякое дело, потому что наш народ не бездарный народ.

Но в чем же особенность человека, про которого говорят: это умный человек? Свойство такого человека в том, что он критикует, потому что он умнее своей среды, умнее окружающих его. Ум замечен именно потому, что он вносит нечто новое и что он не удовлетворяется тем, чем удовлетворяется заурядный человек.

Откуда такой ум взялся на Руси? Он результат глубоких процессов вращивания в Россию капитализма. Азиатские феодальные формы существования с сильно развитым торговым капиталом, которые имели место раньше, в начале XIX столетия стали уступать новым формам капитализма, частнопроизводственным, и, поскольку страна наша была страной земледельческой, — земледельческому капитализму. Главными землевладельцами были, конечно, дворяне. Землевладельческое дворянство

было в большинстве своем представителем азиатского начала; оно стремилось по старинке наживаться на крепостном праве, но, по существу, по старинке разорялось. Крупнейшие вельможи этого типа могли существовать только дополнительным выколачиванием средств из того же крестьянства через государственную машину, получая их в виде того же жалованья. Вместе с тем развернувшаяся торговля хлебом с Европой, дававшая очень большие перспективы впереди, заставляла более крупную часть дворянства подумать о том, как бы начать подтягиваться к Западу, как это в своих собственных интересах — время от времени — делало самодержавие не только при Петре, но и в начале царствования Екатерины и в начале царствования Александра I. Само правительство поддавалось иногда тому умному течению, которое говорило: «И в военном отношении будем биты, потому что мы глиняный горшок рядом с чугуном и разобьемся об него в дальнейшей тряске по исторической дороге. Надо обновиться, надо европеизироваться». Но европеизироваться — значит внести некоторые новые черты государственности, значит уничтожить или по крайней мере в известной степени ослабить крепостное право, дать известный простор человеческой инициативе.

Вот это было то западническое движение, заносное по своим принципам, но чрезвычайно важное в развитии нашей культуры, которое приводило к тогдашнему движению умов и воле и вылилось в восстание декабристов. И самый декабризм представлял собой громадную радугу — от консерватизма через либерализм к якобинству. Круг декабристов, понятно, не охватывал собой всех либерально и прогрессивно мыслящих русских людей, за его пределами оставались крупные фигуры, только до известной степени затронутые движением, как Пушкин, Грибоедов. Нас не должны обманывать проявляющиеся у Грибоедова черты раннего славянофильства. Это было у него потому, что часты были потуги самодержавия европеизироваться и часты были полосы, когда наступала дикая реакция, когда самодержавие пугалось собственной смелости, всякие серьезные реформы тушились и начинался в том или другом виде период аракчеевщины. Но от внешней западной позолоты, как французский язык, гувернеры, парики, духи, различные вещи парижского происхождения, — от этого не отказывались; наоборот, все в этом видели решительный признак хорошего тона, правильное и настоящее расстояние между простонародьем и верхушками. Вот эта обстановка так называемой аристократии, модничающей западничеством верхушки, была ненавистна настоящим прогрессивным людям, в них просыпалась национальная гордость, потому что они чувствовали, что их стремления более близки к

основной массе народа. Они отмежевывались от верхушек, которые искусственно создавали свою культуру и, обезьянничая в отношении Запада, на деле оставались дикими и варварскими.

Ум, таким образом, выражал собой появление первых авангардов, скажем, той просвещенной буржуазии, хотя бы и дворянского происхождения, которая стала предъявлять серьезные требования к европеизации всей русской жизни. Носители ума натыкались на ту самую русскую жизнь, которая европеизироваться дальше верхушек не желала, которая желала оставаться в удобном азиатском болоте. Отсюда происходило два основных чувства: кипучее негодование против свинных рыл, окружавших русских передовых писателей от Грибоедова до Гоголя, а с другой стороны, рядом с этим негодованием, — глубочайшая скорбь. Эта скорбь ослаблялась у тех, кто мог верить в революцию, кто мог верить в то, что этот переворот сразу все изменит. Был период увлечения, когда декабристы видели какой-то свет; Грибоедов этого света не мог видеть.

Белинский не верил в возможность крестьянской революции, не видел никакого исхода, и самое большое обещание, которое он давал себе и другим, заключалось в том, что, может быть, придет буржуазия и создаст некоторые предпосылки для дальнейшей прогрессивной установки капитализма в России. Если взять наиболее зрелые слои, которые были последователями Белинского, например Чернышевского, то на всей его жизни лежит печать трагизма — не только тогда, когда он был сослан, но и тогда, когда он занимался революцией, когда в своем знаменитом произведении «Пролог пролога» он тысячу раз повторяет: да можно ли что-нибудь сделать? Ничего не изменишь, остается только протестовать!

Грибоедов — человек громаднейшего ума и ослепительных способностей. Грибоедов — музыкант, математик, дипломат, писатель-стилист, психолог. Он представляет собой единственное явление. Может быть, рядом с ним нельзя никого поставить. По разнообразию своих задатков он гениален. Грибоедов — колоссальная, ослепляющая фигура. Будучи таким, он испытывал две страсти. Неумолчный голос гения говорил в нем об обличении, и вместе с тем мы видим в нем глубочайшую скорбь о невозможности вырваться из этого ада, о необходимости искать какую-то тропу примирения с ним. В области своих жизненных путей Грибоедов пошел на такое примирение. Чацкий говорит о том, что «служить бы рад, прислуживаться тошно». Ему страшно войти в этот ужасный чиновничий мир. То, что этот чиновничий мир ужасен, Грибоедов прекрасно знал. Он из Персии пишет: «Дезертируют туда и обратно. Бегут персы в Россию. Бегут русские в Персию. И там и здесь чиновники одинаково гадки». Под

чиновниками он имел в виду режим. Один и тот же режим и в России и в Персии. Но этому режиму он служил, и служил блестяще. Он дошел быстро до высоких чинов, внутренне, как гений, сознавая свою трагическую вину.

Вести во имя торгового капитала колониальную политику; заставить разгромленных персов подписывать унижайший колониальный мир; оставаться в Персии, чтобы прессом полицейской, милитаристской России выжимать последние соки из этой страны, чтобы для уплаты контрибуции спарывать пуговицы с платья жен шаха, сдирать позолоту с трона шаха, — конечно, всего этого такой человек, как Грибоедов, делать не мог, и рядом с карьерой растет его тоска. Так, в последний раз уезжая в Персию, он прекрасно знал, куда он едет, что его ожидает. Он говорил о том, что там его могила. Будет ли это удар тайного убийцы из-за угла или ярость народной толпы, специально подстрекаемой на антирусский погром, — это не так важно. Это Немезида. Взявший меч от меча и погибнет. Кто является насильником в соседней стране, тот должен знать, что он пользуется всеобщей ненавистью. Грибоедов знал это. И здесь двойное его поражение — не только тем ятаганом, который сорвал его гениальную голову с плеч, но и моральное, поскольку он понимал, как один из первых, талантливейших, в достаточной степени энергичных колонизаторов, сущность своего «сардаря»: о нем он обыкновенно отзывался с подозрительной сдержанностью, за которой скрывается немало количество негодования, ненависти.

Я думаю, несколько неправильно говорить, что на поэтическом своем пути Грибоедов был чем-то вроде неудачника, что он, создавши такую изумительную в истории мировой, а тем более русской литературы вещь, как «Горе от ума», иссяк после этого совершенно, отчего очень сильно страдал. После «Горя от ума» трудно ему было написать что-нибудь другое, и естественно, что попытки его создать новое произведение сопровождались неудачей. Но Грибоедов умер тридцати четырех лет. Разве можно на человеке, который создал «Горе от ума», поставить крест? Мы не можем сказать, что дал бы Грибоедов миру, если бы его жизнь в тридцать четыре года не была рассечена кривым ятаганом. Но не будем говорить о том, что было бы; посмотрим, как все же шла его поэтическая жизнь и не знал ли он здесь реванша по отношению к глубоким физическим и моральным катастрофам в своей реальной жизни.

Грибоедов неоднократно указывал на то, что он был призван к другому поприщу, что он должен был бы говорить иным языком, что самая его пьеса задумана была в порядке чего-то гораздо более величественного, что

он в известной степени низвел ее с этой высоты до того уровня, на котором мы ее знаем, из-за желаний заставить ее заблестеть при огнях рампы. Мы знаем один план грибоедовской пьесы, которая предварительно была названа «Двенадцатый год». Мы знаем, какой сюжет должен был быть там доминирующим: в дворянской среде, где крестьянина брали всегда только как объект, в лучшем случае как деталь, основным героем должен был быть крепостной человек. Не в дворянстве, чтобы прямо объявить ему в известной степени классовую борьбу, стал он искать больших героев типа Чацкого, а в крестьянстве. Талантливый крестьянин, разбуженный к политической жизни бурями 12-го года, вкладывающий всю свою душу в то, чтобы отстоять свою родину, совершающий истинные подвиги, награждается за это дворянством как подлинный борец за Россию. И рядом с этим картина лжепатриотизма помещиков, «ура-патриотизм», всевозможная репетиловская трескотня, желание погреть руки, нажиться на народном бедствии.

Вот такие типы должны были быть, и в такой плоскости должен был быть изображен правящий класс. Война прошла. Элементы мыслящие, с героической волей, как герой-крестьянин, больше не нужны; он возвращается в нормальные крепостные условия и кончает жизнь самоубийством, чтобы не умереть под палками своего дикого барина.

Я должен сказать, что если бы кто-нибудь из наших нынешних писателей 1928–1929 года взялся написать такую пьесу, то написал бы очень современную вещь, современную не в смысле критики теперешнего состояния России, но в смысле великолепной критики того, что было. Если нам еще нужно время от времени вбивать лишний осиновый кол в могилу погребенного нами колдуна, который тысячу лет держал Россию в своих когтях, то такой кол был бы крепким.

А ведь задумано это было дворянином Грибоедовым, выросло из прогрессивного буржуазного протеста, который образовался на экономических корнях из требования европеизировать страну и дорос, развернулся великолепным цветком в мозгу писателя как требование человечности, подобно тому как Шиллер и Гёте требовали очистки жизни от той старой пакости, которая ее загрязнила.

## II

Что же такое «Горе от ума»? Грибоедов не мог больше носить в себе своей ненависти, своего отвращения, ему хотелось публично, перед всеми,

громко высказать, выкрикнуть свое негодование. Это то самое чувство, о котором Горький писал когда-то, когда он впервые ознакомился с развратной, эксплуататорской гнилью Франции: «Хочу в твое прекрасное лицо харкнуть желчью и кровью». «Харкнуть желчью и кровью» хотел Грибоедов в лицо тогдашней официальной России, в лицо тогдашних правящих классов, правящей бюрократии. Но для этого нужно было придумать форму. Это не так легко. Ну-ка, харкни не только желчью и кровью, а просто хорошим плевком! Мы знаем, что так плюнул Чаадаев и погиб если не физически, то политически и граждански. Значит, нужно было взять такой тон, найти такую манеру, в которой можно было и царям и полцаренкам говорить правду. Давно известна для этого шутовская форма; в этой форме можно было кое-что протащить, поэтому, оставив за Чацким — своим прокурором — всю полноту серьезности (я потом еще скажу, какой трюк был применен к Чацкому), Грибоедов в остальном старался сделать веселую комедию. Он заимствует для этого и новые западноевропейские формы — в Лизе, например, особенно широко чувствуется европеец. Его интрига не бог весть как построена и не бог весть как интересна сама по себе; можно очень сильно критиковать произведение с этой точки зрения, и его критиковали, но, критикуя, воздавали хвалу и славу. Ибо зачем Грибоедову было строить доскональную комедию, которая бы оттеняла каждое событие, — где конструкция бы выпирала на первый план? Это ему не было нужно. Он не комедиограф, но он великий пророк типа Иеремии<sup>{129}</sup>, который выходит на площадь, чтобы сказать страшную правду о своей горячей любви и о ненависти ко всему тому, что являлось позором для его родины. Поэтому комедия, как форма, для Грибоедова была совершенно второстепенна, об этом он и сам говорил, когда утверждал, что тогдашние условия заставили принизить его первоначальный замысел.

Его прием, совершенно законный и глубоко художественный и разящий, как раз сродни шутовству, но сродни и негодованию. А ведь за негодованием идет отвращение. Конечно, можно негодовать, но и чувствовать уважение к тому, против чего негодуешь, а можно от всего этого отвернуться и забыть. Но если забыть и отвернуться не способен, то за отвращением, за внутренне негодующим осуждением дальнейшей ступенью является презрение, в нем уже есть стремление посмеяться над тем, что презираешь, ибо смех — это и есть реакция разрешения некоторых внутренних противоречий. Ты страшилище, но я не вижу в тебе ничего ни страшного, ни ужасного, ты только смешная личина, ты давно морально и умственно побежден, и ты заслуживаешь только смеха. Когда человек

чувствует полную победу воли, тогда появляется легкий юмор, чувство трепещущей иронии, что-то даже вроде ласкающего смеха над чудачком обывателем чеховского типа, который, конечно, гадок, но можно ли брать его всерьез? Он заслуживает только того, чтобы его посыпать далматским порошком, так как это в конце концов клоп.

Но когда до этой победы дело еще не дошло, когда Фамусовы и Скалозубы являются правителями страны, когда их режим — дрящущее преступление, на борьбу не пойдешь со свободным легким смехом. И Грибоедов, по-видимому, немного переборщил, немного чересчур взял еп соміque<sup>[11]</sup>; надо было взять серьезнее. Но другого выхода не было, и тот выход, который был найден, оказался великолепен. Это был разительный смех, а ничто так не убивает, как смех, ибо когда вы сердитесь, еще неизвестно, кто прав, неизвестно, кто победит. Но когда разит стрела смеха, подобная стреле пушкинского Аполлона<sup>{130}</sup>, когда эта светящаяся стрела пронзает тьму, то мы здесь видим уже другое. Этим оружием было легче сражаться с уродствами.

В конце концов эта пьеса все-таки была издана, увидела сцену и сделалась непревзойденным классическим шедевром нашей литературы. Пьеса приобрела чрезвычайно большое не только литературное, но и моральное значение. Если перечислить, сколько раз в морально-политическом смысле, для морально-политических целей, применяются имена героев различных комедий, то, конечно, мы будем иметь первенство за героями комедии «Горе от ума». Мы до сих пор, иногда почти не сознавая, говорим «фамусовщина» или «молчалинщина», как будто эти названия являются коренными терминами нашего русского языка. В этом смысле Грибоедов добился полного успеха. После колебаний, после заминок он провез под видом комедии корабль, наполненный взрывчатыми веществами, и передал его народу. Пьеса стала действующим орудием, хотя не всеми понимаемым\* Комедия приобретает особенно серьезное значение потому, что, кроме восхитительных масок, созданных Грибоедовым, в ней дана фигура, представляющая самого Грибоедова. Чацкий — это порт-пароль Грибоедова. Пушкин чувствовал фальшь в Чацком. Грибоедов умен, — утверждал Пушкин, — Чацкий неумен: можно ли метать бисер перед свиньями, которые все равно его растопчут! Чацкий, по мнению Пушкина, выступает как одиночка-застрельщик, пользующийся тирадами осуждения, которые в конце концов приводят его к светскому скандальчику. Но что мог сделать этот мальчишка с этой громадиной скалозубовщины и фамусовщины? Пушкин, несмотря на всю свою гениальную зоркость как

критика, не усмотрел (виновато тут, может быть, то близкое расстояние, с которого он смотрел), что иного выхода не было.

Правда глаголет устами безумцев, начиная от Василия Блаженного и кончая Любимом Торцовым<sup>{131}</sup> и более близкими нам типами. В пьяном виде человек делается порой смельчаком. Он говорит то, чего бы не сказал, будучи трезвым. Безумие, опьянение Чацкого — в его молодости. Он еще слишком молод, он еще не созрел. Его ум — ум блестящего мальчишки. Его несдержанность оттого, что у него еще нет седых волос, что он еще не примирился с подлостью, не пережил тех щелчков, которые пережили и сам Грибоедов и Пушкин. Ему поэтому незачем говорить вполголоса. Он не дойдет до политических тирад декабристов, это ему не нужно. В то время Грибоедов сам не верил в декабризм. Но Грибоедов давал авангардный бой, чтобы при помощи художественного, морального оружия сразить нечисть. А для этого ему было достаточно очень молодого несдержанного человека со студенческим темпераментом, который по молодости лет увлекается, да еще вдобавок влюблен. А любовь ведь опьяняет почище всякого вина, тем более несчастная любовь. Опьяненный несчастной любовью, Чацкий совершенно забывает всякую осторожность. Но, несмотря на то, что Чацкий молод да еще пьян несчастной влюбленностью, он не говорит глупостей; он говорит умно, потому что он умен и волею Грибоедова и вообще умен, как мальчишки часто бывают умнее своих дедов и отцов. И ситуация создается глубочайшим образом правдивая, приемлемая. Может быть, кроме Пушкина, никто особенно над этим и не задумывался, особенно после того, как цензура пьесу пропустила. Проглядели даже вопрос, как же это Чацкий решается на борьбу.

Я надеюсь, что если впредь мы будем давать «Горе от ума», то для роли Чацкого мы будем выбирать таких артистов, которые могли бы передать эту молодость, это превосходное, светлое озорство раздраженного человека, который «выскочил из себя» по своей молодости.

### III

Мне незачем вдаваться в специальный анализ великих фигур, выведенных в «Горе от ума». Я остановлюсь только на том, почему вообще возможно такое явление, как «Горе от ума» или «Ревизор», то есть явление бытовой комедии, разящей чиновничество, большой свет своего времени, комедии — талантливой агитки, которая потом оказывается настолько

высокохудожественным произведением для своего времени, что переживает его.

Вы знаете, что Аристофан писал агитки. Ни в малейшей степени Аристофану не казалось, что он должен писать крупные художественные комедии, претендующие на вечность. Он писал нечто вроде нынешних «ревю», вроде тех «Леди и белые медведи»<sup>{132}</sup>, которые, вероятно, многие из вас видели. Это были остроумные ревю, ряд сцен, униженных остроумиями и с указанием иногда в зрительный зал пальцем: вот там сидит такой-то. Все было рассчитано на злободневность. Но Аристофан живет и еще, вероятно, долго проживет, хотя от души желаю всем Аристофанам и Грибоедовым, наконец, умереть. Я от души желаю, чтобы эти великие тени, которые до сих пор еще жаждут живой крови и ею питаются, в один прекрасный день сказали: «Ныне отпускаеши»<sup>{133}</sup>, улеглись бы в заранее заготовленные золотые гробницы и после этого использовались бы нашим поколением только в историческом разрезе.

Но, к сожалению, этого еще нет, к сожалению, они еще наши сограждане, к сожалению, они живут среди нас, потому что живет то, против чего они негодовали. Живет то, к чему чувствуешь отвращение, живет то, что надо презирать. Надо над этим посмеяться. Как это случается? Если человек заранее обдумывает художественное произведение, которое должно жить века, мудро думает над тем, кто будет читать, какой будет зритель через сто — пятьсот лет, какие тогда будут вкусы, как бы тогда не показаться скучным, то такой автор обычно творит в духе Амура и Психеи: вечные герои, вечное небо, вечная женщина, и все применяет к своему сюжету, а на самом деле такое произведение скоро увядает. В мумифицированном виде, положенные в историческую банку с формалином, они иногда сохраняются, но они годны только для музея. Исходи из действительности: где твоя рука легла, тут ответь на большую жизненную проблему, и тогда ты будешь настоящим современником. И если ты будешь настоящим современником, то будешь жить и в веках. Всякая великая комедия, которую мы знаем, есть агитка. Она агитка потому, что она высмеяла зло своего времени и ударила по нему со всей силой. А если не ударишь со всей силой, если не высмеешь современное зло, то как бы курьезно или живо по форме ни была написана комедия, — это пустое времяпрепровождение. Даже оперетка только тогда живет долго, если в ней есть известный укус, если в ней захвачены отрицательные стороны своего времени. Как будто весело и сладко, а пей — и скривишься. Агитки такого рода в некоторых случаях оказываются великими

произведениями, но, понятно, тогда, когда это есть удар исполинского размаха.

Время имеет различные цели, и эти цели зависят от разных условий. Когда вы едете в поезде по железной дороге, перед вами, если вы взглянете в окно, мечутся телеграфные столбы и мелькают шпалы. Если вы перенесете взгляд на более далекий план, то можете увидеть гору, которая вам надоест, пока вы проедете: она как будто стоит, не движется. Так происходит и в истории: изменяются отношения, проходят события, уходят цари, целые династии, но под этими преходящими пластами есть подпочва, есть основной тяжелый грунт, который тянется на чрезвычайно далекие исторические перспективы. Например, взять ту же культуру, те безобразия и безобразные извращения в жизни человека, которые были сопряжены с определенными фазами, из которых нельзя выскочить. Несомненно, «райское существование человека» до происхождения частной собственности было полуголодным обезьяньим существованием. Это было неизбежно, как неизбежны все последующие эпохи — капитализм, империализм и эпоха борьбы, в которой мы живем.

Мы только сейчас доехали до того места, где катастрофически в обрывах, в вулканических недрах меняется огромная тысячелетняя формация на новую. И когда по старому культурному слою своей критической киркой ударит исполин, то он пробивает ею почву до чрезвычайных глубин. Грибоедов бьет сквозь чиновника николаевского в чиновника вообще. Он бьет дальше — он бьет в эгоиста-человека вообще. И тогда оказывается, что удар его, кровоточащий, болезненный, бьет по отживающему, но еще живому. Удар остается целительным, пока не проходит огромное количество времени вообще, пока не уходит с нашего горизонта исторический поезд на самый, самый дальний план.

Октябрьская революция нанесла такой разгромляющий удар старому миру, что от него полетели во все стороны черепки. Ни одна революция, когда-либо происходившая на свете, не может, хотя бы отдаленно, сравняться по радикализму, по своим разрушениям и пожару, который был зажжен на земле, с Октябрьской революцией. Этот пожар еще горит, и при свете его мы начинаем строить новое величественное здание, новый град, о котором человечество стеноло столько времени. Он постепенно начинает сейчас возвышаться. Но смотришь кругом и видишь, как из разных нор и щелей выползают знакомые гады. Эти гады начинают строить свои норы, ткать свою паутину. До каких пор они будут ползать? Где граница? Можно ли начертать магический круг и сказать, что за ним, вон там — обывательская нечисть, нэпманы и кулаки, старая и новая буржуазия,

мещанство, а здесь — все честное, все те, которые перешли на эту сторону баррикад, весь героический пролетариат, сделанный из одного куска стали, весь его коммунистический авангард? Когда остро присмотришься, то увидишь, что нет круга, дальше которого не должны пролезать эти гады, что они влезают во все щели временных построек, которые сейчас создаются, норовят пролезть и между каменными глыбами вновь строящегося социалистического града. Влезаю во все отверстия, они всюду сеют тонкую пыль, заразу. Мы ее вдыхаем в себя, и в нас самих заводится иногда омерзительная пакость. Сама партия, которая является оплотом наших надежд, иногда не свободна от заразы.

Периодические чистки, производимые партией, показывают, в какой зараженной среде приходится жить. Что верно для партии, верно для всякого умного, честного человека, для всякого прогрессиста, для всех, кто строит положительную жизнь и кто должен жить рядом с носителями той заразы, которая когда-то считалась здоровьем. Но радость наша в том, что теперь все здоровое идет под красным знаменем и задушит эту болезнь. И в этом смысле на своем поэтическом поприще Грибоедов оказался великим победителем. Он пережил свое время, а доживет, вероятно, еще до большей старости, чем та, которой он достиг сегодня, ибо борьба, в которой он так блистательно выступил, продолжается даже после того решительного поражения, которое нанесено в нашей стране всей мерзости житейской оружием Ленина и компартии.

#### IV

Сегодня в одной из газет я видел карикатуру, подписанную «Совчиновник»: человек в халате спит на софе. Его обстреливают шрапнелью, он храпит и ничего не слышит. Слово «халатность» неразрывно связано с фигурой Фамусова. Это его дух. Он живет еще сейчас и храпом отвечает на требования жизни. Жизнь посадила человека на высокое кресло, а он нашел кресло удобным и начал там дремать. Вот картина, которая часто встречается в разных кабинетах, и подчас в кабинетах, от которых многое зависит. И чем больше двигаться от наиболее ярко сияющих центров к сумраку, тем больше найдем такого рода вещей.

Во вчерашней газете я читал, что один мировой судья, фамилия которого не была Скалозуб, а нечто вроде Скалозубенко, имел основание не любить члена горсовета и когда ему удалось к нему придраться, хотя, как потом оказалось, поводов для этого не было и его пришлось оправдать, то

он захотел осрамить его перед всем городом. Он не остановился перед тем, что враг его был болен, велел его связать и больного, несмотря на 40° температуры, привести и посадить на скамью подсудимых. Это было у нас в Советской России, это сделал советский судья в отношении к члену городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Вы скажете: ну, какой же это судья Скалозуб, у него нет никаких погон, никаких знаков отличия, выпушек, петличек и нет у него никакого оружия? Но судья ведь не сам приволок этого члена горсовета, а через советскую милицию, которая в данном случае сыграла ту роль, которую играл Скалозуб.

Скалозуб — это воплощение той военной власти, которая является отличительной чертой всякого государства. Энгельс говорил: государство есть организация, опирающаяся на группу вооруженных людей, при помощи которой управляют в своих интересах господствующие классы<sup>{134}</sup>. И мы опираемся на группы вооруженных людей — на Красную Армию, на милицию, чтобы управлять при помощи их, в интересах нашего пролетарского класса. Несомненно, что каждый человек из нашего военного или милицейского аппарата является трижды преступным Скалозубом, если он извращает характер нашего государства во имя приказа того или иного мнимого сановника.

Нам пришлось взять на службу старых бюрократов. Среди этих бюрократов есть и Фамусовы и Скалозубы, о которых мы слышим, читаем в газетах. Наша задача в том, чтобы эти язвы и изъязны излечить, причем часто излечивать приходится хирургическим путем.

Более мелкие гномы и демонята у Грибоедова, пожалуй, не заслуживают и упоминания, однако Молчаливы, Загорецкие, Репетиловы, конечно, живы и сейчас. Это те, о ком говорят: он подловат, неразборчив в принципах, но его все же можно пустить в ход, потому что он покорен, послушен, делает все, что прикажут, исполнительный человек. Такие речи приходится слышать. А в это время тень Грибоедова шепчет: «Вспомни Молчалина». И рядом с Молчалиным идут люди, ловкие на все руки, мастера находить всевозможные выходы. Опять тень Грибоедова подсказывает: «Вспомни Загорецкого». Встречается и некий синтетический тип, в котором и не различишь, чего в нем больше — Молчалина, Загорецкого или Репетилова: трещит, предлагает проекты, низкопоклонен, с языка Мед течет, а в то же время это малюсенький Мефистофель или передоновского типа бесенок<sup>{135}</sup>.

Грибоедов еще жив. Но радостен будет тот час, когда Грибоедов-

сатирик уже не сможет работать вместе с нами, потому что эта работа будет уже кончена.

Но Грибоедов еще работает и как великий учитель драмографии. Мы не можем давать только одного Грибоедова. Надо уметь работать на современный лад, в других условиях. Кое-кто из массы грибоедовских типов побледнел, не имеет прежнего значения, но зато выросли другие типы; некоторые же остались прежними. Нам нужна новая советская сатирическая комедия. Она не будет напоминать собой мощный удар человека о железную скалу, — она будет напоминать человека, который взял железную метлу и выметает сор во имя будущего. Во времена Грибоедова мал был человек-борец по сравнению с черной силой, с которой боролся. А теперь борец — громадная сила, озонирующая воздух, это смех, который в высокой степени нужен. Русская драматургия является отсталым крылом в русской литературе, а комедиография есть наиболее отсталая часть этого крыла. Великих комедий у нас не так много, но они существуют. И Фонвизин не совсем успокоился в своей могиле, а тем более Грибоедов, Щедрин и более близкие к нам писатели. Нельзя пройти мимо уроков, которые дают Островский, Сухово-Кобылин. Надо у всех их учиться, а у Грибоедова больше, чем у кого бы то ни было. У Грибоедова надо учиться конструкции отдельных фигур. В одном из своих писем он пишет: «У меня все портреты, я не унижаюсь до карикатур». Но это вовсе не значит, что действующие лица списаны точно с действительно существующих людей. Вряд ли это смог бы сказать исследователь Фамусова, Молчалина, Скалозуба. Эти люди взяты синтетически. У Грибоедова все соответствует действительности, все чистый художественный реализм, товар дан без подмеси. Настоящий подлинный портрет начинается только там, где он синтетирует целого человека, характернейшие его особенности в широкий тип. Правдивый тип в литературе — это и есть портрет, и чем он шире захватывает, тем более он приобретает художественности и общественной значимости.

В таком виде давал портреты Грибоедов, и притом в речи и в действии, а к этому комедиограф и призван. Синтетически, не окарикатуривая, взяты сквозь смех самую необходимую сущность фигур, типизирующих целую полосу, целую породу в современном обществе, — этому нужно учиться, и этому, пожалуй, ни у кого нельзя так научиться, как у Грибоедова. Я затрудняюсь сказать, можем ли мы у кого бы то ни было, не исключая даже Гоголя, — пожалуй, только выведя за пределы самую фигуру Хлестакова, — найти фигуры такой же синтетической силы.

Затем — изумительнейший язык Грибоедова. Пусть говорят, что наш

язык находится в творческом процессе и нам трудно, невозможно писать грибоедовским языком. Грибоедов писал в то время, когда язык формировался: он сформировался в подлинном смысле слова только после Пушкина. Грибоедов же создавал в самом горниле речи, он был огромным экспериментатором, накопителем богатств, и мы в наше время должны так делать. Классический язык — это язык, который отражает свое время с наибольшей полнотой. В критическую эпоху, в которую создавалась великая комедия, Грибоедов из изумительного языкового материала, который он с таким социально-музыкальным слухом подметил, сумел создать вещь, полную жизни, то есть подлинный драматический диалог, который живет еще, чем разговор, который течет между живыми лицами, который весь динамичен в каждом отдельном моменте существования человечества, в котором постоянно выявляются социальные классы людей, участвующих в этом диалоге. Самый монолог является здесь, только содроганием души, в данный момент одинокой. Но вследствие страстных соприкосновений с социальной средой, в которой эта душа недавно находилась, почти каждая отдельная фраза грибоедовского диалога представляет собой кристалл такой правильности, такой чистой воды, что мы взяли все полностью и украсили наш язык на сто лет и, вероятно, еще дольше.

Я не могу в моей сегодняшней речи, которая отнюдь не есть лекция о Грибоедове, говорить о каждом образе Грибоедова и должен ограничиться этими небольшими замечаниями.

Я очень рад, что Мейерхольд — живой талант нашего времени — попытался и в «Ревизоре» и в «Горе от ума»<sup>{136}</sup> начать работу, вскрывающую за смехом ужас и гнев, вскрывающую за мишенями, в которые они целились — николаевским чиновничеством, — тысячелетние человеческие пороки. Маркс сказал, что идиотом будет тот, кто не понимает, какое колоссальное значение имеет классическая литература (а следовательно, и Грибоедов) для пролетариата, потому что если человек описывает свою губернию или уезд за сто лет до нас, то это значит, что он уловил исторические причины событий и ему удалось найти там кое-что, что набрасывает свою страшную тень на всю жизнь человека, взять хотя бы период собственности, который надо было реформировать. И мы должны подходить к Грибоедову не с точки зрения преклонения перед великим мертвецом, не с точки зрения воздания по заслугам, которые должна признать наша революция, вообще не с точки зрения какого-то церемониала; если мы должны заниматься раскапыванием всего, что относится к произведениям Грибоедова и его личности, если мы должны

вспоминать Грибоедова, то это потому, что нам нужно лучше понять корни его настроения и тех выводов, которые жизненны и до нашего времени.

И к его произведению мы должны отнестись не как к отжившей и ненужной вещи, а должны подумать, каким мелом почистить, на какой пьедестал поставить, каким прожектором осветить его так, чтобы и в наши дни оно горело наиболее ослепительными лучами, как имеющее необычайную силу. Это та задача, которая стоит перед нами. Еще полностью жив Грибоедов, и лучшее почитание для Грибоедова будет именно то, если мы, не отказываясь от задачи восстановить «Горе от ума», как оно шло впервые (плохо, говорят, шло, не соответствовало замыслам Грибоедова), идя дорогой Мейерхольда, — а она имеет много троп, — попытаемся дать Грибоедова так, чтобы мощь его гения с помощью всей техники нашей эпохи сделалась еще более явной и интересной.

Давайте скажем, что Грибоедов жив и мы должны сделать его еще лучше, еще более живым. Давайте воспользуемся тем несчастным обстоятельством, что его работа еще не доделана, и включим его в наш механизм, в наш человеческий аппарат, с которым эту работу доделаем. Мы протягиваем через смерть Грибоедову нашу пролетарскую руку и говорим ему: «Здорово живешь, товарищ Грибоедов! Иди с нами работать. Ты очень хорошо начал чистить авгиевы конюшни. Мы еще не дочистили. Работа, правда, скорбная, но теперь уже гораздо более веселая. Время доканчивать ее. Александр Сергеевич, пожалуйста к нам!»

# В. Г. КОРОЛЕНКО

## *Общая характеристика*

Статья была написана (дата указана автором) 4 октября 1923 г. и впервые напечатана в № 1 журнала «Красная нива» за 1924 г. под заглавием «Праведник». Печатается по тексту (отчасти переработанному автором) предисловия к Собранию сочинений В. Г. Короленко, 1930 г.

Короленко Луначарский посвятил одну из самых своих ранних статей «Чему учит нас В. Г. Короленко (по поводу 25-летия его литературной деятельности)», 1903 г.; после Октября — пять статей: в 1918, 1921 (год смерти писателя), 1923, 1926, 1929 гг. В течение долгих лет писатель и критик связаны были взаимным расположением. Оно сохранилось и после их последней личной встречи в Полтаве (1920), хотя с конца 1917 г. Короленко начал свою полемику против социалистической диктатуры пролетариата через газету «Русские ведомости», в открытом письме, адресованном А. В. Луначарскому. Но вскоре отношения между ними осложнились и даже прервались. В течение 1920 г. Короленко написал Луначарскому шесть писем, ожидая их опубликования с возражениями. Письма в нашей печати не появились, а вышли через три года после смерти В. Г. Короленко в парижском издании «Задруга». Этот эпизод сыграл немаловажную и, конечно, отрицательную роль в налаживании сотрудничества между советской властью и либерально-народническими представителями дореволюционной литературы. А. В. Луначарский в примечании к своим статьям о Короленко в сборнике «Литературные силуэты» (1923) дал следующее разъяснение:

«Считаю нужным выяснить здесь некоторые обстоятельства касательно писем В. Г. Короленко ко мне, писем, которые, благодаря чьей-то некорректности, оказались изданными за границей. Во время пребывания моего в Полтаве в 1920 году я

несколько раз виделся с Владимиром Галактионовичем. В результате нашей беседы им предложена была такая комбинация: он-де пришлет мне несколько писем, в которых откровенно изложит свою точку зрения на происходящие в России события. Я со своей стороны по получении писем посоветуюсь с ЦК партии, удобно ли их печатать, причем за мною оставалось право ответить па них темп аргументами, которые я найду подходящими. Таким образом, письма должны были быть изданы, как письма Короленко ко мне с моими ответами. К сожалению, какие-то особенности почты, или передачи писем мне вообще, повели к тому, что я получил лишь первое, второе и четвертое письмо, остальные до меня не дошли. Я два раза просил Короленко дослать мне не дошедшие до меня письма, но никакого ответа на это от него не получил. Затем последовала смерть писателя. Я вновь обратился к семье Короленко, прося дослать мне недополученные письма. Вновь никакого ответа, а затем появление этих писем за границей без всякого моего ответа на них. Таковы обстоятельства, о которых ходит много неправильных слухов. Отношения между мною и Владимиром Галактионовичем в течение всего моего пребывания в Полтаве были самыми сердечными».

(Нельзя не обратить внимания в этой реплике Луначарского на слова: «...какие-то особенности почты (или передачи писем мне вообще...». До настоящего времени истинного значения этих слов еще не удалось объяснить.)

.....

Трудно представить себе более благородный человеческий и писательский облик, чем фигура Владимира Галактионовича Короленко. Мы, коммунисты, чрезвычайно резко разошлись с ним. Правда, и здесь по отношению к Октябрьской революции и к коммунизму он проявил себя с обычной своей прямоотой. Во время господства белых в Полтаве не гнулса, говорил им много горькой правды и наотрез отказался покинуть Полтаву при вступлении красных войск, поддерживал личные и товарищеские отношения с тов. Раковским. Я и сам провел с ним несколько часов в чрезвычайно содержательной и глубокой беседе, из которой я убедился, что

он вдумчиво выражал целый ряд несогласий, но в общем по-товарищески относился к руководящей нашей партии. Однако все же Короленко чрезвычайно резко разошелся политически с нашими лозунгами и с нашей программой.

Как случилось, что такая необыкновенно благородная натура, такой недюжинный ум, такое революционное сердце могли переместиться слева направо столь заметно, то есть оказаться чуть ли не в такой же резкой оппозиции по отношению к пролетарскому правительству, в какой был Короленко по отношению к правительству царскому?

Мы много говорили в последнее время об отношении интеллигенции к революции.

Мы, в сущности говоря, давно предвидели то, что значительная часть интеллигенции настолько связана с буржуазным строем и так приспособлена к буржуазной демократии, что, наверное, пожелает застрять на этой позиции. Предвидели, вплоть до совершенно точных предсказаний, что даже левейшая и политически сознательнейшая часть интеллигенции (если не считать, разумеется, интеллигенции большевистской), то есть эсеры и меньшевики, непременно и неизбежно превратятся в консерваторов той или другой промежуточной конституции. Предвидели мы, однако, и то, что в конце концов значительная часть интеллигенции может и даже вынуждена будет перейти на сторону пролетариата.

Массовая интеллигенция, конечно, стремится к тому, чтобы играть более или менее руководящую роль, во всяком случае, занимать почетное положение в обществе. Будучи же чрезвычайно разнородной, так как верхний конец ее упирается в высшую бюрократию, в академический мандаринат и тому подобное, а низы соприкасаются с пролетариатом, — интеллигенция, конечно, разнообразна по своим настроениям и по своему отношению к буржуазному строю, в том числе и в той его форме, какой был русский царизм. Но в общем и целом отношение к грубым и отсталым формам буржуазного строя, вроде того же русского царизма, у интеллигенции отрицательное. По мере же того как буржуазный строй обновляется, приближается к демократии и устремляется к более или менее внешне почтительному и хорошо платящему использованию интеллигенции, граница, разделяющая интеллигенцию консервативную от интеллигенции либеральной и радикальной, начинает перемещаться вниз и дает себя серьезно чувствовать только в слоях так называемого интеллигентского пролетариата. Для многих, принявших буржуазную мартовскую революцию, симпатичную для большинства интеллигенции, был неожиданным кризис, превративший ее в нечто совершенно новое для

интеллигенции, невиданное и страшное, — в революцию пролетарскую, отбросившую обрадованную было и всем своим материком ставшую опорой власти интеллигенцию вновь в оппозицию, порой в оппозицию острую и кровавую. Но пролетарский строй упрочился. Он не только «навязал» себя насильно этой интеллигенции — насильно мил не будешь, — но он доказал ей свои государственные способности, свое искреннее стремление при мало-мальски сносных условиях позаботиться о всех сторонах хозяйства и культуры. Мало того, позже начали завязываться и другие связывающие нити между интеллигенцией, вплоть до ее социальных верхушек, и пролетариатом. Она, интеллигенция, начинает прислушиваться и к пролетарскому практическому идеализму и к его музыке будущего, и прислушивается тем чутче, что рядом с русским опытом развертывается не менее поучительный мировой опыт. И вот интеллигенция сменяет вехи и перекристаллизовывается.

Но интеллигенция есть класс, способный более какого бы то ни было другого класса представлять себе собственные свои поступки и переживания под флером чрезвычайно сложной философской или моральной идеологии. Эту идеологию интеллигенция в полной мере берет всерьез. Но нужно думать так, что интеллигент чуть-чуть обманывает себя и очень сильно обманывает других, если, выступая против пролетарской революции, настойчиво доказывает правильность своей позиции какими-нибудь правовыми или высокоэтическими соображениями. Владимир Ильич был, конечно, прав, когда в бойкоте интеллигенцией пролетарской революции видел стремление удержать за собою монополию знаний, явно дававшую чрезвычайно выгодную позицию при февральском строе общества и становившуюся сомнительной при октябрьском строе.

Если дело идет о заурядном интеллигенте, то совершенно неважным представляется то, как оправдывает он идеологически свою политическую позицию, в конце концов определяющуюся его экономическими интересами. Но дело меняется, когда мы имеем перед собою крупного специалиста идеологии.

Конечно, социальная жизнь формирует личность, но физиология дает социальной жизни сырой материал, и от качества этого сырого материала зависит степень совершенства того окончательного социального продукта, каким является личность. И высокий специалист по идеологии вырабатывается общественной жизнью среди тысяч, а иногда даже миллионов, как их идеологический представитель и вождь, именно постольку, поскольку он являет собой этот изысканный, исключительный материал.

В результате, как продукт его творчества, появляются ценности общечеловеческого значения. Великий идеолог перерастает интересы своей группы не в том смысле, чтобы он легко достигал каких-то общечеловеческих положений и отделялся от классов и групп, из которых вышел и выразителем которых является, а в том смысле, что сила, широта и глубина, с которой он организует и внешне выражает идеологию данной группы, отражает в хорошем или дурном смысле и все остальные группы, является нотой мощной, включающей себя в мировую симфонию.

Так это было и с Короленко. Конечно, он полностью представитель русской интеллигенции. Народничество Короленко совпадает с народничеством его поколения и объясняется полной необходимостью для интеллигенции в борьбе с самодержавным Держимордой найти опору в какой-нибудь подлинной социальной силе, а такой казалось в то время только крестьянство. Глубочайшая любовь Короленко к свободе, его либерализм самой прекрасной формации тоже совершенно ясны. Мечта о светлом счастье личного порядка, знаменитый лозунг «человек рожден для счастья, как птица для полета» как нельзя более понятен в устах критически мыслящей личности, интеллигента, который и до Короленко, в веках, в лице лучших своих представителей провозглашал тот же свой нормативный оптимизм, часто одновременно давая мрачные картины действительности, противоречащей этой идеологии личного счастья. Призыв к солидарности, к любви и в особенности к любви по отношению к слабым как нельзя лучше совпадает и с основной народнической осью настроения интеллигенции и с сознанием интеллигента, что подлинная его ценность заключается в известном высоком и тонком, служении обществу, наградой за которое — внутренней и внешней — является писаревское «разумное счастье».

Короленко — кость от кости и плоть от плоти русской интеллигенции. Эта интеллигенция породила типы гораздо более сложные и, я скажу прямо, более глубокие. Если даже миновать таких представителей русской литературы, на которых в большей или меньшей степени сказываются помещичьи черты, то и в остальном мы встретили очень сложные фигуры, как Достоевский, как Успенский и Лесков, отчасти Чехов и Леонид Андреев. Можно было бы перечислить немало таких. Повторяю, они сложнее и вместе с тем мутнее Короленко.

Короленко есть тот прекрасный, абсолютно правильный, необыкновенно прозрачный кристалл, в который сложилось все типичное, лучшее, что было в прежнем интеллигенте, с весьма малой примесью индивидуальности, без каких-либо странных уродств, пояснение которым

нужно искать в том или другом более или менее «случайном» трагическом воздействии жизни.

Короленко очень много страдал, очень много сострадал. Но тем не менее страдания не наложили на него печати. Кристалл остался таким же чистым. У Короленко было нежнейшее сердце. Но эти движения глубочайшей сердечности не искажали души Короленко, которой всегда присуща была ясность и какая-то классическая правильность.

Чрезвычайная писательская талантливость и художественная одаренность Короленко дали ему возможность сохранить прекрасное душевное равновесие среди испытаний русской жизни.

Достоевский не пел, а кричал. А Короленко поет. Груз, лежавший на сердце некоторых мрачных русских писателей, был объективно большим, чем у Короленко, но он не был мал и у Владимира Галактионовича. Только душа его была как эолова арфа, и даже грубое прикосновение вызывало в ней гармоничные аккорды. Это был такой талант, которому было необычайно легко достигать красоты, и часто в его рассказах мы присутствуем при этом процессе претворения в красоту какого-нибудь сложного горького явления, иногда преступления. Эта черта Владимира Галактионовича делала его как бы избранным сосудом тончайшей гуманности.

Вот если мы суммируем все это полное соответствие Короленко всему лучшему, и только лучшему, что имелось в среднем русском интеллигенте, разительное умение давать сразу какое-то благородное утешение в жизненных скорбях самой формой своих творческих произведений и, что не менее важно, не только глубокое сознание себя критически мыслящей личностью, которая не смеет молчать, видя общественное зло, но и реально необыкновенно чуткую совесть, то мы получим облик этого жреца интеллигенции в чистых одеждах, этого незапятнанного праведника.

Конечно, фарисейство этому праведнику было чуждо. Все человеческое было ему более или менее доступно. Он не осуждал коммунистической революции. Он умел при всей горечи своих укоризн сохранять понимание того, что коммунисты — это великий отряд армии блага, только пошедший, по его мнению, по неправильной дороге. Но если праведничеству Короленко чуждо было фарисейство, то само праведничество, сама незапятнанность одежды включает в себя нечто, очевидно, глубоко неприемлемое для революционных эпох.

Ну как, в самом деле, может праведник относиться к настоящей революции? Ведь ясно же, что подлинная революция непременно космата, непременно чрезмерна, непременно хаотична. Это прекрасно предвидел,

например, Достоевский. Это великолепно чувствовал и сказал нам Пушкин. Да и кто из великих жрецов религии интеллигенции не содрогался заранее, лишь представляя себе вопящий концерт этой стихии. Эстетическая мораль не для революции. Можно представить себе художественный подход к революции, но он должен быть целиком динамическим, то есть человек, способный найти красоту в революции, должен любить не законченную форму, а самое движение, самую схватку сил между собою, считать чрезмерность и «безумство» не минусом, а плюсом.

Но если не Короленко, конечно, было осилить *эстетически* революцию — дело вообще непомерное и могущее прийти по плечу лишь первоклассному гению, да и то при благоприятных для его развития условиях, — то не мог Короленко принять революцию и *этически*, и опять-таки в силу прекрасных свойств своей этики. Разве мы отрицаем этику братолюбия? Нисколько. Конечно, нам, поколению, призванному делать дело необходимой вражды, немножко как-то неловко, когда мы видим образ прекраснодушия, елейно пропахнувшего христианством. А такой елей именно был и в воскресном облике Толстого да и в постоянном облике Короленко. Короленко был этически христианином, и, повторяю, тут еще нет большой беды. Беда лишь в том, что все эти псевдохристиане (Толстой, Короленко и им подобные) принимают норму любви за нечто, могущее быть установленным сейчас же и зависящим только от доброй воли людей. Конечно, и Толстой и не менее его Короленко понимали, что превратить людей сразу в белых голубей невозможно. Но тем не менее им казалось, что каждый при известных условиях и большом желании белым голубем сделаться может и что любвеобильное воркование таких белых голубей есть превосходное выполнение своего социального долга. А мы полагаем, что, во-первых, достижение праведности в наше время чрезвычайно трудно, а во-вторых, что и завидовать праведнику в наших условиях нечего, ибо праведническое воркование вовсе не есть исполнение своего социального долга в наше время. Даже, наоборот, в такие годы, когда закипает окончательная борьба между трудом и завтрашним днем, с одной стороны, эксплуатацией и днем вчерашним — с другой, всякое миротворчество, всякое размахивание масличными ветвями досадно обеим враждующим сторонам, а для нашей, пока все еще более слабой в мировом масштабе, прямо несносно и вредно.

Праведники в ужасе от того, что руки наши обагрены кровью. Праведники в отчаянии по поводу нашей жестокости. Праведники склонны говорить, что суровая энергия и беспощадность еще так или иначе к лицу белым волкам, которые ведь вообще идут почти неприкрыто под знаменем

эксплуатации человека человеком, но они прямо вопиют, вступают в решительный диссонанс у нас, в конце концов воюющих во имя любви. Праведник никогда не может понять, что любовь «жертв искупительных просит», да не только жертв со своей стороны (это-то праведник поймет), а и принесение в жертву других, как это водится во всякой жестокой сече.

Нужно сохранить спокойствие и меру во взаимных отношениях, тогда, пожалуй, возможны еще разговоры, тогда праведник поймет, как понимал Короленко, что за всем тем, что кажется ему скопищем ошибок, бьется тем не менее благородное сердце. Это Короленко понимал. И мы, в свою очередь, стараемся понять и поняли, что либеральные разглагольствования Короленко в то время, когда Россия горела с двенадцати концов и когда слабеющая рука пролетариата держала уже колеблющееся знамя, вытекали все же из его прекрасных этических свойств. Только ту этику, которая будет обязательной на послезавтрашний день, на день после победы, Короленко переносил в суровую подготовительную эпоху.

При этом отрицательном эстетическом и этическом подходе Короленко и политически никак не мог принять нашей революции. Из его гармонизма и из его праведничества вытекало, что освобожденный народ толпой в воскресных рубахах и с умасленными головами соберется на всероссийское сходбище и путем абсолютно свободного голосования выберет излюбленных старост, которые будут правильно и гармонично руководить его судьбами. В оппортунизме Короленко масса утопизма. Он потому казался нам оппортунистом, что ему хотелось той демократии, которой и нам хочется, той демократии, где каждая кухарка, по словам Ильича, сможет участвовать в управлении государством. Но он никак не мог понять, что для достижения этой демократии, полного уничтожения классов, смерти всякой диктатуры, смерти всякого государства нужно много предпосылок, полных человеческой кровью.

Значение Короленко в темные времена царизма было, конечно, неизмеримо. Он действительно был одной из самых светлых личностей в мрачной империи и имел неизмеримо большое общественное и этическое значение не только для интеллигенции в собственном смысле слова, но и для обывателей, и для сколько-нибудь проснувшейся части деревни, и даже для пролетариата, как стойкий протестант против всяких подлейших правительственных преследований вроде дела о мультанском жертвоприношении, дела Бейлиса, общественного движения вокруг голода и отношения к нему правительственных кругов и так далее<sup>{137}</sup>.

Но если публицистическая деятельность, непосредственные гражданские выступления Короленко имели в то время громадное

воспитательное значение, то еще в большей мере такое именно значение имела и его беллетристика.

Всякий знает, что по содержанию своему все его повести и рассказы неизменно написаны на основную тему: любви к человеку, жалости к человеку, негодования против сил, которые затаптывают человека. Словом, они варьируют прекрасную идею гуманизма.

Сам Короленко посажен был, как в тюрьму, в огромную, хищническую, неблагоустроенную царскую Россию. Светлых впечатлений вокруг него было очень мало. Другие писатели становились желчными сатириками, скорбниками, то протестующими, то даже отчаивающимися. Иные, как Чехов, например, скрывали свое негодование и свое отчаяние под несколько напускной улыбкой равнодушия, художественно-изошренного, под тихим юмором. Толстой разрешал жизненные противоречия все более исключительно через свое религиозно-нравственное учение, отнюдь так и не добиваясь внутреннего мира и продолжая кипеть и содрогаться.



*В. И. Качалов, А. В. Луначарский, И. М. Москвин.*

Странно, что Короленко, этот человек с красивым, ясным лицом и чудесным музыкальным, кристаллическим стилем, мог сохранять такое спокойствие во всем этом аду. Равнодушен он несколько не был. В нем нет

даже напускного равнодушия Чехова. Он человек сильных страстей. При взрыве гнева вы чувствуете, что он действительно охвачен его огнем. В нем очень много подлинной любви, острой жалости, которая хватает вас за сердце. И тем не менее он сохранил эту душевную ясность, так гармонирующую с его наружностью, а главное, необычайную гармоничность слога.

Сравните его с другими великими писателями близкого к нему времени. Толстой изобретает свой особенный подход: желая прежде всего убедить в необычайной истинности того, что он говорит, в том, что он действительно, как ясновидец, производит подлинные жизненные факты и дает вам возможность рассматривать даже то, что происходит «в душах» действующих лиц, он нарочно избегает того, что можно назвать слогом. Он не хочет, чтобы писатель, как художник, становился в качестве какой-то призмы между читателем и жизнью. Несколько корявым своим, как будто бы совершенно безыскусным словесным стилем Толстой достигает иллюзии присутствия вашего при подлинно совершающихся фактах, которые, однако, вы охватываете и снаружи и изнутри с зоркостью, отнюдь вам в обычное время не присущей.

Нечто подобное видим мы у Достоевского. Правда, его стиль отнюдь не представляет собой какого-то воздуха, в котором предметы живут и становятся видимыми якобы сами по себе, каковы они есть. Нет, атмосфера Достоевского раскаленная, мерцающая от перемены температур, часто явным образом искажающая доходящие до вас факты и предметы. У Достоевского рассказывающий либо так и говорит от «я» в качестве действующего лица, либо является каким-то судорожным, трепещущим, то издаваемым, то страдающим летописцем.



*А. В. Луначарский и М. И. Калинин.*

Само собой разумеется, что такой летописец не может заботиться о слоге, то есть об его красоте, об его правильности.

Чехов стремился к величайшей простоте слога в несколько толстовском духе, с той только разницей, что гораздо больше придавал значения художественной изобразительности слова. Толстой не заботился о том, чтобы рисовать словом, его цель — впечатление, или, вернее, непобедимая иллюзия правдивости излагаемого.

Чехов же импрессионист. И он и его читатель несколько торопятся, им нужно взять бегло все самое главное, или, вернее, все то, что в данном случае может оказаться самым главным, и охарактеризовать явление или предмет с наиболее острозначимой его стороны, вот в этот самый момент рассказа.

Отсюда необычайная внутренняя изощренность чеховской речи, гораздо реже преследующей и музыкально-ритмические цели, чем

живописущей и особенно охотно переходящей на метко схваченную речь того или другого персонажа.

Короленко же является как бы продолжателем тургеневской школы. Барин, эстет Тургенев, бравший большей частью достаточно мучительные или грустные темы и сам бывший большим пессимистом, свою скорбь и свои проблемы разрешает в художественном творчестве, между прочим, и необычайной красотой языка. Ясность и благородство каждого образа, общей композиции и ритм речи, музыкальное построение каждой фразы — это для Тургенева почти так же священно, как для величайшего, может быть, словопоклонника, друга Тургенева, Флобера. Можно, пожалуй, сказать лишь, что у Флобера слово увязистее, мощнее и злее, а у Тургенева — красивее, цветистее и звонче.

И как раз Короленко является подражателем Тургенева в отношении огромной красоты слога, которой достиг и которая делает его произведения почти сплошь стихотворением в прозе, дает необычайные образы, одновременно действующие на зрение и слух, а через них — на всю эмоциональную природу человека. Произведения были для него как раз выходом из противоречия, отделявшего угрюмую действительность от его светлого идеала.

Направляя всегда по самому содержанию свои рассказы к преодолению этой пропасти, желая утешить человека, укрепляя в его психике твердую надежду на победу света, Короленко еще и рассказывает относящиеся сюда жизненные примеры на языке столь благозвучном и столь красочном, что уже самое их чтение представляет собой почти физиологическое удовольствие и помогает преодолеть подчас очень царапающую, очень болезненную сущность явлений, которых приходится касаться.

Толстой вследствие этого, чувствуя огромную симпатию к Короленко, как к человеку и гражданину, необычайно высоко ставил его слог (также, как слог Тургенева), но ему чудилось здесь слишком много красоты. Это не мешает, однако, нам, оценивающим весь созданный великими мастерами русского языка арсенал стилей, отметить большие достижения Короленко, продиктованные самим отношением его к миру, самой задачей, которую он поставил перед собой.

Мелкобуржуазные идеалисты, когда они обладают большим талантом, как раз делают из своего слога большей частью лишний аргумент того, что все обойдется и что идеальное начало восторжествует над хаосом, добро над злом, свет над тьмой.

Если этот аргумент один из величайших представителей

мелкобуржуазного идеализма — Виктор Гюго — находил в своем колокольню-звучном стихотворном и прозаическом красноречии, то и Короленко находит его в яркой и изящно модулированной певучести своего слога.

Эта необычайная красота, которая лежит на произведениях Короленко и которая как бы покрывает каким-то очаровательным туманом даже острые контуры мрака и горя, наличие которых Короленко, конечно, не отрицал и которые он старался победить, заставили меня написать два года назад такие строки: «Сейчас, в наше время, когда сердца наши немножко обросли шерстью и когда молодежь-то наша — волчата, очень не мешает прислушаться к чудесным и благородным мелодиям, родственным тому будущему, к которому мы стремимся».

Теперь я не решился бы повторить эти слова без некоторых оговорок.

Мы переживаем гигантские наступательные бои, цель которых — выкорчевать корни капитализма. Сопrotивление всевозможных наших врагов, в том числе и прячущихся за идеализм мелкобуржуазных реакционеров, крепнет. Розовые фразы, прекраснoдушие, гуманизм могут превращаться в очень вредное для нас орудие врага.

Прибавим к этому, что в борьбе против наступающего социализма, первые города которого, настоящие и подлинные социалистические города, уже ищут себе место на нашей земле, — в последних судорогах сопротивления превратившиеся в приказчиков старого мира либералы и радикалы, лжесоциалисты и все, кто с ними, цепляются за Запад, за его «свободы», за его «истинную демократию» и т. д. И такое западничество приобретает сейчас характер столь же вредный, сколь он был полезен, когда все эти прелести просвещенной Европы противопоставлялись царским тюрьмам, а Короленко и на этот счет очень сильно зашибает.

Вот почему, отнюдь не присоединяясь к такой точке зрения, что можно попросту объявить Короленко вовсе неприемлемым для нас писателем, подлежащим запрещению, или писателем, которого нужно специально как-то разоблачить и очернить, — мы тем не менее очень определенно подчеркиваем, что все прекрасное, что мы найдем у Короленко, должно быть принимаемо нами с величайшими оговорками и большой критикой. Для того чтобы несколько помочь этому критическому усвоению произведений Короленко, мы и предпосылаем его сочинениям настоящее введение.

# МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Речь на пленуме Моссовета 31 мая 1928 г. Произнесена на заседании в зале Большого театра по случаю приезда М. Горького из Италии.

Впервые напечатана в «Правде», № 127 (2 июля) за 1928 г. В 1928 и 1932 гг. была выпущена брошюра (2-е изд., сокращенное), изданная Гослитиздатом. В настоящей книге печатается по последнему прижизненному изданию.

А. В. Луначарским написано о М. Горьком больше 30 статей и заметок. 16 наиболее значительных собраны во 2-м томе выпускаемого Государственным издательством «Художественная литература» собрания сочинений (1964 г.).

.....

Я не буду рассказывать биографию Горького. Вкратце биографию Горького знает каждый ребенок. А подробно? Я бы все равно не смог рассказать об этой богатейшей, бесконечно содержательной и яркой жизни, рассказать в виде серии картин, для этого я не имею ни достаточно времени, ни достаточно сил. Тут нужно мастерство самого Горького.

Равным образом не буду пытаться дать хотя бы краткую историю развития литературной деятельности Горького. Это уже много раз делалось. Я сам постарался дать сжатый очерк истории развития писательской деятельности Алексея Максимовича в предисловии к юбилейному изданию его сочинений. В соответствии с самым духом нашего торжественного заседания мне хотелось бы дать *портрет* Алексея Максимовича, но портрет — это очень серьезное художественное произведение, оно требует больших трудов, и хорошо будет, если я, отказавшись от столь ответственной задачи, постараюсь дать по крайней мере этюд к такому портрету. Вот к этому и сводится задача моей сегодняшней речи.

Самое характерное и самое разительное в судьбе Алексея Максимовича и в фигуре его заключается в той стремительной вертикальной линии, какой рисуется перед нами его жизнь; она идет с низов, почти со дна нашего общественного мира, каким он был до

революции, и возвышается до таких вершин, на каких стояли немногие люди в мировой истории.

Алексей Максимович родился в цеховой семье; ему пришлось потом в жизни нырнуть еще глубже, почти до самого дна, до того дна, которое он не раз так вдохновенно описывал. Он знал самые трудные, самые тяжелые формы черного труда, он знал состояние глухой безработицы, он испытал голод, побои и унижения в своей горькой молодости. И затем, как на крыльях, он стал подниматься вверх и соколом взлетел к солнцу мировой славы. Он сделался любимцем всех лучших читательских кругов нашей страны, он приобрел вслед за этим мировую славу. И сейчас Алексей Максимович вступает на верхнюю ступень этой лестницы, потому что сейчас победоносный пролетариат нашего Союза, поддержанный мировым эхом, официально провозглашает его своим любимым писателем и своим великим выразителем в области художественного слова.

Эта поразительная биография, эта линия, вертикально поднимающаяся снизу вверх, является вместе с тем и глубочайшей характеристикой сущности творчества Горького как с художественной, так и социальной стороны.

Будучи человеком, который хлебнул черной воды у самого дна моря житейского, он прекрасно знает ту действительность, ту массовую, подавляющую по своему весу действительность, в которой живет большинство человечества и в которой, во всяком случае, жило подавляющее большинство граждан бывшей царской России: он испытал всю ее горечь и обиды на себе самом и видел тысячи и десятки тысяч примеров того же вокруг себя. Чувство горечи, огромной обиды за надругательство над человеком — одно из доминирующих чувств, которое смолоду развилось в Алексее Максимовиче. Он понимал, как зверино озлобляются в этой атмосфере люди, которые могли бы быть превосходными в других условиях, как подавляется их воля, искажается человеческий облик. И конечно, у него ни на одну минуту не возникала мысль об осуждении их, потому что Алексей Максимович, по самой сути дела, считал себя одним из них, элементом этой самой обиженной массы.

Но чувство обиды, чувство мрака ни в коем случае не доминируют у Горького. Мы ведь имели писателей, и талантливых писателей, которые тоже вышли из низов и которые тоже внесли в нашу литературу громадный груз обиды и горечи: среди народников были такие писатели, как Решетников и Левитов, которые, конечно, менее талантливы, чем Горький, но тем не менее отличались крупными дарованиями. Почему же они погибли и не смогли развернуться с такой широтой, как Горький? Потому,

что мрак преобладал во всем строении их сознания, в их душевной организации. Если мы у этих писателей и видим иногда светлые типы, какие-то противопоставления бледных лучей этому обнимающему жизнь мраку, то это робкие, неясные, забытые лучи. А вот у Горького мы замечаем с самого начала бодрые лучи, мы замечаем, что с самого начала он несет в своем сердце пламенеющую яркую звезду.

В его мирозерцании тени тоже густы, страшны и ненавистны, но им противопоставляется громадная вера в человеческое счастье, в идеализм, в тот тип идеализма, о котором Энгельс сказал: «Вы, мещане, думаете, что мы, материалисты, имеем низкие горизонты и эгоистические интересы. Нет! Практически мы тысячу раз более идеалисты, чем вы, потому что мы могучие, мы ведем массы вперед!»<sup>{138}</sup> Вот этот практический идеализм у Горького сквозит во всем.

Откуда взялся он, каким образом у подростка, который окружен был такими мрачными впечатлениями, зародились лучезарные искры веры в возможность осуществления счастья?

Я думаю, что нам негде больше искать объяснения этому, как в автобиографии Горького<sup>{139}</sup>. Недаром сын Алексей взял себе псевдоним отца — Максим. Этот золотой человек, бодрый человек, которого скосили, съели безобразия низовой жизни, передал в наследство своему сыну замечательную бодрость. А затем широкой, вольной, спокойной, стихийно-могучей рекой, изумительной поэтической мощью влилась в натуру внука натура бабушки Алексея Максимовича, которую мы все любим, как родную, и которая для нас в тысячу раз ценнее всех наших собственных бабушек.

Тут не только биологическое наследство, но и социальное влияние — и песни, и сказки, и ласки этой бабушки создали у колыбели Алексея Максимовича и в его детстве атмосферу такой гармонии, такой красоты, которые построили в нем эти два мира: представление о том, как люди должны были бы жить, как бы было хорошо, если бы было так, и что на самом-то деле вон оно как! И как два огромных полюса, стояли перед ним горькая жизненная правда и громадная потребность в счастье, мире, любви, в существовании, резко контрастирующем со всей той дикой действительностью, которую ему приходилось наблюдать. С этим двойственным началом, с этой громадной чуткостью к возможностям, заложенным в человеке, и к действительности, которая его окружает, Алексей Максимович пришел в жизнь.

Вы знаете, какова была эта жизнь? Вы знаете, как эта

действительность повалила и покатила Алексея Максимовича. Она оказалась беспощадной, тысячу раз сама нить жизни, казалось, должна была оборваться; но Алексею Максимовичу дана была крепкая натура, и он скорее закалился, чем пострадал от этих испытаний, он накопил громадную и мрачную сокровищницу опыта по части того, что такое есть действительная жизнь, созданная нынешним строем для большинства человечества. И Горький уже рано вознамерился — не знаю, насколько сознательно — об этом обо всем при свете солнца и громким голосом *доложить!* Сила газеты, прессы, сила литературного художественного слова открылась перед ним довольно рано.

И если тяжелые впечатления, которые испытал Алексей Максимович, откладывали у него какие-то необычайно ценные пласты сознания, то радостные встречи, светлые встречи, которые могли ему помочь, имели гораздо большее значение, чем можно было бы ждать.

Оценить роль писателя Алексей Максимович сумел очень рано. Он рассматривал себя, выражаясь нынешним языком, как громадного рабкора. Может быть, он не думал, что будет громадным, но мы, зная его размеры, видим, что он был громадным рабкором, таким человеком, который, познавши, как живут кроты, готов был сделать детям солнца блистательный, художественно потрясающий доклад о зле жизни, об ужасе жизни, об ужасе тех форм существования с искалеченным сознанием, которые бурным черным морем разливались по стране. Доложить об этом безмятежно занимающемся культурными наслаждениями мировому бельэтажу, доложить в качестве подлинного свидетеля, прошедшего круги ада, как там живет, — это было одной из задач, не знаю, насколько субъективной, но, во всяком случае, объективной задачей Горького.

Я думаю, потому именно Алексей Максимович взял себе такой псевдоним — Горький. Он доложил о себе этой визитной карточкой читательскому миру: я — *горький* писатель, горько вам будет пить то вино, которое я приготовил, горько прозвучит в ваших ушах моя речь. И что же — вдруг всеобщее признание! Сначала небольшое количество критиков, потом целые хоры писателей и русская общественность людей 90-х годов, которые пережили в себе целый переворот, ему сказали: неправда это, не горький ты, ты — сладостный. В тебе есть сладость подлинной радости жизни, такой светлой, такой обещающей. Ты поешь вместе с весной, которую мы сейчас переживаем. Лучшие времена начались в 90-х годах. Снеговой саван как-то начал свертываться. Какие-то ручьи зажурчали, какие-то новые птицы запели, и твой голос среди них. Он возвещает о новом, и в этом есть свежее, весеннее счастье.

А между тем прямого показа счастья было мало в сочинениях Горького, и даже в его молодой романтике, которая была таким золотом, суриком и пурпуром написана, но в которой в конце концов полусказочные личности кончали более или менее плохо.

Не в обрисовке побед, не в каких-то благословляющих музыкальных гимнах была сила радости Горького. Она часто гнездилась в самой мрачности его рассказа о том, какова жизнь, потому что все мало-мальски чуткие к литературе понимали, что у него это не пессимизм. Это не было выражением того, что вот, мол, какова жизнь, давайте, братья, поплачем на темных реках вавилонских, куда нас занесла судьба. Это не было и ожесточением, которое говорит: пропади пропадом вся жизнь, пропади вместе с нею и я. Нет, Горький говорил: вот что вы сделали с жизнью, вот тот человек, который в ней воспитался. Но вместе с тем всегда сквозила рядом вера Горького в природу, вера в прекрасное, вера в то, что жизнь может быть великолепной. Мрачные драмы рисовались на фоне, какой раньше, пожалуй, не создавался ни одним писателем. И море смеющееся, и солнце лобзающее, и зелень бархатная, и бесконечные дали, и могучие реки — чудесная природа, глашатаем, выразителем которой могла быть только чудесная горьковская бабушка. И звери — чудесные, и чудесные люди в этой природе. Они, правда, могут страдать, они на первый взгляд аппараты для страдания; но ведь это для того, чтобы, предупрежденные болью, они избегали опасностей, но зато у них имеется все для того, чтобы широко и ярко наслаждаться. От маленькой птицы, от зверя и до мудрого человека — все имеют возможность наслаждаться безмерно, все больше, все глубже. Эту способность нужно оберечь, все возможности для нее построить, из нее нужно исходить; тогда в какую неизмеримую прелесть, в какое чудесное, разумное счастье может превратиться жизнь!

На этом узорном, золотом фоне рисовались для всех мрачные тени, которые показал нам Алексей Максимович. Когда мы впитывали в себя этот букет, вслушивались в этот аккорд, то нам не только становилось легче, не только казалось, что мы выходим на новую весеннюю дорогу, но, кроме того, у нас начинала кипеть кровь, потому что добиваться выхода можно было только борьбой. Зло — огромное, искалеченность человека — невероятная, живем мы гнусно, и для того, чтобы это изменить и дорваться, — по слову Маркса, которое Горький тогда не повторял, но которое должно звучать в наших ушах, — до осуществления всех заложенных в человеке возможностей, необходима беспощадная борьба.

Вот такой облик, товарищи, имела тогда литературная работа Горького, которая тем самым была общественной, хотя этим не исчерпывалась

общественная физиономия Алексея Максимовича даже в его молодости.

Каково было отношение писателя к различным классам, как их воспринимал Алексей Максимович и как они доходили до его сознания? В отношении к черному народу, к мелкому трудовому мещанству, в значительной мере также и к крестьянству, к фабричным у него, в особенности в первый период его деятельности, глубокая братская жалость. Когда Горький изображал, как они злы, как грубо избивают своих жен, как ненавистнически относятся друг к другу, когда выводил всю эту галерею забитых мечтателей, жертв и мелких хищников — людей, которые на самом деле могли бы быть чудесными идеалистами или энергичными строителями человеческой жизни, то всегда чувствовалось, что он винит не их, а всю обстановку. Если Горький ожесточенно относится к той или другой черте: жадности, эгоизму того или другого крестьянина — то делает это не потому, что обвиняет его в том, что он таков. Как голодного волка, который жаждет крови своей жертвы, нельзя обвинять за это, так и этих людей. Только волку это присуще, а человеку это навязано всеми условиями существования.

Поднимаясь по ступеням общественной лестницы, судил Алексей Максимович скопидомов — мещан, кулаков, похитителей, па чужих плечах строящих свое смрадное благополучие. Но презрение и ненависть не ослепляли Горького, и он смог изобразить характер мещанской души с такой четкостью и с таким реализмом, как никто не делал этого до него и не сделает после него.

Затем он поднимался к интеллигенции. Здесь он различал. Он отдавал справедливость творческой интеллигенции, работникам науки и искусства. Алексей Максимович всегда отмечал те черты, которые являются характерными для преданных своему делу истинных работников науки и искусства, и всегда сохранял в отношении их величайшее уважение, как будто бы смешанное с удивлением. На мелочные интеллигентские черты этих людей Алексей Максимович умел, при наличии в человеке этого большого, не смущаясь, смотреть сквозь пальцы, и это было потому, что наряду с этими мелочами замечал он и огромное: их творчество на благо культуры.

Зато к интеллигентам — обывателям и хищникам, к так называемым «дачникам», с их мелочностью, с их лицемерием, с их алчностью к людям, которые льют крокодиловы слезы о народных страданиях, стараются оправдать их как «необходимость», которые придумывают софизмы, чтобы оправдать всякую несправедливость, — ко всем этим людям Алексей Максимович был беспощаден. На спине этих болтунов и хищников не

скоро заживут рубцы от литературных плетей Горького.

И выше поднимался Алексей Максимович — поднимался он к капиталистам. Надо сказать, что писатели, не умевшие признать положительной стороны капитализма, всегда были у нас на Руси ретроgrадами. И Лев Толстой не составляет исключения.

Маркс и Энгельс сумели в «Манифесте Коммунистической партии» написать целый дифирамб творческой энергии буржуазии. И Горький оценил эту положительную сторону.

Как он понимал этих людей — людей, которые стали гонять пароходы и баржи по Волге, строить заводы и фабрики, людей работоспособных, людей энергичных! Но разве Алексей Максимович хоть на минуту увлекся? Он сумел уже тогда, быть может, еще незнакомый с Марксом, диалектически разглядеть поток их энергии. Он показал, что на всех плодах ее лежит подлая печать корысти и эксплуатации.

Вырождающемуся классу помещиков, отвратительной бюрократии царизма он, конечно, объявил беспощадную войну. Очень молодым еще Алексей Максимович вступает в революционные кружки, знакомится с революционерами. Пойдите на выставку Горького, — все должны пойти в Библиотеку имени Ленина, там вы узнаете, как рано стали следить за ним, сколько раз его арестовывали, как его гоняли, потому что полиция тоже по-своему была чутка и полагала, что это могучий враг.

Положительным типом для Горького был протестант.

В течение долгого времени Горький с особенной любовью останавливался на людях, которые никак не могут уложиться в ту рамочку, которая им приготовлена. Это люди, которым не пришлась по вкусу жизнь, которые оказались выбитыми из нее не потому, что они не доросли до нее, а потому, что переросли ее. Они переросли ее, но у них нет почвы под ногами, у них нет сил побороть ее. Это люди, у которых хватает моральных сил, но не хватает физических.

Если бы Горький остановился на этих типах, то это значило бы, что страна наша осуждена на окостенение, что в ней нет сил для возрождения.

Горький искал все время таких элементов, на которые можно было бы опереться, и он думал найти их в босяках. Начался роман Алексея Максимовича с босяками. Его привлекло к ним именно то, что они вне общества, выбиты из него. Босяк потерял собственность, он потерял «пачпорт», он потерял гражданскую физиономию, но он вышел свободным, он вышел степным волком, часто оскалом зубов отвечающим на всякую обиду, готовым во всякий момент защищаться.

Великолепие этого вольного бродяги, сбросившего цепи мещанской

морали, чувствовали и сами мещане. Горький изобразил это, поставив рядом интеллигентного присяжного поверенного, который слюняво раскисает в минуту раскаяния, когда его гложет сознание того, в какое домашнее животное превратился он, человек, и каким бы он мог быть, и цельный тип босяка, загорелого, грязного, бессовестного, но бесконечно свободного и смотрящего с презрением на дом, жену, ордена и тому подобные «блага».

Очень многие потянулись к живому облику горьковского босяка, потому что говорят ведь, что в сердце каждой домашней утки лежит отголосок того времени, когда она была дикой, и уверяют — я этого сам не видел, — что когда дикие утки летят по поднебесью, то домашняя утка приходит в волнение. И таких диких уток Горький показал одомашненными уткам.

Но Горький был слишком могучей, слишком крупной фигурой для того, чтобы не преодолеть босяка. Он был реалист, он не был похож на того Чижа, который хотел обмануть птиц разными розовыми словами. Он не был «Лукою». Он сам объяснил актерам и критикам, которые пришли в восхищение от Луки: «Это святой человек, Распутин для народа!» — что это хитрый человек, который каждому дает пластырь на его рану, чтобы отделаться от него. Горький совсем не такой «утешитель», хотя, может быть, иногда к такому легкому врачеванию, к такому фельдшерству его душу и потягивало, но он был слишком честен для того, чтобы превратиться в Чижа, и потому свою «легенду о босяке» он сам раскрыл.

Присмотревшись к босякам, Горький увидел, что босяки раскалываются на два основных типа: одни имеют тенденцию стать человеческими тиграми, это цари воров и проституток, герои грязных базаров, с тягой к уголовщине, которые, при всей своей великолепной мускулатуре и мужских способностях, являются моральными идиотами и не могут превратиться в общественного человека. Это, в сущности говоря» сильные хищники, которых нужно истреблять, потому что переделать их как бы то ни было невозможно. Это вырожденцы индивидуализма.

С другой стороны, он увидел среди босяков чудесный привлекательный тип, который нашел свое законченное выражение в «Коновалове». Вы помните ту великолепную сцену в «Коновалове», когда он слушает рассказ о смерти и повторяет без конца — «как ему, должно быть, больно-то было».

Эти Коноваловы — чудесные люди в смысле чуткости и даже мечтаний, но лишенные какой бы то ни было силы, люди, в которых босячество и пьянство порождалось отсутствием возможности претворить

мечту в дело. Это в конце концов привело Коновалова к самоубийству. Такие люди оказываются Гамлетами, нытиками, совершенно негодными неврастеническими интеллигентами.

Вот два основных русла, по которым растекаются больные индивидуалисты, этот талантливый мир людей, ушедших от общества.

Нет, не уйти от общества надо, а в нем искать гранит, наэлектризованный металл, который сможет в самом его организме произвести переворот. И перед Горьким постепенно — рано это началось, но началось проблесками зарниц — раскрывается революционная, конструктивная роль пролетариата. Это явилось для него озарением. И он поет этому открытию гимн, гимн могучему лагерю революции, великолепный гимн в своем произведении «Мать».

Миллионы и десятки миллионов пролетариев и пролетарок, говорящих на всех языках мира, нашли в этом произведении свое. Повсюду это была любимая книга пролетария. Они читали повесть о страданиях русского рабочего, борца в рамках царизма, как повесть, братски хватающую за сердце и пробуждающую лучшие силы.

И когда молодой режиссер Пудовкин, талантливый человек, которому я от души желаю дальнейших успехов, поставил на экране живую часть этой повести, то это оказался кинематографический шедевр<sup>{140}</sup>. Европейская буржуазия старается задушить, старается запретить эту картину, но те, кто ее видел, от пролетария до высокого эстета, очень далекого от нас, но все же человека искусства, — все говорят, что это нечто непревзойденное, что это новая эра в кино.

Я не знаю, видел ли Алексей Максимович свое произведение на экране. Если не видел, то я думаю, что он увидит и похвалит своего ученика, который дал вслед за ним в новой области искусства, в иных красках то, что было им задумано и исполнено.

И в «Исповеди», которую часто упрекают, главное-то, основное, основной сюжет заключается в том, что талантливый молодой крестьянин, который пошел искать бога, убедился, что бога нет — быть не может. Но оттого» что он не нашел бога, мир для него не померк, жизнь не оказалась серой, потому что вместо бога он нашел человека, именно заводского человека. Завод своим заревом освещает страну, завод дает того, кто выведет человека из тупика...<sup>{141}</sup>

Вот этот железный мессия своей массивностью, коллективностью, организованностью, своим революционным темпераментом и силой своей народной, проникновенной, здоровой энергии привел в восторг Алексея

Максимовича. И это заставило его, последнего пророка из тех, что только предсказывали переворот, и первого великого писателя, обратившегося к пролетарскому движению, сказать: «Ты грядешь в мир для того, чтобы его спасти!»

Но в это время Горький уже не был просто талантливым писателем. К этому времени он приобрел огромный моральный капитал, доверие, симпатии и славу. Он действительно гигантскими шагами шел вперед. Он уже пропел к этому времени те песни, которые нашли отзвук в каждом честном сердце и которые певались всеми для того, чтобы под тяжелыми плитами самодержавного свода разжигать огонь грядущей революции. Он пел о полных энергии и пламени птицах, о Соколе, о Буревестнике. Он, как какая-то огромная фигура, — я помню отчетливо, он мне так рисовался, — высился в полумраке предрассветных сумерек в нашей стране, с этими своими длинными выразительными руками, которые протягивались над нашей землей, и с этой волшебной кистью художника, с которой сыпались, соскакивали искры его произведений, превращающиеся в огненные цветы. И когда такой человек, который рисовался таким сильным на фоне нашей литературы, пришел к нам и вступил в нашу партию, присягнув на верность пролетариату, — вы понимаете, какое бешенство охватило его коллег по литературе, как хотелось бы им его отпеть — как никого другого! Они собирались вокруг него живого, наряжались в траурные рясы и начинали кадить и служить панихиду: «Помер ты, Горький, потому что ты заболел большевизмом». Это даже самого большого писателя может свести в могилу. А Горький ответил таким огромным количеством талантливейших произведений, что сейчас эти люди, совершившие над ним отпевание, могут только со стыдом вспоминать о своих выходках.

Горький — большевик. Он принес в нашу партию огромный энтузиазм, восторженное отношение к борьбе и строительству, глубокую преданность, желание всем, чем он может, ответить требованиям партии.

Одно время у него были некоторые ошибки. Не мне оправдывать или осуждать его в этих ошибках, потому что я их с ним делил. Но, во всяком случае, эти ошибки даже мне давно прощены, а тем паче Алексею Максимовичу. Даже тогда, когда Алексей Максимович вместе с нами, впередовцами<sup>[142]</sup>, сделал излучину от прямого пути, Владимир Ильич ни одной минуты своей веры, своей любви к Горькому не ослабил. Именно тогда, в то время, посылая ему свои талантливейшие, язвительные, злые и полные любви письма, он провозглашал, что Горький есть настоящий, подлинный пролетарский писатель, который очень много дал пролетариату и еще больше даст.

Алексея Максимовича иногда упрекали, что у него немножко закружилась голова, что он немножко растерялся, когда настала октябрьская буря. Но, товарищи, мало таких, кто не грешил в то время. У кого только тогда не кружилась голова? Ух ты, с ухаба на ухаб, — дух захватывало! И только пролетариат — основная база, матросская команда — не робел. Мало было таких людей из стали, которые оставались верными до конца и крепили паруса под напором стихии, по команде великого капитана. Владимир Ильич к Горькому того времени относился изумительно.

Я очень хорошо помню, как Алексей Максимович очень скоро вновь вошел в дружеские, весьма дружеские и весьма близкие отношения с Владимиром Ильичем. Он приезжал к нему и привозил разные жалобы. Сколько мы делали тогда нелепостей и ошибок! И вот Владимир Ильич говорил: редкий, хороший человек Горький! В какое же он положение попал? Нелепостей у нас всяких и излишеств — непроходимый край. Ведь нужно иметь большое мужество и огромный кругозор, нужно как-то направить себя на эту мысль, что все будет превзойдено, чтобы быть спокойным. А у него тонкие нервы — ведь он художник, на него все это производит особенно тяжелое впечатление. Это именно потому, что он крупнейший художник, поэтому ему особенно трудно пережить все эти ужасы переходного времени, трудно их преодолеть. А потом ведь те, кого мы «огорчали», знают, что мы его любим, и они начали нести ему свои обиды и жалобы и нанесли, навалили такую кучу этого добра, что Алексей Максимович света невзвидел. Пусть же он лучше уедет, полечится, отдохнет, посмотрит на все это издали, а мы за это время нашу улицу подметим, а тогда уже скажем: «У нас теперь поблагопристойней, мы можем даже и нашего художника пригласить».

И вот Алексей Максимович, гонимый своей болезнью, необходимостью спасти свою жизнь, дорогую для всех, в ком живет настоящая любовь к людям, откололся от нас расстоянием<sup>{143}</sup>. Но это не оторвало его от нас. Ниточка, по которой течет кровь, такой маленький сосудик к сердцу Алексея Максимовича, остался, он рос, становился требовательнее, и Алексея Максимовича потянуло сюда к нам. Привлекла его сюда эта ниточка, и здесь восторженно схватил его в свои гигантские объятия победоносный пролетариат нашей страны.

Товарищи, кто-нибудь мог бы сказать: «Но этим в значительной степени мы обязаны успехам и победе пролетариата и коммунизма в нашей стране».

Нет! Успехи и победа наши несомненны, но у нас есть и поражения и

недостатки, которые далеко не всех к нам привлекают. Есть такие, которые отпадают от нас. Тут перед нами — присущие нашему писателю огромная чуткость, огромное разумение действительности, огромная любовь к человеческому счастью, пути к которому теперь открываются.

Товарищи, Алексей Максимович приехал к нам не с пустыми руками, он приехал знакомиться с нашей жизнью, а также и нас знакомить с нею. Мы здесь живем в постоянной работе, мы упираемся носом в те кирпичи, в ту известь, которая нам нужна для того, чтобы возводить нашу постройку. Мы мучаемся над препятствиями и трудностями нашего строительства, мы критикуем друг друга за недостатки, ошибки, и у нас иногда не хватает времени выпрямиться во весь рост и оглянуться на то, что уже сделано. Да если бы мы и вытянулись во весь рост, — а признаться, среди нас есть люди высокого роста, — все-таки не удалось бы нам увидеть так хорошо это дело, потому что мы слишком близко стоим к нему. А он, нам родной по духу, приехал с Соррентовской горки, откуда он смотрел в бинокль художественной чуткости на то, что у нас творится. Если ему в свое время носили на Каменноостровский проспект жалобы обиженные нами буржуазия и полубуржуазия, то в Сорренто ему со всех сторон носили печальные, а иногда и светлые вести о нашей стране. Радость — неси к Горькому, горе — к Горькому, так рассуждали тысячи людей и несли ему отклики того, что у нас делается. Хорошенько вскипятив все это, вместе взятое, в своем большом сердце, на огне своего пролетарского чувства, он пришел к заключению: «А ведь молодцы, а ведь правы», — и сомнения стали отлетать далеко от него. «На самом деле, хотя и трудно им еще, но тем не менее переход заметен. Видно, что вперед пошла страна, видно, что она имеет определенные завоевания, что она завоевывает свою свободу и счастье. И вот обо всем этом надо громко сказать. Надо сказать это пролетариату всего мира. Но, прежде чем об этом говорить, надо пополнить свое знание, надо влиться в эту реку, надо слиться вместе с нею». Вот каковы причины нашего радостного свидания с Алексеем Максимовичем. Он приехал к нам не с пустыми руками, он сказал нам: «Вы много сделали, но вы много критикуете, нужно не только критиковать, но нужно и похвалить». Он сказал нам, что среди нас есть люди, надорванные трудом и неудачами, усталые, они не видят всего в целом, не видят, что делается вокруг. Часто они живут только на небольшом круге, где все серо, и без поддержки с нашей стороны эти люди ожесточаются. А надо вовремя товарищу помочь. Если вовремя подойти к нему, раскрыть перед ним всю блестящую картину строительства, вовремя помочь, то часто из него

сделаешь большого работника.

«Надо собирать где-то, допустим, в каком-то журнале, — говорит Горький, — все положительные факты. И маленькие, светлые и горячие факты, о которые можно иногда так хорошо отогреть похолодевшее сердце, и большие, такие, что посмотришь — шапка свалится, а многие их все-таки не видят, — и все это всем и каждому показать».

«Хорошо вы работаете, — говорит нам Горький, пощупав наш пульс, — а все-таки я прописал бы вам дозу порошков оптимизма»<sup>{144}</sup>.

А мы: «Что же, брат врач, готовь порошок!»

Мы запряжем Алексея Максимовича в нашу работу, но сделаем это осторожно.

Когда Гарибальди взял Неаполь и после битвы, раненный, усталый, лег заснуть, то неаполитанцы ходили по городу и говорили: «Tss, il duce dorme!» — «Тише, вождь спит!» До этого мы, конечно, не дойдем. Но все-таки, товарищи, тсс! тсс! Не слишком перегружайте его, а то ведь вы море: захотите покачать, да так качнете, едва душа выдержит; народ — лев, погладит лапой, да что-нибудь сорвет нужное у человека. Поэтому, товарищи, потише, поаккуратнее, поосторожнее. Конечно, он не инвалид. Он приехал в нашу молодую страну молодым. Вот посмотрите на него: совсем молодой. Он у нас еще много проживет и много еще поработает. А беречь нужно. Не потому, что он какая-то музейная ценность — меня обвиняют все в том, что я музейные ценности берегу, — а потому, что он и сейчас еще умеет запустить руку в свое большое горячее сердце и выбросить оттуда пригоршню сокровищ, которыми богаты будем не только мы, но и дети наши и внуки.

Позвольте на этом закончить.

Да здравствует великий рабочий класс и его великий писатель!

# РОМАНЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Предисловие к книге: Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения. Том пятый. М., Соцэкгиз, 1932.

Чернышевский был одним из наиболее любимых Луначарским человеком среди общественных деятелей, мыслителей и писателей. Часть работ о Чернышевском собрана в т. 1 Собрания сочинений Луначарского (Гослитиздат, 1963).

Статья «Романы Н. Г. Чернышевского» содержит существенные мысли о правильном понимании жизненных взглядов Чернышевского. Биографию великого революционера Луначарский исследует также в работах «Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности», «Чернышевский как писатель» (1928).

.....

## I

Романы Чернышевского заслуживают внимательнейшего марксистского разбора. Мы еще не имеем его. Мы не имеем еще ни правильной общей оценки этих романов с их художественной и общественной сторон, ни раскрытия всего их содержания — как конкретного (непосредственного отражения в этих романах окружающей Чернышевского среды), так и идейного.

Задачу эту лично я считаю первоклассной и буду очень счастлив, если время и обстоятельства позволят мне обратиться к ней с полной внимательностью и полной свободой во времени.

Я уверен также, что и другие исследователи-марксисты не минуют эту великолепную тему, и вижу» например, в превосходной статье И. Ипполита «Политический роман 60-х годов»<sup>{145}</sup> первую ласточку такого исследования, притом ласточку, летящую в верном направлении.

Та общая оценка, которая дана в больших трудах о Чернышевском (у

Плеханова и Стеклова), мне не кажется исчерпывающей.

На этот раз, представляя широкому кругу читателей оба романа в тщательно проверенном тексте и с рядом примечаний, которые облегчат чтение нашему молодому, неискушенному, но драгоценному читателю, берущемуся за книгу не для развлечения, а в поисках помощи от нее в деле социалистического строительства, — мы ограничиваемся только тем, что прилагаем статью Н. Богословского<sup>{146}</sup>, дающую необходимый материал о возникновении обоих романов, о характеристике их влияния на современников, о характеристике откликов на них, особенно, конечно, на прогремевший роман «Что делать?».

В своей вступительной статье я хочу только наметить некоторые узловые идеи, из которых, мне кажется, надо будет исходить в дальнейшем исследовании этих произведений, уже не столько с точки зрения познания их как части тогдашней современности, сколько в смысле определения их как части нынешней живой современности.

## II

Читатель, который познакомится по статье Н. Богословского с серией злобных и пренебрежительных отзывов, которые обрушились со стороны враждебных «эстетов» на голову Чернышевского после издания великого романа, нисколько не удивится этому. Н. Богословский достаточно отметил, какая страстная классовая борьба кипела вокруг этого романа, или, еще вернее, какой страстной классовой борьбы был он порождением.

Более удивителен тот факт, что наша марксистская критика присоединилась не к восторженным похвалам десятков тысяч передовых читателей, считавших «Что делать?» своим «Евангелием», а как раз к наиболее свирепым его критикам из либерально-буржуазного и консервативного лагеря.

Конечно, это относится не к содержанию романа. Здесь тоже, на мой взгляд, допущена серьезная недооценка, но, разумеется, каждый марксист прекрасно понимает, что Чернышевский ему во много раз ближе, чем критики той эпохи. Нет, дело относится к эстетической оценке романа. Здесь мы почему-то совершенно безоговорочно сдали позиции.

Суждения о нехудожественности романа Чернышевского шли из того же лагеря, из которого раздался приговор о Некрасове. «Поэзия в его стихах и не ночевала», — торжественно заявил Тургенев. Толстой называл произведения Некрасова — величайшие сокровища нашей поэзии —

«стишками».

На примере Некрасова, художественная ценность которого теперь очевидна и, кажется, никем не оспаривается, видно, с какими «особенными» критериями подходили к эстетической оценке произведений революционных демократов их современники.

Впрочем, замечательный большевистский критик В. В. Воровский, занимавший в отношении «тенденциозной литературы» особо непримиримую, более даже, чем Плеханов, враждебную позицию, остался при убеждении, что Некрасову действительно «борьба мешала быть поэтом». Ну, как же иначе? Разве сам Некрасов в этом не признавался?

Мы, однако, знаем, что к таким признаниям надо относиться с величайшей осторожностью. Вот Чернышевский — тот, не обинуясь, назвал Некрасова, к моменту смерти этого писателя, «величайшим поэтом русской литературы», даже сказал: «разумеется, величайший поэт». И мы имеем в письмах Чернышевского к Некрасову доказательства той тонкости, чуткости и нежности, с которой разбирался Чернышевский отнюдь не только в «публицистической» поэзии Некрасова, но и в его интимной лирике.

Но вплоть до наших дней, когда, повторяю, уже редко кто пренебрежительно отзовется о «музе мести и печали», продолжает иметь место пренебрежительно-эстетское отношение к художественным произведениям самого Чернышевского. Так, тов. Фадеев, один из крупнейших пролетарских писателей, осмеливается — я повторяю: *осмеливается* — сказать, что романы Чернышевского находятся «вне литературы»<sup>{147}</sup>. Я глубоко уважаю романы самого тов. Фадеева, но очень сомневаюсь, чтобы они имели больше прав на место в русской литературе, чем «Что делать?» и «Пролог»...

В чем же дело? Тов. И. Ипполит в уже указанной статье правильно подчеркивает, что дело здесь в разнице самих установок художества Чернышевского и художества, скажем, Тургенева. А мы принимаем за абсолют тот критерий, который создали для себя писатели-дворяне.

Можно представить в виде приблизительной, хотя, конечно, и грубоватой, схемы градацию художественной литературы и чистой публицистики.

Как исходный пункт возьмем чистейшее художество, то есть такого писателя, который сам твердо верит, что искусство не связано с реальной жизнью, ни с чем утилитарным, ни с какими намерениями, а представляет собой исключительно «самодовлеющее прекрасное», и который к тому же старается удовлетворить публику, смотрящую на дело с той же точки

зрения. Если бы даже такому писателю пришла в голову какая-нибудь идея, он постарался бы ее тщательнейшим образом вытравить. Он считает идеальными только те произведения, в которых имеются одни образы, и притом образы, по возможности не нагруженные идеей, не несущие в себе никакого целевого заряда. Мы знаем сейчас, что такая абсолютная бестенденциозность вряд ли достижима и в конце концов в собственной своей чистоте превращается в собственную же противоположность: искусство, которое так тщательно отгораживается от жизни, тоже ведь зовет куда-то, а именно — прочь от жизни, и оно становится, таким образом, ярко тенденциозным, именно в силу своей боязни тенденциозности. Но тем не менее разряд таких безыдейных фантазий, такой игры воображения в литературе исторически имеет место.

Следующим шагом будет произведение художника, который, представляя собой целостную личность, выражая собой достаточно крепко стоящий на ногах класс, выбирает тему, обрабатывает фабулу, создает лица и положения, развертывает диалог совершенно свободно, так что перед нами как бы проходит сама жизнь в прекрасном, кристально-прозрачном отражении. Но в то же время этот художник сознает, что всю эту работу он проделал не напрасно, что есть некоторое «ради чего», которое стоит за его романом, трагедией, поэмой и т. д. Такой писатель часто сознает себя даже учителем жизни и считает себя учителем тем более ловким, чем меньше просвечивает у него идейная целеустремленность, чем больше образы говорят сами за себя.

Этот прием, например, заставил Плеханова и Воровского считать «Войну и мир» Толстого — явно тенденциозный и полемический роман — за перл чистого искусства. Такой пронизательный критик-революционер, как Воровский, проглядел даже полное отсутствие картин крепостного права в многотомном романе, посвященном дворянству начала XIX века. А Толстой элиминировал крепостное право сознательно, ибо его роман должен был быть *апологией его класса*<sup>[148]</sup>.

Если художник не обладает талантом Толстого или приблизительно таким дарованием, то ему не удастся овладеть темой так, чтобы она вся целиком растворилась в живых образах. У него получатся осадки его идейного замысла. То, в некоторых случаях, мы видим искажение хода событий в угоду идейному замыслу, вмешивающемуся как посторонняя сила, то намерения писателя как публициста проявляются в виде некоторого мутного осадка, то есть писатель вдруг начинает говорить сам от себя, сам проповедовать свои мысли читателю.

Впрочем, по этому поводу надо сказать, что гораздо более строгий,

чем Плеханов или Воровский, эстетический критик и сам великий мастер реалистического, но внутренне глубоко тенденциозного романа Гюстав Флобер, находивший первые части романа «Война и мир» глубоко художественными, по поводу третьей части воскликнул: «Quelle degradingolade!» («Какое падение!»)<sup>{149}</sup>. Это восклицание было вызвано как раз тем, что подобного рода публицистические (историко-философские) «выпадения» имеются и у Толстого в третьей части в большом изобилии.

Когда писатель хотел дать художественное произведение, которое можно читать для развлечения, которое читатель заранее принимает как нечто, не рассчитанное на восприятие путем умственного труда, подобная примесь является, конечно, слабостью.

Подойдем теперь к вопросу с другой стороны. Мы можем представить себе (история литературы знает это явление) такую научную публицистику, которая боится каждого страстного оборота речи. Никакое вмешательство чувства в чистоту интеллектуального изложения, в поток мысли, не допускается. Такой публицист хочет быть логиком, математиком, ученым, он хочет быть законченным объективистом, говорить «языком геометрии» и т. п.

Но огромное большинство публицистов, нисколько не нарушая великолепнейших научных своих построений, являются *в то же время* художниками. Они очень любят метафоры, остроты, цитаты из крупных поэтов, они смеются, негодуют, недоумевают и т. д. Эта полная жизни публицистика пленяет нас у Маркса и Энгельса, у Герцена, Ленина и у многих других.

Иные из публицистов этого типа делают дальнейший шаг. Они, так сказать, *говорят притчами*. Для того ли, чтобы зацепить больший круг публики, которая легче склоняется к чтению романа, чем трактата, или потому, что есть внутренняя потребность на конкретных примерах, разработанных воображением, доказать правильность своих положений, — они берутся за роман, как Герцен в «Бельтове»<sup>{150}</sup>, как Чернышевский в своей беллетристике. Они подчеркивают — и хорошо, что делают это, — что роман их является *прежде всего идейным* произведением, что его *основная ценность* заключается в тех новых *мыслях*, которыми они могут обогатить читателя.

Наши великие революционные демократы — Щедрин, Успенский — совершенно определенно и сознательно относились к своим произведениям именно так. Им было бы смешно, если бы их упрекнули за то, что «Современная идиллия» или «Власть земли» не похожи на романы

Тургенева или стихотворения Тютчева. И если бы им после этого сказали, что их произведения находятся «вне литературы», они посмотрели бы на сказавшего это с глубоким сожалением и промолвили бы: «Тем хуже для *вашей* литературы».

Имеет ли право великий мыслитель, вскрывающий неправду окружающего общества и знающий какую-то другую правду, желающий говорить от имени иного класса, — имеет ли он право воплощать свое миросозерцание в художественных образах так, чтобы не миросозерцание включалось в образы, а чтобы образы включались в миросозерцание, как нечто подсобное? Имеет право! Тенденциозно ли будет его произведение? Еще бы! Причем здесь — слово «тенденция» имеет уже значение не некоторого провала творческого воображения, — оно обозначает просто целеустремленность этого произведения, сознающую себя, гордую собой.

Будет ли такое произведение оставлять впечатление нехудожественного? На читателя «чтива», хотя бы даже самого великолепного, оно произведет отрицательное впечатление. За книгу такой читатель берется для того, чтобы развлекаться. Его можно, по Горацию<sup>{151}</sup>, «поучать развлекая», но так, чтобы он этого не заметил. Он как ребенок, который ни за что не принял бы лекарства, если бы его не дали в виде пряника.

Читатель же, который прежде всего интересуется миросозерцанием друга-писателя, очень рад, если этот друг-писатель хочет дать ему свое миросозерцание на конкретных примерах, на живых людях и живых переживаниях; и, если этот роман, эта притча будут местами перебиваться живыми комментариями автора, его непосредственной беседой с читателем-другом или читателем-врагом, он нимало на это не посетует.

Вот что нужно усвоить себе, когда мы разбираемся в тех или иных произведениях. К этому надо прибавить, что такой активный, боевой, деловой класс, как пролетариат, вероятно, будет предпочитать при сравнении именно этот — тоже активный, деловой и боевой — род литературы. Эстетствующий класс, конечно, будет фыркать на такие произведения искусства.

Из этого вовсе не следует, чтобы законченно образные, не допускающие публицистической примеси литературные произведения не могли включаться в пролетарскую литературу. Включались и будут включаться! Но если, немножко слишком переучившись у дворян, мы будем пренебрежительно проходить мимо великих революционных демократов и тех, кто будет стараться идти по их дороге, будем считать (как считал, к сожалению, например, В. Воровский) заранее обреченными на

неудачу, то рано или поздно пролетарская общественность осудит подобную односторонность.

Очень помог своим критикам Чернышевский постоянными признаниями, которые он делает в романе «Что делать?» в его нехудожественности. Чернышевский прежде всего формально заявляет, что роман его не претендует на художественность и что эта слабость художественной формы уравнивается богатством идейного содержания. Затем он даже допускает как бы нарочитое неряшество. Например, прямо заявляет: кое-что я выдумал для того, чтобы заинтересовать тебя, читатель. Это было не так, а вот так и этак. Это, конечно, совершенно шокирует читателя, который привык видеть хорошие кулисы и хороший задник на сцене и отнюдь не желает, чтобы закулисное смешивалось с авансценным. Выход на авансцену драматурга и режиссера с пояснениями и шуточками кажется такому человеку ужасающим нарушением вкуса. Но, например, в трамбовском театре<sup>{152}</sup> это делается и будет делаться. В этом его огромная свобода, в этом у него связь зрителя с искусством.

Надо, однако, сказать, что Чернышевский совсем не страдал ложной скромностью. Он знал, что обладает большим беллетристическим талантом. Конечно, свою научно-публицистическую работу он ставил выше. За беллетристику он брался тогда, когда эту первого порядка, главную работу, к которой он чувствовал себя приспособленным, он почему-либо делать не мог. Но его грандиозные беллетристические замыслы и их огромный успех громогласно свидетельствуют об его талантливости.

И сам он тотчас же после объяснения читателю, что роман написан не для того, чтобы ошарашить его внешней позолотой и лакировкой, говорит: «Ты, читатель, может быть, на самом деле вообразишь, что я не умею писать, что твои обычные авторы, которых ты читаешь, облизываясь от удовольствия, гораздо большие мастера, чем я. Нет, не думай, пожалуйста, этого, мой роман на самом деле и в художественном отношении гораздо выше обычного среднего твоего беллетриста, и если я скромно заявляю, что я небольшой художник, то это потому, что я сравниваю свой роман с немногими истинно художественными произведениями, которые имеются в человеческой литературе и до которых мне действительно далеко».

Вот каков смысл необыкновенно честного, необыкновенно красивого самосознания Чернышевского.

Тогдашняя революционная молодежь его прекрасно понимала. Почему бы нынешней революционной молодежи его не понять?

Игривые беседы Чернышевского с «проницательным читателем» нисколько не претят. Они представляют собой прекрасный художественный прием и могут и сейчас найти себе применение в романе, если только он будет так же глубоко содержателен. Чернышевский ставит ставку на реализм, вытекающий из знания жизни и располагающий сочными красками. Так написано все начало романа «Что делать?», так написано много частей «Пролога». Конечно, у Чернышевского есть и недоделанные и неудачные произведения, которые мы не перепечатаваем, но не о них и речь... Когда же Плеханов, например, устанавливает, как общую черту Чернышевского, что его герои — рационалисты и поэтому говорят одинаковым языком и притом абстрактно, интеллектуально, то мы должны решительно протестовать против этого. Когда Чернышевский выводит людей обывательского типа, они у него очень сочны, но он *предпочитает выводить людей умных*. Мы сами с вами, читатель, принадлежим к числу людей, которые очень много говорят об умных вещах и стараются говорить о них умно. При этом, конечно, речь наша оказывается до некоторой степени книжной. Ведь приходится употреблять соответственные термины, аргументы и т. д. Но, может быть, вследствие этого, чтобы избежать «рационализма», нужно изгнать из романа умных людей или показывать умного человека не тогда, когда он спорит и развертывает свои идеи, а тогда, когда он сидит на скамеечке под жасмином при луне и объясняется в любви? В том-то и дело, что Чернышевскому важнее всего было то, как его герои мыслят — если только эти мысли не были праздной болтовней, а были основанием дела. Я думаю, нынешний писатель не должен бояться *рациональных диалогов*. И думаю, что эти рациональные диалоги, т. е. умные разговоры, будут занимать все больше места в нашей литературе. И это вовсе не плохо. Пускай сентиментальные люди и любители курьезных речений от этого всячески отрециваются. Мы — нет.

Горький — один из величайших художников мировой литературы, однако его изумительную книгу «Жизнь Клима Самгина» тоже начали было опорачивать за слишком большое количество разговоров и за слишком умный их толк<sup>{153}</sup>. Конечно, у Горького больше жизни, Горький обладает более непосредственным художественным дарованием, чем Чернышевский. Но, позвольте, товарищи: быть слабее Горького еще не значит быть вообще слабым. Если бы это было так, то кто из нынешних писателей удержался бы «в рамках литературы»?

Чернышевскому не всегда удается создавать живую, незабвенную личность. Лопухов, Кирсанов — больше носители определенной манеры мыслить и чувствовать. Но разве в русской литературе есть положительный

тип более грандиозных размеров, чем Рахметов? Разве Рахметов не живет той же вечной жизнью, что Чацкий, Печорин и т. д.? И разве все они не говорят уже об отрицательных типах, не свидетельствуют сразу, что они не из того теста испечены? Разве их всех не заставляет посторониться в сознании революционной части читателей огромная и последовательная фигура Рахметова? А перечтите нежнейший и тончайший разговор его с Верой, и вы почувствуете тогда, с каким тактом, с каким знанием своего почти целиком в воображении созданного героя подошел ко всему этому Чернышевский.

Но роман еще, кроме того, согрет горячим чувством. В нем фонтаном бьет воображение, выходящее за пределы чистой реальности. Роман романтичен, особенно в снах Веры. Если Горький недавно сказал о том, что эпоха столь напряженного героизма, как наша, не может быть описана приемами реализма, что и здесь нужна романтика<sup>{154}</sup>, то то же, только издали предчувствуя социализм, понял Чернышевский.

Даже Плеханов, такой скупой на похвалы Чернышевскому, вынужден похвалить размах и благородство утопии Чернышевского. Дело, однако, здесь совсем не в утопиях. Например, что касается философии любви у Чернышевского, то она не только совершенно верно и для нашего времени изложена в последнем сне Веры, но притом изложена с огромной поэтической силой.

### III

Содержание романа «Что делать?» чрезвычайно многообразно. Но сейчас я хочу остановиться только на одной из очень важных доктрин, которую проводит Чернышевский в этом произведении, а именно — на так называемой теории эгоизма.

Нельзя не констатировать с удовольствием, что постепенно мы преодолеваем те стороны теории Плеханова, в которых сказалось то время, те условия, когда пролетариат отнюдь не мог считать себя большой, почти решающей силой среди других исторических сил. Плеханов, как теоретический вождь едва только просыпавшегося к политической жизни класса, в борьбе с народниками и их поверхностным субъективизмом считал особенно важным подчеркнуть именно *объективизм* нового мировоззрения. Он направлял удары своей критики против представления оторванной интеллигенции о том, что она силой мысли и совести может играть какую-то существенную роль в направлении событий. Этому он

противопоставлял свой генетический метод. Везде он с насмешкой относился к суждению об общественных явлениях с точки зрения их качества и социальной целесообразности, везде настаивал на том, что настоящий научный характер марксизма заключается именно в том, что он «не плачет и не смеется, а понимает». Разъяснить корни данных явлений, показать, почему они не могут быть иными, — этим работа марксиста исчерпывается.

Само собой разумеется, что такая точка зрения казалась довольно странной уже в ту пору, когда стал развиваться, хотя и в виде подпольной партии, боевой большевизм. Для нас функциональное значение отдельных явлений (в том числе и в области литературы) было чрезвычайно важно. Мы хотели сравнивать и судить, мы хотели делать выводы, мы хотели воздействовать и в меру сил организовать. Когда же большевизм из подпольной партии превратился в великий авангард пролетариата, овладевший властью в гигантской стране и оказавшийся способным осуществить социализм, преодолевая тысячи препятствий, генетическая точка зрения Плеханова стала явно недостаточной. Как может государство, ведущее гигантскую литературно-художественную политику, считать, что в теоретической области оно занимается только объяснением причин в строго детерминированном, незыблемом ходе событий и их закономерностях? Но если теперь эта генетическая теория, нашедшая свое выражение в низвергнутой недавно «переверзевщине»<sup>[155]</sup>, разоблачена, то надо пересмотреть и многое другое, что утверждал Плеханов в своей полемике с народниками, даже с величайшими из них, в том числе Чернышевским, правильно борясь против излишеств и недостатков просветительства, но очень часто *выбрасывая* ребенка вместе с водой из ванны.

Плеханов тратит немало сил для того, чтобы остроумно доказать, как поверхностна теория эгоизма, развернутая Чернышевским.

В известном смысле это действительно так. Что, собственно, утверждает Чернышевский? Он утверждает, что поступки каждого человека диктуются его внутренними расчетами, осознанными или неосознанными, проявившимися в виде страсти или в виде рассуждения. Во всех этих случаях человек поступает все-таки так, как ему кажется наиболее выгодным. Если человек иногда поступает в ущерб себе» то потому, что ему приходится выбирать не благо, а наименьшее из зол.



*А В. Луначарский и К. В. Уханов на открытии Центрального Парка культуры и отдыха имени Горького в Москве 1929 г.*



Взгляд как будто в высшей степени рационалистический. Если даже принять во внимание, что не только рассуждение, но и чувство играет роль в определении поступков, все же выходит, что человек является как бы *хозяином своих действий*. Вот тут-то Плеханов и начинает возражать, и крепко возражать, Чернышевскому: нет, человек вовсе не хозяин своих действий, человек не есть определяющее свое поведение начало по той простой причине, что сам человек определяется своим происхождением, социальной обстановкой, формирующими его характер, ставящими его в те или иные условия и тем самым определяющими его действия. Совсем неверно, что каждый человек — эгоист и действует во имя своих интересов. Он действует в известной степени автоматически — то есть хотя он и стремится, и страдает, и радуется, и рассуждает, но в конце концов, если мы хорошо знаем все обстоятельства данного момента, то сможем с точностью предсказать его поступок. Сама же степень эгоизма — то есть то, насколько человек будет игнорировать интересы своих ближних и насколько, наоборот, он будет считаться с чем-нибудь более высоким, чем он сам (родина, религия, свой класс, семья и т. д.), — это тоже зависит от того, как он воспитывается, как сформировала его действительность.

Ну, разумеется, все преимущества исключительно за точкой зрения Плеханова! У него человек является социальным существом, частью огромного целого, он может быть изучаем с социальной точки зрения. Это не какая-то оторванная единица со своей свободной волей, руководимая разумным или неразумным эгоизмом.

Однако мне сдается, что Плеханов не понял самой сущности рассуждений Чернышевского, не понял, откуда исходит Чернышевский.

Не может быть никаких сомнений в том, что если бы мы спросили Чернышевского, полагает ли он, что человеку присуща абсолютно свободная воля, которая внезапно может породить тот или иной поступок, или же, наоборот, человек является продуктом своей социальной среды, то Чернышевский вполне присоединился бы ко второму взгляду. Он очень далеко шел в своем материалистическом детерминизме.

Дело, однако, совсем не в этом. Для Чернышевского важно было *создать новую мораль, которая сама была бы детерминирующей силой*. Чернышевский, рассматривая себя как одного из учителей жизни, как вождя все шириющегося отряда революционных демократов, сам смотрел на

себя как на воспитателя и не забывал о том, каким образом повлияет он на поведение людей. Перед ним как будто раскрывались два пути: с одной стороны, он мог сказать: «Все поступки людей проистекают естественно, в силу данных причин, а потому нечего заниматься никакой моралью и никаким воспитанием, так как то, что будет, то будет». Мне кажется, что это было бы не только не по-просветительски, но и отнюдь не по-марксистски. Следовательно, для Чернышевского оставалось только найти какой-то путь, какой-то определенный комплекс идей, который стал бы активной силой, меняющей поведение людей. Таким комплексом идей обыкновенно бывает тот или иной долг: гетерогенный (заповедь божия, приказ монарха или закон родины и т. д.) или *внутренний* (в духе кантовского «императива» — некий голос, который гласит: ты должен поступить так-то и так-то, так как каждый достойный человек тоже поступил бы в этом случае так-то и так-то).

Но вот как раз Чернышевский в своем материализме считал недостойным и ненужным ограничивать человека какими бы то ни было заповедями и приказами. Его Рахметовы рисовались ему людьми прежде всего свободными — свободными от долга, внешне навязанного, свободными от долга, внутренне принятого на себя в качестве насильственной дисциплины. Я не думаю, чтобы Чернышевский охотно подписался под народническим долгом, как его сформулировал в своих известных «Исторических письмах» Миртов-Лавров.

Чернышевский рассуждает приблизительно так: новый человек, революционный демократ и социалист, разумный человек совершенно свободен. Он не признает над собой никакого бога, никакого долга. Поступает он исключительно из эгоистических соображений, то есть он сам — свой верховный трибунал. Если он, скажем, пойдет на величайший риск и даже разрушение своей жизни ради будущего своего народа, то он все-таки поступит при этом как эгоист, то есть он скажет себе: «Я поступаю так, потому что этого требует лучшее во мне: если бы я поступил иначе, то это лучшее во мне было бы оскорблено, болело бы, грызло бы меня, я не чувствовал бы себя достойным себя самого. Зато я и не требую никакой благодарности по отношению к себе, я не корчу из себя святого подвижника или героя. Если бы меня стали хвалить или прославлять, я спокойно бы сказал: не за что, я сделал это не для похвалы и не потому, что я какой-то необыкновенно добрый; я сделал это потому, что всякий другой поступок причинил бы мне страдание, а этот причиняет мне радость, даже в том случае, если он разрушает мою жизнь». Лучше разрушить свою жизнь, как разрушил ее Чернышевский, столкнувшийся с самодержавием,

забросившим его на двадцать лет в глухие дебри, чем посторониться, согнуться, не выполнить своей исторической миссии и всю жизнь видеть в себе добровольно кастрированного неудачника.

Чернышевский в своей теории эгоизма ведет борьбу на два фронта. С одной стороны, он говорит, что мещанам вообще нужны всякие долги, подпорки, приказы, а мы свободные люди, мы крепкие и сильные индивидуальности, и нам этого не нужно, мы будем поступать так, как мы хотим, за нашей полной ответственностью. Вот что говорит Чернышевский по одному фронту. Обращаясь в другую сторону, обращаясь ко всем и всяческим идеалистам, он говорит: обыватель такой же эгоист, как мы, — такой же *формально*, но совершенно иной по своему существу, ибо он глупый эгоист, мелкий эгоист. Глупый потому, что ему неизвестны высшие радости социального строительства, ему неизвестны радости борьбы. Мелкий потому, что он удовлетворяется ничтожной обыденной жизнью и невольно возбуждает в нас гадливость, смешанную с жалостью. Мы новые люди. Мы в этом отношении действительно особые люди, потому что мы умны, у нас много идей, у нас широкие перспективы, мы знаем, что такое человеческое достоинство, что такое борьба, чувство поражения и победы при свете великого идеала, и мы соответственно с этим поступаем. А мелкий обыватель удивляется: «Как же это они так поступают? Из каких таких мотивов? Либо у них должны быть скрытые грязные и корыстные мотивы, либо это какие-то полусумасшедшие люди, либо их поддерживает долг религиозного типа». А у нас, говорит Чернышевский, нет ни того, ни другого, ни третьего. Мы бескорыстны, потому что наша корысть — это построение нашей жизни в соответствии с свободно выбранным нами самими идеалом. Мы вовсе не сумасшедшие. Мы самые разумные. И всегда, даже после болезненных поражений, мы скажем, что не раскаиваемся, и если бы снова начали жизнь, то начали бы ее по-прежнему. Наконец, нам не нужна никакой формы, напоминающей религию. Наоборот, мы ее начисто отвергаем. Нам не нужен никакого долга. Мы сами сделаны так, что поступаем всегда или почти всегда хорошо, умно и общественно, повинуюсь голосу правильно понятого собственного интереса.

Вот что хочет сказать Чернышевский, и при свете этой необыкновенно ясной и гордой человеческой морали корчился, например, Достоевский. Достоевский корчился именно потому, что, убив сам в себе зародыш такого гордого человека, он потом всю жизнь старался его оплевать, опакостить, старался в каждом Иване Карамазове найти мещанского черта.

В «Записках из подполья» Достоевский бросается на борьбу с

Чернышевским. Несмотря на большую талантливость и глубину атаки Достоевского, вам так и кажется, что какая-то черная скользкая гадина (подставная личность «подпольного человека», а не сам Достоевский)<sup>{156}</sup> борется со светлым, прямым и человеческим общественником.

Достоевский не только не мог, но не смел и не хотел понимать Чернышевского. Понять и принять подобную мораль — это значит отбросить всю «достоевщину» и всю жизнь Достоевского признать уродством. В таком положении были, конечно, и многие другие. С ними дело было еще проще, но, во всяком случае, и они ощущали свою безнадежную червивость перед лицом металлической цельности эгоистической морали по Чернышевскому.

Если мы применим ее к себе, мы скажем: «Да, мы прекрасно знаем, что пролетариат выделяет из себя свой авангард и своих героев. Закономерность урожая ударников и героев в военное время или во время строительства вполне естественна».

Но спрашивается: неужели нынешний человек не должен никогда задавать себе вопрос, почему он поступает именно так, а не иначе. Ведь даже Безыменский, как это ни странно, в своих «Трагедийных ночах»<sup>{157}</sup> задает себе этот вопрос, но не умеет на него ответить. Он так и говорит, что «мотивы нам неясны». Как же может человек уверенно действовать, неясно понимая свои мотивы? Разве это значит быть сознательным представителем своего класса? Разве мы какие-нибудь сомнамбулы, загипнотизированные нашими классовыми интересами и целями? Нет, мы тоже должны быть совершенно сознательными и свободными людьми.

Мы можем быть людьми огромной дисциплины, лучшие из нас могут уподобляться тов. Дзержинскому, но тов. Дзержинский выбирал свою жизнь, часто мучительную и полную трудностей, именно по Чернышевскому, как эгоист! Он просто *не мог поступить иначе*. Для него было совершенно ясно, что вести себя иначе — значит вести себя недостойно, значит портить свою жизнь, получать малое вместо большого, выбирать худшее вместо лучшего. Это потому, что тов. Дзержинский был эгоистом-общественником, то есть то «эго», то «я», которое «выбирало само», было насквозь проникнуто общественностью. Эпиграфом к книге о тов. Дзержинском<sup>[12]</sup> поставлены его слова: «Если пришлось бы начать жизнь снова, я бы начал ее так же». Вот видите: «я бы начал»! Человек хорошо сознает себя источником силы, определителем своей судьбы. А то, что он определяет эту судьбу как можно выше и героичнее, это и значит, каков в данном случае человек.

В той же книге и на той же странице мы читаем такую цитату из Маяковского:

*«Юноше,  
обдумывающему  
житье, решающему —  
сделать бы жизнь с кого,  
скажу,  
не задумываясь —  
«Делай ее  
с товарища  
Дзержинского»<sup>{158}</sup>.*

«Делай ее с товарища Дзержинского» — это значит воспитывай свое «я» по этому образцу.

Мне кажется, что ничего другого и не хотел Чернышевский. Он хотел, чтобы каждый сам себя воспитывал, и воспитывал по высшему образцу, чтобы каждый расширял свой эгоизм большим количеством сведений, обострял и повышал свои чувства в общественной жизни, в борьбе, а потом поступал бы так, как говорит ему личная воля, безошибочно делая как раз то, что нужно для передового общественного целого — для класса.

Ленин говорил: у пролетариата есть мораль. Главная основа этой морали вот в чем: все, что идет на пользу пролетариату как классу, хорошо, все, что вредит ему, — дурно».

Прекрасно! Вот это нужно сделать нашим внутренним чувством, внутренним регулятором, — и не как долг, который вы взяли на себя, а как нечто, органически нам присущее. Тогда мы имеем великолепный пролетарский эгоизм, тогда человек поступает так, как ему естественно поступать, потому что иначе он поступать не может, а вместе с тем каждый раз поступает так, что получается наибольший плюс для его класса.

Чернышевский хотел дать урок активной морали, без вмешательства какого бы то ни было долга, без всякой мистики. Он отнюдь не отрывал своего «эгоиста» от общественности. Наоборот, он различал эгоиста с широчайшими общественными горизонтами и эгоиста без них.

Конечно, здесь получается некоторая игра слов. Мы называем эгоистом того, кто противоположен альтруисту, то есть того, кто всегда свои интересы считает более важными, чем «чужие». Эгоист Чернышевского не таков. Отдавши свою жизнь за других, он скажет перед

смертью: «Я поступил как разумный эгоист, ибо высоко понятый мной интерес диктовал мне именно такой боевой образ действия в рамках великого целого, любовь к которому явилась главной сущностью моей личности».

Пусть читатель перечитает теперь те многочисленные страницы, которые посвящены Чернышевским в романе «Что делать?» этим теориям, и он поймет, как они нам близки. Может быть, Чернышевский менее нас сознавал, на какой почве *генетически* растет этот новый, высший, свободный, глубоко личный и в то же время глубоко общественный тип, но он правильно нащупывал, в чем его сущность. А борьба на два фронта — против мелкого обывательского себялюбия и против долга и разных святостей — нас и сейчас интересует.

#### IV

Роман «Пролог» несколько загадочен. Очевидно, нужна дополнительная работа биографов — как по Чернышевскому, так и по Добролюбову — для того, чтобы выяснить его настоящий смысл. Роман представляет собой в высокой степени замечательное произведение, даже в виде тех двух отрывков, которые мы сейчас называем первой и второй частями этого романа.

Н. Богословский рассказывает в своей статье то, что мы знаем об огромной и в значительной степени не исполненной серии беллетристических произведений, в которых Чернышевский хотел подытожить свою многозначительную жизнь. Нынешней первой части «Пролога», по-видимому, предшествовал большой роман под названием «Старина». Читавшие этот роман находили его чрезвычайно художественно сильным. Затем мы знаем, что «Пролог» должен был быть продолжен большим романом из жизни эмиграции. Есть свидетельства некоторых современников о том, что роман производил впечатление «великого произведения», новой большой утопии и т. д. Значительная часть этого грандиозного сооружения была исполнена, но два раза гибла<sup>{159}</sup>, и, наконец, обескураженный долгими годами неудач, Чернышевский забросил эту мысль. После испытанных им мук и разочарований она была ему больше не по силам.

Нынешняя первая часть романа «Пролог» подверглась более или менее подробной оценке. Превосходный автопортрет Чернышевского в лице Волгина, очень интересная фигура Левицкого, целый ряд других фигур —

передовых, либеральных или консервативных, например типическая, глубоко реалистическая во всех своих компонентах, достойная Щедрина карикатура графа Чаплина (Муравьева) — все это неоднократно обращало на себя внимание, и всякий знает, что без романа «Пролог», его первой части, вряд ли возможно сколько-нибудь живо и отчетливо представить себе великую борьбу сил за «американский» или «пруссский» пути развития России<sup>{160}</sup>.

Гораздо загадочнее вторая часть. Я еще не имел возможности познакомиться с дневниками Добролюбова<sup>{161}</sup>. Справки, которые я наводил в этом отношении, показывают, что нет прямых совпадений между дневниками Добролюбова и приключениями Левицкого во второй части «Пролога». Однако первая половина второй части — школьная обстановка Левицкого и его странный, щекотливый роман — отличаются таким густым реализмом, что вряд ли можно поверить в выдуманность этого эпизода. Здесь все полно живой жизнью, даже на фоне позднейшей народнической литературы: этот уголок жизни мелкого люда прямо и непосредственно перенесен — притом с большим талантом — в беллетристическую форму из живой жизни.

Эта часть романа, в сущности, непритязательна. Перед нами выдающийся по своим способностям студент, страстная и благородная натура, с целым рядом тех черточек прямоты, некоторой косолапости и беспредрассудочности, за которыми, в сущности говоря, скрывается огромная сердечная нежность, которая вновь и вновь роднит Левицкого с тургеневским Базаровым, бросая на эту фигуру благоприятный отсвет.

Доминирующий во второй части «Пролога» эпизод с Мэри заслуживает весьма внимательного разбора. Все приключения Левицкого в усадьбе его патрона также, вероятно, имеют какое-то отношение к живой действительности, но в них, несомненно, и много выдумки. Они написаны под сильным влиянием каких-то европейских романов. Больше всего в них чувствуются отзвуки английской беллетристики, но только они по форме несколько тягучи.

Что же касается содержания, то приключения необыкновенной крестьянской девушки, сделавшейся знатной барыней, внутренне стыдящейся своего ловкого и лукавого пути, приведшего к этому успеху, но никак не могущей уйти от очарования победы, превращения в блистательную парвеню, — вещь истинно замечательная, даже просто как тема. Мы имеем здесь как бы отражение типов пройдох, карьеристов, многочисленных испанских, французских и английских братьев Фигаро.

Это самая настоящая буржуазная фигура. Мы имеем перед собой женщину, вышедшую из крестьянства и благодаря высоким природным качествам делающую ошеломляющую карьеру, причем делающую ее довольно бессовестно.

Но у Чернышевского Мэри не только сохраняет очарование большого ума и ловкости, не только может быть поставлена в ряд с типами такого рода авантюристов и авантюристок, индивидуально прокладывающих путь из мрачных низов на сияющие общественные верхи. Нет, Чернышевский старается своеобразно *оправдать* Мэри: она сложна, она, как уже выше сказано, несколько стыдится своего собственного успеха, она знает, что Левицкий не может социально не осудить ее, она, в сущности, уже переросла свою карьеру, но не настолько, однако, чтобы поискать себе путь вверх из низов своего «неблагородного происхождения» в сторону революционную.

Чернышевский как бы говорит об этой фигуре: «Вот посмотрите на талантливую крестьяночку, которая заставила бар преклоняться перед собой, которая так ловко, так изящно и так мягко проникла в общественный бельэтаж. Что же ей было делать? Почему она должна была оставаться в положении привилегированной прислуги? Кто может ей запретить бороться за себя, если она чувствует себя аристократкой духа в смысле ума, красоты, грации и ловкости?» Если фигура самого Левицкого (также в этой части не особенно ясная с точки зрения его общественных, моральных убеждений, но хорошо известная нам по прежним свидетельствам) показывает, что центр тяжести для Чернышевского, конечно, не в типах, подобных Мэри (социально говоря, не в подъеме буржуазии, не в завоевании ею общественного влияния), то все же нигде, ни в каких других произведениях Чернышевского мы не встречаем такого симпатичного отношения именно к конкретному проявлению буржуазной победы над дряблой аристократией.

Даже из этой очень беглой наметки содержания «Пролога» читатель увидит, как много тут интересного. Можно с некоторым удивлением констатировать, что так мало сделано вокруг истории возникновения и развития этого романа и вокруг внутреннего анализа его содержания. Как при чтении «Что делать?», так и при чтении обеих частей «Пролога» надо помнить, что Чернышевский опасался цензуры, что он смотрел на свои произведения как на глубоко «эзоповские», что на «Пролог» он смотрел еще и как на возможный источник средств для семьи и был готов пойти на большие уступки, лишь бы только как-нибудь провести свое произведение на рынок. Но все же Чернышевский ни в каком случае не писал этих

больших произведений «так себе». Очевидно, что «Пролог» был частью огромного замысла, который должен был описать духовную историю самого Чернышевского, в связи с историей его поколения, и довести дело («Пролог»!) до *кануна* революции, на что, как известно, в самом «Прологе» имеются весьма определенные, хотя и иносказательные, указания.

Уверенные в том, что наш новый читатель сумеет оценить по достоинству замечательное беллетристическое наследие величайшего предшественника марксизма-ленинизма, мы еще раз настоятельно рекомендуем нашему марксистскому литературоведению пристально заняться научными исследованиями этих произведений.

## ГЕЙНЕ-МЫСЛИТЕЛЬ

Исправленная стенограмма речи, произнесенной в 75-ю годовщину со дня смерти Гейне, в феврале 1931 г. на собрании в Академии наук.

Печатается по составленному А. В. Луначарским и посмертно изданному сборнику «Юбилей» (М., ГИХЛ, 1934).

Выпуская этот сборник, Институт литературы и искусства Коммунистической академии предпослал ему следующее предисловие:

«Анатолий Васильевич Луначарский придавал большое значение обычаю отмечать юбилейные даты, связанные с именами великих представителей культуры прошлого. Эти имена не потеряли своего жизненного значения и в настоящее время. Они продолжают жить в атмосфере борьбы различных направлений, а значит и различных интересов. Пролетарская революция представляет собой то историческое возвышение, с которого можно подвести итоги продолжительной борьбе различных устремлений вокруг таких имен, как Спиноза, Гёте, Гейне. Подлинное духовное завещание этих людей может быть выяснено лишь в свете марксизма-ленинизма, и только с этой точки зрения великое и гениальное в их творениях можно отделить от мелкого, преходящего и реакционного. Юбилейные даты дают прекрасный повод для этой переоценки культурного наследия прошлого, для популяризации лучшего в этом наследии, для борьбы с мракобесием современной буржуазной публицистики в ее попытках осмеять прогрессивные и демократические стороны старой культуры или истолковать их в реакционном духе.

Анатолий Васильевич Луначарский умел мастерски использовать юбилейные даты для этой цели.

В своих выступлениях с трибуны и в печати он дал также блестящие образцы научного, коммунистического отношения к крупнейшим нашим современникам.

Вот почему мы считали нужным опубликовать эти выступления в виде отдельной книги. Во многих отношениях — и особенно в отношении широкого, лишенного

вульгаризаторской, сектантской узости подхода к истории идеологии — они могут служить хорошим уроком для нашего молодого поколения ученых и публицистов.

Если бы собрать все юбилейные речи и статьи Анатолия Васильевича, книга была бы втрое больше. Но состав сборника намечен самим автором. Анатолий Васильевич хотел поместить в нем только свои работы за 1931–1933 годы.

Речь о Гёте была впервые опубликована в «Литературном наследстве», речь о Гейне — в «Литературном критике», статьи о Римском-Корсакове, Рихарде Вагнере, Гоголе, Станиславском и Серафимовиче — в «Известиях ЦИК», о Спинозе — в «Новом мире»; мы переиздаем, однако, статьи о Римском и о Вагнере в несколько расширенных вариантах, опубликованных в журнале «Музыка и революция». Необходимо отметить, что «Гоголиана» — первая статья о Гоголе, за ней должны были последовать еще две. Они остались ненаписанными.

В особом примечании нуждается речь о Гейне. Она была произнесена на юбилейной сессии Всесоюзной Академии наук. Стенографическая запись была неудовлетворительна и требовала значительных исправлений (были опущены все цитаты, не закончены и иной раз искажены целые абзацы); Анатолий Васильевич, уже тяжело больной и вынужденный экономить силы, так и не нашел времени взяться за эту работу. Стенограмму этой речи редактировал подготовивший весь сборник научный работник Института ЛИИ Комакадемии И. А. Сац, бывший литературным секретарем Анатолия Васильевича.

.....

Товарищи, я не претендую на то, чтобы подвести в моем небольшом докладе итоги мыслителю Гейне, — это было бы и трудно и не очень благодарно. По существу говоря, никакой системы Гейне не создал, он скорее подарил нас огромным количеством отдельных мыслей и агломератов мыслей, подытоживать которые, с точки зрения систематической, — безнадежно.

Я хочу скорее определить тот *тип мыслителя*, к которому принадлежал Гейне, и мне кажется, что, только поняв Гейне как

определенный тип мыслителя, в особенности присущий определенному времени, мы найдем ключ к большой пестроте его мышления.

Гейне прежде всего художник. Он обладает тремя основными чертами всякого художника. Первая из них — это необычайная чуткость к окружающему, необычайная впечатлительность. Вторая — сложный и богатый процесс внутренней обработки полученного извне материала. И наконец, третья — способность чрезвычайно эффектно, чрезвычайно ярко, выразительно вновь отдавать в своих произведениях материал, заимствованный из объективной действительности, но переработанный и окрашенный субъективным темпераментом художника. Как раз вторая черта этого процесса — внутренняя переработка — больше всего роднит художника и мыслителя: ею обозначается эмоциональный и идейный анализ и синтез, переключение наблюденного материала в образы и в новую систему понятий.

Так называемый «чистый художник» творит, по-видимому, в порядке эмоционального порыва; на деле это означает лишь то, что конкретно-образное мышление у него имеет определяющее значение. Плеханов правильно утверждает, что художественная работа не может элиминировать мышление понятиями.

Но можно себе представить человека, у которого над эмоционально-образным мышлением преобладает процесс, протекающий в сфере логических понятий.

В первом случае мы будем иметь художника-мыслителя, во втором — мыслителя-художника.

Если же мы найдем такого человека, мышление которого почти лишено образности (что так же маловероятно, как отсутствие мышления понятиями), то мы будем иметь приближение к типу чистого мыслителя.

Гейне — художник-мыслитель. Единство мыслителя и художника в нем чрезвычайно велико, так что если его произведения и можно отнести к разным категориям, то этим не ослабляется их внутреннее родство: ум, который блещет в художественных произведениях, хотя бы они были чисто лирическими, и необыкновенный блеск образов и кипение чувств в каждой странице его философских произведений делают их явными детьми одной и той же индивидуальности.

Объединяющим их элементом является основная черта Гейне-мыслителя — *остроумие*.

Остроумие — стихия Гейне.

Остроумных людей чрезвычайно много, и можно спорить, занимает ли Гейне первое место в их ряду; но никто не будет спорить, что он занимает

среди них одно из первых мест.

Остроумие — это способность сближать различное и различать сходное. Гейне выразил это уже и упрощенней: «Контраст, искусное связывание двух противоречивых элементов»<sup>{162}</sup>, то есть где можно объединить весьма диспаратные предметы, идеи, чувства, там царит остроумие. Если принять формулу Гейне, то нужно различать остроумие как доминирующую стихию от остроумия, которое играет подчиненную служебную роль. Так, например, диалектика тоже построена на том, чтобы видеть единство там, где поверхность явлений представляет только противоречия, и видеть различие в кажущемся элементарном единстве. Но великий диалектик Маркс главным образом заботится о том, чтобы понять при помощи диалектического анализа объективную действительность; для него остроумие в узком смысле слова, то есть эффектная форма, применяемая для того, чтобы вызвать смех, является второстепенным моментом. Гейне гораздо меньше интересуют объективные данные, которые получаются в результате крайне остроумного обращения с проблемой, его интересует прежде всего эффект смеха.

Смех получается там, где человек констатирует легкую победу над действительной или мнимой трудностью, и вот для Гейне чрезвычайно важно создать внезапную трудность, которая заставляет вас на минуту приостановиться, и показать победу над этой трудностью; победа и даже самая трудность могут быть призрачными, но торжество светлого ума показано так грациозно, что вы смеетесь.

Вообще говоря, противоположностью диалектики, а вместе с тем и остроумия является метафизика. Метафизика устанавливает вечные идеи. Можно представить себе, и не то что представить, а констатировать в искусстве такое направление, которое мыслит целостными, неразложимыми образами. Но искусству трудно выразить вечные идеи. Искусство (эту мысль блестяще развил Гегель) дает нам вечные идеи в конкретном их выражении. Конкретное выражение, отражение, например, идеала человека в Зевсе Фидия, есть такой самодовлеющий предмет, который претендует на то, чтобы целостно выразить известную идею и не нуждаться ни в каких дополнениях. В великом реалистическом античном искусстве идея предстает в своем «конкретном выражении», вечность не уничтожает временности, целостность не плоска и не однозначна.

Античное искусство стремится объективно отразить действительность. Натуралисты-художники устремились к тому же другим путем. Но если вы присмотритесь к их живописи, то увидите, что художники-натуралисты — бессознательные механисты-материалисты—

смотрят на вещи как на всегда равные самим себе предметы. Натуралист изображает предмет во всей его статической законченности, думая, что достигает этим наиболее объективного и адекватного его выражения. При этом он теряет именно идею изображаемого, его действительную сущность.

Не так импрессионисты. Импрессионисты понимают мир не через существо объективного и не стремятся к тому, чтобы ввести в свое мироощущение объект, который они вскрыли в его действительной сущности. Импрессионисты воспринимают мир через изысканное, через то, что им субъективно кажется существенным. Объективно существенное отбирается импрессионистами таким образом, чтобы оно не совпадало с «вульгарным» существенным, потому что иначе оно не будет изысканным. Чтобы дать представление о каком-нибудь предмете или о каком-нибудь явлении, не надо повторять того, что всем о нем известно. Не надо изображать то, что всякий видит, а надо дать тончайшее явление, которое замечает только художник и которое служит ключом для проникновения в самый предмет. Для того чтобы это удалось, нужно, во-первых, чтобы субъект — художник — был родствен и понятен более или менее широкой среде, иначе он будет «изыскивать изысканные формы», и никто не будет понимать их — он не найдет отклика. Чем больше связи между художником-импрессионистом и воспринимающей его средой, тем лучше для него. Но вместе с тем он должен стоять выше этой среды по своей чуткости, по умению перерабатывать материал и схватывать характерные черты. Например, Треплев в «Чайке» Чехова говорит: «Я... мало-помалу сползаю к рутине... Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова...»

Импрессионизм очень близок к гейневской формуле остроумия — «сближать контрасты», и для него характерна неполнота этой формулы, делающей ударение на соединяемых искусственно контрастах, но упускающей реальное единство.

Гейне был в высокой степени *импрессионистом*. Изображая объективную действительность, он с большим остроумием выискивает вещи необычайные, иногда даже парадоксальные, и характеризует ими предмет. То же делает он с мыслями в порядке остроумия мыслителя: он всякий раз старается найти оригинальные, неожиданные стороны предмета, который изображает, и таким образом представить этот предмет с совершенно новой стороны.

В произведениях Гейне мир отражается в высокой степени *субъективно*. Он придает изображаемым предметам эмоциональную характеристику, которую черпает из своего настроения, и беспрестанно раскрывает в своих произведениях *свое собственное «я»*, то есть проецирует на своих художественных образах то, что происходит в нем самом. Субъективное преобладает во всем творчестве Гейне. Правда, нельзя сказать, чтобы Гейне придерживался взгляда, что «мир — это я и мои представления», но иногда он к этому близко подходил.

Еще во времена Гейне Мориц Фейт<sup>{163}</sup> писал: «Гейне никогда не имел другой цели, кроме себя самого; он всегда был так занят изображением своей личности, что не мог никогда или мог только очень редко возвыситься над ней; он позволял себе бросаться во все стороны и так нравился себе в этой игре, что не мог подчинить свой талант какой-либо высшей цели».

Гейне был настолько субъективным писателем, что игра собственными ощущениями мешала ему всерьез поставить перед собой какую-нибудь большую цель.

«Он далек от какой-нибудь самодовлеющей цели, сколько-нибудь ясного познания предметов и людей, потому что для него имеет цену лишь то, что доставляет ему удовольствие, только те предметы, которые он видит сквозь цветные очки своей личности».

Этот крайний субъективизм Гейне, выражающийся в импрессионизме и характерном для импрессионизма остроумии, конечно, был присущ не ему одному. Если он говорил, что мир раскололся на две части и трещина прошла через его сердце, то это раскололась не вселенная, не человечество, а современное Гейне германское общество, и щель прошла по мелкобуржуазной интеллигенции. Весь романтизм был субъективен, и классовые причины этого нам очень хорошо известны.

При каких условиях тот или иной класс, тот или иной выразитель класса может со всей страстью и с блестящими результатами воспевать объективность мира? В тех случаях, когда он с ним согласен, когда он говорит ему свое великое «да». Гигантский представитель поэзии — Гёте сделал колоссальное усилие для того, чтобы сказать миру «да». Он почти отошел от социальных явлений, перенес внимание на природу, на изучение природы и на искусство, и из природы, из искусства, отчасти из науки построил светлый храм своего мировоззрения. Гёте дал представление о космосе, в большей степени близкое к нашему, чем это удалось сделать кому-либо другому из современных ему мыслителей. Но мы знаем, что Гёте уберег себя от разлада с действительностью путем

примирения со всеми ее несовершенными и даже отвратительными сторонами и что это далось ему очень нелегко.

Гёте пришлось отказаться от многих требований к миру, для того чтобы признать, что мир прекрасен, что его нужно познавать и его законам подчиняться. Гёте был буржуазным патрицием, и вся его жизнь представляла собой довольно непривлекательный и часто мучительный процесс укрепления союза патрицианской буржуазии с крупным дворянством Германии. Отсюда, при таком социальном устремлении, понятна эта жажда Гёте сказать: порядок выше всего; личность, подчиняйся! «Величаво вы начинаете, титаны; однако только богам дано вести к вечно доброму, вечно прекрасному; предоставьте им действовать... ибо с богами не должен равняться ни один человек» («Пандора»).

Пролетарский объективизм формулирует задачу так: мы призваны познавать мир не для того, чтобы его истолковывать, а для того, чтобы его переделать. Это величайшее торжество объективизма, какое только можно себе представить, но в него входит и субъективный момент. Это значит, что мир недоделан: мы принимаем его, но как задание, как материал для работы, и считаем себя достаточно сильными для того, чтобы переделать его. Здесь дан могучий творческий импульс: переделать мир — это большая архитектурная задача; и в то же время это объективная задача, ибо она требует совершенно точного знания, что такое мир — твой материал' и твоя база, из которой ты сам вырос.

Но для того чтобы таким образом подойти к миру, нужно принадлежать к творческому классу, который в состоянии его переделывать. Гейне это было недоступно. Не мог он пойти и по пути Гёте, потому что жил в другое время и его социальная судьба была иной.

Возьмем поколение германской мелкобуржуазной интеллигенции того времени и прежде всего самого Гейне. Мог ли Гейне прийти к выводу, что мир прекрасен?

Капитализм, разрушая устои старого экономического бытия, уже вызвал к жизни своего антагониста — пролетариат; но борьба еще только начиналась, расстановка сил и перспективы были неясны. В то же время буржуазия была слишком слаба, чтобы разрушить феодализм, и шла на гнуснейшие компромиссы с юнкерством. Для Гейне, мелкобуржуазного интеллигента, человека прежде всего мысли и чувства, положение казалось особенно тягостным и безвыходным. Поэтому он не мог ничего сказать о мире, кроме того, что он очень плох. Что же с ним делать? Переделывать ведь некому, сил нет. Отсюда могли быть три субъективных выхода: или вера в то, что этот мир ненастоящий, а кроме него, есть другой мир —

настоящий, и стремление подняться до этого мистического мира; или заявить, что мир вообще несерьезен, что к нему лучше всего относиться шутливо, смеяться над ним; или же признавать, что романтик знает высший мир и именно потому относится к действительности с иронией (я могу смеяться над тем, что такое мир, потому что я знаю, что такое бог); при этом «высший мир» не всегда означает мистический, потусторонний мир; нет, это может быть тот или иной идеал, та или иная утопия.

Гейне был чужд мистическому мировоззрению, и поэтому ему оставалось главным образом иронизировать. Смеялся он зло, так как примириться с действительностью не мог и страстно желал ее разрушить.

Объективизм, создающий стройную и этим самым примиряющую картину мира, для Гейне неприемлем. С чрезвычайной резкостью нападает он на Гёте в своей рецензии на книгу Менцеля:

«Принцип эпохи Гёте — идея искусства — уходит; поднимается новое время с новым принципом, и начинается оно с восстания против Гёте. Может быть, сам Гёте чувствует, что прекрасный объективный мир, который он построил словом и собственным примером, неизбежно должен рухнуть вследствие того, что идея искусства теряет свое господство, и новые бодрые духи, порожденные новым временем, подобно северным варварам, вторгшимся в южные страны, разрушат дотла цивилизованное гётеанство, воздвигнув на его месте царство самого дикого субъективизма».

И Гейне рад тому, что в мир, как северные варвары, вторгнутся новые силы, превратят его в развалины и на этом месте создадут «царство самого дикого субъективизма».

Как пролетариат относится к такой концепции? Пролетариат — самый острый, решительный и беспощадный критик и разрушитель капитализма. Пролетариат не может мириться с капиталистической действительностью. Но его борьба не выражение отчаяния, и он не ищет исхода в развязывании антиобщественных деструктивных сил. Он противопоставляет капитализму свое положительное *творческое мировоззрение*. Он не склоняется покорно перед миром, но принимает его как задание, ибо рабочий класс — огромная сила, превышающая всякие человеческие силы предшествующей истории.

Гейне вместе с романтиками боролся против объективизма классиков. Но романтизм, отказавшись от победы в мире реальном, все больше обращался к миру потустороннему и докатился до католицизма. Гейне же, в особенности молодой Гейне, считал свой субъективизм чем-то разнозначным общественной активности. Так, 28 февраля 1830 года он писал Фарнгагену фон Энзе<sup>[164]</sup>:

«Я все-таки уверен, что с концом «периода искусства» приходит конец и гётеанству. Только наше эстетизирующее и философствующее время, выдвинувшее в центр искусство, было благоприятно для возвышения Гёте; время воодушевления и дела в нем не нуждается».

Он считал, что в немецких странах наступило «время воодушевления и дела». Это была чистейшая иллюзия. «Воодушевление» германской интеллигенции покипело и стало успокаиваться именно потому, что не нашло приложения к делу. Настоящая революционная энергия развивалась за рамками немецкого национально-освободительного и либерального движения. Знал ли это Гейне? Ведь и позднее, в 1842 году, в письме к Лаубе, Гейне повторяет то же требование активности, подчеркивая ее общественный характер.

«Мы никогда не должны скрывать наших политических симпатий и социальных антипатий, мы должны дурное называть его настоящим именем и безоговорочно защищать доброе».

Гейне встретил Лассалья в 1845 году, когда сам уже почти не чувствовал этой «*Begeisterung*»<sup>[13]</sup>; все же он пришел в восторг от этого молодого человека, человека настоящего дела, в котором чувствовалась металлическая деловая энергия. Но если бы эта деловая энергия не привилась к большому стволу *пролетарского движения* как одна из его ветвей, то Лассаль был бы только знаменитым адвокатом, профессором, может быть, миллионером. Гейне прекрасно видел в конце жизни настроения грюндерства<sup>[165]</sup> у иных «людей дела», и все же он не понял, что давало Лассалю общественное значение.

В 1843 году, в Париже, Гейне познакомился с Марксом; Гейне лично знал многих коммунистов и говорил о них с глубоким уважением:

«Более или менее таящиеся пока вожди немецких коммунистов, сильнейшие из которых вышли из гегелевой школы, — великие мыслители и, без сомнения, способнейшие умы и энергичнейшие характеры в Германии. Эти доктора революции и следующие за ними решительные и безжалостные юноши — единственные люди, владеющие жизнью, и им принадлежит будущее».

Гейне видел развитие революционных сил внутри капитализма. Он понял еще в 1833 году революционное значение диалектики Гегеля. Но он никогда не мог понять исторической творческой роли пролетариата. То, что для Маркса и Энгельса было ясно, оставалось для Гейне смутным и общим представлением, скорее предчувствием, чем знанием. Ему не удалось добраться до сущности марксизма и почувствовать твердую почву под

ногами. Не удалось ему понять, что объективизм, против которого он боролся, приобретает черты высокого единства с субъективизмом и ведет к высшей свободе личности, когда служит не интересам эксплуататорской группы, а рабочему классу. Гейне казалось, что пролетарский коллективизм грозит свободе индивидуальности. Он все еще видел в революционном пролетариате разрушителей машин и боялся, как бы «мрачные парни, которые, как крысы, выскочат из подвалов существующего режима», не уничтожили изысканную культуру, не утопили во всеобщем уравнительстве искусство и талант. Отсюда и неуверенность шагов Гейне по дороге революционного самосознания.

Беспреданно мы встречаем у Гейне внутренний вопрос — не есть ли революция ложный путь? Он говорит о подвигах французских революционеров, но признается, что не хотел бы жить в их время и не хотел бы быть с ними. Когда он вспоминал о своей встрече с Вейтлингом, которого при всех его ошибках Маркс оценил как предшественника рабочей мысли, то признавался, что ему тяжело его видеть и что его преследует звон оков этого постоянного жителя тюрем.

Надо осветить эту характерную черту Гейне еще с другой стороны. В своем памфлете «Людвиг Берне» Гейне писал: «В своих высказываниях о Гёте, так же как в суждении о других писателях, Берне обнаруживает свою назарейскую ограниченность. Я говорю «назарейскую», чтобы не пользоваться выражениями «иудейская» или «христианская», хотя оба они для меня равнозначны и употребляются мной для обозначения натуры, а не вероисповедания. «Иудей» и «христианин» — слова для меня родственные по смыслу и противоположные «эллину»; последнее также обозначает не определенный народ, но определенное природное и воспитанное духовное направление и точку зрения. В этой связи я хотел сказать: люди делятся на иудеев и эллинов — людей с побуждениями аскетическими, болезненно мрачными и антихудожественными, и людей, по существу, жизнерадостных, цветущих, гордых и реалистических. Бёрне был вполне назареем, его антипатия к Гёте имела непосредственным источником его назарейскую душу, так же как и позднейшая его политическая экзальтация, основанная на том жестоком аскетизме, той жажде мученичества, которые часто встречаются у республиканцев и называются ими республиканскими добродетелями...»

«Эллин» владеет идеей, но идея владеет «назарейнином».

Личность «назарейнина» приобретает характер фанатический, сектантский, — идея, поработавшая человека, делает его узким. С точки зрения сторонников определенной идеи, такой человек — целесообразная

величина, но эстетической свободы личности в нем не ищите.

Другое дело «эллин». Владеть идеей для него то же самое, что владеть рабыней — можно ее отослать, можно позвать, то есть владеть по-барски, как игрушкой; и чем больше человек владеет идеей, тем богаче его индивидуальность, тем она полнее, тем больше разветвлено древо его сознания.

Как видите, Гейне чужда мысль о том, что человек может и не быть поработан идеей и не играть ею, что *человек может быть проникнут идеей, делающей его свободным и духовно богатым*. Это бывает тогда, когда идея есть идея передового класса, и человек, принадлежащий к этому классу, в полноте идеи находит всю полноту своего социального существования.

Я прекрасно понимаю, что проблемы, связанные с устранением противоречия между человеком как полноценным выразителем своего класса и как человеческой личностью, не являются и сейчас легкоразрешимыми. Но я утверждаю, что подлинная пролетарская общественность действительно будет воплощать во всей полноте эту в значительной степени уже осуществленную у нас тенденцию развития. Мелкобуржуазным людям, и особенно тем из них, которые блестящи и даровиты, трудно с этим мириться; и если мы, в наши дни, бываем свидетелями конфликтов между обществом и мелкобуржуазным индивидуализмом, то вы можете себе представить, как остро должен был переживать такой конфликт, в ужасных условиях тогдашней Германии, Гейне — личность чрезвычайно оригинальная, притом именно в мелкобуржуазном значении этого слова.

Живи Гейне в другое время, он мог бы стать эстетом и гурманом, установить для себя настоящий идеал своего существования в том, чтобы, владея идеей, наслаждаться бытием и пройти свой путь «под счастливой звездой». Но время было ужасное, и «эллин» — Гейне *вынужден был* вступить в бой с окружающей средой. Он беспрестанно, вновь и вновь, начинал этот бой, хотя и был легко вооружен, — как Давид, выходящий с пращей против Голиафа.

Основным оружием его были остроумие и венчающий его смех. Смех давал моральную победу, доказывал, что авангард нового класса стал уже выше старого общества по своей конструкции, умственной и социальной, хотя для реальной победы у него еще не было сил.

Такой смех легко срывается в смех сквозь слезы, в смех горькой иронии. Все же это — самозащита против врага, превосходящего физической силой.

Во времена Гейне реакция была еще достаточно сильна, чтобы наносить тяжелые удары; вот почему смех у Гейне часто приобретает характер Galgenhumor, юмора висельника: мир отвратителен вообще, и в социальной части особенно; победить его нельзя, глупость торжествует, мириться с ней невозможно, устранить ее нет никаких сил, — так давайте же смеяться над этим пошлым миром!

Когда в старой Англии вели на виселицу преступников, они считали особенным шиком отпустить соленые шуточки и издеваться над судьями и палачами, чтобы показать свое бесстрашие. Это скрашивало их последний путь, но это не мешало тому, что палачи вешали их, а не они палачей. В социальной сатире Galgenhumor, как я уже сказал, имеет большее значение: здесь он не только показывает моральное превосходство смеющегося, не только поддерживает в нем мужество при безвыходном положении, но и призывает к дальнейшей борьбе. Все же он дает не победу, а только суррогат победы; вот почему ему грозит опасность превратиться в пустое зубоскальство и стать вредным для того, кто им пользуется. Если можно отделаться от трагического положения простой насмешкой и жить, кое-как смягчая жизненные трения, это лишает последних импульсов к действительной борьбе.

Из всего сказанного можно понять ту необычайную подвижность гейневского мировоззрения, которую констатирует в недавно изданной книге «Henri Heine» французский критик Аннекен (Hennequin). Я приведу цитату, где в изящных и точных выражениях указана необычайная способность Гейне переходить от одного настроения к другому:

«Особенность его организации выражается в своеобразном непостоянстве натуры, заставляющей поэта переходить от одного настроения к другому — от веселости к иронии, от иронии к отчаянию, от меланхолии к насмешливости, от радости к сосредоточенности, от восхищения к презрению. Душе Гейне свойственны были быстрые переходы, внезапные движения, которые перемешивали и сталкивали веселость и мрачность...

...Кажется, что Гейне может испытывать только одно чувство, которое, становясь преобладающим и постоянным, стремится атрофировать остальные; всякое волнение, вызванное воспоминаниями и воспринятое чувствами, отражается под таинственным углом все к тому же душевному началу» ведущему, в конце концов, к непреходящему и ровному грустному раздумью».

«Грустное раздумье» все больше выступает на первый план, и в конце концов получилось так, что, какую бы клавишу гейневской натуры вы ни

затронули, всегда сильнее всего звучит задумчивая грусть.

Таким образом, через блестящий смех, через легкий триумф в области остроумия, через игру образами Гейне пришел к пессимизму, к пессимистическому мироощущению, если не мировоззрению.

Большой художник, композитор Скрябин, тоже увлекался, как многие художники эпохи безвременья, чрезвычайным счастьем свободной игры музыкальными образами и противопоставлял тяжелой действительности эту романтическую игру в царстве искусства<sup>{166}</sup>. У Скрябина был период, когда он думал, нельзя ли истолковать весь мир так: бог есть художник, и, как художник, он создает окружающий нас мир?

Гейне тоже к этому приходил. Вот что он писал в «Das Buch le Grand»:

«Мир так приятно запутан: это сон опьяневшего бога, потихоньку, а la française, ушедшего из компании бражничающих богов и уснувшего на уединенной звезде. Он и сам не знает, что творит все, что видит во сне; и сновидения эти бывают безумно пестры или разумно-гармоничны; Илиада, Платон, Марафонская битва, Моисей, Венера Медицейская, Страсбургский собор; Французская революция, Гегель, пароходы и т. д. — отдельные хорошие мысли этой сонной божьей грезы».

Вот какие причудливые зигзаги делал этот огромный ум из-за того, что у него не было настоящей социальной перспективы, социальной воли, ибо социальная воля индивидуалиста равна нулю.

Но этот величайший ум привел к победе в сфере смеха. Остроумие имело для него небывалое значение, ибо это был единственный оазис, где он мог еще дышать. И смех его приобрел необыкновенную глубину и общественное значение потому, что он не был простым зубоскальством, он весь оказался обрамленным очень широкой траурной каймой. Это был смех, сознающий, что он противостоит торжеству нелепости.

Мы знаем, что Маркс относился к Гейне в высшей степени положительно; он понимал те условия, в которых Гейне очутился, и слабости, которые проявлял Гейне, относил за счет его одиночества. [...]

Я напомним только один эпизод. Когда Вильгельм Либкнехт рассказал Марксу, что он уклонился от свидания с Гейне в Париже, узнав о том, что Гейне получает пенсию от Луи Филиппа и Гизо, Маркс рассердился, намылил голову Либкнехту и сказал, что так рассуждать может только мелкобуржуазный филистер и что Либкнехт сам себя наказал за свое морализирование, лишив себя беседы с одним из умнейших людей. Маркс не был педантом» относящимся к поэту-индивидуалисту с мещанской мелочной придирчивостью и отвергающим его в целом, основываясь на том, что многие черты поэта противоречат его основным принципам. И

конечно, Маркс был прав. При всех своих отклонениях и срывах Гейне как сатирик, как мыслитель, как журналист и как корреспондент, ведущий широкую переписку, был блестящим его союзником, вроде конницы, которую римские легионы отбирали у врагов, включали в свои ряды, хотя и не очень на нее полагались: она была не очень надежна, но очень быстра и эффективна.

Только руководясь заветом Маркса, который он нам оставил в беседе с Либкнехтом, мы можем уяснить, что мог дать революции гениальный человек, подобный Гейне.

Гейне дал нам громадный арсенал отдельных аргументов, отдельных победоносных характеристик, виртуозный абрис развития общественной мысли в Германии. Гейне очень остро воспринимал революционную стихию и был иногда ее ярким выразителем, несмотря на то, что его подстерегала бездна пессимизма и бездна зубоскальства. И хотя он сам часто говорил о себе как о шуте, тем не менее он был замечательным борцом, временами оказывающим неоценимые услуги не только революции 1848 года, но и нашей революции.

Пушкин писал о себе:

*И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что в мой жестокий век восславил я свободу  
И милость к падшим призывал.  
Веленью божию, о муза, будь послушна.  
Обиды не страшась, не требуя венца,  
Хвалу и клевету приемли равнодушно  
И не оспаривай глупца.*

М. Гершензон<sup>[167]</sup> пытался доказать, что это стихотворение имеет иронический смысл, что Пушкин смеялся над народом, который воображает, будто поэт боролся за него. Но Пушкин смеялся здесь только над такими людьми, как Гершензон, это их он называл глупцами. И вот, в параллель к «Памятнику» Пушкина, я прочту вам в хорошем русском переводе Михайлова<sup>[168]</sup> «Enfant perdu»<sup>[14]</sup> Гейне. Эти стихи показывают, какое огромное значение придавал он социальной стороне своей поэтической деятельности.

*На брошенном посту в войне свободы*

*Я тридцать лет стоял, как верный часовой.  
Победы я не ждал, сражаясь годы,  
Я знал, что целым не вернусь домой,  
И день и ночь я бодрствовал, но спали  
В палатке лагерной любезные друзья  
И громким храпом тотчас пробуждали  
Меня, едва хотел забыться я.  
И страх ко мне порою подбирался  
(Один дурак со страхом не знаком), —  
Свист дерзких рифм мгновенно раздавался,  
Я страхи гнал насмешливым стихом.  
Да, я стоял, не ослабляя слуха:  
Как только подползал опасный гад,  
Я тотчас бил и в мерзостное брюхо  
Без промаха вгонял ему заряд.  
Весьма понятно было, что порою  
И мерзкий гад удачно попадет  
И также ранит. Я, увы, не скрою,  
Что насмерть ранен. Кровь моя течет.  
Вакантен пост. Израненное тело  
Сменит в веках упорный, бодрый строй.  
Я пал не побежден — оружие цело,  
Со мною кончено, но не окончен бой!*

Это чудесное стихотворение характеризует, как Гейне при всем разнообразии своей лирики и при огромном месте, которое занимало в его творчестве свободное отношение ко всему окружающему и к своему внутреннему миру, оценивал свою общественную роль, какое значение он придавал себе как поэту политическому. И мы имеем право сказать, что, венчая Гейне как одного из изумительнейших поэтов внутренней свободы, мы почтительно вводим его и в пантеон великих предшественников подлинной революции, то есть пролетарской революции, которую мы имеем высокую честь и счастье совершать.

## ГЕТЕ И ЕГО ВРЕМЯ

Стенограмма доклада в Доме печати 22 марта 1932 г. к столетию со дня смерти Гёте. Первоначально опубликована в «Лит. наследстве» № 4–6 за 1934 г. Печатается по сборнику «Юбилеи» (1934).

.....

Развитие капитализма в XVII, XVIII и в начале XIX века, подъем буржуазии, вторжение этого нового класса на всемирную историческую арену с явным стремлением взять власть в свои руки вызвали ряд явлений не только экономического и политического характера, но и характера культурно-идеологического.

Англия первая вступила на путь буржуазного развития. В Англии раньше, чем в других странах, произошел грандиозный социальный взрыв и выдвинул в ней целый ряд блестящих, гениальных исследователей и поэтов — Бэкона, Шекспира, Мильтона, Гоббса и других мыслителей, доходивших до необыкновенно радикальных форм сокрушения всех устоев предшествующего общества. Несколько позднее Франция, по стопам Англии, вступила на ту же дорогу и, подготавливая свою Великую революцию, выдвинула плеяду изумительных людей, которыми буржуазия могла бы гордиться, если бы не отрелась позднее от лучшего, что было в их учении. Здесь мы видим и разьедающую насмешку Вольтера, и, сердечный, в области чувств происходящий, грандиозный романтический бунт Руссо против всех основ цивилизации и классового порядка, и группу энциклопедистов, которая, сокрушительными ударами потрясая все здание старой культуры, закладывала фундамент нового мирозерцания и нового общества, признаваемого «рациональным» и «нормальным».

Но если в Англии и Франции эпохи буржуазной революции не было недостатка в мыслителях и поэтах, то центральная роль принадлежала все же поли-тикам-практикам. В этих странах мы имеем «плебейскую», по выражению Маркса, манеру довершать движение буржуазии: королям рубили головы, разгоняли старую аристократию, стирали внутреннюю границу между сословиями и княжествами, изменяли законы и

закладывали фундамент буржуазной демократии с огромной решительностью и последовательностью.

Волна контрреволюции пыталась позднее уничтожить завоеванное, но все-таки глубокие следы первых завоеваний сохранились, и весь характер дальнейшего развития Европы зависел от этих грандиозных событий.

Иначе шло дело в Германии. В своей замечательной книге по истории немецкой философии и религии<sup>{169}</sup> Гейне первый отметил с необыкновенной чуткостью эту особенность.

К тому времени, когда на Западе бурно разворачивалась молодая буржуазная культура, Германия имела уже некоторую прослойку буржуазии и группу буржуазных интеллигентов, которым не могло оставаться чуждым то, что делалось за границами Германии. Но все же это была страна отсталая. Сколько-нибудь значительных масс, которые могли бы поддержать своих вождей, у немецкой буржуазии не было. И Гейне с изумительной проницательностью отмечает, что в Германии, лишенной с самого начала возможности действовать практически, начинается процесс сублимации: социальная активность, не выражающаяся в действии, преломляется в фантазию, в художественные образы, которые передаются в музыке, книгах и картинах, в замечательные узоры всяких идейных положений. Это тоже творчество буржуазной культуры, этим тоже кладется начало борьбы со старым порядком, со старыми идеями, но здесь борьба ведется только словом, идейным оружием.

Немецким мыслителям той поры присуще недоверие к непосредственной активности, к практическому делу как таковому. Они склонны понимать самую суть мира, понимать самое существо человека идеалистически; работа фантазии, напряженной мысли для них особенно дорога, именно ею они жили.

Можно ли сделать отсюда вывод, что если в Германии молодая буржуазия оказалась политически более слабой и неорганизованной, чем где бы то ни было, то зато в своей области, в области идеологии, она одержала безукоризненно блестящие успехи? Нет, дело обстоит не так просто; дело не только в том, что Германия оказалась страной «мыслителей и поэтов», а не страной борцов и действия.

Когда я отметил идеализм, присущий самосознанию немецких мыслителей, я указал этим на вещь нездоровую с нашей точки зрения, с точки зрения пролетариата. Но мало того, идеологи немецкой буржуазии не могли вообще свободно развернуться даже и в той области, которая была им доступна: даже их художественные творения заражены духом известной отсталости, остаются в плену того порядка, который существовал в

Германии и сильно разнился от порядка, существовавшего в других западноевропейских странах.

Энгельс в своей статье «Положение Германии» пишет о германской буржуазии:

«Соединившись с народом, они могли бы ниспровергнуть старую власть и восстановить империю, как это отчасти сделали английские средние классы между 1640 и 1688 гг. и как это в то время делала французская буржуазия. Но средние классы Германии никогда не обладали такой энергией, никогда не претендовали на такое мужество; они знали, что Германия — только навозная куча, но они хорошо чувствовали себя в этой грязи, потому что они сами были навозом и чувствовали себя в тепле, окруженные навозом»<sup>[15]</sup>.

И далее:

«Это была одна гниющая и разлагающаяся масса. Никто не чувствовал себя хорошо. Ремесло, торговля, промышленность и земледелие были доведены до самых ничтожных размеров. Крестьяне, торговцы и ремесленники испытывали двойной гнет: кровожадного правительства и плохого состояния торговли. Дворянство и князья находили, что их доходы, несмотря на то, что они все выжимали из своих подчиненных, не должны были отставать от их растущих расходов. Все было скверно, и в стране господствовало общее недовольство. Не было образования, средств воздействия на умы масс, свободы печати, общественного мнения, не было сколько-нибудь значительной торговли с другими странами; везде только мерзость и эгоизм; весь народ был проникнут низким, раболепным, гнусным торгашеским духом. Все прогнило, колебалось, готово было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, потому что в народе не было такой силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений.

Единственную надежду на лучшие времена видели в литературе. Эта позорная политическая и социальная эпоха была в то же время великой эпохой немецкой литературы. Около 1750 г. родились все великие умы Германии: поэты Гёте и Шиллер, философы Кант и Фихте, а лет двадцать спустя — последний немецкий великий метафизик Гегель. Каждое замечательное произведение этой эпохи проникнуто духом протеста, возмущения против всего тогдашнего общества. Гёте написал «Гёца фон Берлихингена», драматическое восхваление памяти революционера, Шиллер написал «Разбойников», прославляя великодушного молодого человека, объявившего открытую войну всему обществу. Но это были их юношеские произведения. С годами они потеряли всякую надежду. Гёте

ограничивался наиболее смелыми сатирами, а Шиллер впал бы в отчаяние, если бы не нашел прибежища в науке, в особенности в великой истории древней Греции и Рима. По ним можно судить о всех остальных. Даже самые лучшие и самые сильные умы народа потеряли всякую надежду на будущее своей страны»<sup>[16]</sup>.



*Выступление А. В. Луначарского на открытии выставки «Жизнь и быт народов СССР».  
Москва, 1926 г.*



*Заседание коллегии Наркомпроса на заводе «Геофизика» Присутствует Н. К. Крупская, выступает А. В. Луначарский 1928 г.*



*А. В. Луначарский. Свердловск*

Вот общая характеристика положения этих великих людей, среди которых величайшим был Гёте.

Ленин учил нас, что есть два пути развития капитализма: американский путь развития — самый решительный путь, при котором капитализм расцветает бурно и оказывается в состоянии мобилизовать большие массы, сметающие со своего пути всю гниль прошлого, и другой путь, — который фатальным для Гёте образом Ленин назвал прусским путем, — характеризующийся тем, что напор растущей буржуазии не может разрушить грязных дамб феодализма и просачивается сквозь них кое-как, буржуазия не располагает массами, которые в состоянии вести гражданскую войну с тем, что препятствует развитию общества, — и

вследствие этого оторванные вожди, даже лучшие, даже самые проникательные, самые благородные, вынуждены идти на компромисс с господствующим классом; духовенство и дворянство остаются во главе общества, а буржуазия, довольствуясь отдельными уступками, приспособляется, поддерживает их.

Жертвой этого последнего пути можно назвать и Гёте.

Громадная его слава свидетельствует о том, что он не явился жертвой до конца.

Мы знаем, что принесла с собой человечеству зрелая буржуазия и что приносит с собой теперь перезрелая буржуазия, — хорошего в этом мало. Но в начале движения мыслители молодой буржуазии, как это правильно отмечал Энгельс, перескакивали иногда даже за границу интересов своего класса. Именно в интересах своего класса, желая привлечь к нему симпатии огромных масс, они говорили, что дело, за которое они борются, делается «для народа», что жизнь людей в старом режиме — это накопление глупости, что история до сего дня была бессмыслицей, но что так будет до тех пор, пока не будет провозглашен примат разума: когда все начнет освещать разум, все изменится, и все муки отойдут в прошлое.

Правда, при дальнейшем своем развитии победившая буржуазия отнюдь не выполняет обещаний своих смелых мыслителей. На первый план выступают теперь не мыслители, не поэты и даже не политики, а те, кто является основой буржуазии, — промышленники, торговцы, позднее банкиры. Они развертывают до изумительных пределов точную науку и основанную на ней грандиозную по размаху технику. Но одновременно, как говорит Маркс, они развертывают циничный, обнаженный торгашеский дух, они изгоняют все следы былой революционной романтики, неприкрыто ставят вопрос о барыше и, продвигаясь по дороге накопления все больших и больших богатств, безжалостно топчут человеческие существа.

Все больше и больше сказывается эксплуататорская сущность буржуазии по мере того, как растет антипод буржуазии — пролетариат. Буржуазия изменяет своим прежним идеалам. Она заменяет красное знамя знаменем розовым, затем розовое знамя — оранжевым и, наконец, доходит до черной реакции. Она идет все дальше на попятную и вновь протягивает руку дворянам и попам. Теперь не эти последние являются господами, которые пользуются поддержкой буржуазии; теперь буржуазия — господин, прибегающий к поддержке классов, потерявших первенство. Но все это создает в империалистическом мире приблизительно такую же реакционную мешанину, какую мы видим в начале капитализма,

развивающегося прусским путем. Теперь эти страдания появляются от перезрелости капитализма, а тогда их причиной была его незрелость, медленность темпов его развития, накладывающая на творчество и жизнь мыслителей печать мучительной заторможенности.

Все особенности начала прусского пути развития буржуазного общества в величайшей степени сказались на Гёте. Не было ни одного мыслителя, ни одного поэта того времени, который бы с такой силой переживал молодое, творческое буржуазное начало, весну нового класса, как Гёте.

Блестящее освещение личности Гёте в ее внутреннем противоречии сделано Энгельсом в его статье «Немецкий социализм в стихах и прозе»:

«Гёте в своих произведениях двояко относится к немецкому обществу своего времени. Он враждебен ему; оно противно ему, и он пытается бежать от него, как в «Ифигении» и вообще во время итальянского путешествия; он восстает против него, как Гёц, Прометей и Фауст, осыпает его горькой насмешкой Мефистофеля. Или он, напротив, дружит с ним, примиряется с ним, как в большинстве его «Кротких Ксений» и во многих прозаических произведениях, прославляет его, как в «Маскараде», защищает его от нападающего на него исторического движения, особенно во всех произведениях, где он говорит о французской революции. Дело не в том, что Гёте признает будто бы лишь отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим сторонам, которые ему враждебны. Часто это только проявление его различных настроений; в нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так, Гёте то колоссально велик, то мелочен, то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. И Гёте был не в силах победить немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества (*misere*) над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что «изнутри» его вообще нельзя победить. Гёте был слишком универсален, слишком активная натура, слишком плоть, чтобы искать спасения от убожества в шиллеровском бегстве к кантовскому идеалу; он был слишком пронизателен, чтобы не видеть, что это бегство в конце концов сводилось к замене плоского убожества высокопарным. Его темперамент, его силы, все его духовное направление толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, которая его окружала, была жалка. Перед этой дилеммой — существовать в

жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней как к единственной, в которой он мог действовать, — перед этой дилеммой Гёте находился постоянно, и чем старше он становился, тем все больше отступал могучий поэт, *de guerre lasse*, перед незначительным веймарским министром. Мы не упрекаем Гёте, как это делают Бёрне, Менцель, за то, что он не был либерален, а за то, что временами он мог быть филистером; мы не упрекаем его и за то, что он не был способен на энтузиазм во имя немецкой свободы, а за то, что свое эстетическое чувство он приносил в жертву филистерскому страху перед всяким современным великим историческим движением; не за то, что он был придворным, а за то, что в то время, когда Наполеон очищал огромные Авгиевы конюшни Германии, он мог с торжественной серьезностью заниматься ничтожнейшими делами и *menus plaisirs* ничтожнейшего немецкого двора. Мы вообще не делаем упреков ни с моральной, ни с партийной, а разве лишь с эстетической и исторической точки зрения, мы не измеряем Гёте ни моральным, ни политическим, ни «человеческим» масштабом. Мы не можем здесь представить Гёте в связи со всей его эпохой, с его литературными предшественниками и современниками в его развитии и в жизни. Мы ограничиваемся поэтому лишь тем, что констатируем факт»<sup>[17]</sup>.

Но если Гёте был так загрязнен и в эстетическом, и в бытовом, и в политическом отношениях, если он в такой огромной мере оказался в плену предрассудков, то не должны ли мы сказать буржуазии: Гёте ваш, нам делать с ним нечего, хороните его, как хотите, пусть мертвые хоронят мертвого, — а Гёте принадлежит вашему миру, миру мертвых.

Энгельс не так смотрел на Гёте; он не только безоговорочно называет Гёте величайшим из немцев, но так как эта статья написана против Грюна, против мещанского восхваления Гёте, Энгельс дополняет еще:

«Если мы выше рассматривали Гёте лишь с одной стороны, то в этом вина исключительно господина Грюна. Он совсем не изображает Гёте со стороны его величия. Он спешит проскользнуть мимо всего, в чем Гёте действительно велик и гениален»<sup>[18]</sup>.

В разных местах Энгельс прямо указывает на величайшие достижения Гёте. Так, например, в статье «Положение Англии», говоря о Карлейле, он попутно высказывается и о Гёте.

«Гёте неохотно имел дело с «богом», — говорит он, — от этого слова ему делалось не по себе; он чувствовал себя как дома только в человеческом, и эта человечность, это освобождение искусства от оков

религии именно и составляют величие Гёте. В этом отношении с ним не могут сравниться ни древние, ни Шекспир. Но эту совершенную человечность, это преодоление религиозного дуализма может постигнуть во всем его историческом значении лишь тот, кому не чужда другая сторона немецкого национального развития — философия. То, что Гёте мог высказать лишь непосредственно, т. е. в известном смысле «пророчески», теперь развито и доказано в новейшей немецкой философии»<sup>[19]</sup>.

Нет, ни в коем случае мы не можем сказать буржуазии: «Гёте ваш». Гёте принадлежит не только буржуазии, он какой-то своей стороной принадлежит и нам.

Как же развивался этот человек и что принес он с собой? Здесь также, подобно маяку, светит характеристика, данная Энгельсом.

Что это такое Sturm und Drang<sup>{170}</sup> молодого Гёте?

Все, кто видел Гёте в кругу взволнованных молодых людей, которым претило окружающее убожество, которые не хотели больше жить в смрадной мгле, которые хотели выявить, может быть, еще не совсем ясные мечты и осуществить их в жизненной практике, — те, кто видел Гёте в кругу этих людей, говорят о нем как о блистательном явлении среди явлений второстепенных. Это был человек, физически, морально и умственно одаренный до такой степени, что все, к нему приближающиеся, отмечали его исключительность и оставались очарованными им.

От имени своего поколения, назвавшего себя поколением гениев, Гёте, подлинный гений, ставил для себя и для других гигантскую задачу. Задача эта была не политическая, а чисто индивидуальная: развернуть все таящиеся в человеке возможности.

Но это и есть тот критерий, благодаря которому можно сравнивать различные общественные строи, порядки и уклады. Маркс говорит, что тот общественный строй выше, который позволяет максимально развернуть все заложенные в человеке возможности. Маркс понимает это самым демократическим образом: возможности, заложенные во всем человечестве, заложены во всяком человеке. У Гёте, может быть, эта мысль имела более аристократический оттенок, но не настолько, чтобы это сделало ее совершенно далекой от высказанной Марксом.

Во времена своей орлиной молодости, во всей полноте энергии, Гёте говорит, что ничто его не волнует так, как церковное песнопение «Veni, spiritus creator» («Гряди, дух творческий»):

«Я знаю, что это не обращение к богу; это обращение к человеку, и особенно к тому человеку, который одарен творчеством». Творчески

одаренный человек — это вождь, это организатор.

И несколько позднее Гёте говорит:

«Стал ли бы я с такой тоской стремиться к тому, чтобы найти правильную дорогу, если бы не должен был показать ее своим братьям?»

Может быть, Гёте знал определение гения, данное Кантом. Для него гений осуществляет все как нечто естественное, вытекающее из его собственной индивидуальной сущности, но то, что он осуществляет, становится примером и законом для других.

Мы, обладающие марксистским анализом, можем сказать, что гении — глубоко одаренные люди — формулируют раньше, чем их класс в целом, то, что ему нужно, и мысли их молниеносно распространяются, становятся орудием самопознания масс. Таков был Маркс, таков был Ленин.

И Гёте хотел быть таким. Но не было в Германии такого класса, который мог бы поддержать его.

Гёте прекрасно чувствовал, что в эпоху, предшествующую Французской революции, не суждено осуществить идеала, невозможно достичь того, чтобы общество не мешало, а помогало развитию творчески совершенной личности. Он предчувствовал даже, что такие выдающиеся личности непременно будут разбиты, падут жертвами. Он создает «Прометея», «Магомета» и, наконец, «Вертера» — произведения, являющиеся как бы признанием почти навязчивой мысли, что нет иного выхода из этой катастрофы, как смерть.

*Все в тебе звучит, и все в тебе трепещет,  
И чувства тмятся, и кажется тебе — исходишь ты и никнешь,  
И все вокруг тебя в ночи кружится,  
И ты все более в тебе присущем чувстве  
Объемлешь целый мир — тогда-то умирает человек<sup>{171}</sup>.*

Смерть оказывается просветлением, смерть оказывается апофеозом. Почему? Что это — мистика? Нет, это не мистика.

Если у величайшего буржуазного поэта Шекспира<sup>{172}</sup> Гёте учился в значительной степени такому пониманию жизни, что не важно-де быть счастливым, не важно быть победителем, важно быть великим, важно жить такими чувствами, мыслями, встречами в жизни и создавать в ней такие события, о которых можно было бы сказать: вот это подлинная жизнь, полная деятельности, величайшей энергии, то у другого буржуазного мыслителя, у Спинозы, Гёте учился познанию природы.

Для Гёте природа была «все» — единое целое, в котором все части связаны в некоторую гармонию. Но больше, чем Спинозе, Гёте присуща была идея, что это «все» постоянно совершенствуется, что процессы, которые происходят в мире, имеют смысл, потому что материя, обладающая бесконечными возможностями и осуществляющая в своем противоречивом развитии путем воздействия отдельных частей друг на друга, постоянно идет вперед, к лучшему, к высшему своему развитию. (Эта идея развития лежала вообще в основе немецкого идеализма), И кроме того, Гёте усваивал материю как необыкновенно одаренный художник; она была для него совокупностью красок, звуков, запахов, действительности, наслаждений, то есть она говорила ему через необыкновенно яркую ткань самых живых переживаний.

Гёте чувствовал, что быть частью этого целого — прекрасно. Он великолепно сознавал, что противопоставлять себя целому как часть, противопоставлять свою личность этому громадному свету, этой самодовлеющей материи — дико и смешно. Но как добиться этого целого, как пробиться к этому целому через общество, через то германское общество, о котором говорил Энгельс, как о гниющей навозной куче? Пробиться нельзя, и Гёте готов допустить мысль, что нет других ворот к природе, как только смерть.

У Ибсена в «Пер Гюнте» есть такой образ: человек встречает Плавильщика, и Плавильщик говорит: «Я собираю пуговицы, у которых нет петель, и бросаю их назад в тигель», — то есть людей, которые ни на что не нужны, смерть бросает обратно в поток материи, потому что надо брать в переделку то, что не удалось. А Гёте — бриллиантовая пуговица, и у нее есть великолепная петля, но вот пришить ее некуда — кафтан не годен. Поэтому, несмотря на то, что он не ниже, а выше действительности, он стремится к смерти.

Гёте не умер. Он только написал «Вертера» — вещь, которая выставила идею смерти, потрясшую мир и ввергшую многих в ряды самоубийц. Но сам Гёте остался в тупике, на перепутье, не зная, что делать. И тут-то дворянство, в лице герцога Карла Августа Саксен-Веймарского, предложило Гёте союз.

Об этом союзе говорится много неточного и поверхностного. Между тем это было величайшим событием в жизни Гёте, и он долго думал, прежде чем принять решение, то есть отказаться от роли вождя буржуазии. Он знал, что здесь придется пресмыкаться, быть в положении приживальщика, увеселителя, метрдотеля, стать главным приказчиком своего господина, в сущности, заурядного. Когда Гёте ушел к дворянам,

такие люди, как республиканский мыслитель и поэт Клопшток, перестали подавать ему руку. Гёте предвидел это, но он не знал, как же иначе жить. В нем клокотала сила, которая толкала его к творчеству, к деятельности, к наслаждениям, и дворянство ему говорило: иди к нам, мы потеснимся, дадим тебе место среди нас, ты будешь «фон Гёте», у тебя будут деньги, у тебя будут коллекции, лаборатории, у тебя будет полная возможность путешествовать, мы сделаем тебя министром, мы дадим тебе править страной, — это маленькая страна, но все же «великое герцогство».

Гёте склонился к этому предложению, и здесь его второе падение. Первое падение, заключающееся в том, что Гёте перестал быть революционно настроенным вождем, было, в сущности, фатально. Ибо в тогдашней Германии вождям не хватало массы. Теперь же был поставлен вопрос, как спасти свою собственную жизнь, спасти ее для будущего. И это было сделано путем известной самопродажи господствующему классу дворян. И тут-то произошло с Гёте самое ужасное, как говорит Энгельс, — то, что в один прекрасный день он проснулся в объятиях людей, подобных Грюну, то, что он позволил выдавать себя за одну из главных опор реакционно-мещанского порядка темной Германии.

Энгельс говорит об этом:

«История отомстила Гёте за то, что он каждый раз отрекался от нее, когда оказывался лицом к лицу с ней, но эта месть не в нападках Менцеля, не в ограниченной полемике Бёрне. Нет, как

*Титания в стране чудес и фей  
В объятиях Основы очутилась*<sup>[173]</sup>,

так Гёте проснулся однажды в объятиях господина Грюна»<sup>[20]</sup>.

И таких грюнишек и грюнчиков, лгунишек и лгунчиков оказалось колоссальное количество.

По поводу союза Гёте с дворянством они говорят, что это возвысило Гёте, что от взволнованной, неурав-повешенной юности он пришел к настоящей зрелости. Они называют его счастливым, его судьбу — идеальной. А Гёте сам говорил о себе Эккерману<sup>[174]</sup>: «Говорят, что я счастливый человек, но когда я оглядываюсь назад, то вижу бесконечное количество отречений, бесконечное количество отказов от того, чего я хотел. Я вижу непрерывный труд, и только изредка мой путь освещается Лучом, напоминающим счастье. И так с самого начала до самого конца».

Это говорил восьмидесятилетний человек, и он говорил правду,

потому что тяжелыми оказались эти золотые цепи. С самого начала, когда Гёте попадает в Веймар, он из собственного «Вертера» делает фарс в угоду новой среде. Он поступает к фрау Штейн буквально в обучение, и фрау Штейн выдергивает у него из крыльев все перья, которые кажутся ей недостаточно придворными. Она стремится втиснуть его в рамки заурядного придворного, и в этой придворной жизни Гёте, нужно сказать, попадают позорные страницы.

Правда, Гёте измучился невероятно и через некоторое время вырвался из Веймара: почти не спросив разрешения, едет он в Италию, чтобы подышать свежим воздухом.

Великий человек, великий бюргер, который не жил в таком бюргерском обществе, в котором он мог бы дышать свободно, устремляется к природе и к обществу, но к обществу прошлого.

В Италии Гёте находит великие остатки Греции и Ренессанса — великих бюргерских эпох<sup>{175}</sup>, искусство которых умело показывать красивых людей, полных самоуверенности, полных языческой страсти и приведенных в норму в том смысле, что сознание ими своей силы делает их спокойными и величественными.

Гёте создает вокруг себя искусственный мир, но современное ему общество прожужжало ему уши напоминаниями о том, что ему нужно вернуться в Веймар. Гёте думает об этом с отвращением.

В это время Гёте пишет свою страшную пьесу «Торквато Тассо». Эта пьеса страшна не тем, что ее герой, итальянский поэт, сходит с ума. Эта пьеса страшна своим замыслом, который заключается в изображении даровитого, страстного, естественного человека, настоящего человека, которого за талант приближают к двору, и он вдруг осмеливается считать себя не только привилегированным шутом, а равным аристократам человеком и полюбить одну из принцесс. За это — гром и молнии, за это — полная гибель, и гибель моральная, потому что принцесса тоже относится к любви поэта так, как если бы ей сделала предложение обезьяна.

Но и не в этом главная трагедия. В этой пьесе есть Антонио, вся мудрость которого может быть прекрасно уложена в слова русской пословицы: «Всяк сверчок знай свой шесток». И вот Гёте приходит к выводу, что Антонио — мудрец, что он носитель настоящей морали, а Торквато Тассо — носитель трагической вины. Это написано для того, чтобы самому себе доказать: знай, Гёте, свой шесток, не лезь туда, куда не надо, не лезь в реформаторы общества, не мечтай по-своему поставить дело. Ты должен уметь отречься — в этом настоящая мудрость.

Однако, несмотря на то, что Гёте вступил на путь компромисса, когда

он вернулся в Германию, от него почти все отвернулись. При дворе шипят на него за то, что он покинул Веймар и выказал этим свое презрение. Женственная фрау Штейн пишет сначала роман, а потом и пьесу против Гёте, и Брандес<sup>{176}</sup>, один из биографов Гёте, говорит, что ни разу ревнивая женщина, возненавидевшая своего великого любовника, не писала книги столь клеветнической и грязной.

Гёте был одинок. Правда, дружба с Шиллером, другим буржуазным гением, отчасти поддержала его. (Здесь не место говорить о Шиллере, хотя он имел всем известное значение для Гёте.)

Вот с этих пор, в особенности после смерти Шиллера, Гёте прикрывается плащом величественного превосходства, надевает на лицо маску олимпийца.

Гёте этой поры вызывает удивление. Где же тот орел, тот гений, который, как огонь, взвивался ввысь? Теперь это величественный и спокойный человек, у которого ни один мускул не дрогнет. Но это — обманная маска. В это время, содрогаясь всем телом, Гёте говорит: «Я не могу написать трагедию. Это свело бы меня с ума». Он слышит сонаты Бетховена, он рыдает в полутемной комнате и становится почти врагом Бетховена. Он говорит: «Если бы такая музыка была исполнена большим оркестром, то все разрушила бы вокруг себя».

Энгельс говорит, что, чем старше становится Гёте, тем больше он превращается в ограниченного гехеймрата. Но Энгельс не знал некоторых документов, по которым мы видим силы, противостоящие этому процессу. Даже по убеленному сединами Гёте можно узнать, сколько сил он в себе хоронил и как они порою в нем клочотали.

Вот что можно рассказать об этом.

После изгнания Наполеона началась реакция, князья стремились лишить народ всех тех завоеваний, на которые он претендовал в результате освободительной войны. Гёте был потрясен этим зрелищем, на что мы имеем теперь прямое указание. Врач Кизер рассказывает о вечере 13 декабря 1813 года, который он провел у Гёте.

«Я пришел к нему в шесть часов вечера. Я нашел его в одиночестве и необыкновенно возбужденным, прямо-таки воспламененным. Я провел у него два часа и так и не понял его хорошенько. Он развертывал широкие политические планы и просил моего участия; я прямо-таки испугался его. Он показался мне похожим на китайского дракона. Он был гневен, мощен, рыкающ. Глаза были полны огня, лицо пылало, слов часто не хватало, и он заменял их бурными жестами»<sup>{177}</sup>.

Но от бедного Кизера невозможно добиться, что это были за планы. Он говорит только, что Гёте осуждал несправедливости, накопившиеся в веках.

Однако на следующий день Гёте разговаривал с более передовым и умным человеком — с профессором Люденем<sup>{178}</sup>. По-видимому, планы активного протеста против подготовляющейся реакции, ввиду полной неосуществимости их для Гёте, были им оставлены. Но зато на этот раз мы видим, что привело Гёте в такое крайнее возбуждение:

«Может быть, вы думаете, что мне чужды великие идеи свободы, народа, отечества? Эти идеи — часть нашего существа. От них никто не может уйти. Но вот вы разговариваете о пробуждении, о подъеме моего немецкого народа. Вы утверждаете, что он не позволит вырвать из своих рук свободу, которую он так дорого купил, жертвуя своим достоинством и жизнью. Но разве немецкий народ проснулся? Сон был слишком глубок, и первая встряска не может привести его в чувство. Не спрашивайте меня больше. Прокламации иностранцев о наших я сам нахожу превосходными. Ах, ах, коня, коня, полцарства за коня!»

Но коня ему не дали. Ему дали полцарства, половину «великого герцогства» Веймарского, но коня, чтобы руководить какими-то великими политическими атаками, ему не дали.

Наполеонофильство Гёте, однако, было всем заметно. Он совершенно ясно сознавал, что Наполеон не только враг немецкого отечества, но что он несет с собой более высокий уклад. Эту черту Гёте понимают и вожди современной нам германской реакции. Так, Людендорф, «великий маршал», клеймит Гёте за то, что он был недостаточно французоедом. Еще интереснее, что мадам Людендорф издала книгу, в которой утверждает, что все великие немцы были убиты жидами или масонами: в частности, Шиллер был отравлен масоном Гёте, — и эта глупая и грязная книга разошлась в «культурной» Германии в 30 тысячах экземпляров! Уже по этому можно заключить, что «правая Германия» далека от безусловного преклонения перед Гёте и проявляет довольно странное «критическое» отношение к нему.

Конечно, у Гёте политика — слабейшая сторона его деятельности. Гораздо более близок нам Гёте — философ, ученый и поэт. Но все же для политической характеристики его надо сделать еще одну существенную прибавку.

Гёте к концу жизни уже начал замечать внутренние противоречия, которые несет с собой развитие буржуазного общества. Он крепко любил труд, любил технику, любил науку. Не эти сильные стороны буржуазии его

отталкивали: его отталкивали торгашеский дух и хаос, которые несла с собой буржуазия. Поэтому он пытался нарисовать для себя строй, в котором торжествовало бы плановое начало и где свободные и трудящиеся люди были бы объединены в трудовой союз. Это отразилось в последней части великой драматической поэмы «Фауст». Это знаменитые строки очень часто приводятся, но нелишне их еще раз привести — они показывают, как Гёте переходит за грани своего века:

*Конечный вывод мудрости земной —  
Лишь тот достоин жизни и свободы,  
Кто каждый день идет за них на бой.  
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной  
Дитя, и муж, и старец пусть ведет,  
Чтоб я увидел в блеске силы дивной  
Свободный рай, свободный мой народ.  
Тогда сказал бы я: мгновенье,  
Прекрасно ты, продлись, постой,  
И не смело б веков течение  
Следа, оставленного мной.*

Только тот, кто действительно творчески содействует людям, кто не жаждет покоя, но словом и делом борется за победу жизни, кто сопротивляется тем силам, которые стараются заковать их, только тот может сказать, что он прожил плодотворно свою жизнь.

Итак, Гёте-мыслитель и Гёте-поэт гораздо ближе нам и гораздо важнее, чем Гёте-политик. Правда, даже в области общественно-политической в творчестве Гёте все время сказывается передовой бюргер, гражданин. Но все же восстание молодой буржуазии против старого мира чувствуется гораздо сильнее в поэзии и философии Гёте.

Колоссальная сила его музыки, его образов имеет источником молодость класса. Обыкновенно те, кто просыпается к творчеству передового класса, обладают свежестью восприятия; они создают свой язык, они становятся резервуаром всего того, что может и должен воспринять обновленный человек. И Гёте говорит:

«Нужно любить, нужно ненавидеть, нужно бороться, нужно содрогаться; это может сделать жизнь горькой, но без этого вся жизнь — хлам».

Сила, активность, жизненность Гёте делают честь буржуазии,

породившей эту орлиную молодость. Но зато бесчестие для буржуазии жизнь Гёте — постольку, поскольку она его молодость сковала, ограничила и поскольку она вообще ни при каких условиях программы этой молодости выполнить бы не могла.

Как поэт, Гёте обладает еще возможностью с необыкновенной силой выражать то, что он чувствует. Говоря об этом, он характерным образом на первое место среди всех переживаний ставит страдание: «Если обыкновенный человек в горе умолкает, то мне некое божество дало силу рассказать все мои страдания».

Еще долго мы будем разбираться в гётевском творчестве, потому что теперь наступает время разобраться в нем по-настоящему.

Выше были приведены замечательные цитаты из Энгельса, где он оценивает глубоко революционный характер философской концепции Гёте.

Я хочу закончить мою статью одним философским письмом Гёте. Это — одна из самых светлых, глубочайших страниц, которые были когда-либо написаны.

«Не могу не поделиться неоднократно владевшей мною в эти дни радостью. Я чувствую себя в счастливом единогласии с близкими и далекими, серьезными, деятельными исследователями. Они признают и утверждают, что нужно принять в качестве допущения нечто неисследимое, но что затем самому исследователю нельзя ставить никакой границы.

И разве не приходится мне принимать в качестве допущения и предпосылки самого себя, хотя я никогда не знаю, как я, собственно, устроен? Разве не изучаю я себя непрестанно, никогда не достигая понимания себя, а также и других, и тем не менее бодро продвигаясь все дальше и дальше?

Так и с миром: пусть он лежит перед нами безначальный бесконечный, пусть будет безгранична даль, непроницаема близь; это так, и все-таки — пусть никогда не определяют, насколько далеко и насколько глубоко способен человеческий ум проникнуть в свои тайны и в тайны мира».

В этом же смысле я предлагаю принять и истолковать нижеследующие, полные бодрости строки:

«Внутри природы» — о филистер! — «не проникнуть сотворенному духу». Ко мне и моим собратьям лучше уж не обращайтесь с подобными речами. Мы полагаем: куда мы ни ступим — везде мы внутри.

«Счастлив тот, кому она раскрывает хоть наружную скорлупу». Это я слышу целых шестьдесят лет, отругиваюсь, но про себя повторяю тысячи и тысячи раз: все дает она щедро и охотно; у природы нет ни ядра, ни скорлупы, она — все сразу; лучше испытай-ка хорошенько: сам-то ты —

ядро или скорлупа»<sup>{179}</sup>.

Слова в кавычках, осмеянные Гёте, — из стихотворения физиолога и поэта Галлера.

Понятно, что такое философское настроение, вера в познание, вера в неограниченный человеческий разум — это наше. Буржуазия, как только она начинает приостанавливаться в своем развитии, загнивать, от реалистического, творческого и бодрого мировоззрения отходит.

Мы не можем не быть аналитиками, не разбираться внимательно и критически в том, что оставили нам века прошлого, ибо они почти никогда не дают ничего, что в целостном виде было бы для нас приемлемо. Произведения прошлых культур заключают в себе вместе с сокровищами много всякого хлама, который мы должны отбросить и отделить. Вот это мы теперь делаем с Гёте. И мы видим, что после этого от него остается не только лучшая часть, но и существенная часть — то, что было самым существенным в Гёте.

Еще могут грюнчики и грюнишки, лгунчики и лгунишки называть Гёте «олимпийцем», приклеивать ко лбу Гёте всякого рода реакционные ярлычки, но против них уже возвышается голос пролетариата, который строит новый мир и который устраивает свой страшный суд над эксплуататорским обществом и его культурой.

Да, социалистическая революция, которая, как сказал Маркс, продлится, может быть, десятки лет, — это страшный суд, и не только потому, что эта революция низвергает врагов народа в социальной борьбе, а потому, что она есть суд над живыми и мертвыми.

Перед судом пролетариата, строящего новую жизнь, проходят те, кто работал в прежние времена, те пророки нашего движения, которые стояли лицом к восходящему солнцу, озаряющему нас теперь.

Перед судом пролетариата проходят представители других классов, перешагнувшие через границы своего классового сознания, создавшие программы, которые не мог выполнить этот класс и выполнить которые суждено другому классу. Как на великой фреске Микеланджело, стоит могучая фигура пролетария, который низвергает то, что считалось великим, — здесь обломки царских корон, золото банкиров, фальшивые лавры и т. д. — и возвышает тех, память о которых не сотрется веками.

К Гёте этот пролетарский, политический культурный и художественный суд обращается так: «Ты должен снять с себя свою раззолоченную саксен-веймарскую ливрею, твоя маска олимпийского спокойствия должна растаять, потому что мы знаем, что под ней кроется великий человек и великий страдалец. Оставь то, что тебе навязано

убожеством твоего времени: ты сам знаешь, что от этого ты станешь только лучше, гораздо выше и гораздо светлее. Войди в вечность с теми, кто способствовал действительному подъему человеческого общества».

Вот смысл слов наших учителей. Пролетариат есть верный наследник великих мыслителей и великих поэтов-классиков молодой Германии и среди них, быть может, величайшего — Иоганна Вольфганга Гёте.

## БАРУХ СПИНОЗА И БУРЖУАЗИЯ

Жизнь и учение Баруха (Бенедикта) Спинозы Луначарский изучал и излагал в ряде своих дореволюционных работ. Одна из послереволюционных философских брошюр Луначарского озаглавлена «От Спинозы до Маркса» (изд-во «Новая Москва», 1925).

Впервые статья напечатана в журнале «Новый мир» (№ 1 за 1933 г.), в том же году вышла отдельной брошюрой в издательстве «Журнально-газетное объединение». Включена в посмертный сборник: А. Луначарский, Юбилей. М., ГИХЛ, 1934.

.....

### I

Трехсотлетний юбилей одного из бесспорно величайших мыслителей человечества, Баруха Спинозы, прошел в Европе вяло. Это всеобщее мнение.

Ниже мы пишем о состоявшемся в Гааге спинозовском конгрессе, который, даже на основании самой оптимистической оценки его со стороны организаторов, можно было бы назвать лишь наполовину удавшимся (наша точка зрения приводит нас к совсем иной оценке).

Вызванные юбилеем газетные и журнальные статьи весьма поверхностны и официальны. В некоторых газетах, числящихся передовыми органами передовой интеллигенции, статьи были попросту из рук вон слабы и растерянны. Иные буржуазные органы с удивлением отмечали, что советские газеты, «обыкновенно переполненные хозяйственным и техническим содержанием», нашли возможность посвятить Спинозе целые полосы, причем «статьи советских авторов, может быть, очень спорны, но отнюдь не плоски».

Одна газета («8 Uhr Abendblatt»), с горечью констатируя вышеотмеченную тусклость юбилея, склонна винить в этом выросшую за

последнее время до безобразия волну антисемитизма. Как бы то ни было, но нынешняя упадочная, приближающаяся к своему концу буржуазия равнодушна или враждебна к Спинозе.

Однако, как увидит читатель, некоторые профессора философии, как позитивисты, так и мистики, делают попытки присвоить Спинозу.

Возможность для этого дана самими произведениями великого философа. Она коренится прежде всего в том несомненном факте, что Спиноза был великим выразителем могуче выраставшей голландской буржуазии XVII века.

Если мы прямо поставим перед собой вопрос: является ли Спиноза идеологом буржуазии? — то на этот вопрос мы неукоснительно должны ответить: *да*.

Но если после этого нас спросят: значит ли это, что мы уступаем Спинозу буржуазии, что мы будем равнодушными свидетелями ее проделок над великим философом, что мы с улыбкой будем умыть руки при виде искажений, отрицаний, злобных принижений Спинозы, которыми буржуазия в течение столетий окружала его имя, также при виде тех иудиных поцелуев, какими она от времени до времени (в частности, именно теперь) старается испачкать лик мудреца, чтобы объявить его своим? — то на этот вопрос мы самым решительным образом отвечаем: *нет*.

Далеко не все то, что принесла с собой буржуазия, оставляет нас равнодушными. Все то, что она принесла действительно ценного, мы оспариваем у нее. Большой частью она, в массе своей, с самого начала отвергала тех своих выразителей, которые смело, беспощадно, гениально делали выводы из объективно ей присущих, но часто плохо ею сознаваемых предпосылок. Позднее же, в своих оппортунистических влияниях, в своих реакционных падениях, она оказывалась тем более недостойным наследником ею самую социально порожденных гигантов. В этот период ее признание особенно опасно, ибо великанов мысли и творчества она признает только ценою искажения и принижения их.

Недаром Энгельс говорил, что истинным наследником великих мыслителей и художников буржуазии является пролетариат.

Уже давно было сказано, что буржуазные профессора и поэты обращались с бессмертным Спинозой, «как с дохлой собакой».

Для нас же это совсем не так. Если гомеровские греки дали троянцам страшный бой, чтобы отбить у них прекрасное тело Патрокла, то мы будем давать неустанные бои до окончательной победы всем идеологам буржуазии, чтобы отбить у них светочи человечества, которые для нас не

только не «дохлые собаки», но даже не прекрасные мертвые тела, а воистину живые силы.

И буржуазия должна прежде всего остеречься *самого Спинозы*. Недаром он, изящно и глубокомысленно пользуясь своей фамилией, на самом деле обозначавшей только испанский городок, откуда его предки переехали в Португалию (Espiniza), сочинил себе герб в вид? розы с надписью: «Caute, quia spinoza est». — «Осторожней — колется».

Из всего этого не следует, чтобы мы наивно готовы были, идя по стопам тов. Деборина<sup>[180]</sup>, принять Спинозу безоговорочно в свой пантеон и объявить его марксистом, а Маркса — спинозианцем. Тут достаточно просто вспомнить мудрое слово Ленина: *критическое усвоение*.

В дальнейших главах этой статьи я ставлю себе задачу кратко выяснить, в каком смысле Спиноза был выразителем буржуазии и в каком смысле он наш идеологический предок.

## II

Бенто д'Эспиноза (по-еврейски Барух, по-латыни Бенедиктус) по происхождению своему был самым настоящим буржуа.

Он потомок довольно длинного ряда крупных еврейских торговцев и ростовщиков, живших сначала в Испании, потом в Португалии, потом во Франции и, наконец, в Амстердаме.

После смерти отца Барух вместе с младшим братом Габриэлем пытался продолжать «дело», то есть вести экспортно-импортную торговую контору, соединенную с маленькой банкирской конторой, — дело, которое, впрочем, уже при отце покачнулось.

Вероятно, Спиноза был неважным купцом, а может быть, ему просто не повезло. Купцы стоят под знаком неверного колеса Фортуны.

Когда Барух решил выйти из «дела», его родственники попытались пустить его по миру. Барух судился с ними и выиграл процесс. Но потом он добровольно отказался от своей части и взял себе из имущества только одну кровать. Так вышел Барух Спиноза из состава имущего класса.

Ближайшая буржуазная среда, окружавшая Спинозу, была синагога.

Амстердамская синагога разрывалась противоречиями. Твердокаменные ашкеназы, руководимые суровым раввином Мортейрой, имели по горло дела, сопротивляясь натиску мистиков и каббалистов, с одной стороны, и склонявшихся к естествознанию и свободомыслию молодых купцов — с другой. Замечались и тенденции в сторону

христианства.

Мальчик Спиноза, о котором один из современников говорит: «Самая внешность этого острого еврейского юноши имела в себе нечто чарующее», — становится на самый крайний левый фланг этого мирка. Он оказывается учеником естествоиспытателя, картезиански мыслящего и заглядывающего дальше картезианства<sup>{181}</sup>, еврея Хуана де Прадо. Учитель был выброшен из общины приблизительно в то же время, как и ученик.

На страшные средневековые формулы проклятия, низвергнутые раввинами на голову Спинозы, он ответил спокойным письмом, где писал между прочим: «Вы поступили справедливо, вы заставили меня сделать то, что я и сам собирался сделать по доброй воле».

Далеко не так спокойны были его враги. Один из них покушался убить Спинозу. Двухлетний юноша ловко увернулся от ножа и сохранил на память свой камзол, рассеченный ударом.

Так ушел Барух Спиноза из своей ближайшей естественной буржуазно-еврейской среды.

Теперь он не купец и не еврей. Он рад этому.

В сочиненном в это время трактате «Об усовершенствовании разума» имеются замечательные страницы самоанализа и признаний, почти единственное, что говорит нам Спиноза о себе.

На первых страницах этого трактата автор сообщает читателю, что он находится на жизненном повороте и вырабатывает для себя «новый план жизни».

Молодой человек оказывается глубоко разочарованным теми обычными формами буржуазного быта, которым раньше он и сам подчинялся.

По его наблюдениям, окружавшие его люди придавали слишком большое значение целям обманчивым и маловажным, но способным в высокой мере волновать и смущать дух.

По мнению Спинозы, эти цели в общем сводятся к трем категориям: жажде денег, славы и наслаждения. Спиноза признается, что он и сам был в значительной мере во власти этих «страстей». Можно предположить, что к пересмотру жизни, наряду с глубокой серьезностью натуры Спинозы, толчком послужили и значительные неудачи на поприще наживы, карьеры и чувственной жизни.

В чем же заключается «новый план» Спинозы? Он говорит об этом несколько глухо: он-де хочет искать истину, хочет искать прочную основу жизни, прочное благо. Но можно ли найти их? — спрашивает себя молодой мудрец: «Не покидаю ли я блага меньшие, но верные, ради блага

гадательного?» Эти сомнения, по словам автора трактата, отпали для него постольку, поскольку он убедился, что уже самое искание истины дает высокое счастье и делает человека свободным от «страстей».

Но читатель может спросить нас, не имеем ли мы тут перед собою довольно обычную картину бегства от «мира» к аскетизму? Ничуть. В Спинозе нет ни малейшей доли поповства или монашества. Правда, с этих пор он будет жить лично почти аскетической жизнью, но этот образ жизни продиктован той поистине гигантской работой, которую он возложил на свои плечи. Это просто образ жизни, наиболее соответствующий избранной им «специальности».

Оставаясь бюргером, Спиноза уже в этом трактате, как много раз позднее, осуждает принципиально аскетизм и отречение («дух сокрушен и сердце сокрушено») — провозглашает не только право на радость, но и положение, что радость возвышает человека, растит его силы. Даже о тех трех категориях страстей, от которых решил уйти Спиноза, он тут же говорит, что страсти эти стоят поперек дороги развитию человека, лишь если он видит в них конечную цель. «Если же человек видит в них только средство для более высоких достижений, то они сразу получают свою меру и свой смысл».

Что же за «специальность» выбрал себе Спиноза? Он стал философом. Он стал одним из ученейших натуралистов своего века; он стал замечательным математиком; он стал первым критиком библии и значительным филологом. Он стал всеевропейски известным публицистом-политиком.

Но «специальность» Спинозы была шире всего этого. Она заключалась в том, что *он стал идеологом своего класса*.

Как смутно сознавали многие передовые буржуа того времени и как с предельной ясностью сознавал Спиноза, буржуазия принесла с собой *новый мир, новую культуру*. Их сущность заключалась в том, что все — природа, общество, личное поведение — должно было стать *светским и рациональным*.

Конечно, Макс Вебер<sup>{182}</sup> прав, указывая на то, что и иудейство и во многом подобный ему кальвинизм стремились дать метафизическую и моральную опору стихийно вызванному социальными обстоятельствами духу первоначального накопления, бережливости, обогащения путем «честной торговли» и т. д. Тем не менее религиозные формы и даже философский идеализм, как ни хватаются за них реально господствующие буржуа разных эпох, вовсе не соответствуют основным принципам буржуазного мира. Им, в их объективном последовательном развитии,

соответствовал лишь материализм: монистическая и материалистическая концепция мира, материалистическая этика, провозглашающая истинную свободу личности на основе понимания законов среды и организма, материалистическая политика, отбрасывающая весь феодальный хлам и строящая *разумное* общество людей и даже *разумное* общество народов.

Буржуазия нигде и никогда не осуществила во всей полноте этих своих принципов. Даже «плебейская» революция Франции, даже североамериканская демократия их не осуществили. Эти предельные постулаты законченного буржуазного мира может осуществить *implicite*<sup>[21]</sup> и, так сказать, попутно только пролетариат, строящий социализм. Эту истину неоднократно доказывал и Ленин. Именно в этом смысле пролетариат является не только наследником, но душеприказчиком великих мыслителей буржуазии, несмотря на то, что он остается пролетариатом, а они остаются последовательными буржуа, переросшими свой класс именно потому, что класс-то этот так и не дорос до них и до последовательного, революционного выполнения рационализации жизни, даже в узких рамках частной собственности.

Буржуа, погрязший в «гешефтах», редко способен, а может быть, и вовсе неспособен подняться до всеобъемлющих формулировок «постулатов» своего класса. Но Спиноза ушел из «дел» и отдался тому, что он считал величайшим делом своего класса: построению нового, законченного, целостного мирозерцания.

Для этого ему нужно было развернуть новое, несомненное и *научное понимание мира*, то есть всего целого, — *природы*, новую покоящуюся на этой основе систему поведения, то есть этику, выработать новый взгляд на общественный и политический уклад.

Все это он и сделал. Притом с такой глубиной мысли и таким богатством знаний, с таким верным и строгим чувством, так сказать, стиля новой жизни, что за ним оказалось обеспеченным, несмотря на вызванную им против себя бурю ненависти, высокое место в истории человеческой культуры.

Главным врагом, которого при этом Спиноза вызвал на бой, врагом, ответившим ему звериной злобой, был поп: поп католический, поп еврейский у больше всего поп кальвинистский.

### III

Я позволю себе сделать здесь некоторое отступление.

Это будет кажущееся отступление: я хочу сказать несколько слов о старшем современнике Спинозы — *Рембрандте ван Рине*, место которого в истории культуры своеобразно, подобно месту Спинозы.

27 июля 1656 года молодой Спиноза был проклят и изгнан из общества евреев.

Накануне стареющий Рембрандт, разорившийся дотла и отвергнутый заказчиками, присутствовал на распродаже с молотка всего своего имущества.

Почти в один и тот же день два величайших бюргера Голландии XVII века и вместе с тем истории человечества ушли прочь из рядов «законного» и «добропорядочного» бюргерства.

С большим чутьем покойный Фриче<sup>{183}</sup> характеризовал великого живописца как представителя богемы, не столько сознательно, сколько инстинктивно, по своей природе не любившего буржуазию и столь же инстинктивно ненавистного ей. Я говорю здесь о современной ему амстердамской буржуазии.

Следует ли из этого, что Рембрандт не был глубоким и истинным представителем буржуазии в искусстве?

Рембрандт был великим, даже величайшим реалистом. Он не только был влюблен в действительность, не только умел с непревзойденным искусством передать ее всю целиком, любой ее элемент, ее весомость, фактуру, красочность, ее пространственность и определяющую ее видимость борьбу света и тени, — он шел дальше: впиваясь глазами гения, он схватывал отдельные ее черты и комбинировал их в образы столь типичные, то есть столь характерные, что на плоском полотне неподвижные пятна красок давали портрет действительности, казавшийся более действительным, чем оригинал. Рембрандт комбинировал элементы действительности иногда и в целые рассказы, целые поэмы, полные динамики, позволявшие бездонно глубоко заглянуть в драму жизни.

Если Рембрандт брал какой-нибудь библейский сюжет, он не только костюмировал его часто под современность, но он старался придать ему вполне современный, даже злободневный смысл.

Все, что было характерного в *феодальной*, католической живописи, никак не интересовало Рембрандта. Формальная красивость, иератическая, церковная строгость — все, что шло от государственной пышности и церемониальной условности, было отброшено и побеждено Рембрандтом. *Правда, простота, непосредственное чувство* — вот что господствует в его творениях.

Его век в его стране был веком великой бюргерской живописи.

Рембрандт — во многом родной брат изумительной семьи тогдашних художников. И как ни были велики многие из них, никто не утвердил в веках с такою мощью буржуазной, реалистической и непосредственной, искренней живописи, как он.

Но другие великие голландцы, живописцы его времени, были любимы своим классом. Они имели множество заказов, они жили богато — Рембрандт умер нищим.

Нетрудно, сравнив основные черты голландской буржуазной живописи XVII века вообще и основную музыку рембрандтовского творчества, понять, почему Рембрандт не поладил со своим классом, хотя как нельзя более глубоко и прекрасно утверждал новые начала, принесенные в жизни буржуазией.

Кого бы ты ни взял из великих живописцев Голландии того времени, ты прежде всего увидишь у них, что они радостно утверждают жизнь, что они бездумно веселятся достигнутым благосостоянием. Самодовольные лица представителей победоносного класса, бархат, кружева и позументы их одежд, их скромные, но комфортабельные комнаты, их оружие, утварь и пища, их женщины, собаки, лошади и коровы, их поля, каналы и мельницы, светящее на них солнце и падающий на них дождь — все это принимается благоразумными и даровитыми детьми бюргерства за благо, за радость, за устойчивые и милые элементы ласковой среды.

Для Рембрандта — выходца из мужиков, на короткое время поднятого судьбой на вершину успеха, блеска и счастья и потом вновь сброшенного в нищету, для Рембрандта, жутко всматривавшегося в лохмотья нищего, в морщины старухи, в гримасы горя и боли, — мир никогда не казался спокойным, устоявшимся. Глубоко поразившая его, очаровавшая и как бы ужаснувшая борьба света и тени, единственная свидетельница о бытии для глаза художника, продолжалась для него как борьба светлых и счастливых сил, светлых моментов с темными, порочными, угрожающими.

Рембрандт не был мыслителем. Мы не знаем, насколько он сам себе отдавал отчет в своем творчестве. Но его творчество было трагическим, оно было проблематичным: мир отражался в его сознании и произведениях как загадка, как задача, как возможность чего-то прекрасного и как угроза чем-то нестерпимым.

Но тем самым Рембрандт становился истинным и великим выразителем буржуазного мира, художественно отражавшим его в его *противоречиях*, в его диалектике, в его беге по жертвам, в его беге к катастрофам.

Художественно постичь буржуазию в ту эпоху значило постичь ее по-

рембрандтовски. Но самодовольная, руководящая, зажиточная буржуазия не желала, чтоб ей показывали то, что видел Рембрандт.

Нынешняя упадочная буржуазия в некоторых своих слоях и представителях склонна прославлять Рембрандта, восторженно вопия: «Вот пессимист! Вот отрицатель действительности! Вот мастер, загадочно зовущий к загадочным целям! Вот художник-мистик! Может быть, это пророк отчаяния!.. Ну, словом — Шопенгауэр или, еще больше, — Шпенглер!»

Здесь мы опять имеем то же явление. Рембрандт с гениальной чуткостью воспринял наступавший буржуазный мир. Он смог воспринять его в такой полноте только потому, что в одно и то же время был бюргером и ушел из бюргерства, стал *чистым идеологом* бюргерства и поэтому перерос его. Как великий врач, он чудесно знал организм своего класса, а потому распознал его страшные болезни. За это буржуазия его времени прокляла его.

Буржуазия нашего времени сама видит, что неизлечимо больна, но свою болезнь она принимает за болезнь мира. Она не видит жажды счастья, которой был полон великий живописец, она видит только его скорбь: принизив и исказив его таким образом, она, видите ли, «принимает» его.

Теперь вернемся к Спинозе.

#### IV

Итак, то обстоятельство, что Спиноза оказался практически отцепенцем своего класса, что он не был поработан личными интересами, наподобие любого другого негоцианта, что он не представлял тенденций той или другой частной группы (компании, гильдии, цеха), позволило ему стать глубоким и радикальным выразителем всего духа буржуазного класса в целом.

Правда, класс этот во время Спинозы не признавал себя как действительное целое и даже вообще за все свое историческое бытие не дорос до осуществления своих принципиальных задач (в общем: законченной буржуазной демократии). Но именно у буржуазии, как класса, поскольку это в известной степени класс-неудачник (переходивший со своих собственных позиций на реакционные, в лучшем случае оппортунистические, из страха перед дальнейшим, небуржуазным развитием основанного на новых производительных силах общества), возможен этот парадокс, что *самые глубокие выразители его*

*диалектически становятся к нему до известной степени во враждебные отношения.*

Из вышеизложенного не следует, однако, чтобы Спиноза был типичным утопистом, индивидуальным фантастом, мечтательным романтиком, — словом, одним из тех оригиналов и одиночек, над бесплодным великодушием которых и бесполезным гуманизмом так горько смеется Гегель.

Ничего похожего! Спиноза был натурой очень реалистической. Мы увидим в следующих главах, что и как философ природы и как этик он остается реалистом. Однако, устанавливая основные правила поведения человеческой личности, тем более основные понятия о вселенной, Спиноза мог быть в широкой мере свободным, чего не могло быть в области политики.

Будучи реалистом вообще, Спиноза мало интересовался установкой политической утопии, то есть некоторой программы-максимум, хотя бы наподобие своего великого предшественника — Томаса Мора.

Спиноза в своей громкой, обратившей на себя внимание всей образованной Европы политической деятельности считал нужным исходить из действительности. Задачи, которые он ставил себе в своих политических трактатах, очень конкретны, они относятся к злободневным проблемам жизни.

Однако Спиноза никогда не был политиком «изо дня в день». Не отрываясь от конкретной действительности, какая была дана ему его эпохой, он все же оставался *философом политики*.

В какие же отношения поставил себя Спиноза к буржуазии своей страны, а через нее — к буржуазии своего времени?

## V

Голландская буржуазия в лучшие годы жизни Спинозы, то есть приблизительно от 1653 года до его смерти, раздиралась внутренними противоречиями, еще большими, чем прежняя более узкая среда Спинозы — еврейская община.

В общем две мощные партии противостояли одна другой. Одна из них называлась «государственной»: с 1653 до 1672 года она держала власть в своих руках. Эта партия «Statsgezinden»<sup>[22]</sup> состояла из буржуазной аристократии. Ее членами были могущественные негоцианты: арматоры, мореходы, мануфактурщики, банкиры и т. д. Главы таких фамилий, или,

вернее, фирм, составляли государственный совет.

Бессменным секретарем или делопроизводителем этого совета был вдумчивый и энергичный де Витт, типичный голландский крупнобуржуазный либерал.

Нося титул «государственного пенсионера», этот человек в течение почти двадцати лет был мозгом и волей крупной буржуазии. Однако эта верхушка буржуазного класса и ее правительство имели сильнейших конкурентов в лице партии штатгальтера, то есть принца из Оранского дома.

Эта партия называлась в то время «Stathonder-gezinden»<sup>[23]</sup>.

Основным противоречием политики де Витта, основной слабостью его партии было то, что, будучи естественно республиканской и либеральной, так как развилась она в борьбе с испанским феодализмом и нуждалась в поддержке народных масс, она в то же время была глубоко олигархической, сильно побаивалась требований мелкобуржуазной бедноты и зорко следила за сохранностью своих политических привилегий и за возможностью невозбранной эксплуатации труда; равным образом, будучи естественно империалистической, так как Голландия становилась в это время величайшей колониальной страной мира, она боялась армии и военного флота, потому что ее враг — штатгальтер, стремившийся к самовластию, — был как раз прежде всего начальником вооруженных сил республики.

Курьезную физиономию имела и штатгальтерская партия: это были почти откровенные монархисты и последовательные милитаристы. Однако бороться с мощными капиталистами этим господам было не под силу: они демагогически искали опоры в простонародье. От этого они вовсе не становились демократами, — наоборот, главных союзников они обрели в попах. Попы со злобой смотрели на свободомыслие богатых купцов, на высокую оценку с их стороны молодого естествознания, на их светскость и полную независимость по отношению к церкви. Попы демагогствовали в церквях, осуждали богатство и пышность, доходили порой до настоящего науськивания бедняков на богачей, громя в то же время «материализм и атеизм» оптиматов, требуя жесткой церковной цензуры и строгих нравов, согласных предписаниям Кальвина.

Между этими двумя партиями и должен был выбирать Спиноза. Замкнутый аристократизм и дух наживы буржуазной верхушки были ему несимпатичны. Но более всего были ему ненавистны попы, угнетение научной мысли и перспективы монархии (никакой республиканско-демократической партии в то время не было).

Де Витт глубоко ценил огромный ум Спинозы. Он даже заходил в его

каморку и советовался с ним, к особому негодованию попов.

Де Витт поощрял Спинозу самым открытым образом выступить против реакционной партии и обещал ему свое могущественное покровительство.

Так возник первый великий социологический трактат Спинозы, так называемый «Теолого-политический трактат».

Перечисляя те мотивы, которые заставили его написать это смелое сочинение, Спиноза говорит, что прежде всего он хотел нанести им возможно более сокрушительный удар по религиозным предрассудкам — главному препятствию к росту философии. Рядом с этим он хотел всячески защитить свободу мысли, «на которую со всех сторон посягают наглые проповедники». Наконец Спиноза заявил, что хочет защитить себя от опасного в то время обвинения в атеизме.

Все три задачи разрешены великолепно.

Самой блестящей частью трактата является критика библии, сразу и гениально положившая начало всей библейской критике будущего.

Центральной идеей *политической* части трактата является докантовское провозглашение принципа политической свободы.

«Государство не имеет права, — пишет Спиноза, — превращать людей из разумных существ в животных или автоматов; наоборот, оно должно помогать невозбранному развитию их телесных и душевных сил, дабы они пользовались своим разумом и не боролись друг с другом гневом, ненавистью и лукавством, но ставили бы себе общие цели. Подлинная цель государства — свобода».

Нечего и говорить, что по тому времени и критика библии и критика государства были новы и прогрессивны.

Своеобразна была самозащита Спинозы от обвинения в атеизме. В ней он сразу переходит от обороны к наступлению. Он доказывает, что воображать себе бога, то есть субстанцию мира, сущность природы, в виде какого-то человекоподобного существа, приписывать ему личность и т. п. — значит нечестиво принижать его. Он-де, Спиноза, только отверг это низменное представление о всебытии, он только очистил человеческое сознание от грубых и явно ошибочных представлений.

Такого рода трактат не мог не возбудить величайшей ненависти попов и их клики.

До тех пор, пока партия де Витта была у власти, бешенство врагов Спинозы было бессильно.

Неудачная война, довольно основательное обвинение в нежелании развить военную силу страны до высшей мощи и страстный лай со всех

поповских кафедр привели к ряду восстаний мелкого городского населения и к свирепому убийству де Витта разъяренной толпой.

Сначала Вильгельм III после своего торжества не развязал до конца руки попам, но вскоре они добились от него «плаката» (июль 1674 года), в котором трактат Спинозы осуждался как безбожный и строжайше воспрещался.

Спиноза был сильно потрясен смертью де Витта и огорчен наступившим мракобесием.

Не надо думать, однако, что те позиции, которые занял Спиноза в вышеупомянутом трактате, были его крайними левыми позициями.



*А. В. Луначарский на заседании Ученого комитета при ВЦИК*



*На заседании совета Лиги наций. Женева, 1930 г.*

После падения олигархической партии, не очень рассчитывая на скорое появление своих сочинений, Спиноза рядом с «Этикой» писал также и свое «Рассуждение о государстве». Именно здесь мы находим знаменитое положение Спинозы: «Не плакать, не смеяться, а понимать».

Больше всего боится Спиноза в отличие от Гоббса тирании. Сочувствуя возвращению более свободного режима, Спиноза указывает на ошибки де Витта и требует участия народных масс в управлении государством.

Довольно прозрачно провозглашает Спиноза право народа на революцию. Он оспаривает, будто мир всегда желанен. «Неужели вы станете называть миром, — спрашивает он, — рабство, варварство и пустоту, царящие в тираническом государстве? Нельзя вообразить ничего более позорного, чем подобный мир».

Как далеко шли чисто демократические тенденции Спинозы, видно из двух дошедших до нас мелочей, почти анекдотов.

Спиноза часто играл в шахматы со своим домохозяином ван-Спииком. Однажды Спиик обратился к нему с вопросом: «Почему, когда я проигрываю, я волнуюсь, а вы нет; разве вы так равнодушны к игре?» — «Нисколько, — отвечал Спиноза, — но кто бы из нас ни проиграл, какой-то

король получает мат, и это радует мое республиканское сердце».

Биограф Спинозы Колерус видел его рисунки (Спиноза хорошо рисовал), среди них был и автопортрет. Колерус недоумевает: почему Спиноза изобразил себя на портрете в костюме неаполитанского рыбака Мазаньелло, вождя одного из самых ярких народных восстаний того времени, — Мазаньелло, которого все «порядочные люди» называли «исчадием дьявола»?

В груди Спинозы кипел мужественный и последовательный пыл демократа, но условия времени позволили ему практически, как публицисту, желавшему влиять на современность, занять лишь самые по тому времени леволиберальные позиции.

Свою независимость Спиноза охранял самым бдительным образом. Так, когда в наихудшее для него время, после убийства де Витта, либеральный курфюрст Пфальцский Карл Людвиг пригласил Спинозу на кафедру философии в Гейдельберг, обещая ему «полную свободу» преподавания, с тем лишь, чтобы он не затрагивал официально существующих церквей, Спиноза вежливо, но холодно ответил, что он не понимает, какая может существовать свобода преподавания при таком ограничении, и отказался от предложения.

Несколько позднее правительство Людовика XIV захотело иметь в таком важном политическом центре, как Амстердам, благожелательного писателя. Спинозе были сделаны блестящие предложения. Он отверг их.

Он долго не хотел принимать помощи даже от своих ближайших единомышленников. Они настойчиво предлагали ему ежегодную пенсию в 500 гульденов в год, чего с трудом могло хватить на приличную жизнь холостяка. Страстное желание отделиться целиком своим большим трудам принудило философа согласиться. Однако он сам уменьшил себе субсидию до 300 гульденов.

Смешно следить за тем, как новейшие спинозисты-интеллигенты из всех сил стараются доказать, что Спиноза не был работником физического труда. В то время увлечение оптическими стеклами было очень велико. Такие стекла открывали бесконечность великую (Галилей, Гюйгенс) и малую (Левенгук). Спиноза не только шлифовал подобные стекла, но изобретал свои собственные формы их. Изготовленные им стекла славились. Даже новейшие опровергатели образа Спинозы-ремесленника не смеют отрицать, что стекла эти и покупали и дарили. Почему-то этим господам кажется все же, что жить целиком на подарок мецената купца в порядке вещей, а зарабатывать себе пропитание высококвалифицированным ремеслом все-таки как-то неловко для такого

великого мудреца. Черточка, характерная для катедр-мещан.

## VI

Я не считаю нужным излагать здесь сколько-нибудь подробно основные мысли Спинозы о вселенной и человеке. Это уже было сделано в «Известиях» в серии статей, посвященных юбилею голландского мыслителя.

Я хочу только подчеркнуть общее значение миросозерцания Спинозы.

Бросается в глаза, что прежде всего Спиноза хочет освободить свой класс от веры в личного бога и его провидение, в загробную жизнь и посмертное воздаяние, во всякий потусторонний мир.

Этот дуализм, эту веру в произвол высшей власти Спиноза заменяет верой в природу как связное целое, существующее в пространстве и времени согласно законам, вытекающим из основных свойств самой природы.

Спиноза не только натуралист (или «натуралист»)<sup>[184]</sup> — он материалист, ибо он признает основным неотъемлемым атрибутом природы и любой ее части или проявления *протяженность*. Так, он говорит: «Дух не может ничего представлять себе, ни иметь памяти о чем бы то ни было, если у него нет тела».

Все явления природы для Спинозы абсолютно закономерны. Однако Спиноза вовсе не фаталист.

Если бы он был фаталистом, он должен был бы учить, что человек бессилен переделать себя или окружающее в чем бы то ни было. Но Спиноза не смотрит так на вещи.

Человека, который действует под давлением своих страстей, Спиноза считает рабом. Но разве можно быть *свободным* в мире, где все детерминировано? Да, ибо быть свободным — значит поступать согласно своей подлинной природе и тем самым достигать удовлетворения своих подлинных интересов. Человек, которым владеют страсти, как бы слеп. Зрячий человек свободнее движется в пространстве, но не потому, что он владеет какой-то мистической свободой, а потому, что яснее видит. Спиноза берет человека диалектически — в развитии: это не только существо, одержимое страстями, но и разумное существо. Именно возможность роста *разума* в человеке есть присущий ему путь к единственно настоящей свободе. *Разумный* человек постигает свои цели, ясно видит путь к ним, средства их достижения, и потому он счастлив. Познание себя и природы

— ключ к счастью.

В этом смысле учение Спинозы глубоко активно, прямо противоположно фатализму. Он говорит: «Чем более совершенна в своем роде какая-либо вещь, тем больше она *действует* и тем менее *страдает*. Можно сказать и наоборот: чем более что-либо действует, тем оно *совершеннее*».

И в другом месте: «Радость — сама по себе благо, печаль — сама по себе вредна, потому что аффект радости повышает нашу деятельность, а аффект печали снижает ее».

Мы видим таким образом перед собою совершенно типичного просветителя. Это борец за разум.

Было бы смешно, конечно, выдавать Спинозу за социалиста, но надо все-таки помнить, что Спиноза, конечно, знал про анабаптистов и Мюнстер, про крайние левые отряды немецких крестьян и Мюнцера. Мы позволим себе привести здесь интересную цитату, которая, несомненно, навеяна полупролетарскими движениями XVI и XVII веков;

«Есть много полезного вне нас. Полезнее всего для нас то, что вполне отвечает нашей природе. Если объединились два человека одинаковой природы то они как бы сливаются в одну личность с двойной силой. Вот почему человеку полезнее всего человек. Согласие между всеми людьми есть наивысшая из вообразимых полезностей. Если бы все тела и души организовались бы в единое тело и единый дух, чтобы общими силами защищать свое существование и осуществлять общую пользу, это было бы высшее благо».

Конечно, это социализм еще до крайности неопределенный. Очевидно, однако, что гениальный и последовательный идеолог молодой буржуазии в своем общественном идеале перерастал свой класс (отметим также несомненный интернационализм Спинозы).

Но, как марксистско-ленинская критика неоднократно отмечала, в Спинозе были и черты отсталости.

Главной и вреднейшей для самого Спинозы чертой была *пантеистическая* терминология, в которую Спиноза облек свое материалистическое учение.

Почему он сделал это?

Мне кажется, что для этого было три причины.

Во-первых, это была маска. Спиноза необычайно мужественно защищался от обвинения в атеизме. Он не позволял себе при этом исказить свою доктрину, он не делал никаких уступок по существу. Но, конечно, ему сподручнее было защищаться, заявляя: моя природа (материя) содержит в

себе все; она единственная причина своего существования, всех своих свойств и проявлений, она становится теперь *на место* вашего одряхлевшего бога, этой философской бессмыслицы.

Но с другой стороны, ставить природу на место бога (*deus sive natura*) Спиноза мог с особым удовольствием. Можно допустить, что религиозные навыки, воспринятые им с детства, получали известное удовлетворение вследствие открытия в природе, в «едином всем», нового «бога».

Если бы это было так, это значило бы, что старое время не только внешне тащило Спинозу назад, но, в известном смысле, и внутренне.

Легко можно допустить еще третью причину эмоциональной окраски своеобразного материализма Спинозы: мудрец использовал восхищение перед открывшейся его умственному оку картиной беспредельного и закономерного бытия. Все эти боги, святые и ангелы, все эти рай и ады казались ему смешными. Он хотел противопоставить смутным чувствам, с которыми были связаны эти представления и которые он погребал с ними, свое чистое и восторженное чувство, свое великое и спокойное «да» всему бытию— и для этого-то воспользовался преображенным старым словом, говоря об «интеллектуальной любви к богу» (*amor dei intellectualis*).

Само по себе это чувство *любви к бытию* — новое и положительное. Это бодрое утверждение бытия свойственно свежим классам, им проникнуты многие философские строки Ленина. Но печальной данью времени была опасная терминология.

Не то плохо при этом, что пролетариату приходится очищать Спинозу от этих уродливых примесей, а то плохо, что они позволяют буржуазии цепляться за полу его философской мантии.

Посмотрим теперь, как относилась буржуазия к Спинозе и его учению со дня его смерти до сегодняшнего дня.

## VII

Тот факт, что Спиноза, как идеолог буржуазии, оказался выше исторического культурно-политического уровня своего класса, отнюдь не означает, что буржуазия вовсе не имела представителей, которые понимали бы Спинозу, ценили его, учились у него и частично даже превосходили его.

Так, в Англии можно считать Толланда<sup>{185}</sup> одним из непосредственных учеников Спинозы; но, как известно, Толланд, в соответствии с высшим развитием мелкой буржуазии в Англии, был не только более решительным атеистом в самой форме своих сочинений, но и

осуждал Спинозу за «осторожность».

Великие французские материалисты XVIII века вели свою культурную родословную не столько от Спинозы, сколько от англичан-материалистов, как Толланд и Гоббс, сенсуалистов и скептиков, как Локк и Юм, и от «небесной механики» Ньютона, хотя сам лорд Исаак и остался в религиозных вопросах узким обскурантом. Однако самые блестящие умы во французской материалистической плеяде чрезвычайно многим обязаны Спинозе. Влияние его сказывается на Дидро, и этика Гельвеция немыслима без «Этики» Спинозы.

Оригинальнее всего прошла линия «спинозизма» по Германии XVIII и XIX веков.

По философской своей даровитости, продуманности и глубине своих систем немцы были как бы предназначены, чтобы стать продолжателями дела Спинозы. Но великие вожди немецкой буржуазной мысли в конце XVIII и начале XIX века были все искалечены той крайней степенью социальной связанности, в атмосфере которой развивалась здесь передовая буржуазия; величие их философских и художественных полетов искажалось вставшей в самое их нутро потребностью в компромиссе со слишком мощной в своем убожестве средой.

Недаром Чернышевский избрал Лессинга своим героем, видел в нем свой прототип. Лессинг не только был крайне смел и блестяще победоносен в своей борьбе с немецкими попами — он заходил в своем мирозерцании куда дальше тех пределов, в которых ему приходилось открыто держаться.

Немецкая обстановка не давала ему даже возможности открыто установить свое отношение к Спинозе: самое имя Спинозы являлось запрещенным, если оно не сопровождалось ругательствами.

В 1785 году опубликована была книга Фрица Якоби: «Учение Спинозы». Книга эта была путаная и надутая, но она содержала в себе замечательное свидетельство, касавшееся Лессинга.

К ужасу благонамеренных друзей последнего, Якоби заявил, что Лессинг был спинозистом.

Он рассказал, что во время визита его в Вольфен-бюттель к великому просветителю он дал Лессингу прочесть стихотворение Гёте «Прометей», осторожно заметив, что «просит его не рассердиться». Прочитав стихотворение, Лессинг сказал: «Я ничуть не рассердился. Я давно сроднился с подобными мыслями».

«Как! — воскликнул Якоби, — вы уже читали эти стихи?»

Лессинг: «Нет, но я нахожу заключающуюся в них мысль верной. Эту

точку зрения я вполне разделяю. Правоверный бог давно для меня не существует, он попросту противен мне. Единое все — ничего другого я не признаю. Об этом говорит и стихотворение Гёте. Признаюсь, оно доставило мне большое удовлетворение».

Якоби, ходивший и позднее в своей книге вокруг Спинозы с оглядками и оговорками, в ужасе воскликнул: «Но в таком случае вы почти Спинозист?»

На это Лессинг спокойно ответил: «Если бы я должен был назвать себя по какому-нибудь учителю, я не нашел бы другого».

Это свидетельство Якоби способствует идейному сближению Гёте и Спинозы, хотя из приведенного нами рассказа явствует, что Гёте уже раньше знал его учение.

Действительно, величайший поэт и мыслитель немецкой буржуазии многократно возвращался к пристальному чтению «Этики». Не может быть никакого сомнения в том, что ни один философ не имел на него такого влияния.

Восторженному уважению к Спинозе научил его еще Гердер<sup>{186}</sup>; но если Гёте в позднейшую пору проявил в общественных вопросах столько неприятного оппортунизма, то одно осталось в нем, во всяком случае, крепким: некоторая основа натурфилософии, которую он никогда не развил последовательно, но которую несколько раз очень прегнантно определял в самом ее существе.

Как известно, Энгельс не без суровости оценил общую роль Гёте в истории культуры, но он с особенной похвалой говорит именно о «язычестве» Гёте<sup>{187}</sup>. Сюда относится отвращение Гёте ко всякому личному богу, ко всем положительно религиям, особенно к христианству, его безграничная любовь к живой природе, к единственно реальному миру — тому, который окружает нас, его последовательная и радостная телесность. К этому надо прибавить, что Гёте, подобно Спинозе, воспринимал природу как нечто целое, определяющее весь поток явлений во времени и пространстве.

У Гёте были и некоторые преимущества перед Спинозой. Его эпоха больше подчеркнула в его глазах законы развития. Спиноза еще не был способен на воззрение, сказавшееся, например, в гётевской «Метаморфозе растений». Гёте часто с удивительной проницательностью отмечает также развитие из себя самого и понимает, что сущностью и формой такого развития является противоречие.

В этом смысле Гёте, являя собою в общественно-политическом

отношении шаг назад по сравнению со Спинозой, в философии является шагом вперед, хотя, конечно, он не обладал и в малой степени могучей систематичностью своего учителя.

Энгельс, не отрицая у Гёте некоторого пантеистического одеяния его мирозерцания, справедливо говорит, что оно, так сказать, дошло до самого порога диалектического материализма.

Несомненной разновидностью спинозизма является философия тождества *Шеллинга*, опять-таки с большим, чем у Спинозы, ударением на развитие, динамику, диалектику.

То, что *Гегель* внес оригинального в учение о природе как о едином развертывающемся процессе, вся изумительная детальная разработка философии развития так значительна, что назвать Гегеля спинозистом — значило бы недооценить Гегеля.

И все же Гегель является продолжателем дела Спинозы и — в существенном — искажителем чистой, прогрессивно-буржуазной мысли автора «*Этики*». Материализм, столь очевидно доминирующий в системе Спинозы, пройдя через неопределенное «тождество» Шеллинга, превратился у Гегеля в дух, в «идею».

Влияние Спинозы на *Фейербаха*, оценка его этим последним и вообще все, что относится к взаимоотношениям спинозизма и марксизма, выпадает за рамки настоящей статьи и было освещено в «*Известиях*» в день юбилея Спинозы.

Дальнейшее влияние Спинозы на буржуазную философию лишено значительности, как лишена ее, в сущности, сама послегегелевская буржуазная философия. Честить Спинозу проклятиями сделалось слишком безвкусным, а попытки примазаться к нему были лишены оригинальности и не привлекали внимания. Зато весьма велико было его влияние на лучшее, что дала буржуазная культура во вторую половину XIX века, — на точную науку.

Отметим прежде всего огромное влияние Спинозы на *протестантскую критику* библии. Завоевания этой критики и следовавшие за ней труды свободомыслящих историков религии своим началом имеют «*Теолого-политический трактат*» Спинозы. Даже *Ренан* при всей своей мягкости и двойственности упоминал о Спинозе как о «великом отце свободной мысли».

Здесь можно назвать еще весьма замечательную поэму австрийца *Николая Ленау*<sup>[188]</sup> «*Альбигойцы*». Эта поэма представляет собою прославление свободной мысли. Ленау объявляет в ней Спинозу человеком более великим, чем Христос, принесшим с собой новое евангелие, которое

со временем ляжет в основу всей человеческой жизни, совершенно вытеснив христианство, ибо это новое учение согласно с истиной поет в один голос с наукой.

Из всех дисциплин наиболее обязана Спинозе передовая *буржуазная психология*. Психофизика Фехнёра (философия психофизического параллелизма, несколько переоцененная Плехановым), психофизиология Вундта, рефлексология Сеченова и Павлова, подход к правильному разрешению вопроса о сознании (сознание как качество, потенциально присущее материи и проявляющееся при определенных высоких формах ее организованности) — все это, несомненно, связано со Спинозой.

Можно думать также, что гений Спинозы, недоверчиво относившийся к механистическому мирозерцанию, оказался бы до странности близким к наиновойшей физике, если бы ранняя смерть не пресекла начатой им параллельно с «Этикой» «Физики». (Так по крайней мере утверждает профессор Дунин-Барковский, пристально изучающий в настоящее время фрагменты спинозовской «Физики».) Например, Спиноза отрицательно относился к атому как обособленному корпускулу и стремился представить себе природу как пространство, наполненное силовыми полями.

По-видимому, и нынешний курьезный спор между детерминистами и индетерминистами в теоретической физике несравненно легче разрешается с точки зрения спинозовской «cause sui» (самоопределение), чем с точки зрения классической механики.

Скажем на всякий случай, что придется больно бить по пальцам тех, кто станет отрицать материализм Спинозы из-за того, что он никогда не был механистом: Ленин гениально и раз навсегда разъяснил нам, что наш диалектический материализм остается незыблемым, какие бы конкретные качества ни проявились в процессе научного исследования у того «бытия», которым «определяется мышление».

Однако если Спиноза, как и вообще материализм в широком смысле слова, благотворно влиял на буржуазное естествознание и еще до сих пор спасает научную честность лучших ученых, надо не забывать, что, во-первых, никто из этих ученых не доходил до полной ясности и последовательности материалистического мирозерцания и что, во-вторых, буржуазная наука сейчас быстро «освобождается» от материалистического духа, меняет флаги и все чаще плавает под флагом того поповства, с которым великий Спиноза вел бесстрашную и непрерывную войну.

Весьма показательным был съезд, созванный Спинозовским обществом в Гааге в связи с юбилеем Спинозы. Его организатор и душа спинозовского общества профессор Карл Гебгардт, дал довольно подробный отчет о нем, хотя окончательно судить об этом съезде можно будет только после появления в свет его трудов.

Все, что говорит Гебгардт в похвалу съезду, показывает, что он должен был служить именно приспособлению Спинозы к нынешним нуждам буржуазии.

Не без торжества повествует почтенный спинозист о том, что 70 философов, представляющих И наций, собрались в том самом историческом Rolzaal<sup>[24]</sup> в котором когда-то по приказу принца Оранского объявлено было воспрещение «Теолого-политического трактата», как книги, противоборствующей вере христианской. А нынче? — восхищается Гебгардт. — Голландская королева прислала своего представителя, правительства Франции, Италии и Польши были также официально представлены; почествовать Спинозу прислали своих представителей даже католические университеты!

Все эти восхитительные факты отнюдь не восхищают нас. Такой состав съезда заранее определял его как акт присвоения Спинозы буржуазной реакцией. Так оно, конечно, и оказалось.

Можно с некоторым удивлением отметить, что среди разногласицы съезда, естественной при разногласице нынешней буржуазной культуры, прозвучало все же и несколько приличных докладов.

Левым крылом съезда оказались французы. В современной французской философии еще очень большое место занимает сциенцизм<sup>{189}</sup>, главным своим объектом ставящий изучение человеческого познания с подчеркнутой тенденцией защищать при этом права точной науки. Конечно, сциенцистов отнюдь нельзя назвать материалистами, но это люди естественнонаучно образованные и неприязненно настроенные по отношению к мистической реакции.

Глава этого направления Брунsvик<sup>{190}</sup>, в полном согласии с другими французскими докладчиками, доказывал, что Спиноза представляет собою законченного рационалиста и что философия его целиком вырастает из картезианского корня. При этом Риво (Сорбонна) совершенно верно рассказывал о том, как Декарт не смел довести до конца свою, по существу, материалистическую философию и как Спиноза дого-ворил до конца его

мысли, сбросив с себя всякие богословские путы.

По вопросу об отношении физики и метафизики тот же Брунsvик указывал, что Спинозовский детерминизм глубже и гибче механистического и что именно он спасителен для точной науки, так как механистический материализм явно рушится.

Можно предположить, что если бы Брунsvик знал философию диалектического материализма, то он понял бы, что именно в этом материализме в развитой и убедительной форме продолжает жить плодотворная идея Спинозовского детерминизма.

Как защитник научного мышления говорил и Башеляр из Дижона и Аппюн из Парижа (переводчик Спинозы), в резкой форме отвергший научную ценность последней мистической книги Бергсона<sup>{191}</sup>.

Но если с французами мы находимся по крайней мере в атмосфере научного рационализма, позитивизма, то мы покидаем ее уже с немцами.

Немцы, в том числе и сам Гебгардт, шарят в источниках Спинозы не для того, чтобы показать, как он эти источники преодолел, а чтобы оттащить его назад, к ним. Связь со старым мистицизмом и желание создать новый мистицизм — вот что стараются увидеть в Спинозе немецкие исследователи.

Англосаксы пытаются пришить к нему разные свои религийки. Американский отшельник и мистик Джордж Сантаяна толковал о том, что надо искать не бога-истину, а бога-благо, и что по этому пути будто бы шел Спиноза!

Александр<sup>{192}</sup> навязывался Спинозе со своим «малым богом», который хочет добра, но не всемогущ, и который еще не готов.

Нечего и говорить, что все эти фантазии не имеют ровнехонько ничего общего с философией Спинозы.

По-видимому, курьезнее всего были речи католических профессоров Сассена и Вервейна, официально представлявших католические университеты в Инвегене и Бонне. Первый полагает, что Спиноза — создатель естественной религии, которая естественно же перерастает в сверхъестественную; а второй просто заявил, что Спиноза является провозвестником католичества и «вечного Рима». Дальше идти научно-поповское нахальство не может! Остается только спросить, не является ли таким же провозвестником католичества и столь родной Спинозе по духу Джордано Бруно, которого «вечный Рим» публично изжарил на площади как раз за те же тенденции?

По-видимому, известный интерес представляли чисто исторические

доклады. Например, доклад довольно передового кильского профессора Тениса о взаимоотношениях Гоббса и Спинозы и доклад варшавского профессора Мыслицкого о связи идей Спинозы с социальной структурой его времени.

В общем и целом картина ясна: в лучшем случае буржуазные ученые стремятся присвоить Спинозу как «свободомыслящего», в худшем — они, не стыдясь стен, не только что людей, готовы сделать из него даже правоверного попа.

Кстати о стенах. Местом действия конгресса явился маленький дом [в Гааге], в котором умер Спиноза в 1677 году. Об этом домике (на Павильонэна Грах<sup>[25]</sup>) Ренан когда-то высокопарно выразился: «Отсюда человечество ближе всего видело бога». Так вот, приобретший для спинозовского общества этот домик профессор Гебгардт констатирует, что при равнодушии всего Амстердама домик этот несколько десятилетий был «публичным домом самого последнего разбора».

Да, принц Оранский приказал сжечь главное сочинение Спинозы, появившееся при жизни философа, но королева Вильгельмина прислала своего камергера отвесить памяти мудреца придворный поклон.

В «священном» домике чинилось при попустительстве правительства и городских властей грязное непотребство, но зато теперь 70 философов из 11 стран стараются так «истолковать» великие мысли своего в подлинном его смысле непонятого и отвергнутого предка, чтобы, не компрометируя себя, счесться с ним родством...

В статье, которую посвятил конгрессу в «Франкфуртер цейтунг» профессор Гебгардт, он высказывает сожаление, что русские спинозисты отсутствовали ли на конгрессе. Он констатирует, что, рядом с Гегелем, Спиноза является тем философом прошлого, которого господствующая в СССР философия признает своим предком.

Гебгардт пишет: «Если бы русские приехали в Гаагу, мы, вероятно, встретили бы в их докладах Спинозу, сближенного с Фейербахом. Русские, вероятно, утверждали бы, что, признав протяженность основным атрибутом бытия, Спиноза сделал огромный шаг вперед и явился предшественником французских материалистов XVIII века».

Все это верно. Конгресс мог бы услышать от русских «спинозистов» много интересного. Русские «спинозисты» дали бы бой за подлинного Спинозу. Жаль, очень жаль, что их не было в Гааге!

Я позволю себе высказать мнение, что представителям диалектического материализма ни в коем случае не надо уклоняться от подобных конгрессов или хотя бы просто пренебрегать ими. Пусть

буржуазия не пускает нас туда под разными предлогами, как это было с гегелевским съездом в Берлине. Мы же должны появляться всюду, где возможно, и — без грубостей, во внешне приемлемой форме, но со всей революционной решительностью по существу — пропагандировать наши мнения, защищать наши точки зрения, ярко освещать гримасы дряхлой буржуазной мысли, заключать согласно указанию Ленина союзы с подлинными учеными, бессознательно или полусознательно близкими к диалектическому материализму, пробиваться к ищущей путей молодежи, которая с необыкновенной чуткостью прислушивается к таким конгрессам.

Спинозовский юбилейный конгресс постановил периодически устраивать «спинозовские недели».

Я надеюсь, что на ближайшей «спинозовской неделе» представители диалектического материализма будут на посту.

*19 декабря 1932 г. Берлин <sup>{193}</sup>.*

# СТАНИСЛАВСКИЙ, ТЕАТР И РЕВОЛЮЦИЯ

Статья написана к 70-летию со дня рождения К. С. Станиславского. Впервые напечатана в газете «Известия» № 18 за 1933 г. (без первой главки и заключительных двух абзацев); по указанию автора, с небольшими исправлениями, тот же текст был перепечатан в сборнике «Юбилей» Полностью текст впервые напечатан в книге: А. В. Луначарский, Статьи о театре и драматургии М., 1938.

Для настоящего издания текст взят из двухтомника: А. В. Луначарский, О театре и драматургии (составитель и редактор А. И. Дейч); учтен также текст сборника «Юбилей».

.....

## I

Это было в первые годы после революции. В Художественном театре была дана пьеса Щедрина «Смерть Пазухина». Публика восторженно аплодировала Москвину, Леонидову, всей талантливой постановке пьесы.

Ко мне подошел пожилой рабочий, добрый коммунист, человек довольно высокой культуры, но вместе с тем, как это тогда нередко бывало, убежденный пролеткультовец.

Поглядывая на меня недоверчиво и в то же время злорадно ухмыляясь, он заявил:

— Провалился Художественный театр.

— Да что вы? — ответил я. — Разве вы не видите, какой успех?

— Это буржуазная публика аплодирует своему буржуазному театру, — ответил он уже с явным раздражением.

Я вступил с ним в ожесточенный спор.

Через несколько минут он, держа меня за рукав и с почти болезненной

гримасой на своем суровом лице, говорил мне:

— Да я и сам чувствую, что задевает, но я боюсь в себе этого, я в себе это осуждаю. Не должен такой театр нравиться хорошему пролетарию. Стоит только напустить к себе этого утонченного и старого мира, и начнется разложение в наших рядах!

Спор наш продолжался и дальше. Продолжался он не только с этим товарищем, а и с другими, мыслившими таким же образом. Еще во время юбилея Художественного театра некоторые товарищи, с серьезной культурной подготовкой и тоже добрые коммунисты, уже не пролеткультовцы, конечно, весьма неодобрительно отзывались о моей тогдашней речи во время торжественного спектакля, полагая, что с Художественным театром не следует идти ни на какое «оппортунистическое примирение».

## II

Я разговариваю со Станиславским. Как всегда, я с удовольствием смотрю на это спокойное, уверенное, ласковое, полное какого-то внутреннего света, освещаемое от времени до времени как бы смущенной улыбкой лицо, на всю фигуру этого человека, в которой так редкостно ярко отразилась его сущность. Ведь в самом деле, куда бы ни вошел Станиславский, в какое бы многочисленное собрание, допустим, в зал, где почти никто его не знает, он сейчас же обратит на себя общее внимание, и сейчас же начнутся вопросы, кто этот великолепный седой старик.

Вся наружность Станиславского построена по его собственному принципу — от внутреннего к внешнему. Станиславский наружно находится в глубочайшем соответствии с превосходным строением своего сознания, своей психики.

Я смотрю на него, когда он со своей чуть-чуть как будто смущенной улыбкой говорит мне знаменательную фразу: «Анатолий Васильевич, я же ни в каком случае не против революции. Я очень хорошо сознаю, что в ней много священного и глубокого. Я прекрасно чувствую, какие она несет с собой высокие идеи и напряженные чувства. Но чего мы боимся? Мы боимся, что эта музыка нового мира еще долго не найдет себе выражения в художественном слове, в художественной драматургии. По крайней мере до сих пор мы этого не видим. А если нам, театру, дадут несовершенный, косноязычный, сухой, искусственный материал, то как бы ни был он публицистически согласован с высокими идеями революции, этими идеями

мы театру не сможем дать должного звучания; мы не сможем, как театр, как художники, послужить революции, оказаться ее рупором, а сами себя, свое искусство, мы снизим, потому что нельзя музыкантов, прошедших уже известную школу, достигших высокой музыкальной культуры, заставить играть школьные вещи, незрелые, лишенные жизни. Пушкин говорил про то, как может быть разыгран «Фрейшиц» перстами робких учениц. Но, по моему, это полгоря. А вот настоящая горе — если мастерам приходится играть не «Фрейшица», а малограмотные попытки отразить крупнейшие жизненные явления».

Конечно, сказанной фразы никогда не передашь через десять лет с полной точностью. Но за полную точность содержания того, что мне было тогда сказано, и за большую часть выражений, которые я сейчас привожу, я вполне ручаюсь.

И я почувствовал огромную искренность этого большого художника. Я почувствовал его растерянность: отвергнешь революционный репертуар — тогда еще действительно совсем детский, — и тебе скажут: куда же годится твой великолепный театр, твой замечательный инструмент, который ты с таким старанием построил, если после переворота, теперь, когда родился и начал развиваться новый мир, этот инструмент не может больше отвечать своему назначению, и разве только, как старая, хотя бы хорошая шарманка, может вертеть валики прошлого? Пойдешь на уступки, скажешь: «Давайте сюда то, что у вас написано, мы постараемся это сыграть», — что же выйдет? Фальшью прозвучит для всех несовершенный материал, и скорей всего в этой фальши обвинят именно театр. Скажут: старики, могикане отходящей культуры, не смогли, а может быть, еще хуже того, не захотели, чтобы новые идеи зазвучали. Те же — что здесь для Станиславского очень важно — старые друзья, люди высокоэстетических требований, люди большой художественной совести, скажут: да что же это сделалось с Художественным театром? Разве то, что они теперь делают, это искусство?

### III

Вересаев читал нам свою пьесу. Это тоже было уже давно. Пьеса была ни хороша, ни дурна, но, во всяком случае, написана с той степенью мастерства, которое является естественным для уже маститого писателя, для подлинного специалиста литературы. После чтения началась дискуссия. В ней выступил и Станиславский, и опять он, большой, даже монументальный со своей седой головой мудреца и со своей смущенной

улыбкой, которая вовсе не соответствует внутренней робости или нерешительности, а которая является скорей выражением вежливости огромного человека в беседе с ближним, говорит:

— Что мне нравится в вашей пьесе, Викентий Викентьевич, это то, что она жива, это живые люди, это живая речь. Иной раз автор, исходя из очень хороших предпосылок, хочет доказать некое хорошее. У него в сознании бродят всякие важные идеи, из всего этого он составляет в конце концов такой лабораторный химический состав, такой какой-то опопонакс. Знаете, Викентий Викентьевич, есть духи, которые пахнут живыми цветами — сиренью, акацией. А есть вот такой опопонакс<sup>{194}</sup>. Черт его знает, что это значит. Но я не люблю таких запахов.

Когда Станиславский говорил это, он, вероятно, и даже наверно, не думал, как он близко подошел к суждениям Маркса о театре. Ведь это Маркс, а равно и Энгельс в знаменитых письмах к Лассалю по поводу драмы последнего осудили даже Шиллера (никогда не будем забывать этого гигантского драматурга!) за то, что он, выражаясь термином Станиславского, «опопонаксил». Они противопоставили ему Шекспира, поскольку у него все живет, и эта жизненность Шекспира, эта глубочайшая диалектическая правдивость его пьес казалась им правильным отражением взаимоотношений классов изображаемой эпохи, правильным выражением отдельными персонажами классовой сущности. Шекспир этих терминов не знал. Шекспир этой стороной дела не интересовался. Но так как он был художником-диалектиком, так как он черпал из жизни и почерпнутое превращал в нечто еще более жизненное, чем сама жизнь, концентрируя ее краски, то и получилась такая драматургия, которую Маркс и Энгельс объявили близкой для себя и образцовой для театра будущего.

Но Энгельс, говоря об этом театре будущего и мало надеясь, что вполне удовлетворяющая его драматургия возникнет в Германии, говорил о том, что она будет отличаться шекспировским богатством красок по форме при глубоко научном анализе подлежащих изображению общественных явлений. Энгельсу хотелось, чтобы драматург был марксистом, был революционером, но чтобы вместе с тем он был все-таки художником. Одно другому может не только не мешать, но одно другому непременно должно помогать в условиях действительно нормальных. Но эти нормальные условия приходят только тогда, когда пролетарская революция уже победила политически, да и то приходят не сразу, а постепенно, как мы это очень хорошо видели на нашем собственном примере.

К чему стремился Станиславский в своем театре, самый дух которого создавался им постепенно, так как постепенно создавалась и «система Станиславского», или, вернее, его воззрение на театр, его сущность и задачи?

В сущности говоря, театр Станиславского был театром безвременья. Казалось бы, что театр безвременья сам должен быть бледным, немощным и никоим образом не возвысится на десятилетия до этого безвременья и десятилетия после него.

Однако это не всегда бывает так. И в данном случае это не было так.

Нет никакого сомнения, что эпоха до конца 80-х годов была славной эпохой в русской литературе — постольку, поскольку приблизительно с 40-х годов до конца 80-х могуче, хотя и страдальчески, развивалось ее левое крыло, крыло революционно-народническое, жертвенное, боевое крыло защитников развития России по американскому пути<sup>{195}</sup>, выражаясь термином Ленина.

Наличие этого крыла могуче действовало на все настроение интеллигенции, а через нее, через интеллигентную публику, на литературу, на все искусство и на театр. В конце концов именно в этой атмосфере выросли и театральные силы — Щепкин, Мочалов, Садовский и его великая группа и т. д. Правда, по условиям цензуры, театр в меньшей мере отражал это революционное брожение, чем литература, но для всего искусства, в общем, в главном, обязательным было служение народу, служение своей идее, по терминологии того времени.

Поражение народнической революции в 80-х годах и вместе с тем в атмосфере прусского пути роста России, мощное развитие капитализма создали для искусства новые условия, которые я только что назвал условиями безвременья.

Народничество разменивалось на пустяки, на проповедь малых дел, втекало в своеобразный поток толстовства, иногда приводило к полному пессимизму. Служить его идеалам практически было уже никак нельзя. Носить эти идеалы без службы — было довольно позорно. Отказаться от этих идеалов — тяжело и тоже стыдно.

Между тем для интеллигенции открывался широчайший рынок. Капиталисты европеизированного типа и созданная ими богатая интеллигенция требовали для себя утонченного западнического искусства во всех его видах и разновидностях. Творческим натурам открывался

значительный сбыт. Требования эстетические, формального порядка, очень поднялись. Но каким могло быть содержание нового искусства? Может быть, читатель подумает, что содержанием нового искусства должно было быть прославление самого капитализма или провозглашение необходимости ренегатства и угождения кумирам самодержавия и тому подобным чудовищным идолам?

Нет, присматриваясь к искусству 90-х и 900-х годов, мы не найдем там почти совсем подобных элементов.

На левом крыле очень скоро зашевелилась новая и решающая революционность, уже не народническая, а пролетарская, а на правом крыле провозглашен был своеобразный формализм. Это не был формализм пустой формы. У лучших людей того времени это были мучительные, подчас подвижнические искания. Жизнь, по существу, была тускла. Этических светочей не было никаких. Эту жизнь жившая недавно столь интенсивной идеологической жизнью интеллигенция старалась наполнить новым содержанием. Отвечая требованиям новых рынков, она создавала много яркого, тонкого, звонкого, легко, иногда гениально училась у достижений западноевропейской буржуазной культуры, в то время блистательно упадочнической, и в то же время старалась заменить прежние идеалы, ставя на место грядущего дня возмездия и правды метафизический день «в мирах иных», где-то над собой, над серым небом действительности. Самое искание красоты как таковой, самое понятие, самое явление «красота» понималось как нечто искупительное, как великий исход из плена мелочей жизни.

Русское декадентство, например, было, несомненно, особым видом романтики и с этой точки зрения, по верному определению Плеханова, свидетельством о разладе между художником и действительностью; но о разладе не революционном, а пассивном, с одной стороны — страдальческом, а с другой стороны — находящем себе утешение, и очень позолоченное, очень медовое утешение, именно в области красоты.

Самым блестящим явлением тогдашних исканий, самым ценным их порождением был Художественный театр. Самым великим представителем этой поры в развитии интеллигенции был в области театрального искусства К. С. Станиславский, бежавший в лагерь интеллигенции отпрыск капиталистической семьи.

Над всеми исканиями Станиславского, над всем предвидением его, над всем его зрелым пониманием задач театра царит одна истина: искусство свято, театр — это высокое учреждение, художественное творчество есть своего рода подвиг.

Чем больше окружающая жизнь была омрачена — и чем больше подчеркивался этот мрак ростом капитализма и началом нового общественного движения, так сказать, дрожью плода, созревшего под сердцем у этого общества, тем крепче хватались наиболее чуткие люди, — из тех, однако, которым пути к революции были заказаны, — именно за эстетические и этические протесты против действительности.

Что такое та формальная высота или та подлинная жизненность, которую Станиславский требует от пьесы для того, чтобы она могла быть воплощенной средствами Художественного театра?

Присмотримся к этому вопросу несколько ближе.

## V

Представляет ли из себя Станиславский реалиста? Хочет ли он действительно жизненной правды в смысле чрезвычайного сходства с действительностью?

Да, отчасти Станиславскому это было присуще. Идя по линии реалистического отражения жизни, он требовал восстановления различных деталей, он требовал необыкновенно чуткого, напряженного стремления воссоздать действительность, как она есть. Но он очень скоро заметил, — и с таким спутником, как А. П. Чехов, не мог не заметить, — что *жизнь в целом* никогда не представишь ни в повести, ни в драме, ни в театре. Ее воссоздают так, как это делал, по характеристике Треплева, Тригорин: «У него на плотине горлышко бутылки блестит при луне — и вся лунная ночь перед вами».

Поэтому Станиславский от реализма мейнингенского типа<sup>{196}</sup> быстро перешел к необычайно тонкому импрессионизму, передававшему, так сказать, самую сущность, аромат жизни в том ее аспекте, какой старался уловить данный спектакль.

Но разве Станиславский остановился на этом? Нет. Он не только ставил исторические пьесы (тут еще нет разрыва с непосредственным реализмом), но он ставил пьесы и символические, допустим, Ибсена и Гауптмана второй формации («Одинокие люди»), где уже, несомненно, жизнь была подвергнута чрезвычайно тщательной обработке с точки зрения определенных идей. Он шел еще дальше. Он ставил сказки Метерлинка, «Потонувший колокол» того же Гауптмана, то есть вещи фантастические.

Итак, жизненность, которую требовал Станиславский, вовсе не

сводится к непосредственной правдоподобности. Мне кажется, что точнее всего можно определить требования Станиславского к драматургу так: Константин Сергеевич требовал от литературного материала, который предлагали его театру, значительности и выразительности.

Раз сам по себе драматургический материал был значителен и раз он был литературно выразителен в том смысле, что можно было легко усвоить смычку этой литературной выразительности со сценической, то Станиславский был готов отдать данной музыке на служение свой изумительный инструмент.

Станиславский рассуждал или чувствовал так: конечная цель искусства — это привести сценическим путем, путем многих и многих вечеров, по возможности широкую публику («общедоступный театр!») в состояние высокого волнения, плодотворного волнения, делающего «души» более требовательными, более сильными, более чуткими, более истинно человеческими. Это значило — Станиславский знал или по крайней мере чувствовал, как поднять эту публику над скверным бытом, тем бытом, над которым столько и так горько издевался ближайший к Станиславскому человек — Чехов.

Для того чтобы эта цель была достигнута, нужно совершенно особое театральное искусство. Нужно, чтобы зритель чувствовал, как сам театр глубоко взволнован, как он искренен; отсюда продуманность каждой его детали, согласованность этих деталей в целостной картине, это нахождение условий для того, чтобы зритель чувствовал себя в театре не развлекаемым, а воспитываемым в самом лучшем смысле этого слова. Воспитание часто бывает связано со скучным поучением, которое мало куда годится, в особенности в театре. Но подлинное воспитание (оно всегда есть в то же время самовоспитание), гётевское «бильдунг», доставляет глубочайшее наслаждение, и это наслаждение, не растапливающее наши силы, а концентрирующее и организующее их.

## VI

Но спасает ли все то, что я говорю, Станиславского и его театр от одного упрека: разве этот театр не был эклектичен? Вы защищаете его, — скажут мне, — от обвинения в узком реализме, в приверженности к «старичкам» и «кумирам», но вы этим самым обвиняете его в другом грехе — в эклектизме.

Театр, несомненно, был эклектичен.

В нем давались русские и иностранные классики. Огромное место в нем занимал Чехов. С удовольствием играл театр и Горького. Он играл пьесы исторические и фантастические. Для каждой пьесы он находил, в сущности, новое тело. Станиславский как бы говорил драматургам не только своей эпохи, а всех времен: несите сюда ваши большие драмы, ваши скорбные или радостные волнения, ваши образы, скованные из тщательных наблюдений, несите их сюда в тех системах — пьесах, какие вы нашли более подходящими для выражения вашего жизненного опыта. Я и мой театр сделаем так, что весь огонь, который вы вложили в ваши произведения, действительно осветит и согреет умы и сердца сотен тысяч, а может быть, и миллионов. Для этого мы найдем соответственное вашему литературному тексту сценическое тело. Мы, творцы этого тела, будем чрезвычайно гибкими. Мы вдумаемся в то, что даете вы, мы подчинимся вам, мы не навяжем вам ничего от себя. Раз мы признали вашу пьесу заслуживающей того, чтобы быть провозглашенной с высокой трибуны театра, мы возгласим ее со всей художественной добросовестностью. Наша задача будет заключаться в том, чтобы спектакль, с наибольшей силой сценической выразительности передал в картинах, в движениях, в интонациях, ритмах то, что лежит как основное сокровище в вашем художественном произведении.

Строго говоря, из этого же эклектизма возник превосходный оркестр. Какой оркестр мы будем ценить выше? Тот ли, дирижер которого заявляет: я играю вещи только до Брамса, а после него все труха, — тот ли, который скажет: мы играем только нашу национальную музыку, — или [скажет] еще что-нибудь столь же уродливое, или тот, который говорит: мой оркестр не играет плохой музыки, но всю музыку, стоящую на определенном уровне силы замысла и совершенства форм, каков бы этот замысел ни был и какова бы ни была эта форма, мы передадим на суд слушателей так, как они должны быть переданы, голосом, соответствующим ее характеру.

Именно такой необычайный, гибкий оркестр, именно такой художественно прозрачный оркестр, оркестр, сквозь который партитура не просвечивает, а в звучаниях которого она впервые находит свое настоящее «слово», свое подлинное характерное бытие, именно такой оркестр мы ставим превыше всякого другого.

Станиславский создал в своем театре именно такой оркестр.

Это была великая заслуга. Великая заслуга Станиславского заключалась в том, что безвременье он использовал для того, чтобы создать театр, как едва ли не самый громкий и прекрасный голос, какой только раздавался вообще в тогдашней действительности. Его заслуга в том, что он сделал этот голос не только мощным и красивым, но способным к бесконечному количеству модуляций, способным с невероятной гибкостью подчиняться общественным замыслам, которые через драматургов достигали до этой изумительной мембраны.

Эклектизм в этом случае только помог Станиславскому. Он дал ему возможность использовать свой инструмент невероятно многообразно. Но надо прямо сказать: если Художественный театр, если театральное искусство Станиславского и воспитанных им изумительных мастеров сцены вовсе не были старыми мехами, и для нас не являются старыми мехами, если все это были новые мехи, то нового вина, которого можно было туда влить, не было. Классики остаются классиками. Никакой Шекспир не может говорить новой эпохе так, как с нею говорит ее собственный сын.

А новые?

Из новых драматургов, связанных с Художественным театром, можно назвать в особенности Чехова и Горького. Но Чехов сам писатель безвременья. Он тоже один из тех великих детей безвременья, которые прокляли это свое безвременье, которые показали в волшебном зеркале искусства его ужасную рожу, которые этим самым старались преодолеть его.

Но как преодолеть, куда идти, в какую такую «Москву» ехать и какие такие дороги в эту «Москву» ведут <sup>{197}</sup> — этого Чехов сам не знал.

Поэтому и театр мог только изобразить, с одной стороны, гнусных людей, гадов самодержавного болота, а с другой — прекрасных людей, которых жалко, с которыми вы вместе плачете.

Театр вместе с Чеховым вел оборону «прекрасной души» от пошлости. И эта оборона была единственной формой его наступления и на этом, конечно, спасибо. Но если это новое вино, то еще очень и очень слабенькое.

Покрепче было вино Горького. Тогдашний Горький уже был не сын безвременья. Он в гораздо боль-степени был сыном близкого будущего тогдашней России. Он один из ростков этого будущего. Он согрет лучами восходящего солнца. Он будет развиваться вместе с этим будущим. Но ни внутренняя степень его зрелости, по тогдашним временам, ни сценические условия не позволяли еще поставить на сцене пьесы, которые действительно являлись бы буревестниками.

При очень хорошем слухе не только у Горького, но даже и у Чехова в пьесах, которые были поставлены Художественным театром, можно было услышать крик Буревестника, но он был еще очень заглушен. Вот почему Художественный театр приобрел характер именно такого высокого учреждения для охраны культурных, этических и художественных ценностей. Своим бархатным голосом Художественный театр с огромным изяществом пел России, главным образом интеллигенции, песни о том, что жизнь, в сущности, прекрасна, что какие-то исходы найдутся, что есть по крайней мере один исход: во внутреннем сознании собственной прекрасной человечности. Не поддавайтесь пошлости — гласила эта песнь. *Sursum corda!*<sup>[26]</sup>

Но безвременье наложило на Художественный театр и печать как бы некоторой враждебности к активному духу, недоверия к шумной боевой музыке, недоверия к лозунгам, призывам и указаниям. Художественный театр не был, конечно, ибсеновской «дикий уткой», но он отчасти был таким лебедем, который пел и в лебединой песни которого далеко не звучал только конец, хотя бы и прекрасный, а звучала весть о возвышенно-высокой жизни даже на грязной земле; но он был лебедем, который тем не менее разучился летать.

Крылья у Художественного театра были крыльями мечты. Таких же крыльев, которые могли бы рассекать воздух и мчать сквозь вихри и тучи под грозами вдаль, чтобы во что бы то ни стало достичь расставленной впереди межи, — этого Художественный театр не мог или по крайней мере потребности в этом не испытывал.

## VIII

Пришла революция и поставила перед театром именно эту задачу. Революция сказала театру: «Театр, ты мне нужен. Ты мне нужен не для того, чтобы после моих трудов и боев я, революция, могла отдохнуть на удобных креслах в красивом зале и развлечься спектаклем. Ты мне нужен не для того, чтобы я просто могла свежо посмеяться и «отвести душу». Ты мне нужен как помощник, как прожектор, как советник. Я на твоей сцене хочу видеть моих друзей и врагов. Я хочу видеть их в настоящем, прошлом и будущем, в их развитии и преемственности. Я хочу видеть их воочию. Я хочу твоими методами также и изучить их. Да не только изучить. Я хочу одно полюбить, а другое возненавидеть, благодаря тебе не то что более страстно, — я вообще страстна, — а более четко то, что меня окружает. Я

хочу, чтобы ты прославил передо мной самой мои подвиги и мои жертвы. Я хочу, чтобы ты осветил мне мои ошибки, мои изъяны и мои шрамы, и сделал это правдиво, ибо я этого не боюсь. Я хочу, чтобы ты со всей полнотой своих волшебных ресурсов, не придерживаясь никаких школок и никаких узких правил, выполнил бы эту задачу. Фотографируй, концентрируй, стилизуй, фантазируй, пусти в ход все краски твоей палитры, все инструменты твоего большого оркестра и помоги мне познать и почувствовать мир и меня самое. Ибо я жадна к познанию, я жадна к уяснению моих собственных свойств. Мне нужна интенсивнейшая внутренняя жизнь для того, чтобы плодотворней был мой труд на земле, моя война за счастье».

Одни театры испугались, другие театры завиляли хвостом и сказали: «Всегда готовы». Стали порождаться новые театры. Одни ошибочно, другие близко к задачам революции, наскоро строившие новые инструменты для новой музыки. Художественный театр и его гениальные руководители вдумчиво и осторожно вслушивались в эти призывы.

А можно ли это перенести на театральную музыку? А не грубо ли это? Не газетно ли это? Не односторонне ли это? Не прячется ли за революцией секта? И что это такое — класс? Почему класс, а не человечество, которому мы обязаны, по нашему мнению, служить?

И так же недоверчиво смотрели на Станиславского и на его театр со стороны революции: а не буржуазный ли это театр, не эстетски ли интеллигентский? А не театр ли это воздыханий и прекрасных слез слабости? А не размагничивающий ли это театр? В годы бедствий, в дни безвременья он утешал. Но на что нам утешитель? И какой же это утешитель, со своим мягким голосом, изящными манерами и надушенным шелковым платком, которым он отирал слезы надорванной души, жившей в предутренних сумерках. Как же это он с нами пойдет перевязывать раны революционных бойцов? Как же этот великолепно надушенный и изящно расцветенный платок искусства сможет превратиться хотя бы в самое маленькое знамя нашей борьбы?

Революционная драматургия росла медленно. И это не могло быть иначе. Театр так же медленно шел в качестве тонкого, эстетического инструмента к потребностям нового времени. Он искал, не отходя от основного стержня своего, не отходя от своей основной веры в призвание театра, включиться в новое строительство или включить новые мотивы в свою симфонию. Долго это удавалось лишь отчасти.

Быть может, сыграла известную роль уже драма «Дни Турбиных». Драма сдержанного, даже, если хотите, лукавого капитулянтства. Автор

сдавал все позиции, но требовал широкой амнистии и признания благородства заблуждавшихся борцов, стоявших по другую сторону баррикады.

Многие упрекали театр за эту пьесу очень тяжело. Партия чутко разобрала положительные стороны спектакля. Их было две: во-первых, это все-таки была капитуляция, и по тому времени она не была лишена значительности; во-вторых, это была пьеса, принятая без художественной оговорки театром Станиславской го, и пьеса глубоко современная, трактовавшая революционную действительность.

Театр оказался в состоянии трактовать ее превосходно. Именно массовые сцены, именно всевозможные типы смутного времени на Украине прошли с поразительной яркостью. С этих пор большинство драматургов, шедших революционными путями и действительно стремившихся как можно скорей создать вокруг своих идей художественную плоть, стали мечтать именно о том, чтобы Станиславский и его мастера к этой литературно-художественной плоти подобрали и сценические одежды.

«Бронепоезд» в его кульминационных пунктах был, в сущности говоря, до некоторой степени культурно-историческим событием.

Артисты Художественного театра были растроганы до слез сами, когда играли сцены с пленным американцем.

И театр был растроган. Я сидел тогда в ложе с одним молодым драматургом, очень крайним. И он плакал. Он плакал и уже в то время думал о том, «какое это счастье, когда такие мастера сцены будут воплощать твои художественные замыслы».

Все почувствовали, что Художественный театр как инструмент, как оркестр вовсе не отжил свое время, что эти «новые мехи», созданные гениальной искренностью Станиславского, его высокой верой в искусство, его требовательностью к себе и театру, не устарели, что если до сих пор в них были разные слабые напитки и слабые вина, то это значит только, что мехи еще не дождались красного революционного винограда, не дождались еще полноценного вина обновленной жизни, боевой человеческой активности, направленной к осуществлению самых великих целей, выраженной в новом репертуаре.

Дождался ли Станиславский этого уже теперь? Не совсем. Не вполне. Не будем слишком гордиться. Пусть у нас не закружится голова от успехов.

Я слышал такой превосходный анекдот и надеюсь, что он правдив. Один драматург, разговаривая с вождем нашей партии, сказал в ответ на упрек в недостатке высокой продукции: «Ну что же делать? Мы не Шекспиры». На что вождь будто бы ответил (и хорошо, если ответил так):

«А почему же вы не Шекспиры? Это ваша вина. Разве наша эпоха не гораздо выше эпохи Шекспира? И почему же ей не иметь драматического голоса еще более мощного, чем Шекспир?»

И мы будем иметь своих Шекспиров. Мы не можем не иметь своих Шекспиров. Может быть, они придут несколько позже, но они придут.

И в день семидесятилетия Константина Сергеевича и в день пятидесятилетия его богатой, всему свету видной, в десятках стран восторженно оцененной и в нашей истории столь огромной художественной деятельности я больше всего желаю ему, чтобы он дошел до полного, безраздельного убеждения, что замечательный инструмент, им построенный с великим терпением, с великим благоговением, был на самом деле построен им для того (хотя он и не сознавал этого), чтобы оказаться инструментом великой революции, начала революции мировой.

Для этого нужно работать революционным драматургам. Для этого нужно работать и самому театру. Новая музыка все-таки потребует значительного изменения инструмента. Функция изменяет органы. Художественный театр может воспринять новую музыку, но и новая музыка должна видоизменить Художественный театр. Великие дни окончательной созвучности театрального наследия предреволюционного десятилетия художественных и, наконец, уже зрелых художественных периодов революции, несомненно, улыбнутся Константину Сергеевичу, ибо ведь прав Качалов, когда он в своей милой статье о старшем друге говорит, что красивой душе Станиславского двадцать два года и что у нее нет ни одного седого волоса.

Настоящим лучезарным венком на эту голову будет именно серия революционных спектаклей с предельной художественной насыщенностью. Именно этот венок, несомненно, — и что бы ни случилось, — ляжет на голову Станиславского-творца, на эту голову, на которой не будет и тогда ни одного седого волоска.

## **А. С. СЕРАФИМОВИЧ**

Под этим общим заглавием А. В. Луначарский объединил для сборника «Юбилей» свою речь на торжественном заседании в Комакадемии 20 января 1933 г. в честь семидесятой годовщины со дня рождения А. С. Серафимовича (впервые напечатана в февральском номере журнала «Молодая гвардия» за 1933 г. под заглавием «Художник пролетариата») и статью «Путь писателя» (впервые напечатана в газете «Известия» № 20 за 1933 г.).

Печатается по тексту сборника «Юбилей» с учетом первопечатных текстов.

.....

### **ХУДОЖНИК ПРОЛЕТАРИАТА**

Дорогой товарищ, Александр Серафимович! Я буду краток в моем приветственном слове. Врачи мне пока еще запрещают публичные выступления. Но я не мог никоим образом отказать себе в чести и удовольствии лично принести вам поздравления от имени Института литературы и искусства нашей Комакадемии<sup>{198}</sup>.

Вы несколько старше меня, Александр Серафимович, но мы принадлежим к одному и тому же поколению — к тому поколению, к которому принадлежат старые большевики. Это поколение сыграло в истории пролетарской революции гигантскую роль — все это знают...

Относительно политической роли, которую это поколение сыграло и сейчас играет, двух мнений быть не может. Но для нас, которые ближе всего стоят к культуре и в особенности к литературе, возникает и такой вопрос: дало ли что-нибудь это поколение существенного и важного в деле построения пролетарской литературы, которая, как все сейчас понимают, имеет очень существенное значение в общей борьбе за коммунизм?

Когда-то, в сравнительно еще юные годы, я встретился с писателем, которого вы, вероятно, тоже помните, Александр Серафимович, — с

Гарин-Михайловским. Гарин-Михайловский в беседе со мной сказал: «Ну, если пролетарская литература когда-нибудь и придет, то, во всяком случае, ее создаст сам пролетариат, и только после победы. Сейчас положение пролетариата, экономическое и культурное, слишком загнанное и придушенное, он из своей среды выдвинуть своих собственных художников не может. Если интеллигенция может за пролетариат думать, то чувствовать за него она, во всяком случае, не может».

В этом была известная доля истины. Пролетариат действительно может развернуть такую высокую форму культуры, как теперешняя наша советская литература, по преимуществу после своей победы; однако существует ведь МОРП — Международная организация революционных писателей, ценный отряд которой — это пролетарские писатели, которые пишут в современной Германии, Франции и Соединенных Штатах, где, к сожалению, пролетариат победы еще не одержал. Так было и в России.

Тут же можно сделать и оговорку относительно того, будто в пролетарской литературе не могут играть значительной, подчас ведущей роли те интеллигенты, которые являются перебежчиками из другого класса и которые со всей страстью своего сердца и со всей ясностью своего ума пришли к пролетариату — классу, который несет с собой спасение человечества. Наше поколение может назвать немного имен, но может назвать их с гордостью, — это именно имена людей, которые были великими основателями пролетарской литературы. Таков Максим Горький, таков Александр Серафимович.

И это не просто избранность — не то что просто повезло, пофартило людям. Для этого нужно было проделать громадную работу — большую моральную работу над собой и проникновенно изучить жизнь трудящихся.

Серафимович сразу обратил самое серьезное внимание на людей труда. Они пленили его не своей внешней красочностью, не романтикой своей жизни, не увлекательностью сюжетов, которые давала их судьба. Он видел в них страдальцев и в то же время великую силу. Будущее этой силы он уже понимал, благодаря тому, что читал Маркса. И, начавши сразу с описания великого трудового ада, в котором находились трудящиеся, Серафимович лотом с бьющимся сердцем следит за всей дорогой пролетариата. Он с ним во время его восстания, с ним во время унижительной кары, которая выпала ему на долю после поражения первой русской революции. Он с ним в 1917 году.

В этом решающем году пролетарской победы со славой изгнан был Серафимович из среды буржуазных писателей-интеллигентов. Они воображали, что исторгнут его с бесславием, но на самом деле сами при

этом, от обратного удара своего же выстрела, рухнули в такую пропасть, что те из них, которые потом выкарабкались, должны быть очень благодарны судьбе, не оставившей их заживо погребенными навек.

Для Серафимовича этот разрыв означал одно: он хлопнул дверью и, выйдя из этого узкого старого круга, занял окончательно свое место в новом мире.

В лагере пролетариата он не остался праздным. Теперь, после победы, он стал замечательным образцом исследователя и корреспондента пролетарского фронта и пролетарского тыла.

Еще в довоенное время<sup>[27]</sup> он в широком полотне «Город в степи» описал судьбы капитализма в нашей стране и те процессы революционирования, которые определили дальнейший ход истории. Его послереволюционная работа кульминируется в «Железном потоке».

Всякий из нас читал, и с величайшим волнением читал, эту скорбную и радостную, страшную и светлую эпопею борьбы не на жизнь, а на смерть между старым и новым миром.

Товарищи, громадный мировой железный поток продолжает двигаться вперед. По-прежнему он окружен врагами и опасностями, но по-прежнему путь его предопределен глубоко продуманной большевистской тактикой. Все еще идет по краям его процесс разложения. По-прежнему есть еще и внутренняя опасность. Но еще победнее, чем прежде, его все растущее ядро идет за своим штабом.

Этот железный поток — коммунистический железный поток. Теперь он гораздо грандиознее, чем в те времена, когда писал Серафимович. Но движение его отражено в «Железном потоке», там изображены и его вожди. Вот почему эта эпопея имеет мировое значение.

В нашем железном потоке, в этой великой армии, шагает и ветеран пролетарской революции — товарищ Серафимович.

Товарищ Серафимович! Вы — один из старейших наших знаменосцев, один из старейших наших трубачей, зовущих нас на борьбу, и этим вы себе создали такую славу, к которой не может прибавить новый блеск никакое приветственное слово, в том числе и мое.

Но в день вашего юбилея были сказаны слова, прибавившие блеск к этому фактическому положению, — это похвала руководящего центра той армии, к которой мы все принадлежим, — Центрального Комитета Коммунистической партии.

И поскольку Центральный Комитет назвал «Железный поток» *классическим произведением*, вы действительно получили в день вашего семидесятилетнего юбилея отличие, которое обязывает вас жить долго и

жить плодотворно.

## ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ

### I

В наружности, в манере Александра Серафимовича Серафимовича есть что-то, как будто несколько тугое, что-то веское, даже увесистое, несколько медлительное и очень сильное.

Его друзья, — например, Леонид Андреев, с которым он дружил в лучшую пору этого писателя. — называли его Лысогором. Писать он начал довольно поздно и тоже как будто несколько туго.

Если он рассказывает о себе, что ему приходилось просиживать иной раз много часов, чтобы как следует осилить десять строчек из «Капитала» Маркса, то он почти теми же словами повествует и о своих первых литературных работах — тоже по десять строчек в сутки удавалось ему написать, делая бесконечное количество поправок.

Этой туговатой, замедленной поступью прошел тов. Серафимович большую часть своего жизненного и творческого пути. Он шел вперед, как танк, прокладывая себе очень прямой, очень уверенный путь. Эта неутомимым трудом, грудью проложенная дорога привела его к тому, что он вписал свое имя неизгладимыми чертами где-то очень близко от первых по времени и первых по качеству имен пролетарских писателей.

«Железный поток» — это значительное произведение Серафимовича, которое соединяет в себе художественную высоту, социальную значимость и обработку нового, послереволюционного материала. После «Железного потока» можно уже было, опираясь на факты, сказать, что пролетарская литература не только предсказывает, не только оценивает грядущие явления пролетарской революции, но и отражает ее самое. В этом отношении «Железный поток» должен был быть поставлен рядом с «Матерью» Горького.

Серафимович и до революции был очень крупным писателем. Но та позиция, которую он занял непосредственно после Октября, и те произведения, которыми он откликнулся на послеоктябрьскую жизнь, бросили новый свет на весь его прошлый художественный путь и осветили этот путь так, что весь литературный подарок, который наш писатель принес людям, предстал как часть именно пролетарской литературы.

Серафимович происходит из казацкой военно-чиновничьей семьи. С самых первых лет своей жизни он соприкасался, однако, не только с тем средним классом, к которому принадлежал. Припомним, с какой благодарностью и с какой глубокой любовью говорит Салтыков-Щедрин о глубоких уроках, которые он получил на кухне, в людской, среди дворовых, раскрывших ему глаза на помещичий быт еще в те годы, когда сердце его было по-детски мягко. Так же точно и Серафимович говорит о себе в комментариях к сборнику своих произведений, названному «В дыму орудий»:

«Я получил в семье двойственное воспитание. На белой половине меня учили «благородным манерам» и «хорошему тону». Заботливая нянька пичкала меня всякой вкусной снедью. На черной же половине я узнавал от денщиков и горничных многое такое, что знать мне возбранялось. Тут я узнавал, в каких тяжелых условиях и в каком порабощении живут трудящиеся. Многие из тогдашних впечатлений на кухне оставило след на всю жизнь».

Уже с тех пор подросток, потом юноша, выглядевший немного увальнем (что сам Серафимович в себе отмечает), молчаливым степняком, стремится постичь быт обездоленных и трудовых масс.

Писатель-реалист, писатель-народник, однако без народнических односторонностей, присматривавшийся с большим вниманием к пролетариату, Серафимович завоевал внимание интеллигентской публики, а через то и доступ в журналы; но его слишком плебейские, слишком глубоко со дна черпавшие свой материал рассказы прочитывались обычно хозяевами литературы с «кислой рожей».

Эта кислая рожа в известной части (в то время очень и очень широкой части) русской интеллигенции превратилась в гримасу отвращения и негодования, когда Серафимович решительно встал на точку зрения пролетарской революции и принял на себя от Московского Совета исполнение известных, довольно важных функций.

Сам Серафимович так картинно описывает это событие, что мы считаем полезным воспроизвести его здесь еще раз.

Пришел он на так называемую «литературную среду»<sup>{199}</sup>. Было это вскоре после его назначения заведующим художественным отделом «Известий Московского Совета».

«Вдруг встает один художник и говорит: «Господа, прежде чем

приступить и так далее, должен сделать заявление: среди нас находится лицо, которому не место здесь. Это лицо сотрудничает в газете Московского совдепа. Я вынужден предложить этому лицу оставить собрание... и так далее». Юлий Бунин, помню, тогда председательствовал. Потом встает один из молодых писателей. «Я, — говорит, — горячо присоединяюсь к предложению. Что у нас может быть общего с большевиками, этими узурпаторами, не признающими свободы печати?..» и т. д. Тут я подумал: «Пожалуй, выгонят, сукины дети!» Я и говорю: «Что же? Все присоединяются?» Все как в рот воды набрали. Я нервничал, конечно. Повернулся к выходу. Один писатель, тот, что говорил об «узурпаторах», протянул ноги. Я споткнулся, чуть не упал. После там, говорят, были восторги такие, что трудно описать. «Русские ведомости», захлебываясь, писали об этом».

Наш писатель, протянувший так смело руку пролетарской революционной организации, оказался таким образом выброшенным из среды пишущей братии. Он, однако, не так легко сдался, он протестовал. В его фельетоне дан ответ изгонявшим его господам. В этом фельетоне он спрашивал себя: «Как могло случиться, что пострадавшие за мужика и рабочего, вплоть до каторги, и те с ненавистью говорили об этом мужике, рабочем, солдате?» И он отвечает: «Это объясняется тем, что наступила социальная революция и, как масло в воде, отделились все имущие от неимущих. И стали мужики и рабочие на одном краю глубочайшей пропасти, а имущие и все связанные с имущими — на другом».

Прекрасно объяснил это явление тов. Серафимович еще в таких словах: «Тридцать лет и три года без ног сидел народ, а теперь поднимается. И пока без ног лежал, как чудесно, как тонко, как художественно воссоздавали его художники, как проникновенно, любовно писали они мужика, забитого, темного, корявого, озлобленного! А когда он стал подниматься, когда широко разомкнулись на сотни лет сомкнувшиеся глаза, когда он пытается говорить не косноязычное «тае», а по-человечески, — тогда от него слепота перекинулась на художников».

С тех пор А. Серафимович проникся еще большим желанием целиком и полностью пойти на службу революции. На службе у нее написал он и свою большую повесть «Железный поток», которая является только началом цикла «Борьба». На службе у нее написал он множество других прекрасных повестей и острых, правдивых летучих корреспонденций; на службе у нее он работал в качестве заведующего ЛИТО<sup>{200}</sup>. И — это я лично помню, ведь мы всегда работали в Наркомпросе вместе, — как заведующий литературным отделом заботился Серафимович прежде всего

о привлечении талантов из самых недр пролетариата, об обучении их, о помощи им. Недаром еще в том фельетоне, которым он отмахнулся от своих врагов, он писал: «Продолжайте, товарищи, охранять чудесное наследство прошлого и готовьте новое поколение, которое бы достойно умножило его. Берегите как зеницу ока то, что родилось среди вас, родилось, развернулось в громадное дарование и не оторвалось от вас».

На службе революции остается маститый писатель и сейчас, и мы еще ждем новых даров от его творчества.

### III

Постараемся охарактеризовать коротко дар Серафимовича, каким он лежит сейчас перед нами.

С самого начала, когда у писателя проснулась жажда литературного творчества, он обратил внимание на то, что всегда призывало его, призывало мучительно, на судьбу тружеников. Серафимович прекрасно понимает, что труд — великое благо, что труд — всепорождающая сила, что труд — творческая радость. Но в действительности он не находил такого труда. Характерным для труда, для работы того времени было своеобразное полурабство, которое, уже освободившись от легальных крепостнических черт, экономически было не менее мощным и мрачным. «Суровый и угрюмый север», куда закинула Серафимовича ссылка, показал ему на своих детях этот «проклятый» труд, безрадостно напряженный, отдающий свои плоды другому, эксплуататору-имущему. Картины этого жестокого, как пытка, труда, связанного с постоянным риском жизнью, проходит в первых полотнах Серафимовича, и они-то заставили такого мастера, как Короленко, признать крупнейшие дарования новичка.

Замечательно, однако, что в этой первой серии рассказов («Мечь», «На море» и др.) Серафимович изображает не только труд. Он имеет дело с тружениками-собственниками или с таким слоем, где труд и собственность сталкиваются и соприкасаются. Столько же места, как безрадостный героизм труда на других, занимает в произведениях Серафимовича и жажда приобретения, стяжательная страсть. Когда затронута собственность этого корявого, сурового, северного морского человека, он не знает пощады, он преобразается в лютого зверя, и вы чувствуете, как ужасающе сильна власть демона-собственника над человеком.

Помните, читатель, как после страшного побоища между мелкими собственниками-рыбаками и ворами в живых остаются только двое?

Обессиленные, они взбираются на опрокинутый баркас. Сперва, спасшись, они разговаривают довольно мирно. Мелкий собственник расспрашивает, как же это воровали, почему продавали.

«Тот молчал, и мрачное серо-зеленое лицо его чуть тронулось:

— Да сот на шесть...

И осекся этот, с задрожавшим от ярости подбородком, прохрипел, давясь словами:

— Нашими... кровными... трудовыми... а-а, кровопийцы!

Вцепился в горло, и оба рухнули в расступившуюся воду».

Серафимович насмотрелся много этакое, и с жуткой силой и простотой, правдивым художественным словом изображает он эксцессы, муки, преступления собственности.

Мы живем в первую пору организующегося социализма, но было бы странно отыскать среди нас человека, который бы не понял всего значения анализа полного скорби и ненависти изображения собственничества. Это наваждение еще не прошло, оно держит в своих руках огромное количество мещан наших городов и крестьян обновляющейся страны.

Недаром предупреждал нас великан Ленин, что легче покончить с титанической мощью крупного капитала, владеющего сотнями миллионов, обладателями заводов, копеек, железных дорог, чем с этой мещанской мошкаррой, с этим мещанским гнусом, который все еще наполняет воздух вокруг нас.

Оздоровить воздух и почву можно, только отдавая себе полный отчет в том, каков этот враг наш. И потрясающие повести Серафимовича о собственническом озверении — мотив, проходящий через многие и многие его произведения, — остаются поучительными и сейчас.

Но, раз начав свои очерки труда, Серафимович переходит прямо к рабочему. Конечно, его рассказы о рабочих — «Шахтер», «Под землей», «На заводе», «Стрелочник» и др. — рисуют еще рабочих старого времени. В их героях еще нет настоящей активности. Это не классово сознательный пролетариат. Серафимович относится с состраданием к этим труженикам, как страдал он нищим рыбакам, работавшим на хозяина. Но он страдает им с глубоким уважением.

Особое место занимают в жизни и творчестве нашего писателя очерки, написанные им под влиянием потрясающих событий 1905 года. Пожалуй, и тут Серафимович еще не распознал до конца или по крайней мере не сделал объектом своего художественного внимания активность пролетариата в ее сознательной форме. Две вещи бросаются ему в глаза, две линии явлений и сопровождающих их чувств видим мы в этих

рассказах: героическую решимость протестовать и жесточайшую кару, которая обрушивается за этот протест на рабочих.

«А как убьют?» — спрашивают рабочего. Под грохот канонады тот отвечает: «Убьют — не откажешься... Нас давно убивают, не в диковину».

Рассказы-очерки «На Пресне», «Мертвый на улице» и другие остаются прекрасным памятником тех многозначительных дней.

Проникнутый уважением к рабочему, Серафимович накапливает тем большее презрение к праздноболтающему либералу и слабодушному меньшевику (рассказ «Мат»). Эти по размерам еще мелкие, но уже очень глубокие произведения подводят Серафимовича к большому полотну — «Город в степи». Это роман, достойный Бальзака. Перед вами громадный организм города, возникшего около железной дороги и по-американски растущего, так что меняется не только его облик, но и характер его жителей и взаимоотношений. Процесс капиталистического набухания города, процесс расслоения его на классы показан на десятках людей, из которых каждый представляет собой замечательный тип. Роман чрезвычайно богат содержанием. Его социологические выводы бьют далеко. Вместе с тем он читается с захватывающим вниманием. На каждой странице читатель найдет нечто поучительное и для нашего времени.

Пришла революция, пришел окончательный переход Серафимовича на ее службу. Во время гражданской войны Серафимович работает больше всего как революционный корреспондент с театра военных действий, отчасти из тыла.

Вся серия в широком смысле слова батальных произведений Серафимовича собрана в томе «В дыму орудий». К этому тому Серафимович приложил свои комментарии. Они заслуживают большого внимания. Автор пишет в них:

«У меня был опыт «военного корреспондента», но корреспондировать в буржуазную газету — это одно, а в пролетарскую — совсем другое. Я, можно сказать, был пионером, бродил ощупью. Но как-то инстинктивно осмысливал, что самое главное и важное — быть ближе к правде. Читателю-пролетарию не нужно никакого приукрашательства. Нужно, чтобы он вполне поверил корреспонденту. Тогда затраченная энергия не пропадет даром. Я ставил себе чисто утилитарные цели. Нужно было, чтобы из моей работы получился определенный результат...»

Вот почему Серафимович как корреспондент не бил «на чувство, на психологию». Он говорит:

«Прежнее романтизирование театра войны было неуместно, тон моих корреспонденций был деловой. В империалистическую войну можно было

более медлительно обрабатывать материал и давать образы.

В гражданскую же войну некогда было. Нужен был практический подход».

Из этих слов автора можно как бы сделать вывод, что его корреспонденции с театра гражданской войны менее художественны, менее обработаны, чем корреспонденции с театра войны империалистической. Однако это вовсе неверно. Простота тона, отсутствие украшений, стремление к деловитости сказались также и художественно большим плюсом.

Что мы находим в образцовых произведениях Серафимовича, написанных среди тягот похода, часто в условиях невероятно тяжелых? Прежде всего необыкновенную серьезность автора; вдумчивыми зоркими глазами смотрит он на эти лица, на эти черты, слушает эти слова, пропускает через себя чувства суровые, героические. Но и за этим серьезным и скупым, но верным, как хорошая гравюра, изображением стоят определенные чувства, крепко сросшиеся с идеей: идея — чувство, трепетное участие в этом деле, желание победы, желание содействовать, помочь.

Самым большим произведением Серафимовича, написанным на службе революции, является «Железный поток». Я уже говорил о том, каково значение этого произведения в смысле самоутверждения пролетарской литературы. Но это формальное значение может быть великим только в силу глубокой значительности произведения по существу. Хотя «Железный поток» стратегически есть отступление (его даже сравнивали с «Анабазисом» Ксенофонта — историей отступления десяти тысяч греков из Малой Азии), но политически это наступление. Отступление шло среди боев, среди страшных бедствий, среди огромного напряжения сил, среди возникших эпидемий, сомнений и протестов, вызванных чрезмерными, почти нечеловеческими усилиями. Все это нужно было побеждать. Целью отступления было, во-первых, спасти жизнь колонны, во-вторых, привести ее на соединения с главными силами, социалистическими силами красной Москвы.

Именно этот характер повести придает ей значение прообраза.

Составленная из мелкого люда, казацкой и крестьянской бедноты; колонна крепнет в боях. Путь ее поистине тернист, она внутренне, социально-психологически несет в себе полярные процессы: с одной стороны, мы видим людей, готовых отпасть, усталых, озлобленных, отчаивающихся; с другой стороны, какие-то иные силы колонны оказываются мощно центростремительными, преодолевают все

препятствия, чтобы победить, дойти!

Так наша страна, как гигантская колонна, тоже в огромном большинстве по составу своему пестрая, крепнет, идя через неслыханные трудности, потому что она сознает в себе железную волю вождей, которые в состоянии побудить и принудить ее к действию и в то же время поддержать, обнадежить, руководить, организовать.

Вот почему, помимо своих огромных непосредственных художественных достоинств, помимо яркого реалистического описания этого непомерного похода через горы и бои, «Железный поток» близок сердцу каждого из нас, ибо, повторяю, он есть прообраз всего великого наступления, которое мы ведем уже второй десяток лет и которое так часто делало нас свидетелями явлений, близких к изображенному Серафимовичем.

#### IV

Несколько слов о методах Серафимовича как художника.

Серафимович — убежденнейший реалист. Он говорит в одном месте:

«Я твердо усвоил, что романтизм противоестествен. То, что не соответствует правде, меня в литературе всегда отвращало».

Действительно, правдивость — это сила Серафимовича. Его правдивость, однако, особенная. Он говорит:

«Я всегда боялся что-нибудь подсказать читателю, я хотел, чтобы мои образы, как зубами, схватили его и привели к должным выводам».

Как видите, Серафимович чуждается тенденциозности, чуждается белых и красных ниток в своем произведении, но в то же время прекрасно сознает, что образы должны убедительно приводить к определенным выводам.

Но для этого нужно соответствующим образом распределить наблюденный материал, сделать его выпуклее, значительнее, выдвинуть на первый план то, что важнее для цели, поставленной себе автором. Это делает Серафимовича представителем социалистического реализма.

Он не фотограф, он проповедник, но проповедует он образами.

Проповедует он и тем, что показывает ужасы жизни, ужасы нищеты, ужасы подневольного труда, ужасы забитости женщины, ужасы невежества, мещанского лицемерия и т. д. и т. д. Временами Серафимович так ярко изображает эти ужасы, что его больно читать. Но это нужно, это «страшное» в жизни приковывает читателя, как голова медузы.

Серафимович совсем не похож на таких реалистов-полуромантиков, как Флобер или Мопассан в его романах. Он показывает ужасы не для того, чтобы поделиться своим унынием, и не для того, чтобы растворять этот страх в совершенстве передающих его образов. Нет. Серафимович полон любви. Он полон надежды. Без этих двух чувств нет социалистического реализма.

Чем он беспощаднее обрисовывает уродства людей, чем более отвратительны их поступки, вытекающие из их жизни и положения, чем более они раздавлены, чем более свирепы кары, низвергающие их и заставляющие протестовать, тем сильнее звучит в глубине вера в возможность исхода и тем громче слышится биение сердца, полного симпатии к страдающему люду.

Серафимовичу повезло — он дожид до социалистической революции, он узнал ее, он пришел к ней. Вот почему поздние его произведения озарены солнцем революции. Отблеск этого солнца пышно и богато лег на весь путь Серафимовича, пройденный им тяжелой и размеренной поступью. Все те литературные памятники, которые построил Серафимович вдоль этого пути, навсегда останутся в русской литературе и, что еще важнее, — в пролетарской литературе.

# ПУТЬ РИХАРДА ВАГНЕРА

Статья написана к 50-й годовщине со дня смерти композитора. Первая публикация в газете «Известия ЦИК и ВЦИК». № 43 за 1933 г.

Печатается по тексту сборника: А. В. Луначарский, Юбилей, М., 1934.

.....

Вновь и вновь ставится перед всем человечеством вопрос о Рихарде Вагнере в связи с пятидесятилетием со дня его смерти.

Но для нас уже слишком ясно, что решать этот вопрос с точки зрения «современного человечества» никоим образом нельзя, ибо никакого такого целостного современного человечества не существует.

Решать вопрос приходится по-новому уже постольку, поскольку дело идет о переоценке Вагнера с точки зрения побеждающего пролетариата и создаваемой им новой, социалистической культуры.

Попробуем в сжатом итоге отдать себе отчет в нашем отношении к этому гениальному и сложному мастеру.

## I

Часто и справедливо говорят о гипнотизирующей, обвораживающей силе музыки Вагнера. Ни один композитор до Вагнера не обрушивался на восприятие слушателя таким водопадом звуков, такой широчайшей рекой гармонии, такими пронзающими мелодиями.

Вагнер сам назвал свою музыку *бесконечной мелодией*. Это можно понимать не только в точном смысле, то есть в смысле непрерывно развертывающейся музыкальной ткани, но и в том смысле, что мелос Вагнера как бы создает вокруг себя какое-то магнитное поле, широко распространяющееся во вселенной, а в особенности во внутреннем мире слушателя.

Гром и крики его литавр, его колоссальные ансамбли, его

подхватывающие и уносящие унисоны — весь этот организованный шумный вихрь звучаний потрясает. Но почти так же силен Вагнер, когда он хочет действовать подкупающе, когда он подкрадывается к нашему сознанию. Тогда он пользуется тончайшими отмычками, чтобы проникнуть как можно глубже в наше сердце.

Когда говорят о том, что Вагнер прежде всего был человеком воли, что он прежде всего жаждал власти, то нельзя не согласиться с этим. Действительно, музыка является для него словно каким-то сонмом духов, которых он собирает и отправляет в поход для того, чтобы они завоевали ему миллионы человеческих личностей.

Но музыка Вагнера отнюдь не есть просто организованное звучание. Это даже не превращенные в звуки чувства. Ницше упрекал Вагнера в том, что он, в сущности, не музыкант, а мим — актер, театральный человек. Стремление поработить публику, внушить ей свои идеи, быть ее учителем, ее руководителем, пророком выразилось у Вагнера именно через эту активную театральность.

«Волшебным» в Вагнере было именно его актерство. Действительно, вагнеровская симфония может действовать и сама по себе, в концертном исполнении, но подлинное свое значение она приобретает только на сцене. Оговорюсь, впрочем: может быть, сцена пока еще не поднялась до тех требований, которые ставил перед нею Вагнер.

Так, Толстой, когда ему захотелось посмеяться над условностями оперы, рассказывает с внешним простецким добродушием о людях в картонных латах, которые не говорят, а поют, широко открывая рты, бутафорских драконах и т. п. дешевой кукольной комедии.

Толстой, конечно, не прав, поскольку он пытается атаковать условность театра вообще: это еще вопрос, что нормальнее для человека, переживающего высокий подъем, для исключительного, захваченного большими событиями человека — разговаривать ли, может быть, еще пришепечывая и заикаясь, или петь, ковылять ли, спотыкаясь, как большинство мещан в реальной жизни, или танцевать. Но, конечно, Толстой прав, когда он отмечает декоративную убогость современной оперной сцены по сравнению с грандиозностью замысла Вагнера и с грандиозностью самой его музыки<sup>[201]</sup>.

Однако в том-то и дело, что музыка Вагнера немыслима без зрелища и слова, составляющих с нею единство.

Ведь это именно под влиянием Вагнера Ницше писал о двух началах театрального: начале дионисовском и начале аполлоновском. Дионисом является здесь сама музыка, само это кипение сил и страстей, сама

динамика и пафос. Но из этого кипения поднимаются как бы голубые пары, которые сгущаются в облака и, наконец, в человеческие образы аполлонийского значения. Музыкальный замысел воплощается в виде человеческих фигур, чувств, мыслей, поступков, слов, взаимоотношений, судеб, побед и поражений. Так рождается трагедия, театр. Быть может, самый идеальный слушатель-зритель Вагнера — это как раз тот, который, хорошо зная вагнеровское либретто и, может быть, увидев два-три раза намек на вагнеровское видение через посредство слабого сценического выполнения, может, закрыв глаза, видеть по-настоящему все изысканные, образные находки Вагнера возникающими в стройном хороводе под звуки роскошного в своем обилии и разнообразного в своем течении оркестра, включающего и человеческий голос.

## II

Образы Вагнера общи, это образы-мифы. Тангейзер в сияющей пещере Венеры, в тоске рвущийся прочь из сладостных объятий богини; девушка, обвиненная в страшном преступлении и брошенная без помощи, на защиту которой в последний час приплывает на гигантском лебеде окруженный сиянием святой рыцарь; дочери Рейна, с песнями снующие, как золотые рыбки в блистательных пучинах метафизической реки, вокруг золотого клада; крылатые валькирии в тучах и молниях, со своим бешеным кличем «Гойотого!» несущиеся на стихийных конях; меркнувший свет мира и грустный одноглазый гигант бог, который не может отвратить смерть от себя и своих; любовь, раздирающая с такой силой сердца людей, что она нечувствительно переходит в смерть и делает смерть подобной себе; умирающие, чьи глаза полны тоски и мистического наслаждения; раненный копьем Амфортас, гнойная язва которого не заживает, и лучезарный золотой Грааль, исцеляющий все страдания, и т. д. и т. д. Написаны сотни картин на вагнеровские сюжеты, и, может быть, еще будут написаны сотни.

Но Вагнер не только музыкант и актер (чем уже обусловлены предпосылки для создания им настоящего музыкального театра). Вагнер еще и глубокий мыслитель. Ему важна не данная ситуация, не данный герой сам по себе. Сквозь образы лиц и их взаимоотношения хочет он показать внутреннюю сущность жизни. Желая быть пророком, он не может ограничиться тем, чтобы волновать публику изображением событий. Он хочет, захватив этими событиями сознание человека, вырвать его из обыденности и взметнуть на высоту, с которой перед ним откроется смысл

бытия.

Вот почему такое огромное, хотя и придаточное значение имеет у Вагнера слово. Оно оразумливает, уточняет музыку. Вагнер-поэт — и крупный поэт, — необходимый сотрудник и помощник Вагнера-композитора.

Таков в общем Вагнер-художник.

Он необыкновенно содержателен, многообразен, един в своем многообразии, мощен.

Он труден для понимания. Он требует работы, вникновения. Недаром Ницше говорил, что он бывает в поту после того, как послушает оперу Вагнера. Слушать Вагнера для развлечения перед ужином — это величайшая безвкусица и варварство, мысль о котором приводила самого Вагнера в бешенство.

Вместе с тем остаются в значительной степени правильными упреки Ницше в том, что общая архитектоника произведений Вагнера перегружена и бароккально тяжела, что самое звучание его носит в себе нечто надрывное, сплошь экстатическое, насилующее наше сознание, выворачивающее, как говорится, душу наизнанку.

### III

Каждая гениальная личность всегда является результатом и отражением какого-нибудь глубокого социального сдвига. Какое же общественное явление вызвало к жизни такого великана, как Рихард Вагнер?

Рихард Вагнер начал свою музыкальную деятельность в 30-х годах прошлого века. Кульминационным пунктом его творчества было то, что он создавал свои произведения в период, непосредственно примыкающий к 1848 году. Но вслед за тем мы видим поворот в мировоззрении Вагнера: Вагнер меняет свои убеждения. Он становится совсем иным человеком.

Великие социальные явления, которым отвечала творческая фигура Вагнера, — это сперва возникновение и рост демократии в Германии, а затем срыв демократического движения. Он мечтал о самой полной, о самой законченной демократии. Его демократия переходила в бесклассовое общество, в социализм. Обо многом он думал приблизительно так, как у нас десятью-двадцатью годами позднее думал Чернышевский.

Владимир Ильич сказал как-то, что люди разных социальных групп и прослойек идут к пролетарской революции разными путями<sup>[202]</sup>.

Полный свет на тогдашнего, «первого» Вагнера проливают его теоретические работы, в особенности его книжка «Искусство и революция». Вагнер шел не от революции к искусству, а от искусства к революции. И это хорошо. Это значило, что он шел к революции из внутренних потребностей своего дарования и своей специальности.

Вагнер с ужасом смотрел на то, во что превращала буржуазия свой театр. Театр становился местом легкого развлечения, театр становился коммерческим предприятием. Это внушало Вагнеру настоящее омерзение. Припомните, что он с самого начала был человеком воли, мечтал стать пророком и пророчески, чрез художество властвовать над своим веком. Он хотел быть учителем своего века, он понимал крупного художника только как учителя века. Он думал, что пришло время, когда такой учитель должен осознать свою миссию, когда художник должен стать учителем не случайно, а сознательно. А поэтому и театр должен сделаться новым храмом. Это тут, в театре, народ должен создавать свои новые мифы, то есть воплощать в образы свои убеждения, свои цели, выковывать себя для борьбы, праздновать свои победы, учиться мужественно переносить временные поражения.

Художник-творец являлся, по Вагнеру, основным элементом театра. Но и все исполнители должны быть проникнуты величайшим сознанием серьезности искусства. Театр не есть символ фривольности, легкомыслия и времяпрепровождения. Театр есть в самом высоком смысле средоточие сознательной жизни народа — то место, в котором лучшее, чем он располагает, превращается в чистый металл образов и обратно влияет на него, организуя его силы.

Таково необычайно высокое представление Вагнера о театре. Опера «Риенци» была написана под сильным влиянием этих идей.

Вагнер был еще в значительной степени абстрактен и искал весьма общих образов для выражения своих идей. «Тангейзер» и «Лоэнгрин» не сразу раскрывают свою прогрессивную сущность; тем не менее, при некоторой темноте этих опер, они все же действуют на нас и сейчас.

Вслед за ними Вагнер задумывает грандиозное произведение. Он берет как материал основной миф древнегерманской литературы, миф о Нибелунгах. Он, однако, идет против того смысла, который вложила в этот миф создавшая его интеллигенция старых времен.

Корнями миф уходит, по-видимому, действительно в самые глубины первобытных верований. В основе его лежит судьба солнца с его постоянными помрачениями и воскрешениями. Если вы опишете эту судьбу, начиная с рождения солнца и до его смерти (с утра до ночи или с

весны до зимы), то вы получите прообраз мира пессимистический. Если же вы сделаете обратное, то есть начнете с процесса увядания солнца и дойдете до его нового воскрешения (появление победоносного сына, лучезарного героя, победа над смертью), тогда вы получите оптимистический извод всей вообще жизни, всей философии бытия.

Вагнер замыслил первоначально свою тетралогию в оптимистическом изводе. Основными величинами, которые противопоставлялись друг другу, были миф фатальный, миф, в котором все связано судьбою, даже сами боги, и постепенное развитие свободного человека, рожденного от свободной любви, выпавшей из рамок узаконенного брака (Зигмунд и Зиглинда), и развивающегося при особых обстоятельствах, закаляющих его самостоятельную волю. Этот самостоятельный человек, который слушается только своей собственной природы, оказывается тем винтом, на котором можно повернуть все судьбы мира. Это он может сокрушить в конце концов железную цепь судьбы, может принести в жизнь вновь молодость, радость и свободу.

Но Вагнер живет в капиталистическом мире и в ту революционную пору ненавидит крупную буржуазию, начинающую все больше и больше прибирать к рукам мир. Золото кажется ему настоящим ядом. В этом отношении он стоит на той же точке зрения, которую Маркс отмечал и хвалил у некоторых античных поэтов и у Шекспира<sup>{203}</sup>. Судьба — это прежде всего общая жажда золота, подчиненность жадности. Свобода Зигфрида — это прежде всего то, что он становится выше золота, выше жадности. Вот почему он приобретает не только черты анархической свободной личности, но и черты героя, освобождающегося от ига капитала.

#### IV

Энгельс роняет в одном месте, критикуя Штирнера, такое замечание: то что Рафаэль смог развернуть все свои дарования, это зависело от общественных условий его эпохи<sup>{204}</sup>. Это замечание, конечно, относится ко всякому художественному гению, в том числе и к Вагнеру.

Вагнеру не суждено было развернуть свое дарование по той линии, на которую он вступил. Нося в себе с самого начала мещанскую натуру, он благодаря огненному дыханию революции поднялся» на значительную высоту, и если бы это благоприятное революционное лето продолжалось, то, вероятно, созрели бы и все плоды, уже начинавшие наливаться на

ветвях этого могучего дерева. Под влиянием революции Вагнер писал бы главным образом песни борьбы и победы, песни, славословящие жизнь в этой борьбе, благословляющие природу и человека, ибо революционер — оптимист; революционер влюблен в природу и человека, в бытие; революционер — это тот, кто хочет и может переделать мир, то есть доделать его по-человечески, сделать из этой возможной арены счастья действительную его арену.

Но это не дано было сделать Вагнеру. Вагнер перешел на сторону реакции.

Тринадцать лет жил он в изгнании. Тринадцать лет колебался, все больше и больше, однако, омрачаясь.

Революция лежала на земле со сломанными крыльями.

Титаны, безмерно превышающие Вагнера силами своего духа, не растерялись. Они уже видели, что не мелкому мещанству, а только пролетариату предстоит настоящая победа. Они уже чувствовали, где родился Зигфрид. Они уже слышали, как на растущих заводах ковал он меч своей грядущей мести, как просыпался в его разуме ключ к пониманию «песен птиц» — вещей песен о законах социальной природы и о путях обновления бытия.

Таковы были Маркс и Энгельс, но не таков был Вагнер.

Однако вместе с тем Вагнер был человеком дела; это был человек ненасытной жажды славы, власти, влияния и, наконец, связанных с этим богатства и почета. Оправдывая самого себя всевозможными ухищрениями, старея, внутренне искажаясь, переживая глубокий, так сказать, молекулярный процесс перерождения, Вагнер шел по своему новому, ложному пути. На этом ложном пути много позора ждало Вагнера. Победившая крупная буржуазия создавала мощную Пруссию с ее капиталом и армией. Она шла навстречу победе над Францией, навстречу годам грюндерства, навстречу пышному расцвету милитаристического империализма, навстречу всем чванным триумфам вильгельмиады. И Вагнер становится националистом. Он пишет меднозвучные марши в честь победителей, и сама тяжеловесная форма его музыкальных произведений идет от той же самой пышности победоносного капитала, которая наложила свое тяжелое клеймо на многие улицы и площади Берлина.

На этих путях Вагнера ждало полное примирение с самым реакционным полюсом культуры — с правоверным католицизмом. Если Ницше страдал от этого и вновь возвращался к борьбе с Вагнером, стараясь объяснить причины падения своего бывшего кумира, то Маркс ограничивается, если не ошибаюсь, только одной, случайно оброненной

фразой по поводу байрейтских празднеств — этого «тупого торжества в честь казенного музыканта»<sup>{205}</sup>.

## V

Вагнер стал ренегатом. Ренегатство Вагнера есть тот перелом в его развитии, который вызван был переломом общественного развития. Общественные условия не позволили Вагнеру развернуть все свои дарования. Весь Вагнер второго периода, подаривший миру столько шедевров, есть на самом деле искалеченный Вагнер, отравленный Зигфрид.

Но ренегат ренегату рознь. Есть легкомысленные веселые ренегаты. Они охотно надевают золоченую ливрею нового господина.

Нет, Вагнер был не таков. Перейдя на службу к буржуазии, присмотревшись к новому миру, который открылся ему теперь с вновь занятых позиций, он внутренне ужаснулся.

Да, буржуазия победила. Но почему же излюбленный философ буржуазии, Артур Шопенгауэр, оказался пессимистом? Почему Гегель, стоявший в преддверии буржуазной эпохи, столько труда положил на то, чтобы доказать, что прусская буржуазная действительность совершенно соответствует разуму, а Шопенгауэр, обложивший Гегеля самыми презрительными ругательствами, стал доказывать, что вообще весь мир есть абсолютно неразумное? Это объясняется тем, что наиболее чуткие люди буржуазии прекрасно чувствовали того червя, который точил ее сердце.

Принципом буржуазии была жадность, жажда гешефта, жажда накопления. Принцип буржуазии — всеобщая конкуренция и растаптывание существований, расширение границ, нагромождение миллиардов на миллиарды.

Метафизическая «воля» Шопенгауэра есть лишь модель капиталистического духа. И Шопенгауэр учит, что эта воля никогда не знает удовлетворения. Она не знает наслаждения, она не знает отдыха. Либо она томится жадностью, либо она томится скукой. Ей нужно мучительное дело, напряженное, болезненное стремление, иначе она ввергается в чуждую ее природе апатию и томится оцепенением.

Но, учит Шопенгауэр, можно вырваться из этого ужаса. Вырваться можно через уничтожение всяких человеческих чувств в себе, через индусское стремление к нирване, и лучшим помощником в этом отношении является искусство, в особенности же музыка. Музыка есть точное

отражение мира во всей его сущности. Когда мы глубоко воспринимаем это отражение, мы освобождаемся от самой сущности. Искусство расколдовывает для нас мир. Сладостно погружаясь в искусство, мы тем самым, в сущности, погружаемся в смерть, в отдых от бытия, которое есть ад. Искусство — искупитель.

Быть может, Вагнер и сам пришел бы к весьма близким к этому выводам, но Шопенгауэр был налицо, и Вагнер примкнул к нему.

Чем же стал для него мир?

Мир, несомненно, осужден на гибель. Это, несомненно, траурное шествие к какому-то черному концу. Это шествие, полное взаимной борьбы, коварства, жадности, преступлений. Появляются и светлые личности, но они тоже осуждены на гибель. Они ничего не могут поделать с фатальным ходом событий.

Но подготовить торжественную смерть, победить бытие и в величавой, хотя и горестной задумчивости, отойти в ничто может лишь человек, просвещенный мудростью искусства. Вагнер берется за такое дело искупления.

Нет, не от зимы к весне пойдет теперь его тетралогия. Она кончится затмением солнца, она кончится гибелью мира. Свободный человек не сумел победить. Злые силы, оказывается, торжествуют. Но они торжествуют фактически, а морально, музыкально торжествует одно сознание фатума, покорность перед ним и жажда уйти от него, уйдя вместе с тем от жизни.

Еще надрывнее, еще ядовитее гласит об этом опера «Тристан и Изольда». Яд этот чрезвычайно сладок. Вагнер дает людям фиал любви и смерти, который является средоточием самой оперы.

Мы все выпили из кубка жизни — и вот живем. Жизнь сладостна, вершина ее — любовь. Она полна очарования, которое только художник может открыть для нас. Только художник может научить тому, как велик соблазн жизни, как непомерен увлекательный обман, который, как солнце, светит в призрачном мире бытия. Но честный художник должен открыть нам также, что любовь есть смерть, что все бытие, как воронка водоворота, устремляется к уничтожению. Художник должен не ужаснуть нас этой перспективой, а заставить нас благословить ее как исход.

Такова индусская, такова христианская, такова азиатская художественно-музыкальная моральная проповедь Вагнера. Таково черное, губительное «пророчество» нового Вагнера. И он еще ставит точки над «I», когда, постарев, опускается, по выражению Ницше, к подножию креста, когда он в «Парсифале» создает вариант католической мессы.

Круг завершен. Революционер стал реакционером. Взбунтовавшийся мещанин целует туфлю римского папы, стража порядка.

## VI

Как же нам отнестись к Вагнеру? Быть может, нам отбросить его, раз он реакционер? Быть может, нам сказать: от сих пор до сих пор? Некритически принять первого Вагнера, забыв, сколько в нем примесей и незрелости? Или нам совершенно выбросить второго Вагнера, забыв, какую мощь музыкальной фактуры, какое красноречие в выявлении чувств, какое яркое искусство создал этот попавший в плен реакции гений?

Ни то, ни другое. Нам не простилось бы, если бы мы не умели анализировать, если бы мы выбросили богатый золотом песок только потому, что на первый взгляд золотых крупиц там очень мало. Нам не простилось бы, если бы мы приняли за вполне пригодный материал кусок металла, внутри израненный и нечистый. Наш анализ не может манипулировать целыми творцами, целыми опусами. Мы должны идти глубже. Дело социалистического освоения Вагнера — чрезвычайно тонкое дело. Горе тому, кто обеднит мир, перечеркнув Вагнера цензорским карандашом. Горе тому, кто впустит этого хитрого волшебника, этот талант, заболевший дурною болезнью, в наш лагерь и кто, как в известном стихотворении Гейне, позволит чумному титану прижаться своими устами к лицу молодой пролетарской культуры.

Осторожность! Карантины! Внимательная проверка багажа! Уяснение» что к чему! Ни тени механицизма! Химическое разложение! Умение указать, как сплетено противоречивое; умение с силой физиологически здорового организма отделить питательное от безразличного и вредоносного!

Мы должны в этом смысле, иной раз пользуясь как раз юбилеями, судить строгим и пронизательным пролетарским судом все прошлое и всех великих творцов тех ценностей, наследниками которых мы являемся.

Здесь мы найдем самые разнообразные взаимоотношения. Мы встретим в прошлом великих наших предшественников и учителей, которым только время от времени незрелость их эпохи мешала подняться до всей полноты понимания, которые с весьма небольшими изменениями могут быть целиком и со славой допущены к сотрудничеству живых.

Здесь могут повстречаться мнимые великаны, величие которых является либо пустым и надутым, либо находящимся в связи со служением

таким классам, успехи и интересы которых были прямо враждебны развитию человечества. Мнимая слава подобных знаменитостей будет сорвана с них суровым и правдивым историческим анализом.

Но чаще всего мы встретим как раз такие смешанные величины, как Вагнер, в которых положительное и отрицательное тесно переплетено и как бы вошло в химическое соединение одно с другим.

Здесь работа, конечно, наиболее трудна. Здесь наиболее легко ошибиться в ту или другую сторону. Эта работа требует знания дела и в смысле знаний исторических и культурных и в смысле знаний специфики той области, в какой работал данный мастер.

Я, разумеется, и не думаю пытаться здесь произвести такого рода анализ. Для этого нужна огромная работа специалиста. Мне хочется лишь наметить кое-что из очевидных плюсов и минусов великого немецкого музыканта.

Прежде всего самое звучание вагнеровской музыки, насыщенность, богатство, мужественность, разнообразие, страстность психологическая и акустическая пленительность его музыкальной ткани. Тут можно многому учиться у Вагнера. До него мы редко находим такую интенсивность и щедрость, такую глубину и густоту музыкального потока. После него мы редко находим такую целостность, такое единство, охватывающее целые огромные музыкальные миры, редко находим такую продуманность и прочувствованность каждой музыкальной фразы, каждого аккорда. Виртуозная нарядность, скажем, у Рихарда Штрауса больше, чем у Вагнера; сложность созвучий и тембров, скажем, у Малера еще изощренней. Но как будто вершина патетической музыки миновала, словно эти музыканты только подражают настоящей жизни.

Музыка Вагнера носит необыкновенно величественный плащ. Плащ крупнейших патетиков после Вагнера еще величественней, но под этим плащом нет больше богини, которая жила под ним у Вагнера. Это богатство, серьезность и — в смысле музыкальных идей — осмысленность музыки завещаны Вагнером дальнейшим векам.

Так же точно соединение в Вагнере мыслителя-музыканта и мыслителя-поэта, притом именно драматурга, сделало из него до сих пор, по-видимому, высочайший образец глубокой слиянности музыки и литературы. А это нам тоже нужно. Это нам *будет* очень и очень нужно.

Свою высокую музыкально-драматическую силу Вагнер мог иногда отдавать на служение идеям неправильным, даже вредоносным, делая тем самым эту силу ядовитой; но он никогда не принижал ее до отражения мелочного, никогда не унижал ее до тривиального, до случайного.

Изображал ли он любовь или бешеную ненависть, жадность и властолюбие или полет к свободе и т. д., он вкладывал все это в импонирующие большие образы и возвышал до таких обобщений, которые делали изображаемые им чувства общезначимыми. Такое умение подымать искусство, подымать театр до высокой значительности и художественной абстракции, но абстракции не тощей, а охватывающей конкретность, суммирующей ее, делающей ее понятной и важной, — это умение весьма нужно и нам, и мы обладаем им в очень малой мере, что прежде всего доказывается тем, что нашим поэтам и композиторам не удалось еще дать крупную оперу наших революционных страстей, нашей мировой борьбы.

# Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

*(Музыкально-критическая фантазия к двадцатипятилетию со дня смерти)*

Первая публикация в газете «Известия» № 154 за 1933 г. Статья включена также в посмертные сборники А. В. Луначарского «Юбилей» (1934) и «В мире музыки» (1958).

.....

Н. А. Римский-Корсаков принадлежал к числу величайших музыкантов не только нашей страны, но и Европы вообще. Самый момент его пышного музыкального роста очень достопримечателен. Это был один из золотых моментов в развитии некоторой, не обинуясь можно сказать, лучшей части нашей интеллигенции. Это был момент народничества в самом широком смысле слова. Тогда много выступило крупнейших писателей-народников во главе с такими гигантами корифеями, как Щедрин, Успенский; тогда выступили «передвижники», оставившие славные страницы в развитии нашего изобразительного искусства; тогда же в музыке зазвучали произведения «Могучей кучки».

Многие тогда уже не только не стыдились, но и гордились тем, что берут для своего творчества возможно больше красоты у народа, берут возможно больше накопленного им, но скрытого под его нищенским рубищем. Делал это и Римский-Корсаков. Именно тогда выдвинулся благородный национализм, совсем непохожий на ту «народность», которую сочетали обычно с православием и самодержавием. Национализм интеллигенции 60-х годов — это была гордость своим народом, несмотря на внешнее убожество его, заставившее Чаадаева с гордым презрением отречься от его истории.

Стремление доказать, что при вынужденном убожестве народ, крестьянство в первую очередь, богат какими-то внутренними силами, что

в нем таится бездна талантливости, что в нем спят громадные возможности, — в этом было спасение от спячки и недовольства собою.

Правда, все это у Римского-Корсакова не было так глубоко, как у других музыкантов его группы (в особенности у Мусоргского), но тем не менее и у этого композитора были черты, выдвигавшие его в некоторых отношениях на самое первое место. Не обладая большим мелодическим даром, он владел умением необыкновенно ярко и изящно варьировать свои мелодии и в особенности умением инструментовать их с неслыханным блеском. Притом это был настоящий евразият. С одной стороны, в отношении богатства и изощренности инструментовки он не уступал ни Берлиозу, ни Рихарду Штраусу, ни Малеру. С другой стороны, в нем постоянно звучала «азиатская мелодия», шелковая, парчовая, сказочная, загадочно заманивающая и ласкающая азиатская роскошь.

Прибавим еще к этому своеобразную «идейность» Римского-Корсакова. Он не был настоящим передовым шестидесятником или семидесятником. Но он легко умел сочетать свою музыку с большим сюжетом в опере или словами прекрасного стихотворения в романсе. Можно пожалеть, что такие сказки, как, например, «Кашей Бессмертный», редко даются на нашей сцене, и что мы почти не знаем его великолепную ораторию «Млада».

В той статье, которую я предлагаю сейчас вниманию читателя, я пользуюсь моим привычным методом. Предоставляю музыкантам-специалистам разобраться прямо и непосредственно, путем критики, в наследии Римского-Корсакова. Сам я пишу небольшую критическую фантазию. Мне кажется, что для моих целей, сущность которых сейчас же станет понятна читателю, как только он прочтет первый отрывок, этот метод — очень подходящий.

Укажу на прецеденты. Так писал Гофман (Кавалер Глюк, Крейслер), так писал Гейне (Паганини), такой характер носят отдельные вдохновенные страницы «Жана Кристофа» Ромен Роллана, некоторые музыкально-критические сцены Вагнера (соревнование певцов из «Тангейзера» и целый ряд сцен из «Мейстерзингеров»), сюда же, по-моему, относится и стихотворение Гюго об орле и лебеде, направленное, правда, не на музыку в полном смысле слова, а на музыку стиха больших поэтов.

Я считаю гениальным примером музыкально-критической фантазии пушкинского «Моцарта и Сальери», в известной степени «Певцов» Тургенева и некоторые страницы «Слепого музыканта» Короленко.

Когда я вызвал в своем воображении покойного Николая Андреевича,

он явился передо мной, длинный и сухой, в необычайно корректном черном сюртуке и джентльменском галстуке, с длинным, под стать фигуре, желтоватым и костлявым лицом о седой бороде волшебника и с глазами, скрытыми за блеском очков. Над пергаментным и угловатым лбом ежик седины.

Он был как будто бы недоволен чем-то. Был натянут и сух, словно сухость его фигуры простиралась и на его характер или по крайней мере настроение.

Некоторое время я смотрел на это, вызванное мною видение, стараясь вложить в него столько жизни, сколько мне могло удасться на основании моего сочувствия и моей любви к этому сухопарому человеку.

— Дорогой Николай Андреевич, — сказал я ему, — мне хочется поговорить с вами не о том вашем мастерстве, которое относится к высокой выучке, а о том, которое сделало вас одним из самых великих волшебников нашей страны, да и всего цивилизованного мира.

Николай Андреевич продолжал молчать, и очки его смотрели куда-то в сторону.

— Недавно я пережил юбилей Вагнера, — продолжал я, — и мне вспомнилось, что его поклонник сначала, враждебный критик потом Фридрих Ницше очень настаивал, что он — волшебник. Когда я смотрю на вас, так похожего на какого-то звездочета или кудесника даже по наружности, я никак не могу защититься от мысли, что и вы волшебник.

Николай Андреевич продолжал смотреть в сторону все так же недружелюбно. Он сложил руки так, что длинные пальцы переплелись между собой, и сказал:

— Все музыканты — волшебники. Музыка по своему происхождению была родом магии, и до сих пор ее основа еще далеко не разъяснена.

Я торопился объясниться.

— Мне вовсе не хочется, — сказал я, — дать вам повод думать, будто я вмещаю в понятие музыки вообще или вашей музыки в частности какую-нибудь мистику. Ничего подобного. Для меня слово «волшебник» имеет скорее метафорический характер, который я и хотел бы выяснить вместе с вами. Что же касается ваших слов, что в музыке еще остается кое-что таинственное, то таинственность эта вовсе не имеет какого-нибудь потустороннего характера, а является лишь результатом недостаточного еще проникновения нашего в эту область социального человеческого творчества.

Под усами Римского скользнула улыбка.

— Марксизм? — произнес он.

— Ну да, конечно, — сказал я. — Я вызываю вас в моем воображении, дорогой человек, которому я обязан многими и многими часами высокого наслаждения, чтобы как можно четче вот в этот час, когда я хочу пережить двадцатипятилетие вашей смерти, отдать себе отчет в том, кто вы, собственно, такой. И вот что я об этом думаю.

— У-гу, — сказал суховато мой воображаемый гость и сел в кресло. Он приготовился слушать.

— Вы для меня, дорогой Николай Андреевич, великий волшебник прекрасной поверхностности.

Он медленно повернул голову в мою сторону, и мне показалось, что он смерил меня взглядом из-под очков.

— Это еще что такое? — спросил он с оттенком удивления.

— Вы не сердитесь, пожалуйста, я стараюсь быть до крайности искренним с собой самим, определяя то ценное, что я в вас нашел. Вы великий и поистине волшебный, — это слово я употребляю для выражения изумления перед вашими, превосходящими всякую норму силами, — орнаменталист.

Лоб Римского-Корсакова слегка нахмурился.

— Бывают, конечно, разные орнаменталисты. Можно взять какое-нибудь тело, вернее, какую-нибудь поверхность, и более или менее независимо от ее природы изукрасить ее. Это тот дурной орнаментализм, который так вреден в архитектуре. Архитектор, не умея построить здание, которое импонировало бы своими пропорциями, красотой своей конструкции, размалевывает его и раздраконивает, и, на некоторые вкусы, здание кажется красивым. Тут «украшение» является, собственно, родом обмана. Так была, должно быть, украшена лягушка, о которой Собакевич говорил, что он ее не станет есть, «хоть ты ее сахаром облепи». Я, разумеется, не об этом говорю. Я говорю о великой задаче украшать окружающее — «ornare». Настоящее украшение окружающего — украшение среды, в которой мы живем, и нас самих — не должно впадать в ту фальшь, о которой мы только что упомянули, а должно исходить из *понимания* этого окружающего. Орнамент, то есть то, что человек прибавляет к найденному объекту, должен быть в высоком соответствии с этим найденным. Он должен как бы выяснять его сущность, но выяснять так, что человек при виде того же объекта, мимо которого он только что готов был пройти равнодушно, при взгляде на него в этом его «изукрашенном» виде начинает радоваться, доходит, может быть, до ликования, чувствует, как прекрасен мир и как прекрасна жизнь.

Вы, вероятно, помните, Николай Андреевич, что в своей эстетике

Чернышевский доказывал, будто действительность выше искусства<sup>[206]</sup>. С известной точки зрения эго, конечно, верно. Искусство есть дело рук человеческих, а действительность — если приравнять ее ко всей диалектически развертывающейся материи, то что же может быть выше ее? Ведь все, что ни есть — есть только ее часть, ее порождение. Но с известной точки зрения это не так. Недаром Маркс говорил о том, что в области философии мы отличаемся от всех предшественников тем, что они философствовали для того, чтобы истолковывать мир, а мы — для того, чтобы его переделать. Но что это значит — переделать мир? Это значит переустроить по крайней мере ту его часть, которая к нам ближе всего и которая нас ближе всего затрагивает, соответственно нашим интересам, соответственно интересам бесклассового человечества. Это значит — организовать его таким образом, чтобы мы как нельзя более легко раздобывали в нашей среде все наиболее необходимое для нашей жизни.

Николай Андреевич, вы лучше всякого другого понимаете, что просто жить — не стоит. Жить стоит только тогда, когда жизнь есть счастье, когда жизнь ощущается как нечто глубоко положительное и все растущее в этом положительном смысле — нечто постоянно улучшающееся. Так представляем мы себе жизнь нашу и наших ближайших потомков. Ну, так вот, сюда относится, очевидно, такое видоизменение окружающей природы, которое сделало бы ее как можно более человеческой, которое придало бы ей свойство вызывать в нас максимальную радость. «Земля должна быть превращена в сад», — говорят нам. Это только суммарное и очень неточное выражение для того, чтобы указать, что землю, как некий великий сырой материал, мастер-человек, человеческий коллектив возьмет в свои могучие руки, чтобы превратить ее в некий шедевр и потом постоянно вновь претворять ее, согласно своему внутреннему росту. Это будет значить постоянно украшать мир — «ornare».

Тут, дорогой Николай Андреевич, и общественные и экономические задачи человечества совпадают с задачами художественными.

— Но при чем тут поверхностность? — сказал Римский, устремив на меня незримые из-за очков глаза.

— Поверхностность — это *ваша* черта, — ответил я. — Это не черта каждого вообще художника, но в ней нет ничего, что вас снижало бы. Мне представляется, что ваше отношение к миру было таким...

Я на минуту задумался, чтобы подобрать подходящие слова. Римский-Корсаков заложил ногу на ногу и промолвил:

— Послушаем...

— Вас, собственно, не очень интересовало, что такое сам по себе мир,

что такое человек... Вы не очень горевали человеческими горестями, вы не очень горели человеческим гневом, вы не очень устремлялись к человеческим надеждам. Вы очень рано почувствовали в себе замечательное свойство, замечательное мастерство, замечательный чародейский дар отражать внешний мир в музыке так, чтобы он сохранял некоторые свои реальные черты, но вдруг одевался необыкновенными радужными красками, начинал играть, как самоцвет, искрился золотом, становился праздничным и нарядным. В этом праздничном и нарядном мире могла сохраняться не только

*Высота ль, высота поднебесная,  
Глубина ль, глубина — океан-море,*

не только горы и долины, не только люди и звери, но даже человеческая любовь и человеческое страдание.

Все это претворялось в такую звонкую, в такую подкупающую, в такую убедительную красоту, что отрицательные черты: жалоба обиженной девушки, кораблекрушение на море, отчаяние грешника, думающего, что он отпал от самой природы, — все это видится как будто сквозь жемчужный туман этой красоты. Все это не мучит, а художественно радует. Этот дар вам очень полюбился, вы в нем, так сказать, растворились.

Вот — простите меня, Николай Андреевич, — вы и сейчас сидите такой сухой и чопорный, в вас как будто мало мяса и крови, в вас есть что-то такое, напоминающее Кащея...

Он засмеялся.

— Но это потому, что вы действительно как-то минимально включили в самое существо свое все «человеческое, слишком человеческое», вы его отбросили в иную сферу вашего бытия, именно — в ваше музыкальное бытие, ваше творчество. Там оно живет очень ярко, очень буйно иногда, но — не рая...

Позвольте мне привести несколько доказательств тому, что вы великолепно поверхностны. Вот, например, ваше отношение к народу, своеобразному эстетическому народничеству — к богатому использованию фольклора, что было так характерно для всей вашей «Могучей кучки». В крестьянском музыкальном творчестве вы нашли как бы какие-то сверкающие руды, какие-то ослепительные россыпи драгоценных камней, какие-то, одевающие дно целых рек, груды бурмитского зерна. Да, да, я очень хорошо знаю, что вы великолепно владели ладами, выражаясь

простецки, и минором и мажором народной песни — ее веселыми и горестными настроениями, вы необыкновенно мастерски черпали из ее родников. Но вы это делали потому, что всеми этими самоцветами, еще выигравшими от вашей умелой полировки, от вашей шлифовки великого ювелира, вы могли расшивать те парчовые ризы, те бархатные одежды, в которые вы одевали жизнь и к которым, в главном, сводится ваша музыка.

Очень редко полнота народного горя, какая-нибудь чрезвычайно сильная патетика могла проколоть ту блистательную скорлупу, в которую вы одевали народное чувство, пользуясь гораздо больше формальным народным творчеством, чем реальными социально-психологическими переживаниями безумно скорбной и в самом богатстве своей души почти ужасающей русской деревни вашего времени...

Наступила небольшая пауза. Мне казалось, что он хочет возразить что-то, но он молчал.

— Или возьмите другое — ваше отношение к религии. Право, Николай Андреевич, я не знаю — религиозный ли вы человек? Вероятно, со всячинкой: не то чтобы атеист, не то чтобы очень православный... Но меня это сейчас не интересует. Вы, во всяком случае, создали то, что считается шедевром религиозно-философской русской оперы, вы создали ваш изумительный «Град Китеж»<sup>{207}</sup>. Но, простите меня, Николай Андреевич, я ни одну минуту не верю в действительную глубину религиозных чувств, которые там развертываются. Когда я слушаю «Китеж», я припоминаю одного замечательного знатока и любителя старой русской школы. Он любил не только живопись, он любил всякую басму, финифть, ризы из золота и серебра, раззолоченную деревянную резьбу, и в его коллекции стояли целые маленькие иконостасы, всякие врата, алтари и жертвенники, висели паникадилы, прислонялись к углам хоругви, дикирии и трикирии и архиерейские посохи, но человек этот был абсолютным атеистом — не убежденным или фанатичным, а просто абсолютным, без всякого самонаименования чувства чего бы то ни было божественного.

Я знаю, что вы хотите мне сказать. Вы хотите сказать, что вы создали проникновенный образ девы Февронии, что вы создали почти вагнеровской силы, но славянский, православный образ многогрешного Кутерьмы. Неубедительно это, Николай Андреевич. Разумеется, всякие богомольные старушки или уязвленные действительностью мнимые интеллигенты могут чуть не молиться в театре, когда идет «Китеж». Они относятся к нему, как к необыкновенно пышной литургии, не очень вдумываясь ни в прелесть ее музыкальной формы, ни в «глубину» ее философской мысли. Но кто захочет вдуматься в эту глубину философской мысли, увидит, что она

ужасно поверхностна. Концы с концами не сведены никак. Малейшая попытка перевести философию, звучащую в «Граде Китеже», на язык понятий обрушивает ее в ряд неумных противоречий. Православие вообще вещь неумная, а ваша православная опера — *очень* неумна; но она может сойти за нечто большее, чем ум, потому что она одета в такие неслыханно прекрасные, такие вдохновенные по своей захватывающей красивости одеяния...

...Или еще одно. Возьмем ваше отношение к Мусоргскому.

Мой собеседник нервно закачал ногой, положенной на колено другой ноги.

— Ну-с, — сказал он.

— Вот посмотрите на эту «Могучую кучку», которой вы были украшением. Тут есть всякие люди, и сейчас мы не будем тратить минуты этого драгоценного для меня часа на их поминки. Но вот, видите вы, — Мусоргский. Вот он, каким увековечила его кисть Репина — одутловатый от спирта, с расстегнутым воротом, тяжелый, нечесаный, нелепый и... глаза, совершенно необыкновенные глаза, хотя и не совсем нормальные, хотя и подернутые хмелем, но такие изумительно внутренне зоркие, такие одновременно нечеловечески проникновенные и задумчивые. Под стать ему было и его творчество, «Борис», которого он взял у Пушкина и еще сам развил и переделал. Вот посмотрим, как выглядит муза Мусоргского — та муза, которая создала «Бориса». Она похожа на самого творца. Вы видите — она тоже неуклюжая, могучая и не нашедшая себя. Ее ноги обуты в лапти, ее посконная, одежонка грязна, но на плечах ее лежат золотые бармы и на голове и спутанных волосах — шапка Мономаха. Она каждую минуту может разрыдаться. Она каждую минуту может пуститься в хмельной пляс. С ее уст может сорваться глубочайшая мысль, страстная молитва о пощаде, о мире, о гармонии. Она сознает весь ужас переживаний так называемой избранной личности, которая на путях собственного великого хищного эгоизма разрушает чужое и свое сердце. Она с неистовым пониманием вслушивалась в родное ей неизбывное горе народа, который «безмолвствует» и на спину которого положены тяжелые плиты соборов и теремов, где золотые и серебряные попы и бояре творят политику. Но она может быть и совершенно бездумной, она может самозабвенно увлекаться разудалым моментом. Все вместе не приведено к единству. Все это отражено в музыкальной стихии, в музыкальной стихии непомерной значительности, несравненного богатства и бесконечно *человеческого* горячего мироощущения.

Но как раз там, где начинается внешнее в музыке, там, где дело идет об

окончательной формовке, об одежде, об инструментовке, муза Мусоргского свежа, и ценители, может быть, найдут в ней свою прелесть, но она диковата и иной раз явно беспомощна. Она в азарте атакой берет трудности. Она зашивает шпагатом прорехи и ставит яркие заплаты.

И вот этого «Бориса» — или, скажем для большей пластичности, эту музу привели к вам, дорогой Николай Андреевич, и сказали: «Причеси и приодень, а то не только в Европу пустить невозможно такую «Дуньку»<sup>{208}</sup>, но даже в императорских театрах она выглядит слишком мочально».

И тут вы превращаетесь в необыкновенного маэстро-парикмахера, в такого волшебного сверх-Фигаро; вокруг вас зеркала, которые тысячекратно отражают жесты ваших сухих рук, вооруженных то ножницами, то щипцами, и страдальческое, мудрое лицо «дамы», которой вы служите куафером. Блестят всевозможные, западного образца, приборы и сосуды, содержащие в себе и электрическую энергию и тончайшие ароматы.

Необыкновенно мудро убираете вы, орнаментируете вы музу Мусоргского. Вы не посягаете ни на что более глубокое в ней: она остается похожей на себя самое, она остается похожей на своего странного отщепенца отца. Но тем не менее она прилично одета, тем не менее она для всякого стала привлекательна. Кто может понять ее внутреннее достоинство, пусть поймет, и его не оттолкнет больше ее внутреннее неряшество...

Народ, религия, гений — вот очень крупные стихии, с которыми вы встретились, и каждый раз вы ответили блистательной, победоносной, изумительной, неподражаемой поверхностью.

Опять минута молчания. Наконец он возразил. Очень неохотно.

— Спорить не буду. Мертвые не спорят. На меня можно плести все что угодно. Какой бы живой призрак когда-то жившего на свете Римского-Корсакова вы ни создали в своем воображении, он не сможет вам ответить того, что мог бы ответить живой мозг самого Римского-Корсакова. Но во мне, в том воображаемом существе, которое вы создали из себя самого, есть что-то от того меня, которого здесь представляет эта моя тень, и от имени этого начала — повторяю, не споря — спрашиваю вас: зачем же и почему же вы говорили мне о том, что вы меня любите, что вы меня цените, между тем как оказывается по всем вашим утверждениям и всем вашим примерам я в конце концов что-то вроде формалиста? А я знаю, каким тоном произносится слово «формалист» вами и вам подобными!

— Николай Андреевич, — возразил я, — вы в заблуждении.

Формалистами мы называем тех, кто отрицает значение жизненного содержания в художественном произведении, у кого фактически форма и, субъективно, любовь к форме перерастают все остальные стороны творчества — или, скажем, принимая во внимание некоторое ворчание на это слово нашего великого мастера Горького, — *работы* художника. В этом смысле вы не формалист, хотя и замечательнейший художник формы. Содержанием для вашей поверхностности, как я уже сказал, является сам мир, действительная жизнь. Вы только хотели и смогли представить его необыкновенно красивым, и в этом, конечно, есть нечто рискованное.

Если бы кто-нибудь поверил вам, что он так красив, то, пожалуй, не пришлось бы бороться за то, чтобы его переделать. Но на земле ведь никто этому поверить не может — ни один настоящий, серьезный строитель и борец. Зато всякий настоящий строитель и борец любит радость, любит надежду, любит поэтому прекрасное. Недаром великий вождь наш — *Ленин* — прямо так и сказал, что «красота нужна».

Да, красота нужна. Во-первых, та частичная красота, которую мы находим вокруг себя, нас утешает, нам дает бодрость, является как бы бокалом эликсира, восстанавливающего наши силы в крови битвы или в поту работы; а во-вторых, когда вы показываете нам мир таким красивым, то мы чувствуем, что он *может* стать таким, что он *может* стать даже еще лучше. Вы показываете звездный путь, длинный, ведущий вверх блистательный путь, все более блистательный, чем выше он поднимается, и не путь фантазии, не путь мечты, ибо для нас — это путь практики. Для нас почувствовать в ваших произведениях, как красив мир, и потом, оторвав глаза от ваших буйных узоров, увидеть убожество тех или иных частей среды — не значит-ни отчаяться, ни пожелать еще гашишу, а значит укрепиться в своей программе, в своем огромном «да будет», в своем коллективно-волевом «мы сделаем».

Он молчал.

— Нет, — сказал я, — пролетарской музе, которая еще недавно родилась, очень необходима красота. Совершенно ошибаются те, которые думают, что ей, как рожденной в бедности девчонке, прилично только серое тряпье да грошовые игрушки, притом возможно более утилитарного характера. Нет, она с детства должна любить красоту: краски, звуки, линии, переживания в их максимальном развитии, в их прекрасных сочетаниях.

Дайте мне руку, Николай Андреевич, пройдем вот сюда. Вот колыбель, качалочка, зыбка, где лежит наша пролетарская муза. Вы видите, какие у нее розовые щеки и какие звездоподобные глазки? Она еще младенец, но она будет расти с колоссальной быстротой и перерастет всех своих

старших сестер.

Старый волшебник, закрыв галстук своей длинной бородой, смотрел сквозь очки на дитя, потом он потянулся своей худой рукой за борт своего корректного сюртука и из бокового кармана вынул великолепную гремушку из слоновой кости и золота. Гремушка была украшена развевающимися лентами пролетарского цвета. Он протянул ее ребенку.

— На! — сказал он почти сурово.

Девочка схватила гремушку и быстро замахала ею перед собой. И тогда раздались изящные, веселые, танцующие звуки.

Что это?

Это была «Шехерезада».

Из того, что написано мною выше» видно, что я считаю музыкальное наследие Римского-Корсакова важным для нас, для построения нашей пролетарской музыкальной культуры. Это никого не должно удивить. Не надо думать, что главная задача наша при критическом освоении прошлого заключается в том, чтобы как можно больше охаять, как можно больше отвергнуть. В большинстве случаев такие «охаивания» впоследствии мстят за себя. Хулители, которые хотят казаться вооруженными марксово-ленинским методом, зачастую оказываются просто мелюзгой, а похороненные ими художники воскресают под аплодисменты подлинного пролетариата как близкие или, во всяком случае, значительные для нас творцы. Нам как можно больше нужно сохранить из того действительно прекрасного, что создано было прошлым в культуре, хотя это, — как подчеркивает Ленин, утверждая как раз ту мысль, о которой я сейчас говорю, — и было создано обществом капиталистов, помещиков и чиновников.

Критика — вещь чрезвычайно важная. Мы должны отдавать себе твердый отчет в том, что является плюсом и что является минусом в том или другом большом музыкальном художнике. Но главное наше внимание должно быть направлено на то, чтобы как *можно меньше упустить действительно ценного.*

Больше всего мы должны бояться исключительности.

То вдруг являются перед нами люди, которые заверяют, что Чайковский — композитор женственный, меланхоличный, чуждый нам, поэтому — «долой Чайковского», а на поверку выходит только смешно и глупо. То вдруг заявят, что нам не нужен Шопен, приблизительно по тем же соображениям, и опять выходит смешно и глупо. То, наоборот, в отношении положительном нас заставляют вдруг видеть только все

«высоко мусоргское». Мусоргский велик, но совсем не полностью он наш. В нем как раз очень много такого, что нужно критиковать. Он, во всяком случае, не вся музыка. То вдруг так же точно начинают танцевать вокруг действительно самой высокой вершины музыки, какая существовала до сих пор, вокруг Людвиг ван Бетховена, но танцевать таким образом, будто бы ни до него, ни после него в гигантском кряже горного хребта музыки человечества не было ничего кроме холмов. То вдруг вспоминают, что Бетховен все-таки буржуа, и начинают совершенно некритически применять к этому неуступчивому, терпкому гению наиболее революционной части мелкой буржуазии те общие соображения, которых нельзя найти у Маркса и Энгельса даже по отношению к великому оппортунистическому его современнику — Гёте и другим, ему подобным. А ведь это все равно, как если бы мы применяли, скажем, одинаковые методы оценки для доказательства неустойчивости и непоследовательности, скажем, Тургенева, с одной стороны, и таких наших предшественников, как Чернышевский и Добролюбов — с другой.

Не желая вмешиваться в дело, которое должно принадлежать специалистам-музыкантам, мы, искусствоведы, социологи искусства, марксисты-ленинцы, критики, рассматривающие различные художественные ценности в связи с общей культурой, оставляем за собой право вносить иногда довольно резкие поправки в такого рода суждения специалистов-музыкантов. Мне кажется, довольно настрадались наши консерватории, наши оперные театры, наша публика от разного рода амбициозных людей с ограниченным кругозором, с врожденной антипатией ко всему яркому, замечательному, людей, склонных к тому, чтобы только скрепя сердце (или, как иногда говорится, «скрипя сердцем») допустить того или другого *mattr'a*, блистать, словно признание каждого нового гениального художника может омрачить их собственные, весьма иногда скромные и даже сомнительные «произведения».

# ГОГОЛИАНА

## НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПРИГОТОВЛЯЕТ МАКАРОНЫ

Первая публикация (посмертная) в газете «Известия» № 78 за 1934 г. В том же году включена в сборник А. В. Луначарского «Юбилеи». Печатается по тексту сборника.

«Гоголиана» — первая из трех частей, из которых должна была состоять эта работа о Гоголе<sup>[28]</sup>.

.....

Примечание 1. Иногда, когда собиралось приятное для Гоголя общество, он сам с некоторой торжественностью и некоторым юмором готовил для всех макароны по-итальянски, пересыпая этот процесс всякими шутками.

Примечание 2. Нижеследующее можно признать как бы за запись сна. Лучше всего признать эти страницы за то, что они и есть: за творческое и критическое сновидение, вызванное острым и огромным явлением — Гоголем.

.....

Я очень торопился, чтобы не опоздать, и все-таки опоздал.

Я вошел, запыхавшись, и сердце у меня колотилось.

Большая комната была по-своему ярко освещена, но после наших «электрических» привычек казалась скорей полутемной.

На огромном столе, расставленном «покоем», было всего четыре большие керосиновые лампы. Ведь и их Николай Васильевич не любил. «Вот придумали лампы, — говаривал он, недружелюбно поглядывая на них, — а стали ли от этого счастливее?»

Зато на столе стояло множество разного рода канделябров и подсвечников, так что все было залито нежным и трепетным, как бы мотыльковым, ласковым мерцанием восковых свечей.

Сразу трудно было охватить всех сидящих за столом. Но, в сущности, каждый был достаточно освещен.

Тут были и современники Гоголя, и более поздние русские люди, и кое-кто из наших современников.

Мне тем труднее было сразу ориентироваться, что Николай Васильевич, очевидно, был шокирован моим опозданием и следил за мной холодно и тяжело тем недоверчивым взглядом, которым он встречал «чужих», явившихся среди «своих».

Не совсем приятное интермеццо быстро прервалось потому, что один из гостей указал мне на стул около себя. Тем самым весь стол оказался заполнен. Тут уж я мог спокойнее оглядеться.

Времени рассматривать гостей у меня не было — мое внимание сосредоточилось на Гоголе.

Он сидел посредине главной полосы стола, около него толпилось человек пять прислуги и смешно стояла разная утварь, придавая всей сцене какой-то тривиально фантастический характер.

На одном табурете в большущем куске сахарной бумаги лежали макароны, длинные и сухие, как хворост, на столе стояла соль, и совсем рядом с Гоголем казачок лет четырнадцати тер на жестяной терке большие куски издали похожего на старый воск пармезана. Но смешнее было то, что около Гоголя, несколько позади него, стояли две большие жаровни. Синезытый дым тянулся от них в открытое окно и в сад, полный сирени.

На одной жаровне кипело масло, на другой — вода в большом кагане.

Мимолетная досада, вызванная в Гоголе моим опозданием, рассеялась. В общем же он был в необыкновенно хорошем настроении.

Соответственно тому был он и одет.

Волосы Гоголя на этот раз были завиты, и клок впереди поднят довольно высоко в виде букли, хорошенькие усы приглажены, и костюм выбран так, чтобы произвести эстетически положительное впечатление: ни обычного для Гоголя строгого темного сюртука, ни замкнутого жилета. Своей шевелюрой Гоголь вообще любил кокетничать в хорошие минуты; он и тут потряхивал головой и довольно часто вертел усы. В связи с куаферной декорацией своей головы «под художника» был он и одет с некоторой художественной праздничностью. На нем был довольно длинный темно-синий сюртук-пальто, ладно сшитый жилет светло-желтый с каким-то золотистым орнаментом, а галстук был прямо-таки изысканный:

светло-коричневый с разным пестрым добавлением.

Когда я оглянул весь стол, я не нашел ни одного такого «пестрого» человека.

Ближе всех сидели к Гоголю, явно полные радости по поводу его хорошего настроения, улыбающаяся Смирнова<sup>{209}</sup>, добродушный старик Аксаков, его сын Константин, смотревший на Гоголя великолепно, влюбленными глазами, и немного чванный, немного нагенераленный Шевырев<sup>{210}</sup>.

Гоголь подчеркнуто изящным жестом брал пучки длинных макарон и, ломая их втрое и вчетверо, засыпал в котел.

«Друзья мои, — говорил он, — кулинарное искусство, как всякое искусство и как вся жизнь, которая в известном смысле есть искусство, и как вся вселенная, которая есть жизнь, основано на мере. Мы же ведь с вами не станем есть потерявшие форму, разваренные макароны, — пусть их турок ест, а не мы — итальянские сеньоры. Не может также макарона быть тугой, когда она сварена. Это не трубка для маленького домашнего гигиенического водопровода. Но кулинарное искусство основано не только на чувстве меры, а на чем-то еще даже большем, если только большее возможно.

Ведь в самом деле, — Гоголь встал при этом и начал делать жесты, напоминавшие отчасти фокусника, а отчасти — ксендза, лицо его сияло чистой веселостью, — в пище своей, как и во всем, человек нашел соответствие отдаленнейших вещей».

Гоголь в изумлении обвел ближайшую к себе часть стола рукой и глазами.

«Трубки из муки, какая-то масса из молока, да еще тертая соль со дна моря, кипящее масло — все сюда собралось».

Вдруг Гоголь стал гораздо серьезнее:

«Друзья милые! Хорошо, если кому в жизни, которую он приготовляет, как кулинар, или в течение которой печет и варит свое лучшее блюдо на стол вселенной и бога, хорошо, если кому в жизни не хватает потребных продуктов. Хоть и сказано в писании, что «ищет, где не рассыпал» и «жнет, где не сеял», а все-таки господь справедлив. А кто из дорогих моих собеседников в бога не верит, пусть скажет — судьба, история или совесть. Ну, что ты, спрашивающий, спрашиваешь меня? — сказал Гоголь, широко расставив руки. — Нет у меня продуктов и умения! Нет, и найти что к чему я не могу. Я косолап и медведоподобен. Я простака. Уж там наградишь ли, накажешь ли, только по-простецки».

Гоголь поднял лицо вверх, и от этого оно накрылось тенью, и густые тени набежали в ямы глаз, а острый нос странно поднялся, как восковой, как неживой.

«А плохо тому, у кого все продукты были; плохо тому, кто легко умел находить соотношения... Ну, Гоголь, помнится, одарили мы тебя. Ну, веселый малороссиянин, ты, полный снятых с действительности волшебных образов, что ты нам, что ты миру, что ты вечности наготовил?»

Гоголь засуетился. «А как же. Ось воно. Усе тут!» А сам трусит... А вопрошающий: «Только всего? Отчего же ты не работал?»

Гоголь острым пальцем показал перед собою: «Такие диаманты в груди: отчего не шлифовал?»

За столом наступило глубокое молчание. Свечи мерцали как-то все враз, словно незримый дирижер управлял ими, и дымнее; странные слова Николая Васильевича тянулись вместе с чадом жаровень в окно, в сад, к луне.

Гоголь сжал обе руки и крепко притиснул их к галстуку: «Господи, боже ж мой, ты же знаешь: не ленился».

Молчание, только потрескивают свечи да угли.

«Ты знаешь, а они не знают, — Гоголь торжественно обвел рукою вокруг стола. — Да я расскажу».

«Панове, гостечки наши дорогие, я вам по-веселому расскажу, сколько только можно по-веселому, в макаронническом духе<sup>[29]</sup> in spirito macaronico, расскажу, правда, забавнейшие, но и проклятые и ужасные внутренние приключения бедной души российского сочинителя Николая Васильевича Гоголя».

Он вдруг тряхнул своими красивыми волосами и вместе с прядями как бы сдунул с лица своего тень. Шельмовская улыбка осветила его, как если бы в буфонный бумажный фонарь вдруг вставили свечу.

«А уся беда була у том, моспанички, шо так я и не дознавсь, в какое ухо мне говорил черт. Уши у меня большие, с малых лет и до смертного часу. Очень жгучие слова вливали в них и справа, и слева. И говорили разное, спорили с мозгом Гоголя, который тихонько сидел там за большими ушами. Вот это и впрямь интересно. Я тут все наладил. Макар Дмитриевич последит, а я расскажу про мои два уха или про моих двух наушников, может быть, вы легче догадаетесь, чем я, который из них черт».

Усим извистно, шо я хохол. Мы у нас в Хохландии часто буваем веселые. Должно быть, от солнышка, от вольного степного ветра. Вот пока думаю забыть, что вместе с тем я был панич, среднепоместный такой, полтавский, шляхетский принчик. Видите ли, милые мои, от этого мне

много веселости не перепадало. Был я больной, бледный и синий, душили меня детские болезни. Дорогие родители мои, веселый и даровитый мой батюшка, святая красавица маменька, они были, несмотря на имение наше, в бедных родственниках у вельмож Трошинских. Пovyше забавлял бывшего министра родственник — помещик, драматург и актер, пан Василь Гоголь, а пониже — горбуны и кретины».

Гоголь вздохнул.

«Но дом был полная чаша, это правда. Только денег хозяйство давало мало, а потому, як подавсь я до Нежина учиться, сразу стал бедняк. Трунили надо мной там много и зло. Был я телом нескладный, а вместе с тем и обидчивый, никому не нужный. На стройного маленького Кукольника долго я смотрел с завистью, пока на самом важном нашем поприще не стал я с Нестором рядом — это в театре»<sup>{211}</sup>.

Гоголь отбросил свои густые волосы, глаза его загорелись милым, поджигающим весельем.

«Вот тут-то и начинается. Еще не голос в левом ухе, Панове, а то, по поводу чего он и появился: хохлацкая моя веселость и насмешка».

Гоголь вдруг как бы вырос. Он широко протянул обе руки и глядел перед собою вдаль, за стены комнаты.

«Смех, смех! Велико твое царство! В нем дети играют камушками у светлого ручья. В нем друг друга развлекают шутками за кружкой пенного вина пожившие люди, у которых, может быть, давно изранена грудь. Цветут в твоём царстве, царь Смех, как незабудки и ландыши, крошечные улыбки, нежные улыбки, а рядом буйным кустарником, колючий и придирчивый шиповник, который хватает своей иглой проходящую нелепость и жжет ее пламенем ярких своих цветов. Но еще и над кустарником этим растут твои величественные деревья, и на них, как дивные венецианские кубки, волшебнo отражая окружающее, висят, владыка Смех, твои лучшие плоды и цветы. Подойдешь, присмотришься — и нет цветка, нет плода, потому что весь он связан из одних чистых и честных, хоть порой волшебнo измененных черт окружающего».

А птицы, птицы, птицы! Они поют и смеются, поют и смеются. В их песне мир не только становится веселым. Нет! Слышите, как нежная песня смеха, великого Сирина, царапает, и колет, и треплет! Как она впивает в себя все незаконное, неудавшееся, слабое, чванное, злое и как она все это перетирает. Великая птица Смеха на берегу Океана, чистого, как хрусталь, где купается восходящее солнце, моет одежды мира, дабы стали они когда-нибудь чисты...

Смех! Великий гений, ты, раскрывший крылья свои от востока до

запада, какого-то птенца своего вложил и в мое маленькое, еще полудетское, хохлацкое сердце, и когда я молился порою моему гению и просил его, упав ниц, спасти меня от соблазнов и сомнений, — это тебе я молился, я — сын, внук или правнук бога Смеха. Я, конечно, только позднее понял все значение Смеха. Во многом вы раскрыли мне глаза, Александр Сергеевич. Это про Смех сказали вы, недосыгаемый, сладостный и торжественный поэт:

*Лук звенит, стрела трепещет,  
И, клубясь издох пифон,  
И твой лик победой блещет,  
Бельведерский Аполлон!*

Гоголь закрыл лицо руками.

«Дорогие мои, минуточку молчания, — забрался я сразу высоко, а начинать надо много ниже.

Я мальцом таким востроглазым, востроносим, птенцом таким, едва из гнезда, посматривал на мир и любил посмеиваться. Да, насмеялся. А как же? Чему, собственно, такой востроносый смеется? Пока вокруг востроносого все так себе, ровненько — он не смеется. А вот что-нибудь не так, выпало что-нибудь, он и сказать никак не может, что выпало и почему, а отмечает, пальцем кажет, оченятами блестит, регочет, та ще и других зовет, да все вновь представит, к тому другое припомнит, та ще третье присочинит. Сам уж не смеется. Он уж художник. Он уж чужой, вызванный им смех сладостно слушает; да подбавляет, да щекочет. Вот он — смехач. Вот таким смехачом — наблюдателем, критиком, подчеркивателем, рассказчиком, актером — часто бывает хохол. Бывало, над шутками этого самого невзрачного Миколы Гоголя как хохочут! И мои сверстники, а то и учителя меня подстрекали смеяться и смешить, как зарождавшееся тогда передовое русское общество готово было аплодисментами настраивать на новые шутки Котляревского, та Квитку, та Нарезного<sup>{212}</sup>.

Вот это было мое зерно, и отсюда вышел писатель Гоголь. И этот писатель Гоголь, прямо шедший с хуторов, из Нежинского лицея, мог прийти к Белинскому и к его людям. А поддержало его то на этом' пути, что ласковое, сытое имение, где распоряжалась милая маменька, осталось в стороне и позади; и трудно было вырвать из него хоть клоч ваты в больное левое ухо, где уж стал раздаваться голос».

Гоголь обвел всех присутствующих серьезными глазами.

«Малороссийским шляхтичем я в то время формально был, а по существу петербургским интеллигентом-бедняком. Толкался я по канцеляриям и видел то густо с дворянством перемешанное крапивное семя, которое правило страну. И как ни гнусна проплеванная канцелярия, в ней не только часто увидишь забитого Акакия, а сквозь ее косые рамы и неопрятным войлоком обитую дверь сочились слезы страны и страшной песней хрипел непрерывный стон».

Гоголь опустил голову и задумался.

«Тогда ходил Гоголь в худой одежде по осеннему или зимнему пышному, страшному Невскому, и у каждого фонаря нахохлившаяся востроносая тень призраком бежала вокруг настоящего Гоголя, который и сам себе казался призраком. Манили со всех сторон роскоши жизни, и со всех сторон были железные решетки и железные будочки. Шел Гоголь легкой походкой среди света и тьмы с бьющимся сердцем за стройным женским силуэтом и, еще не доходя до двери, уже знал, что это опьяненная, загрязненная молодость, брошенная на поживу общественной похоти. И мир вокруг наполнялся фантазией. И то вдруг хотелось жить, как извергает Везувий, то вдруг хотелось умереть».

Наступила небольшая пауза.

«Ну, а смех как? Тут он был, при мне. Тут он был... И начал мне свою о нем проповедь и свои призывы голос в левом ухе. Голос чертов? Голос передового слоя нашей земли? Голос собственной гордыни? Голос совести? Много я об этом после думал. А чтобы понять смысл его вкрадчивых и зовущих речей, попытаюсь набросать перед вами, дорогие мои, картину: «Гоголь и его пейзаж», а то можно еще и так назвать: «Философ Хома Брут в гостях у Вия».

Россия наша, други мои, — страна печальная. Я могу с гордостью сказать, что патриот — люблю ее. Но как часто, когда на своей согретой солнцем мраморной груди приласкает меня, бывало, пристань моего сердца — Рим и, как, бывало, нахлынут, словно серые тучи, полные холодными слезами дождя, думы о том, что пора ехать домой... Ах, домой! Ах, домой! И вдруг покажется так ужасно все там, дома. С такой тоской ломаешь пальцы. Так не хочешь... словно отпуск получил в рай, а тебе напоминают, что надо тебе вернуться в приличествующее тебе место, где и чертям тошно.

А ведь нет, други, ведь очень много ласкового, сильного, светлого испытал я даже в ледяном Петербурге, а тем более у Москвы за пазухой, или дома, в позлащенной югом Малороссии.

Но когда говорю я: Гоголь и его пейзаж, — мне не рисуются русские, в

отчаянии расплывшиеся края, не нашедшие равнины. Мне рисуются горы. Мне наших гор и видеть не удалось. Мне рисуется такой страшный, фантастический пейзаж, какой я, может быть, видел на картине сумасшедшего немца-романтика, а, может быть, только в тяжелом, лихорадочном сне.

Вверх идет каменный, ранящий ноги зигзаг тропинки. Скалы все выше. Ущелья между ними все мрачней. Растений все меньше. Седого тумана все больше. Глухо и пусто. Иду один. И встает над высокой круглой шапкой проклятой скалы, освещая корявые вербы, огромная красная луна. И вижу я тут, что не пусто посланное мне в путь ущелье, но населено призраками. Вот в этих ямах, на склонах бездн, что это за белые, как мел, лица? Что за глаза, полные страха или еще худшего — самоотречения? Что это за скрюченные тела? Что за сверхкаторжная работа? Кто там кого бесправно и беззащитно попирает? Стой! Смотри по склонам словно окровавленных скал!.. Что за ужасные самодовольные рожи? Что за зубастые рыла? Что за жадные кадыки? Что за косматые груди? Что за толстые» как тошнотворные черви, хвосты? Все полно ими, все движется ими...

И вот тут-то в больное левое ухо бедного русского сочинителя Николая Гоголя-Яновского начинает шелестеть, посвистывать, шипеть, наговаривать, напевать неведомый голос:

«Гоголь! Была у тебя первая ступень смеха, смеялся ты над тем, как бойкая жинка пьяного старого мужа бьет. Была у тебя вторая ступень. Сорвал ты ширмы, за которыми таились низы царицы твоей — отчизны, и ее царицы — бюрократии. Уж не о третьей ли степени смеха подумал ты, когда начал было писать о «Владимире 3-й степени» богатейшую повесть, которую, может быть, уж никто не прочтет?»<sup>{213}</sup>

А я вслушиваюсь и бормочу: «Отчего же-с? Отчего? Я, может быть, и напишу».

И вдруг из одного мрачного ущелья высовывается колоссальный, карамзинский черный медведь<sup>{214}</sup> и лапой мне грозит:

«Гоголь! Ты смотри выше. Ты дошел до губернаторов, до архиереев... Ты смотри выше! Страшная историческая сила построила твою страну неумолимым острогом и жутким домом умалишенных. Вот ты видишь весь кишачий смехотворный и пугающий ад нечистых духов, переполнивший грудь твоей страны. А там повыше — их командиры. Раззолоченные. Великолепные. Но на них-то и почиет самый густой яд, отравляющий воздух жизни. Вглядись в них, Гоголь. Гляди на них своими карими очами,

прямо и честно, чтобы они раскрыли тебе свою сущность. Ну, Гоголь, ну, паладин наш, — надень серебряную броню на грудь свою: в руках твоих, в устах твоих — молнии и гром! Веселые молнии испепеляющего сарказма, очищающий гром гомерического хохота...

Гоголь, Гоголь! Вот видишь большой белый камень, и на него ведут ступени. Это твоя кафедра. Взойди на нее и смейся. Тогда увидишь ты то, что Хома Брут увидел в тобою созданной деревенской церкви после того, как петух закричал. Они такие страшные, сами испугаются и станут мелки, и бросятся врассыпную, и застрянут, зацепившись крючьями крыл и штопорами хвостов, визжа от страха перед обжигающим их смехом, и сам Вий подымет свои длинные веки и покажет испуганные глаза».

Гоголь оглянулся испуганными глазами. Он вдруг присел за столом, лицо его посерело, глаза потухли, он поднял над головой беспомощно руки, словно защищая эту бедную голову от удара дубиной; потом он в отчаянии заломил руки и крикнул каким-то тонким заячьим голосом: «Та боже ж мой, не могу ж я, не могу: бачьте, як перелякавсь, дрожу, як в той тряспе...»

Гоголь действительно и здесь, перед нами, дрожал; как испуганный, пойманный зверек, оглядывался он на нас всех.

«Как же на государя императора, на синод и синклит... Как же это? На вековой порядок? На родину? На трон? На алтарь? Ведь вот он куда зовет, голос в левом ухе. А ведь цыкнут, а ведь дунут, а ведь щелкнут — и нет тебя, как того клопа, как той блохи, и пусть твои кости где-нибудь в Турухан-ске черный ворон разыскивает.

Ты мне врешь в мое больное ухо, что меня исполинские силы испугаются, что меня с белого камня народы услышат! Народы еще долго ничего не услышат, а исполинским силам бояться рано. Куда ты меня толкаешь? Толкаешь ты меня на смерть, на мученичество, без всякой пользы, а я даже, голос лукавый, и не знаю, во имя ли подлинной правды...»

Лицо Гоголя как бы окаменело. В разных местах за столом заметно было движение. Поправляя плед на костлявых плечах и опираясь на стол костяшками худых пальцев, встал угрюмо Щедрин-Салтыков. Жидкая длинная борода косматилась, ерошились седые суровые брови и усы, поволчьи блестели больные глаза. Голос у него был глухой, с сильной сипотой: «Николай Васильевич! — сказал он... И вдруг, как бы преодолевая внутреннюю застенчивость, теплее: — Учитель... Вы думаете, только в ваше время об этом приходилось мучительно размышлять? Да, густая была тьма, трудно было ее шевельнуть. Надежды были маленькие, плохонькие.

Опасности мордастые, клыкастые. Если нынешние наши наследники скорби этой, этого страха — как бы даром не пропасть? — в нас не уважают, значит они нас еще не понимают».

Михаил Евграфович зябко закутал грудь пледом и сел.

«Ну, так и я не могу молчать, — раздался нервный высокий голос. — Никакого героизма и бесстрашия я не требую, — у кого они есть — ладно, у кого нет — что ж поделаешь? Но только, Николай Васильевич, надеюсь я, что вы и про правое ухо расскажете. Тут все-таки не один страх. Не только окружены вы были исполинскими враждебными силами, а в вас самих стоял помещичий гарнизон. Даже в лучшие времена вы прибегали к тому же трону, выпрашивали всякие подачки, чувствовали себя как-то своим в этой среде. Вы на меня не сердитесь, здесь у нас не суд. Вы меня не заставите поверить, что, когда вы пошли по мрачному вашему правому пути, приведшему вас к таким мукам, к такому истощению, к такой смерти, — вы выбрали более легкий путь.

Скажите, в самом деле, — продолжал Белинский, обращаясь уже ко всему столу, — мы все теперь знаем, как страшен был путь нашего великого друга Николая Гавриловича, а скажите по правде, разве путь Гоголя, пожалуй, не страшнее? А какой из них славнее?»

Белинский, говоривший все это взволнованно, но властно, сел. Гоголь, слушавший его, опустив голову, поднял ее и хотел что-то сказать. Но тут, может быть, не совсем уместно, вмешалась Смирнова. Она вдруг подняла свои миловидные брови и рассмеялась.

«Это я по поводу того, что господин Белинский назвал подачками. Однажды, не без моего участия, государь из собственной кассы пожаловал Николаю Васильевичу Гоголю большую сумму, — такие он литераторам редко давал, — три тысячи серебром. Потом я как-то благодарю его величество. А его величество так ласково улыбнулся всеми своими прекрасными такими, знаете, собачьими такими зубами и говорит: «Гоголь хорошо пишет. Тривиальности только допустил в «Ревизоре». Но у него ведь не один «Ревизор». Это ведь Гоголь написал «Тарантас»?» У меня духу не хватило сказать ни «да», ни «нет». Так знал государь своих гениальнейших дворянских писателей».

Многие засмеялись, засмеялся и Гоголь.

«Я все по порядку расскажу», — сказал он.

«Я уже и начал об этом. Я уже и наметил мысль. Во мне уверенности не было, праведную ли я работу буду вести, обливая родину смехом... Все равно — венчают ли меня за это или покарают».

Гоголь подумал с минуту и продолжал:

«Это я только на время просил забыть, что я дворянин». Гоголь засмеялся: «Помещик, та ще и який! Помните, как в «Переписке с друзьями» учил Христа призывать, чтобы побольше из мужика работы выжать? А як мы з маменькой хвабрику в имении завели? Захотелось мне тоже покостанжогнуть. Вот уж подлинно — и смех и грех. А помещиком быть, хоть маленьким, было приятно. Белая кость, синяя кровь, царю родня, богу свойственники. Ведь как рисовался весь порядок, ежели на него глядеть с помещичьей точки зрения? Уж тут, на земле, на вершинах дворянского мира беспорочными снегами лежат горностаи порфиры, звездами сияют адаманты короны, на мечи опершись, по правую руку царя, великие лыцари блюдут гордое царство, а по левую руку — позлащенные митрополиты, заживо святые угодники, чистые жены, Христу себя посвятившие. Фимиамы поднимаются, хоры умильнейшие сердце твое зовут горе... И уж если заглянешь в эти старые книги, то там на всякие твои сомнения найдешь ответ. Начертаны там огненные, немеркнущие слова: «Воля божья» — «Разуму человеческому не понять» — «Смирись, гордый человек». А над этими надписями уже мир иной. Там уже подлинное царство Христово. Там слава, которая всякую меру превышает. Там и любовь Иисуса распятого, создающая безмерную благодать, ею же все оправдывается».

Гоголь говорил все это торжественно, но как-то бездушно. Лицо его при этом было — как часто бывало — неподвижно, словно деревянно. Но тут он вдруг тонко улыбнулся.

«А разве не так, Федор Михайлович? Простите, что я прямо к вам обращаюсь. Что бы там про пропасть между нами ни говорили, а судьбы наши и болезни наши — родные русские сестрички».

Все головы обернулись в сторону Достоевского. Он остался неподвижен. Он сидел у стола, положив сверху скатерти кулак на кулак, а на верхний кулак — свой бородатый подбородок, и, не сводя глаз, исподлобья глядел на Гоголя; на лбу его страшным зигзагом поднималась глубокая, раздирающая морщина.

«Нет, — протянул Гоголь, — правый голос не молчал, гневно и патетично шумел он в другое больное ухо: «Гоголь, не слушай черта! Разве не догадался, кто это тебе свищет и верещит в левое ухо? Да это ж песья голова! Это ж стрекулист, у которого хвост под фалдами фрака. Он же сам себя ревизором миру поставил. Сашка<sup>[215]</sup> Хлестаков это. Ишь, форсу себе придал! Ты ведь его знаешь, а тоже веришь. Святую Русь хочет купно со своими писаками, стрекулистами, обгадить. Гряди, говорит, гряди, великий Тряпичкин, разоблачи, говорит, мать... Гоголь, на то ли тебе господь бог

талант дал? Талант дал тебе господь бог великий, какой, может быть, никому не давал, да и не даст. Думал ангел твой хранитель, что, когда созреешь, почувешь святость таланта, развернешь крылья своей совести. Очистишь, омоешь душу. О призвании своем сочинительском думать будешь не как о зубоскальстве, а как о высоком назначении и даже до пределов угодничества. Угодником быть. Художник-угодник. Угодник богу. А вне этого только паяцы. Глянь на Россию и благослови ее. Великим благословением благослови. Покажи, как вопреки всему сияет в ней правда».

Гоголь опять тонко улыбнулся.

«Скучно это. Скучно угодником быть. А я от страха, от сомнения, от малосилия, от болезни, от отравленности моей общественной, умоляя слабых или ложных моих друзей о помощи, хватаясь за черствую рясу узкого протопопа, погнал себя по этой дороге. Сколько работал! В какой ужас приходил, проверяя работу! Сколько жег! Пока страстным и жалостным образом не сжег и себя, обрезав между собою, жизнью, миром все нити!»

Глубокая задумчивость царила за столом. В глубокой задумчивости стоял Гоголь, и его завитой чуб упал вниз, закрыв от нас его лицо. Показалось, что ладные плечи его синего пальто-сюртука задрожали от сдержанного рыдания. Но вот уже он откинул волосы и открыл улыбающееся лицо.

«Простите меня, дорогие, милые, за мои неудачные макароннические разговоры... А пока суд да дело, макароны готовы и, думаю, правильные, итальянские. Тарелки сюда! Тарелки сюда! Вина в стаканы! Вина в стаканы! Я раскладываю, слуги разносят. Кушайте на здоровье, гостечки наши коханые!»

# ФРЭНСИС БЭКОН

## *ПОЧЕМУ НАМ ИНТЕРЕСЕН БЭКОН*

Введение к незаконченной биографии Фрэнсиса Бэкона, предназначавшейся Луначарским для серии книг «Жизнь замечательных людей».

Кроме впервые публикуемого здесь Введения, написаны были в течение зимы 1932/33 г. две главы: общая характеристика исторической эпохи (построенная главным образом на данных английской исторической литературы XIX в.) и неоднократно появлявшаяся в посмертных публикациях глава, озаглавленная «Бэкон в окружении героев Шекспира» (см., например, книги: А. В. Луначарский, Статьи о литературе. Гослитиздат, М., 1957 или А. В. Луначарский, О театре и драматургии. М., 1958, т. 2).

.....

Принимаясь за биографию какого-нибудь выдающегося человека, необходимо отдать себе прежде всего отчет в том, почему его биография представляет для нас интерес.

Задавая этот вопрос относительно Фрэнсиса Бэкона, можно натолкнуться на немедленный и несколько удивленный ответ читателя: «Ну что за вопрос! Кто же не знает, что Бэкон является отцом современной науки, что он отверг старый схоластический метод миропознания, первый установил победоносный индуктивный и экспериментальный метод? Как можно при этих условиях спрашивать о том, интересна ли для нас его биография?»

Это, однако, не так убедительно, как кажется такому торопливому ответчику на ваш вопрос. Конечно, исторических заслуг Бэкона никто не может отрицать. Он был, несомненно, одним из первых людей, провозгласивших новую научную эпоху. Дело, однако, в том, что Бэкон не

сделал ни одного сколько-нибудь важного научного открытия. Он даже не знал тех важнейших открытий, которые делались в его время (прежде всего великим Галилеем). Он был плохим естествоиспытателем.

Конечно, будучи слабым практическим ученым, он был великолепным, ярким и точным методологом. Но и тут дело обстоит не совсем благоприятно для него. Его метод, во-первых, неверен. В своем стремлении совершенно отвергнуть или по крайней мере в высшей степени умалить метод дедуктивный и в особенности математический, Бэкон, несомненно, желал придать науке чрезвычайно односторонний эмпирический характер. Энгельс, характеризуя английский эмпиризм и указывая, на какие огромные заблуждения он способен, довольно справедливо возводит эту слабость английского эмпиризма к его корням — именно к Бэкону<sup>{216}</sup>.

Таким образом, наука в дальнейшем своем ходе должна была обогатить метод Бэкона теми способами исследования, которые он отрицал или по крайней мере игнорировал.

Что же касается положительных его заслуг, то есть прекрасного и точного определения индуктивно-экспериментального метода, то надо сказать, что относящиеся сюда мысли Бэкона до такой степени вошли в плоть и кровь всей позднейшей науки, что их незачем вспоминать в их чистом, первоначальном виде. Они просто стали элементом той умственной атмосферы, которой мы дышим. Возвращаясь к Бэкону для того, чтобы установить их корни, мы, если рассуждать с точки зрения истории науки, в сущности говоря, будем заниматься реставрацией — быть может, так сказать, археологически интересной, но идеологически мало ценной. Ничего нового на этом пути, в смысле какого-нибудь обогащения нашего понимания научных методов, мы, разумеется, не найдем.

Но защитники высокого интереса бэконовской биографии могут выдвинуть еще довод, который обыкновенно до сих пор и выдвигался биографами Бэкона.

«Дело не только в том, — говорят нам, — что Бэкон был крупный мыслитель и методолог, а если принять во внимание обстоятельства его времени, то даже и великий мыслитель. Дело еще в том, что это необыкновенно яркая личность. В нем характерно сочетание «философа» с государственным деятелем и еще более разительное сочетание «мудреца», который очень много говорит в своих сочинениях о всяких высоких добродетелях, с довольно низким, неразборчивым в средствах политиканом, избалованным во взяточничестве. Разве это не любопытно?»

К этой черте бэконовской биографии мы можем прибавить еще одну, тоже «любопытную». Бэкон был не только другом графа Эссекса,

известного любимца королевы Елизаветы, но он был с ног до головы облагодетельствован этим вельможей. Он находился с ним в нежнейшей переписке. Но это не помешало ему принять на себя роль прокурора в процессе Эссекса, с холодной жестокостью требовать для него казни, а затем, по предложению Елизаветы, написать трактат, оправдывавший этот процесс, между прочим и при помощи нагромождения всех возможных обвинений на уже отрубленную голову друга и благодетеля.

За этими крупными фактами толпятся более мелкие факты, характеризующие аморализм Бэкона.

Большинство биографов Бэкона отдают много места этим «противоречиям». О Бэкоме существует большая литература, и вся она основана на вышеприведенных доводах интересности его биографии.

Над бэконианской литературой в настоящее время доминирует сравнительно недавно опубликованная работа профессора Фроста. Работа эта главным образом занимается научным наследием Бэкона и особенно интересна как исследование границ естествоведных способностей и принципиальных установок Бэкона, как исследование взаимоотношения бэконовского эмпиризма с декартовской дедукцией. Но тем не менее Фрост, как и все крупнейшие писатели, бравшиеся за Бэкона, дает и довольно обширную его биографию, где тоже говорит о его аморальности и, так сказать, пожимает плечами перед этим зрелищем — соединения необыкновенно сильного ума со «слабохарактерностью».



*У дверей здания Лиги наций. Женена, 1930 г.*



*А. В. Луначарский и М. М. Литвинов Женева, 1930 г.*



Наиболее крупные произведения из существовавших до Фроста — например, работа французского профессора Ремюза — пытаются оправдать Бэкона, смягчить суровое отношение к нему историков и историков философии; английские авторы — Джон Николь, Монтегю и в особенности Маколи — чрезвычайно к нему суровы. Куно Фишер в своей книжке «Реальная философия и ее век» (переведенной на русский язык) пытается несколько углубить вопрос, найти некоторое единство между Бэконом-философом и Бэконом — жизненным практиком (мы еще вернемся к этой попытке Куно Фишера; сейчас мы можем только сказать, что она не кажется нам законченной).

Во всяком случае, сами по себе эти факты, то есть то обстоятельство, что крупный бюрократ и барин был вместе с тем философом и оставил после себя весьма значительные и влиятельные книги, а также и то обстоятельство, что в книгах своих он защищал добродетель, а в жизни «служил пороку», — все это отнюдь еще не делает жизнь Бэкона настолько интересной, чтобы без дальнейших объяснений она могла быть включена в серию «Жизнь замечательных людей» или по крайней мере чтобы она могла так сильно заинтересовать биографа, как — признаюсь в этом — заинтересовала она меня.

Совершенно исключительный интерес, который представляет для нас Бэкон, заключается в его личности, в сущности говоря, необыкновенно цельной и могущей быть объясненной только из самой его эпохи.

Гегель, говоря в своей «Истории философии» о смерти Сократа, называет его судьбу всемирно-исторической трагедией. Судьба личности, по мнению Гегеля, всемирно-исторична тогда, когда она вытекает не из биографических случайностей, но из необходимого диалектического столкновения великих исторических принципов. В этом случае, говорит Гегель, «судьба не является также лишь его личной индивидуально-романтической судьбой, а в ней представляется нам всеобщая нравственная трагическая судьба» (Сочинения, т. X, стр. 87, М., Партиздат, 1932).

Конечно, слово «трагический» неприменимо к Бэкону, — потрясающего трагизма в его судьбе, пожалуй, и нет. Но, во всяком случае, в ней есть очень острый драматизм. Может быть, преувеличенно было бы

считать его судьбу в какой-нибудь мере «всеобщей нравственной судьбой». Но ведь и Гегель, говоря о трагедии, имел в виду не непременно насильственную смерть; и, говоря о всеобщности нравственного значения той или другой судьбы, не думал, что это значит, будто бы судьба эта должна быть как-то похожа на судьбы людей вообще.

Важно в том положении Гегеля, которое мы привели, следующее: есть такого рода «жизни», которые с необыкновенной яркостью выявляют значение известной эпохи; а если к этому прибавить, что есть такие эпохи, которые имеют, безусловно, всемирно-историческое значение, которые являются одним из кульминационных пунктов или критических моментов в истории человеческой культуры, то станет ясным, что жизнь человека, с необыкновенной яркостью отразившая в себе противоречия особо острой эпохи, не может не быть общеинтересной, не может не явиться чем-то далеко превышающим «роман-биографию»<sup>[217]</sup>, не может при правильной трактовке не бросить яркий свет на эпоху, в которой она протекала, а при значительности этой эпохи — и на самый ход развития человечества.

Именно так отношусь я к Фрэнсису Бэкону.

Центральной силой гения Бэкона, центральной чертой его характера, центральной пружиной его судьбы был ум, интеллект. Это в известной степени почувствовал блестящий английский писатель Литтон Стретч, которому пришлось подробно характеризовать Бэкона в книге, посвященной истории борьбы Эссекса и Елизаветы.

Эпоха Возрождения была эпохой критики. Растущая буржуазия сокрушала не только феодальный строй, но и всю феодальную идеологию. Феодальной идеологии был присущ в теории принцип веры, принцип авторитета, а в реальной жизни — принцип жизненных правил, установленного ритуала жизненных отправления. В эпоху Возрождения с огромной силой вставала на первый план индивидуальность, освободившаяся личность, которая бурлила уже в средние века, но почти полностью разорвала свои цепи именно в эпоху Бэкона.

Если личность в эпоху Возрождения должна была еще считаться с множеством разных вне ее находящихся властей, если она еще часто подвергалась самым жестоким карам, то можно сказать, что подлинно передовые представители этой эпохи внутренне уже не считались ни с каким авторитетом. Протестантизм в религии противопоставил разум традиции; в еще большей мере произошло это в более левом лагере свободомыслящих, шедших по линии отказа от всякой религии и интересовавшихся в первую очередь светской наукой. Ими руководила вера в разум, вера в его всепобеждающую мощь, в возможность при помощи его

построить целостную картину мира и приобрести власть над ним.

Такого рода вера в разум была присуща Бэкону в огромной и, не обинуясь скажем, гениальной форме. Никто из его современников не доходил до такого пафоса веры в разум, как Бэкон. Этому мы приведем многочисленные доказательства как из его основных сочинений, так и из недоконченной утопии его, озаглавленной «Атлантида».

Но рядом с этим личность бралась руководиться разумом и в своей частной жизни, в своей карьере, в своих отношениях к близким, к начальству, к подвластным лицам и т. д. Вера в разум, как в огромную силу, которая может дать победу над другими, менее разумными людьми, как в оружие борьбы за существование и успех была широко развита в эпоху Возрождения. Мы постараемся доказать это в нашей книге. Мы постараемся привести некоторые, особенно яркие примеры этого, беря величайшие литературные образы той эпохи, а также и образы некоторых реальных лиц из числа ее деятелей.

То, что можно назвать принципом макиавеллизма, то есть освобожденного от предрассудков разума, разума цинического, который стремится к определенной цели, не боясь каких бы то ни было моральных предрассудков, — это было огромной силой индивидуальности в эпоху Возрождения. Однако подобная неограниченная вера в разум — в свой разум, в свою интригу, в свою ловкость, в свою способность обмануть других, — приводила, разумеется, очень часто к краху. Крах этот был тем более болезненным, что когда боец, вооруженный своим разумом, оказывался уже повергнутым, то тогда защитники далеко еще не добитых старых представлений общества (да они и не могли быть добитыми, ибо совершенно безграничный индивидуализм есть начало антиобщественное) набрасывались на павшего и осуждали его эгоистически разумную политику, как прежде всего антиобщественную, безнравственную, безбожную, преступную и т. д.

Интеллект был еще в то время молод, он был крайне самоуверен, он легко позволял себе перешагнуть все пороги — вот почему так часто присутствуем мы в эпоху Возрождения перед стремительной гибелью вознесшихся на огромную высоту людей такого беспредрассудочного интеллекта.

Но не только такая форма «горя от ума» имела в то время место. Высокий интеллект не мог не пронизывать своим взглядом и колоссальное количество оставшихся от средневековья нелепостей и несовершенств в неперебродившей, не устроившейся общественности эпохи Возрождения. Он легко приходил к мизантропии, к черному пессимизму, распространяя

свое презрительное суждение о людях и дальше — на самое бытие, на самую природу с ее преходящестью, с ее неизбежной смертью и т. д. Против этих выводов, которые могли привести к полному внутреннему крушению, к самоубийству, интеллект выставлял особого рода философию — философию резиньяции, философию некоторой спокойной, хотя и презрительной, улыбки над всем преходящим, философию ухода в себя и достижения некоторого искусственного равнодушия, как говорили когда-то стоики (в эпоху, в некоторых отношениях похожую на описываемую нами), — атаксии.

Эти стороны молодого и страдающего болезнями детства интеллекта у Бэкона выражены значительно меньше. Об этом мы будем еще говорить подробнее. Тем не менее такие элементы, роднящие его то с Шекспиром, то с Монтенем <sup>{218}</sup>, не могут не быть отмечены в его житейской мудрости, как он старался изложить ее на страницах своих писаний и как, вероятно, она жила в нем самом в моменты горького раздумья после неудач.

Вообще же нужно сказать, что, несмотря на превратности судьбы, которые постигли Бэкона, он представлял собой относительно уравновешенный и относительно оптимистический тип человека эпохи Возрождения. И это вовсе не худо, потому что, конечно, не пессимисты гамлетовского типа и не философствующие отшельники типа Просперо <sup>{219}</sup> творили историю, а активные люди типа Бэкона.

Итак, личность Бэкона во всей своей совокупности, как личность человека, беспредельно отдавшегося очарованию своего собственного ума, в результате условий своей эпохи и в атмосфере своей эпохи, действительно представляет для нас огромную ценность. Видеть, как этот ум дерзает разрушить все прежние научные представления и как он формулирует совершенно грандиозные задачи установления власти человека над природой и пути к такой победе, видеть, как подобный человек, будучи весь полон жизненной активности, стремясь к яркому существованию, практически борется за свою собственную власть в обществе, как и какими средствами побеждает он, благодаря каким причинам терпит поражение, осветить все это страницами его собственных сочинений и его замечательными письмами, которые дают возможность глубоко заглянуть в эту богатейшую натуру, — все это действительно до крайности увлекательно.

Как читатель заметит, увлекательность здесь происходит именно от значительности, от показательности Бэкона, как типа в культурном развитии человечества.

Меринг в одной из своих статей о Гёте<sup>{220}</sup> справедливо указывает на то, что только марксизм дает возможность подойти к биографиям как следует. Глупые рассказы о том, что мы отрицаем роль личности и что поэтому нам нечего заниматься индивидуальными биографиями, не заслуживают даже опровержения. А то обстоятельство, что личность мы воспринимаем не как нечто случайное или таинственное, а именно как узел течений, сил, принципов данной эпохи в их соприкосновении и в их борьбе, впервые дает возможность вскрывать подлинную сущность личности.

Марксистская биография есть единственно верная биография. Само собой разумеется, прибавим мы, для того, чтобы быть истинно марксистской, марксистско-ленинской, она должна быть талантливой и основанной на хорошем изучении предмета. В данном случае мы можем сказать только, что сделали то, что могли.

Но в той же статье Меринг высказывает еще одну очень хорошую мысль. Он говорит:

«Несомненно, что каждое биографическое изображение содержит субъективный элемент, и если оно хочет выполнить свою задачу, — должно его содержать. Кто не может до известной степени вжиться в своего героя, тот никогда не сумеет дать живое изображение. «Лучшим даром» биографа остается всегда то, что хвалил Шиллер в своем друге Кернере, именно — «счастливый талант к воодушевлению», и скорее можно извинить преувеличение в этом направлении, чем мелочные и педантские придирки к слабостям и ошибкам героя.

Если всякой биографии до сих пор грозила опасность неудачи с одной или с другой стороны, то понимание истории современного пролетариата, как оно создано в классических трудах Маркса и Энгельса, дает нам компас, с помощью которого мы можем уверенно миновать Сциллу и Харибду. Ходячее обвинение противников, что исторический материализм исключает личный элемент из исторического развития, не попадает в цель, так как этот исторический метод, напротив, только впервые дает возможность воскресить во всей их человечности те исторические личности, в которых лучше всего отразилась жизнь данного исторического периода».

С этим нельзя не согласиться. Биография, написанная без увлечения, непременно будет холодна и пуста. Однако надо оговориться также, что очень большая степень симпатии биографа к герою приводит зачастую к некоторому искажению истины (так же точно, конечно, как и антипатия).

Биограф должен работать *sine ira et studio*<sup>[30]</sup> должен сохранять известную внутреннюю справедливость, хотя из этого отнюдь не следует, что ему заказано быть судьей над его героем.

О том, что марксизм отнюдь не есть синоним равнодушия, что он совсем не «дьяк, в приказах поседельй», который «добру и злу внимает равнодушно», — об этом уже в необыкновенно гневных и памятных словах говорил Ленин Михайловскому, задумавшему отождествить марксизм с таким хладнокровным объективизмом. Суд с точки зрения своего класса, определенная оценка события и лиц, хотя бы и прошлого, с точки зрения всей нашей оценки хода истории человечества — это одно, а пристрастие в ту или другую сторону, известная роль личного чувства у биографа — это другое. И как раз последнее может приводить к абберациям.

Заканчивая это введение, я должен сказать, что у меня нет никакой симпатии к Бэкону, у меня нет к нему и сколько-нибудь выраженной антипатии, но я в высокой степени неравнодушен к нему. Я неравнодушен к нему потому, что он меня остро интересует. Это необычайно любопытный тип. Раскрыть его, привести к каким-то определенным формулам эту чрезвычайно сложную и малообычную, но исторически столь типичную личность — увлекательная задача.

Вот почему я не думаю, чтобы в биографии, предлагаемой теперь вниманию читателя, он нашел ту холодность, ту незаинтересованность, которой боится Меринг, и вместе с тем мне кажется, что читатель не рискует абберациями, происходящими от чрезмерности личных симпатий и антипатий.

# ***ПРИЛОЖЕНИЯ***

## ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО

*Изд-во «Пролетарий», Л., 1925 г.*

В брошюре нет предисловия (от автора или издательства), нет и даты написания.

Не объяснено, почему хронологически последовательное изложение событий заканчивается Февральской революцией (стр. 65), а после этого повествование переносится вновь к юношеским годам автора, к эпизоду о пребывании в киевской тюрьме; за этим следует еще одна глава — о ссылке в Калугу, Вологду, Тотьму, о чем уже говорилось раньше на стр. 19–28, и заканчивается книжка отъездом за границу в 1904 году. В общем это не связные воспоминания, а соединение случайно расположенных отрывков, написанных, возможно, с различным заданием. На мысль об этом наводят также (см. стр. 36) слова: «Мне незачем здесь рассказывать о тех событиях революции 1905–1906 гг., которые в настоящее время известны всем и даже достаточно изучены. Я отмечу здесь лишь коротко, как *надлежит в предисловии*, некоторые отдельные факты...»

Весьма возможно, что основная часть этой брошюры — это набросок предисловия к незаконченной книге Луначарского «Великий переворот» (см. об этом примечание к статье «Владимир Ильич Ленин»), написанное в 1920 г.; к этому наброску механически присоединены два отрывочных эпизода.

Датировать «Воспоминания» именно 1920 годом позволяют еще два признака. 1) В книге говорится о супружеской жизни с Анной Александровной Малиновской, сестрой А. А. Богданова (Малиновского); в 1925 г. это не могло быть написано, так как в 1922 г. автор вступил в новый брак — с Наталией Александровной Розенель, и, таким образом, время написания следует отнести к году более раннему, чем 1922 г. 2) Далее читаем: «Те три драмы, которые мне удалось написать уже во время революции...» После 1917 г. Луначарским были написаны

драмы «Фауст и город» (1918 г.), «Маги» (1919 г.) и первая часть «Фомы Кампанеллы» (1920 г.) — следовательно, именно к 1920 году были написаны, после 1917 г., три пьесы.

Крайняя небрежность издания, переполненного искажениями текста, заставляет предположить, что в его подготовке и осуществлении в 1925 г. автор не принимал участия. Поэтому в основной раздел книги мы не считали возможным эти воспоминания поместить. Однако, несмотря на недостатки брошюры, она интересна как самый крупный автобиографический очерк Луначарского.

«Воспоминания» печатаются с сокращениями.

.....

Детство мое прошло под сильным влиянием Александра Ивановича Антонова, который, хотя и был действительным статским советником и занимал пост управляющего контрольной палатой в Нижнем Новгороде, а потом в Курске, был радикалом и нисколько не скрывал своих симпатий к левым устремлениям.

Совсем крошечным мальчиком я сживал, свернувшись клубком в кресле, до позднего часа слушая, как Александр Иванович читает моей матери «Отечественные записки» и «Русскую мысль». Комментарии, которыми сопровождалось чтение сатир Щедрина или другого каково-нибудь подходящего материала, западали мне в душу.

В моих разговорах с сверстниками я еще мальчиком выступал как яростный противник религии и царя. Помню, как, забравшись к серебрянику, жившему в нашем дворе, я схватил небольшую иконку не знаю какого святого и, стуча ею по столу перед разинувшими рот, обалдевшими подмастерьями серебряника, самым заносчивым образом кричал, что предоставляю богу разразить меня за такое оскорбительное отношение к его приближенному и что считаю отсутствие непосредственной кары за мою дерзость явным доказательством несуществования самого бога.

Несмотря на то, что я был «барский сын», серебряник ухватил меня за ухо и потащил к матери, совершенно возмущенный и испуганный таким поведением, которое чуть было не навело его на мысль, что я не кто иной, как маленький антихрист. Матери стоило некоторого труда успокоить

серебряника, хотя и она и Александр Иванович Антонов, в доме которого мы в то время жили, отнеслись к этому не только добродушно, но даже с юмором, не лишенным оттенка одобрения.

Бывали не менее комические случаи с пропагандой против абсолютизма. Но все эти подражания и выходки, навеянные революционными и полуреволюционными разговорами в моей семье, являлись только фоном, на котором позднее стал вырисовываться узор моих ранних, но твердых и закрепившихся на всю жизнь политических убеждений.

Считая гимназию и все исходящее из нее тлетворным началом и попыткой царского правительства овладеть моей душой и наполнить ее вредным для меня содержанием, я весьма пренебрежительно относился к гимназической программе, так что учителя считали меня мальчиком способным, но ленивым. Между тем я с колоссальным прилежанием учился сам и к многочисленным урокам — новых языков, музыки — и усердному чтению классиков русской беллетристики присоединил серьезнейшие занятия, например «Логикой» Милля и «Капиталом» Маркса.

Начиная с 5-го класса началась для меня в политическом отношении новая жизнь. К этому времени уже и среди киевского студенчества проявилось социал-демократическое движение и объявился контур первой организации, сыгравшей некоторую роль при созыве так называемого первого партийного съезда.

Партийные товарищи припомнят — да об этом отчасти свидетельствует и «История социал-демократии» Лядова, — что киевское объединение сыграло довольно видную роль в этом первом акте собирания нашей партии.

Товарищи Тучапский, Петрусевич, Спители, В. Г. Кржижановская и некоторые другие являлись более или менее пионерами студенческой дружины.

Мы, гимназисты и реалисты, имели, конечно, косвенную связь со студентами, но, по правде сказать, развивались самостоятельно и, пожалуй, более бурно и более широко.

Первый строго выдержанный кружок марксистов включал в себя целый ряд лиц, имена которых так или иначе потом стали известными. Вначале я стоял в стороне от этого гимназического движения. Руководящую роль в нем играли, пожалуй, два выдающихся поляка, из которых один погиб потом при очень трагических обстоятельствах (Адам Робчевский), а другой играл видную роль в социал-демократических кружках юга (Иосиф Мошинский)<sup>[221]</sup>. К кружку принадлежали также

чрезвычайно талантливый тов. Логинский, товарищи Шен, Вержбицкий, Вайнштейн, Плющ, Неточаев, в большинстве случаев многие годы работавшие позднее в социал-демократической партии, иногда со значительным успехом. Были, конечно, и такие, которые позднее отошли. Игорь Кистяковский был также деятельным и влиятельным членом этого круга лиц. К ним же относились Н. Бердяев<sup>{222}</sup> и некоторые другие.

Когда я был в 5-м классе, ко мне обратились из этого молодого центра с просьбой организовать филиальный кружок в моем классе. Очень скоро у нас окрепла организация, охватившая все мужские гимназии, реальные училища и часть женских учебных заведений. Я не могу точно припомнить, сколько у нас было членов, но их было, во всяком случае, не менее двухсот. Шли деятельные кружковые занятия, где рядом с Писаревым, Добролюбовым, Миртовым, зачастую также изучением Дарвина, Спенсера шли занятия политической экономией по книгам Чупрова<sup>{223}</sup> и по нелегальной литературе социал-демократического характера<sup>{224}</sup>.

К нелегальной литературе мы относились с благоговением, придавая ей особое значение, и ни от кого не было скрыто, что кружки наши являются подготовительной ступенью для партийной политической работы.

Мы устраивали также митинги, большею частью за Днепром, куда отправлялись на лодках. Поездки на лодках на всю ночь были любимым способом общения и, я бы сказал, политической работы для всей этой зеленой молодежи.

Заклучались тесные дружбы, бывали случаи романтической любви, и я и сейчас с громадным наслаждением вспоминаю мою юность, и до сих пор многие имена вызывают во мне теплое чувство, хотя многие из моих тогдашних товарищей отошли или от жизни вообще, или от жизни политической.

Настоящую политическую работу я начал в 7-м классе. Я вступил тогда в партийную организацию, работавшую среди ремесленников и пролетариев железнодорожного депо в так называемой Соломенке — предместье Киева. Главным руководителем этой организации был мой друг, ученик того же класса и той же первой гимназии Д. Неточаев. Но роль наиболее бойкого агитатора-пропагандиста перешла тотчас же ко мне.

Занятия мои с рабочими Соломенки продолжались не очень долго, так как вскоре после этого организация наша была потрепана полицией, а затем наступила необходимость отъезда за границу.

Тем не менее я считаю именно эту дату, то есть 1892 или, может быть, 1893 год датой моего вступления в партию. В то же время я дал первые

статьи в гектографскую социал-демократическую газету.

Умственным центром тогдашней социал-демократической жизни была проживавшая за границей группа «Освобождение труда», состоявшая из Плеханова, Аксельрода, Веры Засулич и Дейча. Их нелегальные работы являлись существенной пищей для нас — неофитов марксизма.

К концу, однако, моего пребывания в гимназии появился уже и чисто русский марксизм с попытками найти легальное выражение.

Колоссальное впечатление произвело на нас появление первой книги П. Струве. В Киеве она была вся распродана в кратчайший срок. Мы изучали ее в кружках и принимали без большого спора многие ее, на деле рискованные положения.

Деятельность Струве и Туган-Барановского происходила главным образом в Москве и Петербурге, но волнения, вызванные дискуссией в Вольно-экономическом обществе и защитой диссертации Туган-Барановского в Москве, доходили и до нас.

Должен сказать, однако, что лично меня рядом с революционной практикой интересовала не столько политическая экономия или даже социология марксизма, сколько его философия. И здесь идеи мои не были абсолютно чисты. В последних классах гимназии я сильно увлекался Спенсером и пытался создать эмульсию из Спенсера и Маркса. Это, конечно, не очень-то мне удавалось, но я чувствовал, что необходимо подвести некоторый серьезный позитивный философский фундамент под здание Маркса. Мне было ясно также, что фундамент этот должен находиться в соответствии с теми немногими, но гениальными положениями, которые установлены самим Марксом в его, скудном страницами, но богатом содержанием философском наследии.

Знакомство с доктором философии Бернского университета Новиковым, много рассказывавшим мне о цюрихском профессоре Авенариусе, и чтение по его указанию сочинений Лесевича<sup>{225}</sup>, посвященных этому философу, вызвали во мне живейший интерес к эмпириокритицизму. Вот почему ко времени окончания гимназии у меня твердо установился план — победить во что бы то ни стало сопротивление семьи и, отказавшись от попыток продолжить мое образование в русском университете, уехать в Цюрих, чтобы стать учеником Аксельрода, с одной стороны (к нему я имел хорошие рекомендательные письма), Авенариуса — с другой. Кстати, ввиду моей довольно явной политической неблагонадежности педагогический совет Первой киевской гимназии, выдавая мне аттестат зрелости (далеко не блестящий вообще), поставил там «4» по поведению, что ставило большие затруднения при поступлении

в русский университет. Эти затруднения я еще преувеличил в глазах моей матери и, обещав ей возвращаться в Россию на все каникулы, выхлопотал для себя право отправиться за границу.

Занятия мои в Цюрихском университете, продолжавшиеся менее года, были очень плодотворны; более или менее благотворно действовала уже сама жизнь за границей — богатство цюрихской библиотеки, широкие ресурсы Цюрихского университета и интеллектуально высокая среда тогдашнего нашего русского студенчества в Цюрихе.

Больше всего я, конечно, почерпнул от тех людей, использование которых входило в мой план. Вообще в эти годы (мне было тогда 19 лет) я чувствовал себя совершенно самостоятельным и слышать ничего не хотел о прохождении курсов согласно одобренным программам.

Я завалил себя книгами по философии, по истории, социологии и сам составил себе программу, комбинируя философское отделение факультета естественных наук, его натуралистическое отделение и некоторые лекции юридического факультета и даже Цюрихского политехникума.

Важнейшими курсами в этой моей программе явились: анатомия у Мартина, физиология у Гауле, особенно физиология ощущений у Влассака, политическая экономия у Плагтена. Но, разумеется, все отступало на задний план — в смысле моих университетских занятий — перед работами у Авенариуса...

Аксельрод был первый очень крупный марксистский мыслитель, с которым я встретился на своем веку.

В то время он жил со своей довольно многочисленной семьей очень скромно, зарабатывая на свое существование небольшим кефирным заведением и вечно возился со своими бутылками. Больной, страдающий мучительными бессонницами, от которых он лечился гипнозом у Фореля<sup>{226}</sup>, Павел Борисович располагал сравнительно ничтожным количеством времени для своих кабинетных занятий. Писал он мало, туго и мучительно, говорил несколько скучновато, но чрезвычайно содержательно. Делом моего просвещения он очень увлекался. Мы сделались с ним большими друзьями, и я стал своим человеком в семье. Позднее он полушутя признавался мне, что у него была идея выдать за меня замуж свою дочь. Да и так он был настоящим моим духовным отцом. Он часто отодвигал всякие свои другие дела, чтобы побольше беседовать со мной. Поощряя мои литературные опыты, он внимательно вслушивался в мои рефераты в кружках молодежи, хотя и подвергал их порой весьма суровой критике.

Главным образом он ополчился на мои спенсерианские воззрения на

общество как последовательно эволюционирующий организм. Здесь Аксельроду очень скоро удалось разбить эти мои предрассудки и очистить мое марксистское мирозерцание. Не то было с Авенариусом. В области философии я держался крепко и продолжал думать, что эмпириокритицизм является самой лучшей лестницей к твердыням, воздвигнутым Марксом.

Вскоре после моего переезда в Цюрих посетил его Г. В. Плеханов. Я встретился с ним на большом собрании, устроенном поляками, которые враждовали между собой, делясь на два лагеря; пепеэсов (Польская партия социалистов) и польских социал-демократов.

Во главе польских социалистов в Цюрихе стоял известный польский революционер Иодко — позднее один из вождей так называемой фракции. Во главе социал-демократов стояли совсем еще молодая Роза Люксембург и тов. Мархлевский.

С Розой Люксембург я встречался также на лекциях ультрабуржуазного политикоэконома Вольфа. Мне неоднократно приходилось слышать Розу, когда она своим кусательным и ироническим красноречием разбивала буржуазные хитросплетения Вольфа, так что он перед всеми своими ужаснувшимися швейцарскими питомцами, несмотря на несомненную находчивость и недюжинную ученость, оставался, как рак на мели, жевал, бормотал и терялся. Я очень уважал в то время Розу и даже своеобразно увлекался ею. Мне чудилось в ее маленькой, почти карликовой фигуре с большой выразительной головой на слабых плечах что-то почти сказочное и немножко дьявольское. Уже в то время она была во всеоружии общественного знания и своего блестящего и холодного ума при пламенном революционном темпераменте.

Плеханов выступил как раз после дискуссии, во время которой Роза как нельзя лучше справлялась с несколько тяжеловесным и замкнутым Иодко. И после ее сарказма и взрывов пафоса красивый человек, о котором с таким уважением возвестил аудитории уже тогда седой как лунь Грейлих и сейчас еще через 20 лет являющийся одним из вождей швейцарского движения, — показался мне немножко пресным и чуть-чуть разочаровал меня.

Зато чистым очарованием была беседа с Плехановым в тот же вечер. Здесь он показал всю увлекательную живость и красноречие своей непосредственной беседы. Мне кажется, что за всю жизнь я встретил только двух собеседников, столь исключительно блестящих, можно сказать, фейерверочных. Это были Г. В. Плеханов и М. М. Ковалевский<sup>{227}</sup>.

Разумеется, мы сейчас же схватились с Плехановым. По молодости лет я тогда никого не боялся и свои воззрения защищал с величайшей

запальчивостью и дерзостью. Конечно, мне немало досталось от Плеханова. Его нападения на Авенариуса были, однако, слабоваты, ибо для меня, знавшего в то время своего Авенариуса насквозь, сразу стало видно, что Плеханов даже не читал его, а судит о нем понаслышке. Зато, конечно, переворот произвела во мне необыкновенно тонкая критика Шопенгауэра, которого я в то время изучал, и настоящий дифирамб, вдохновенный и глубокий, который Плеханов произнес в честь Шеллинга и Фихте. О Гегеле мы, конечно, не спорили, хотя я в то время не добрался еще до изучения Гегеля в подлинных главных его сочинениях. Фихте же и Шеллинг казались мне только талантами, и я думал ограничиться тем небольшим количеством сведений, которые получил от них из истории философии Куно Фишера.

Первым и непосредственным результатом моей беседы с Плехановым было то, что я на другой же день отправил томы Шопенгауэра назад в библиотеку и навалил у себя на письменном столе томы Фихте и Шеллинга. Я и сейчас бесконечно благодарен Плеханову за то, что он сосредоточил мое внимание на этих двух великанах. Я вынес из изучения их бесконечное количество радости, и на всю жизнь, до сегодняшнего дня, я чувствую огромное благотворное влияние исполинов немецкого идеализма на мое мирозерцание. Только для Плеханова Фихте и Шеллинг были просто интересными предшественниками Гегеля — тоже, в свою очередь, подножия Маркса, — а для меня они во многом оказались самоценностью; сам Маркс озарился для меня новым светом. Благодаря им я сумел также оценить высокое и самостоятельное значение Фейербаха [...]  
[{228}](#).

Меньшее значение для меня имело увлечение Плеханова энциклопедистами и материалистами XVIII века. Я и сейчас люблю их, особенно Гельвеция и Дидро, но тем не менее они стоят несколько в стороне от моего мирозерцания [{229}](#).

Позднее, когда я приехал к Плеханову в Женеву и прожил несколько дней в непосредственной близости с ним, почерпнул у него еще один важный элемент.

Я уже в то время чрезвычайно пристально интересовался вопросом искусства в связи с историей культуры. У Плеханова я впервые встретился с большим, собранным им материалом, освещенным несколькими необыкновенно яркими мыслями и служившим подтверждением марксистского подхода к истории искусства. Очень многое, о чем я тогда говорил с Плехановым, многие выводы, которые я тогда сделал из его слов, остались опять-таки постоянным моим приобретением.

Как я уже сказал, я провел в Швейцарии менее года. Почти смертельная болезнь моего брата в Ницце заставила меня переехать туда, а затем в Реймс и Париж.

Об этой полосе моей жизни я могу не говорить ничего, так как никакой связи с крупными представителями или крупными событиями нашей партии эти три года не имели.

Лично же я продолжал углублять марксистское мировоззрение, особенно пристально работая в области истории религии, притом совершенно самостоятельно. Я почти совершенно перестал посещать лекции и работал в музеях и библиотеках, особенно в богатом музее Гимё.

Искусство и религия составляли тогда центр моего внимания, но не как эстета, а как марксиста. На эти же темы начал я в Париже читать, не без успеха, рефераты тамошнему студенчеству.

В горячих дискуссиях с М. Ковалевским, Гамбаровым, Аничковым я выступал как страстный адепт марксистского мирозерцания.

В Париже познакомился я также со стариком Лавровым. Если не ошибаюсь, это было совсем незадолго до его смерти. Был он очень стар и жил в своеобразной норе, как будто выкопанной между книгами; читал, как всегда в жизни, чрезвычайно много и представлялся мне чудом энциклопедичности. Мне удалось иметь с ним несколько длительных и интересных бесед на темы, которые в то время более всего меня интересовали, именно о происхождении родственных мифов у самых далеких друг от друга народов и о законах эволюции мифов.

К марксизму моему он относился скептически и один раз сделал мне род ласкового выговора за неопределенность моих занятий, рекомендуя мне поступить на какой-нибудь факультет. Я ответил ему, что я против факультетов вообще и за совершенно вольное самоопределение молодежи в ее самообразовании.

В 1896 году я вернулся в Россию.

Пробыл в России недолго. В Киеве я прочитал два реферата в духе моего тогдашнего мирозерцания, побывал мельком в Москве и Петербурге и вернулся за границу, в Париж, на этот раз уже ненадолго.

Здоровье моего брата, уход за которым составлял одну из главных моих забот, позволяло переезд его в Россию.

Он (Платон Васильевич Луначарский) и жена его Софья Николаевна придерживались раньше полутолстовских, полународнических взглядов, но под моим влиянием прониклись марксистскими идеями и вошли в социал-демократическую партию.

Несмотря на то, что брат мой был разбит параличом и тяжело ходил,

опираясь на палку, он горел нетерпением вместе со мной начать практическую революционную работу. О том же мечтала его жена.

В 1897 году мы вернулись в Москву, где застали в революционном отношении порядочный развал. Предыдущий Московский комитет был арестован, и от него остались только некоторые следы в лице главным образом тов. А. И. Елизаровой (сестры Ленина, к которой я имел энергичные рекомендательные письма от Аксельрода) и тов. Владимирского<sup>{230}</sup>.

Вместе с ними мы приступили к организации нового Московского комитета. К нам примкнуло несколько социал-демократов, большею частью приезжие из провинции. В близких отношениях с нами был кое-кто из молодежи и, конечно, рабочие, в особенности с заводов Гужона и Листа. Работа постепенно стала налаживаться. Нам удалось устроить небольшую типографию, удачно провести забастовку на заводе Листа, выпустить ряд гектографированных, а в последнее время и печатных листков, основать несколько кружков революционного самообразования и т. п.

Мы, конечно, менее всего догадывались о том, что в нашей среде уже имелся прямой агент охранного отделения, а именно А. Е. Серебрякова, в доме которой мы собирались и которая, хотя и не была членом нашего комитета, так как А. И. Елизарова по какому-то инстинкту несколько не доверяла ей, находя ее слишком болтливой, но тем не менее знала о нашей деятельности достаточно, чтобы провалить нас.

Вскоре у всех членов нашего комитета, или почти у всех, были сделаны обыски. Мой брат и его жена остались в этот раз в стороне. Арестована была О. Г. Смидович, я и пять-шесть наших работников, в том числе кое-кто из рабочих.

Сначала дело повернулось как будто очень благоприятно для меня. Серьезных улик против меня не оказалось. Жандарм Петерс, ведший дело, заявил мне, что считает меня молодым заграничным студентом, попавшим в дурную компанию, не находил нужным вести против меня дело и требовал, чтобы я уехал из Москвы.

Я сделал это и уехал в Киев к матери. Однако через три дня после моего приезда в Киеве вновь был сделан обыск, и после полуторамесячного сидения совместно с Урицким в тюрьме я был препровожден в Москву.

На этот раз дело повернулось хуже. Мое участие и в некоторой мере руководящее участие в Московском комитете было ясно для жандармов. Из показаний, которые мне дали прочесть, я убедился, что вся почти картина нашей деятельности уже раскрыта, за исключением некоторых обстоятельств, касавшихся моего брата и его жены, чему я был искренне

рад. Кое-какие мои действия, однако, были приписаны другим лицам и сильно усугубляли их вину. Ввиду этого я решился дать показания, точно устанавливающие мою роль, снимавшие ответственность кое с кого из случайно попавших в наше дело и направленные к сокращению напрасной траты времени на следствие.

Несмотря, однако, на это, мне пришлось просидеть, так же как и остальным арестованным, в Таганской тюрьме 8 месяцев в одиночном заключении.

Это было очень хорошее время. Правда, вследствие почти полного отсутствия прогулок, а может быть, и неважного питания, наконец, вследствие усиленной умственной работы я почти потерял сон и часто не спал целыми неделями. Однако внимательное отношение тюремного врача, в этих случаях предписывавшего мне холодные ванны, давало мне возможность перемотаться в смысле здоровья. Зато в духовном отношении эти 8 месяцев представляют один из кульминационных пунктов моей жизни.

Мне давали полную возможность выписывать книги, на что я тратил все деньги, которые получал от матери. Я перечитал целую библиотеку книг, написал множество стихотворений, рассказов, трактатов (некоторые из них и сейчас находятся в моих бумагах).

В начале 98-го года мы были освобождены, и мне предложено было выбрать город, в котором я должен был подождать до окончательного приговора, причем жандарм Самойленко обещал, что приговор последует через 2–3 месяца. На самом деле я прожил в Калуге, которую выбрал, целый год, а приговора все не было.

Пребывание мое в Калуге играло довольно важную роль в моей личной жизни, а также в моей жизни как социал-демократа.

Здесь я коснусь только тех сторон, которые характеризуют жизнь нашей партии в крупном провинциальном городе. Хотя я выбрал Калугу совершенно случайно, по в высшей степени удачно, ибо в Калуге ожидали приговоров люди, сыгравшие позднее заметную роль в истории русской социал-демократии. Там жил Богданов (Малиновский), с которым мы очень сдружились.

Мы жили в Калуге необыкновенно интенсивной умственной и политической жизнью. Во-первых, вместе с И. И. Скворцовым<sup>{231}</sup> я начал интенсивную пропаганду в кружках, собранных из учителей и учащейся молодежи, а затем в организации рабочих Калужского железнодорожного депо; во-вторых, мы стали в ближайшие отношения с довольно крупным фабрикантом Д. Д. Гончаровым, владельцем Полотняного завода.

Полотняный завод, майорат, основанный еще Петром Великим, и очаровательнейший уголок Калужской губернии, помнил и Пушкина, заветами которого и памятью о друзьях и врагах в высокой мере овеян был дворцеподобный дом Гончаровых, и Гоголя, который в восторженных выражениях отзывался о вековом парке Полотняного завода, и многих других.

Самый дом был настоящим музеем, в котором все эпохи, от Петра Великого до тогдашнего модернизма, оставили яркий след. Теперь, в качестве народного комиссара по просвещению, я принял некоторые меры к охране этого замечательного уголка — конечно, не в память моего там пребывания, а ввиду знакомства моего с большим культурным его значением.

Сам Гончаров и его жена Вера Константиновна были людьми глубоко культурными, и Полотняный завод превратился в настоящие маленькие Афины: концерты, оперные спектакли, литературные вечера чередовались там, принимая зачастую весьма оригинальный и привлекательный характер.

Мне это все было чрезвычайно близко, и во всем этом я принимал живейшее участие. Но здесь меня интересуют другие стороны жизни Полотняного завода.

Д. Д. Гончаров был социал-демократ: к ужасу и негодованию соседних фабрикантов, особенно владельцев завода Говарда, он ввел у себя 8-часовой день, участие в прибылях, целый ряд культурно-просветительных и хозяйственных мероприятий по образцу, приближавшему Полотняный завод к первым опытам Роберта Оуэна.

Я вскоре совсем переселился на. Полотняный завод; туда же перевели мы двух или трех наших учеников из кружков. Нам не приходилось вести среди рабочих пропаганды в смысле борьбы с непосредственным представителем, капитала, который был нашим дорогим товарищем, но это не мешало нам вести там общую социал-демократическую работу и стараться через посредство рабочих Полотняного завода влиять на рабочих Говарда и т. д.

Полиция смотрела на все это с чрезвычайным неодобрением. У меня были прекомические столкновения со становым, который не знал» как вести себя, имея, с одной стороны, перед собою ссыльного, а с другой — личного близкого друга богатого фабриканта и уездного предводителя дворянства Гончарова.

Вмешался в дело губернатор (я неясно помню его фамилию — кажется, Олсуфьев) — грузный человек, похожий на бегемота, который

вызвал меня к себе и предупредил, что будет вынужден выслать меня из Калужской губернии, так как обо мне дурно говорят. Особенно компрометирующим находил губернатор мою близость с теткой Д. Д. Гончарова, очень пожилой дамой, врачом, близким другом великого провансальского поэта Мистрала. Губернатор считал ее прямо каким-то страшилищем. Эта дама жива и сейчас, и я недавно получил от нее письмо, в котором она упрекает нас в излишней государственности и советует двигаться по направлению вольных рабочих братств и коммун. Я думаю, что сейчас Гончаровой не менее 70 лет, и ее, хотя и наивное на мой взгляд, но полное веры в революцию письмо, в особенности после того, как я узнал, сколько треволнений пришлось ей пережить на том же Полотняном заводе в острый период революции, меня глубоко тронуло.

Губернатор находил, что обо мне «говорят плохо». Действительно, влияние мое в Калуге и окрестностях выросло до чрезвычайности. К этому времени все другие товарищи: Богданов, Базаров, Скворцов, Авилов уже получили приговоры и разъехались в разные губернии. Я остался один и приобрел громкую известность. Жизнь у меня была самая разнородная, начиная от кружков самообразования среди приказчиков и приказчиц (с которыми я начал с чтения Пушкина и Шекспира), продолжая литературным кружком с весьма определенным радикально-демократическим налетом (в котором не без опаски, но с увлечением принимали участие чиновник особых поручений при губернаторе Барт и управляющий казенной палатой Племянников) и кончая чисто рабочими организациями Калужского железнодорожного депо.

Этот конец моего пребывания в Калуге я проводил действительно в каком-то кипении и нисколько не удивлялся, когда товарищи, недавно посетившие Калугу, рассказывали мне, что память обо мне там до сих пор не заглохла.

Гончаровы к тому времени переехали в Москву. Я несколько раз нелегально ездил туда из Калуги и один раз во время такой поездки «зайцем» был арестован. За преступление меня приговорили к одной неделе заключения в арестантском доме, где я занимался переводом стихотворений Демеля, которые только по несчастной случайности не появились в свет, так как были позднее потеряны.

Наконец приговор пришел и оказался гораздо более мягким, чем я ожидал. Я был приговорен только к двухлетней ссылке в Вятскую губернию, — правда, это после двух лет проволочки, считая со дня моего ареста. В Вятку мне ехать до крайности не хотелось. В Вологде же в то время жил А. А. Богданов и писал мне, что туда же приехали некоторые из

их старых друзей: Кржижановская В. Г. с мужем, Тучапским, организатором Спилки<sup>{232}</sup>, Бердяев, в то время далеко отошедший от нас, но представлявший для нас живой интерес именно как противник. Кроме того, в Вологде поселились такие интересные люди, как Ремизов, Савинков<sup>{233}</sup> с женой, дочерью Глеба Успенского, и некоторые другие.

Богданов писал мне об очень интенсивной умственной и политической жизни в Вологде.

Все это повлекло меня с большой силой в Вологду. Более или менее самовольно выехал я в Вологду, остановился там и оттуда подал министру внутренних дел Плеве записку, заявлявшую, что я болен, нуждаюсь в постоянном уходе и поэтому прошу оставить меня в Вологде, где живут мои близкие друзья. Надежды на такое «оставление у близких мне людей» не было никакой, и мы были приятно удивлены, когда тогдашний губернатор Князев получил от Плеве короткую телеграмму: «Луначарского оставьте».

Партийная жизнь в Вологде, как читатель мог уже заключить из перечисления имен тогдашних ссыльных в этом городе, была очень интенсивной.

До моего приезда Ник. Бердяев стал было занимать нечто вроде доминирующего положения, его рефераты пользовались большим успехом. Наша социал-демократическая публика поощряла меня выступить с рядом диспутов против Бердяева, противопоставляя его идеализму, — в то время докатившемуся уже до признания не только христианства, но почти православия, — марксистскую философию.

Я действительно прочитал в Вологде несколько рефератов с выдающимся успехом, приобрел быстро значительные симпатии среди тогдашней учащейся молодежи и чрезвычайно многочисленной в то время колонии ссыльных с их семьями.

В Вологду до нас доходили только смутные слухи о разногласиях в самой социал-демократии, к тому времени еще весьма неопределенных. В общем же мы, социал-демократы, составляли количественно и качественно самую сильную группу в Вологде.

Конечно, сложа руки я сидеть не хотел. Вариться в собственном «колониальном» соку мне также не улыбалось. Я решил приступить к несколько расширенной работе. Я не говорю здесь о моих первых литературных опытах беллетристического характера, так как они не относятся к задачам этой книги. Литературная же моя деятельность, публицистическая началась действительно в Вологде. Я опубликовал

против бердяево-булгаковского направления ряд статей: «Русский Фауст» (в «Вопросах философии и психологии»), «Белые маги» (в «Образовании») и несколько более мелких полемических статей против идеалистов. Мы задумали также, и к концу моего пребывания в Вологде осуществили, сборник «Очерки реалистического мировоззрения», который представлял собой систематический ответ на сборник противоположной группы — «Проблемы идеализма». В нашем сборнике, большое место занимала моя статья «Опыт позитивной эстетики».

Но если я говорю о расширенной работе, то имею при этом в виду не литературный мой план, а стремление связаться непосредственно с рабочим населением.

«Северный край» — леволиберальная газета, издававшаяся в Ярославле, пригласила меня корреспондировать из Вологды. Пользуясь этим, я посетил рабочие спектакли на большом винном заводе под Вологдой и написал статью, которая должна была служить, так сказать, первым шагом к известному сближению между мною и рабочими.

Однако бдительность полиции оказалась большей, чем я предполагал. По доносу начальника казенной палаты Миквица — либерала и даже, кажется, кадета — губернатор Ладыженский (тоже полукадет, который впоследствии даже пострадал, кажется, за свои «левые» убеждения в военное время) распорядился о высылке меня в Тотьму как «элемент», опасный даже в Вологде.

Тут началась довольно курьезная борьба между мною и губернатором. Я добровольно выехать отказался — меня повезли этапом. Какие-то формальности при этом не были выполнены, и меня оставили в Кадникове. Из Кадникова я самовольно вернулся в Вологду. Тогда меня посадили в вологодскую губернскую тюрьму. Но губернатор чувствовал смешную и нелепую сторону своих преследований против меня, в то время уже приобретшего некоторую литературную известность и, во всяком случае, почетное имя во всех сколько-нибудь интеллигентных кругах Вологды.

Наконец вопреки моим протестам состоялось окончательное постановление о посылке меня этапным порядком в город Тотьму.

К этому времени совершенно расползлись дороги, была весна, и этапом ехать было почти невозможно. Я тащился до Тотьмы больше недели, в дороге заразился чесоткой и, приехав в этот город, слег. От чесотки у меня сделалась рожа, и я чуть было не умер от всей этой истории. Но моя жена приехала в Тотьму, выходила меня, и, когда я выздоровел и осмотрелся, я почти был доволен моей новой ссылкой.

Тотьма — это чудесный маленький городишко на берегу очень

широкой и величественной здесь Сухоны, против огромного леса, занимающего другой берег. Около Тотьмы есть гостеприимный живописный монастырь, куда мы часто ездили на тройке.

Дешевизна жизни в Тотьме была необычайная, так что при сравнительно скудном моем литературном заработке и маленькой помощи от семьи мы с женой могли жить, можно сказать, припеваючи. Правда, ссыльных здесь не было вовсе: ввиду наличия в Тотьме учительской семинарии, которая когда-то бунтовала, Тотьма была объявлена под запретом для ссыльных, и я отправлен был туда в виде исключения.

Местное общество отнеслось ко мне хорошо. Разные чиновники и их жены, устраивавшие спектакли, затевавшие что-то вроде кружка самообразования, сейчас же собрались вокруг меня, причем я со своей стороны отнюдь не отказывал им в самом близком и деятельном общении. Среди этой публики были и некоторые молодые учителя и учительницы или слушатели учительской семинарии, из которых мог выйти толк. (Среди крестьян я никакой пропаганды не вел, так как не умел подойти к ним.)

Но вскоре в Тотьму приехал новый исправник, бывший вологодский полицмейстер, которому, по-видимому, было особенно поручено пресечь всякую возможность для меня начать какую бы то ни было общественную деятельность в Тотьме. Он запугал все маленькое тотемское полукультурное общество и изолировал бы нас совершенно, если бы в Тотьме не было чрезвычайно дружной с нами семьи товарищей по партии — Васильевых. Вдова Васильева — Е. А. Морозова — и сейчас остается близким другом моим и всей моей семьи. Их и наша семья коротали два года в тотемской ссылке вместе.

Эти годы не прошли бесследно для моего развития. Во-первых, я развернул в Тотьме большую литературную работу. Здесь я написал большой этюд о Ленау, перевел его «Фауста» и опубликовал в «Образовании» и «Правде» большой ряд критических и полемических этюдов, которые по возвращении из Тотьмы я издал отдельным большим томом и которые доставили мне довольно широкую известность среди читающей публики.

С предложением писать ко мне обращалось большинство издателей левых журналов. Тут же написан был мною популярный очерк философии Авенариуса с приложением критического очерка о «Панидеале» Гольцапфеля, изданный Дороватовским<sup>{234}</sup>.

Но как ни много писал я в Тотьме, еще больше я читал и думал. Несмотря на достаточную интенсивность моей работы в Цюрихском университете, парижских музеях и высших школах, я должен сказать, что

больше всего в области выработки миросозерцания я добился именно во время восьмимесячного заключения в Таганке и двух лет моей жизни в Тотьме.

По окончании ссылки, в 1901 году, мы с женой поехали в Киев, где жила моя мать. Однако нам пришлось там жить недолго. Киевская газета полу-социал-демократического типа («Киевские отклики»), редактировавшаяся главным образом В. В. Водовозовым, пригласила меня в качестве заведующего театральным отделом, и я вступил было в свои обязанности, в то же время предполагая начать целые курсы лекций и рефератов для учащейся молодежи и возобновить работу в киевских рабочих кругах. Но партийные верхи уже обратили на меня внимание и считали невозможным оставить меня на такой кустарной работе.

То было тяжелое время полного раскола между большевиками и меньшевиками. Я более или менее определенно стоял на большевистской позиции, хотя не все стороны распри были для меня ясны. Решающим моментом для меня было скорей не подробное знакомство с разногласиями, а тот факт, что А. А. Малиновский-Богданов всецело вошел в большевистское движение и сделался для России как бы главным представителем Ленина и его группы<sup>{235}</sup>.

Распря осложнилась еще тем моментом, что русский центр в лице и ныне работающих в нашей партии и занимающих определенные посты в советской власти товарищей Красина, Карпова, Кржижановского стали на так называемую примирительную позицию. По существу, вышла третья линия, почти одинаковой враждебностью пользовавшаяся со стороны «чистых» большевиков и меньшевиков. Центральный Комитет (соглашательский) имел в то время свою главную квартиру в Смоленске, куда я был вызван. Особенно сильное впечатление среди тогдашних работников этого Центрального Комитета произвел на меня тов. Иннокентий<sup>{236}</sup>, позднее сыгравший такую большую роль в истории нашей партии и безвременно погибший, оставив по себе среди многих большевиков восторженную память как о настоящем, государственного типа, уме. Уже тогда этот выдающийся человек отличался замечательным классовым чутьем и широтой воззрений.

В Смоленске я составил большую прокламацию по поводу убийства Плеве, которая была издана как первый большой листок от нового Центрального Комитета. Там же я взял на себя обязанность быть, так сказать, главным пером этого «соглашательского» ЦК. Однако, несмотря на убеждения Л. Б. Красина, Г. М. Кржижановского и Иннокентия, у меня не

было полной уверенности в правильности нашей линии.

Едва я вернулся в Киев, как получил категорическое письмо от Богданова, в котором он звал меня немедленно ехать за границу для личного знакомства с Лениным и вступления в редакцию центрального органа большевиков. Посоветовавшись с женой, мы решили, что нашей обязанностью является повиноваться этому призыву.

Мы выехали за границу в конце 1904 года. Приехали в Париж, и там я остался довольно надолго, так как ехать в Швейцарию мне не хотелось — полной уверенности в необходимости партийного раскола у меня не было [...].

Наконец в Париж приехал за мной Владимир Ильич лично и заставил меня совершенно покончить с моими сомнениями.

Правда, в то время позиции не были вполне отчетливы. Меньшевики только несколько позднее, к январским событиям и революции 1905 года, стали выявлять свою линию союза с либералами и поддержки грядущей революции как типично буржуазной, от которой можно ждать лишь более или менее радикального изменения *политического* (не социального) строя России. Тем не менее уже в то время было ясно, что так называемая «широкая партия» означала бы собой главным образом интеллигентскую партию.

Ленину уже без труда удавалось доказать, что за нами, большевиками, идут наиболее решительные, наиболее последовательно мыслящие интеллигенты, в большинстве случаев ставшие профессионалами революции, а затем густые слои рабочей массы; за меньшевиками же идут в огромном количестве демократические интеллигенты и кое-где налипшие на них верхушки профессиональных союзов — те типы «развитого» рабочего, которые всегда являются главными проводниками оппортунизма в массы.

Все мое мирозерцание, как и весь мой характер, не располагали меня ни на одну минуту к половинчатым позициям. Конечно, между мною, с одной стороны, и Лениным — с другой, было большое несходство. Он подходил ко всем этим вопросам как практик и как человек, обладающий огромной ясностью тактического ума и поистине гениальный политик, я же подходил, как... артистическая натура, как назвал меня как-то Ильич.

Моя философия революции иной раз вызывала у Ленина известную досаду<sup>{237}</sup>, и наши работы (я говорю о группе: Богданов, Базаров, Суворов, я и некоторые другие) действительно ему не нравились. Однако он чувствовал, что группа наша обеими ногами стоит на настоящей, непримиримой и отчетливой пролетарской позиции в политике. Союз, уже

состоявшийся между ним и Богдановым, скреплен был также и со мной. Я немедленно выехал в Женеву и вошел в редакцию газеты «Вперед», а позднее — «Пролетарий» [...].

Редакция, правда, была у нас дружная. Она состояла в то время из четырех человек: Ленина, Воронского, Галерки (Ольминского) и меня. Я выступал и писал под фамилией Воинов. Как публицист, я не был особенно плодovit — рядом с Лениным не приходилось писать слишком много: он с поразительной быстротой и уверенностью отвечал на все события дня. Много писал также Галерка. Зато как пропагандист идей большевизма, как устный полемист против меньшевиков я занял первое место и в Женеве, и в других городах Швейцарии, и в колониях русских эмигрантов во Франции, Бельгии и Германии. Разъезжал я неутомимо, повсюду посещая наши, порою столь крошечные, но всегда энергичные большевистские организации, повсюду грудью встречая натиск несравненно более компактной меньшевистской и бундовской публики и повсюду читая рефераты. Я не отказывал себе в удовольствии рядом с рефератами чисто политическими устраивать также рефераты на философские, литературные и художественные темы. К ним душа моя лежала больше — да они, по правде, имели и несравненно больший успех.

Жизнь эта меня утомила, но я считал своим долгом исполнять мою миссию странствующего проповедника и полемиста со всяческим рвением.

Чтобы закрепить разрыв партии, который казался нам абсолютно необходимым, и привлечь к себе окончательно соглашеницев, у которых новых линий абсолютно не вытанцовывалось, мы решили созвать в Лондоне III съезд партии. Главным организатором съезда в России явился Богданов. Он, став во главе Организационного бюро комитетов большинства, объездил всю Россию и обеспечил съезду значительный приток крупных работников с мест.

III съезд вообще выявил главные фигуры нашей партии. Правда, и на II съезде выдвинулось несколько лиц, которые играли некоторую роль в начале истории большевизма и [теперь] вернулись в ряды [активных] большевиков (я говорю о таких людях, как В. Д. Бонч-Бруевич, как С. И. Гусев и некоторые другие).

На III съезде окончательно выяснилась возможность длительного союза между Лениным и Богдановым, с одной стороны, и тов. Никитичем, то есть Л. Б. Красиным, — с другой. С тех пор Красин занял в большевистском мире пост одного из крупнейших практических вождей.

Выдвинулся и был избран в ЦК тов. Строев, то есть Десницкий, долгое время бывший одной из основных фигур большевизма, потом отошедший,

а сейчас числящийся в своеобразно сочувствующих советской власти и работающий как выдающийся педагог и организатор рука об руку с нею.

Не стану перечислять других, как старика Миху<sup>{238}</sup>, Раскольников (из Самары), Вадима, сейчас, кажется, продолжающего стоять в стороне от движения, но некоторое время бывшего одним из виднейших деятелей партии и т. п.

Съезд был немногочислен, но отборен по своему составу. На нем в конце концов оформилось движение большевизма. Были выработаны определенные тезисы: держать курс на революцию, готовить ее технику, не забывать за «экономическим и закономерным» волевого, организующего начала. За цель же положить себе диктатуру пролетариата, опирающегося на крестьянские массы.

Все это сделало большевистскую партию готовой к первым бурям и грозам революции 1905 года.

Январские дни застали меня все еще в Женеве. Нечего и говорить, какое огромное волнение переживала в то время партия, какой нервный характер приобрели наши митинги. Мы стали на точку зрения военной организации революции как таковой, в то время как меньшевики рассчитывали на парламентские формы, банкеты, демонстрации, стачки и т. п. Мы говорили о диктатуре пролетариата, опирающегося на крестьянские массы, а они о диктатуре буржуазии, подпираемой пролетариатом.

К сожалению, вскоре после январских событий я почувствовал себя дурно и вынужден был просить небольшого отпуска, причем для отдыха уехал вместе с женою в Италию. Мы поселились во Флоренции, откуда я продолжал сотрудничать в «Пролетарии», но где главным образом занимался историей искусства, итальянской литературой, следя в то же время лихорадочно за событиями, происходившими в России.

В конце октября 1905 года я получил от ЦК предписание немедленно поехать в Петербург. Предписание это было мною исполнено сейчас же, и в Петербург я прибыл в первых числах ноября. В городе в то время шумела революция. Правительство как-то спряталось. В прессе доминировали левые газеты, и мальчишки звонкими голосами выкрикивали странные для России революционные названия новых листков.

Повсюду шли митинги. Петербургский Совет рабочих депутатов был несомненным вторым правительством, и оптимисты думали, что он располагает, пожалуй, большими силами, чем настоящее правительство.

Мне незачем здесь рассказывать о тех событиях революции 1905–1906 годов, которые в настоящее время известны всем и даже достаточно

изучены. Я отмечу лишь коротко, как надлежит в предисловии<sup>{239}</sup>, некоторые отдельные факты, касавшиеся близких мне политических кругов и лично наблюденные мною.

Главными заботами центрального штаба нашей партии в начале революции, то есть до поражения московского восстания, была постановка прессы и организации и вопросы о сближении с меньшевиками.

В первом отношении мы вступили сначала на несколько неправильный путь. Лично я вошел в редакцию газеты «Новая жизнь», которую Горький и Румянцев<sup>{240}</sup> задумали еще до переворота 17 октября — по типу, в сущности, левой газеты несколько беспартийного характера, с марксистским оттенком. Мы унаследовали от этого плана хороший технический аппарат, который, быть может, с несколько излишней американской ширью вел П. П. Румянцев, но загроможденный значительным количеством чисто буржуазных журналистов. Достаточно сказать, что во главе редакции числились три лица: Ленин, Горький и... Минский<sup>{241}</sup>. За Минским тянулась целая вереница более или менее беспартийных людей, в то время, быть может, и искренне тяготевших к победной революции.



*А. В. Луначарский. Бернард Шоу и леди Астор среди советских писателей 1931 г.*



*А. В. Луначарский, академики Н. Я. Марр и А. П. Карпинский*

Но что, в сущности, могло объединять нас с ними? Гораздо легче работать с какими-нибудь анархистскими или эсеровскими элементами, которые родственны им по своему миросозерцанию...Еще не пришло то время — хотя оно придет! — когда марксизм развернется со всей пышностью заложенных в нем возможностей и сделается центром внимания и душою не только рабочего класса, но и трудовой интеллигенции. Этого мы не достигли еще и до сих пор. Но тут несколько не вина нашей партии: действительно, пока некогда разрабатывать вопросы философии и культуры в самом широком смысле этого слова. Мы находимся еще в области первых завоеваний власти и первых упорядочений экономических основ быта. Строится суровый фундамент из едва облицованных камней и о тонкостях архитектуры грядущих верхний этажей мечтают некоторые, но не говорит и не рассуждает никто. Они влюблены в их красоту, верят, но, заваленные текущей работой, отдаются жгучему моменту.

Так это было, конечно, и в 1906 году. Так как я всегда отличался от

моих товарищей (за малым исключением) особенно острым интересом именно к этим «грядущим верхним этажам», то со стороны Минского была сделана даже попытка чего-то вроде переворота в редакции «Новой жизни», а именно — создания союза между наиболее левыми интеллигентами и наиболее «культурными» большевиками, к которым он сделал честь отнести меня. Конечно, на это предложение я ответил только пожатием плеч.

Когда «Новая жизнь» скончалась, партия вступила на более планомерный путь с изданием газеты «Волна», а по закрытии ее и некоторых других. Это были газеты чисто партийные, велись они хотя односторонне, но тем не менее энергично и ярко и имели большой успех в массах.

Но ко времени их деятельности преобладание правительства реакционного над силами Совета сказалось уже с полной ясностью.

И в организационном отношении дело шло не особенно хорошо. И мы и меньшевики одинаково сознавали, что Петербургский Совет рабочих депутатов покоится больше на революционном подъеме рабочих масс, чем на подлинной их политической сознательности, а в особенности на подлинно прочной низовой организации.

Дан проповедовал в то время устройство системы клубов, к чему кое-где и приступили, а чисто партийные организации и тем более организации профессиональные и без того отличались еще рыхлостью.

Людей везде не хватало. Работа в армии шла главным образом в некоторых частях, расквартированных в Финляндии (что в свое время сказалось свеаборгскими событиями). Однако и с этой стороны мы были еще далеки от того положения, которое создалось более тяжелой империалистической войной к нашим дням.

С крестьянскими восстаниями, вспыхивавшими в разных местах, мы были совершенно не связаны, за исключением Латвии, где движение «Лесных братьев» и вообще крестьянское массовое движение шло более или менее непосредственно под руководством партии.

Чем дальше, тем больше выяснялось, что революция, как массовое явление, идет на убыль; повторные попытки генеральных стачек причиняли нам вред, лишь показывая как раз спад в настроении населения. Поражение московского восстания нанесло революции почти смертельный удар.

К этому времени относится и перелом в наших отношениях с меньшевиками. Начиная с возвращения эмиграции в Россию, появилась тенденция к сближению между обеими частями партии: оказалось, что революция ставит перед нами столь общие задачи, что, как ни велики

теоретические разногласия, силы, нас сближавшие, их перевешивали. Можно было наблюдать, как прежде столь близкие друзья, а потом столь свирепые враги — Ленин и Мартов мирно беседовали друг с другом и искали точек соприкосновения.

Растущее давление масс, способствовавшее такой спайке, породило и те бесконечно длинные заседания, которые велись у нас сообща с меньшевиками для создания редакции единой газеты. Мне приходилось всячески стараться, добиваясь благоприятных результатов. Формально мы добились их, общая редакция была создана, роли распределены, было даже одно-два общих редакционных заседаний, и, не помню точно, кажется, даже выпущен был один номер соединенной газеты; но газета была сейчас же запрещена, а возобновить ее не удалось уже потому, что между нами и меньшевиками опять все пошло врозь.

Самым героическим усилием к объединению партии был, конечно, Стокгольмский съезд: и мы и меньшевики напрягли все силы, чтобы иметь на этом съезде большинство.

Я поехал в Стокгольм со второй партией делегатов, и на пути с нами произошло, между прочим, курьезное несчастье. Капитан парохода опасался везти нас открытым морем из-за качки, которая могла бы повредить целому табуну цирковых дрессированных лошадей, бывших нашими сотоварищами по путешествию. Пароход наскочил на камень. В первую минуту ночью, когда раздался оглушительный взрыв, пароход накренился набок и раздались крики о том, что вода проникает в каюты первого класса, — я думал, что какое-нибудь русское сторожевое судно, узнав о том, кто едет на этом пароходе, послало в нас мину илихватило нас каким-нибудь крупным снарядом. Любопытно было наблюдать сцены, происходившие в течение всей этой ночи, пока пароход, к несчастью, крепко засевишь на пронзившем его бок остром камне, очень медленно погружался в море. Мы все ходили со спасательными поясами под мышками в предрассветных сумерках и ждали момента, когда нам прикажут садиться в шлюпки. Близлежащий берег (вернее, скала) казался нам не только бесприютным, но и совершенно недоступным с моря, и один старый финн, не то пугая нас, не то действительно испуганный, говорил, что шлюпки непременно разобьются об этот берег. К утру нашу маленькую пушку, которая тревожно кашляла на корме, услышали из Гельсингфорса и на выручку к нам пришел маленький полицейский пароход. Когда нас забрали и отвезли в Гельсингфорс, им и в голову не приходило, что они имеют в своих руках ровно половину состава социал-демократического съезда, захватив которую, они могли бы нанести надолго непоправимый

удар всему делу русской революции. Но полиции все это было невдомек, и она нас свободно отпустила с другим пароходом, ушедшим на следующий день.

По приезде в Стокгольм я нашел ситуацию уже выяснившейся. Было ясным, что меньшевики на съезде будут в большинстве.

В то время немалую роль в жизни партии стал играть Алексинский. Мы раньше его не знали. Я и теперь плохо знаю его студенческое прошлое. Он был нам рекомендован как бойкий журналист, весьма симпатизирующий большевизму. Очень скоро он вступил в партию и действительно показал себя чудесным газетным работником: с невероятной быстротой писал он статьи на любые темы и скоро сделался главной опорой газеты не как политический руководитель, а как всегда готовое перо.

В Стокгольме, когда Ленин продумывал все стратегические ходы для того, чтобы обеспечить за большевиками максимум влияния в грядущей партии, и склонялся уже к идее о полном разрыве и о разрушении съезда, Алексинский выступил против него с горячими филиппиками и внезапно для всех нас из крайнего меньшевикоеда превратился в какого-то размякшего защитника идей неразборчивого единства...

Надо сказать, однако, что, когда линия нашего поведения была определена, тот же Алексинский вновь превратился в самого озлобленного полемиста и при выступлениях Плеханова буквально порывался броситься на него чуть не с кулаками, так что для предотвращения с его стороны скандальных выходов мы посадили рядом с ним двух уравновешенных товарищей. Плеханов в шутку говорил мне после заседания: «Что вы этого Алексинского сырым мясом кормите, что ли, для злобы?»

Сколько, однако, тактических приемов ни выдумывал Ленин, все равно факт остался фактом: меньшевики имели весьма определенный перевес на съезде, и ЦК должен был оказаться в их руках.

Вопрос ставился так: идем ли мы в объединенную партию, которую меньшевики будут руководить, или не идем? С обычной прозорливостью и прямоотой Ленин утверждал, что из объединения не выйдет ровно ничего. Однако возобладало другое мнение: попытаться все же создать общую партию для того, чтобы оказать возможно более дружный отпор грозно надвигавшейся реакции.

Разъехались мы со съезда довольно сумрачными. Для всех было ясно, что мир заключен лишь кажущийся. Передавали фразу, сказанную столь плохим пророком Даном, в то время являвшимся настоящим диктатором меньшевиков: «С большевиками теперь покончено, они побарахтаются еще

несколько месяцев и совсем расплывутся в партии».

Мне незачем прослеживать дальнейший ход развития наших отношений с меньшевиками. Поражение революции открыло перед нами две линии: можно было идти, с одной стороны, по пути парламентаризма в том убогом виде, какой отмеривался Столыпиным, по пути приспособления к мнимо конституционным порядкам «буржуазной монархии», как окрестил новый режим Мартов, или продолжать борьбу партизанскими способами<sup>{242}</sup>.

Меньшевики, конечно, выбрали первый путь, большевики, конечно, второй...

Забегая вперед, скажу, что вскоре и среди самих большевиков начались разногласия [...].

Но здесь я несколько забегаю вперед, и мне нужно вернуться к эпохе выборов во II Государственную думу.

Кандидатов от Петербурга у партии не было никаких ввиду всевозможных затруднений, которые ставил самый избирательный закон. Перед тем как выставлять кандидатуру Алексинского, который с этой целью переведен был в корректоры и, таким образом, стал рабочим типографии, толковалось также о моей кандидатуре, ибо я, по-видимому, ни с какой стороны не должен был встретить предусмотренных законом препятствий.

Думаю, что именно поэтому судебные власти поторопились предъявить мне обвинительный акт. Сделать это было вообще чрезвычайно легко, ибо деятельность свою я вел совершенно открыто и в отличие от многих других товарищей даже не под псевдонимом, а партийная работа в то время была довольно широка.

На Новый год (1906), как раз в канун его, я был арестован на рабочем собрании и просидел 1½ месяца в «Крестах». (За это время я написал свою драму «Королевский брадобрей».) Дело могло повернуться очень плохо, так как преступлений на мне было сколько угодно; но относительно собрания, на котором я был арестован, я сделал заявление, что присутствовал на нем с информационными целями как член редакции журнала «Образование», каковым действительно состоял в то время.

Через 1½ месяца меня выпустили. Я как ни в чем не бывало продолжал свою деятельность. Главным образом она выразилась в лекциях. Чем дальше, тем больше эти лекции приобретали характер философский. Я решился даже открыть целый курс по истории религии. Читал я свои лекции в высших учебных заведениях, главным образом в политехникуме. После моих рефератов часто шли жгучие дискуссии. Более или менее

постоянными участниками их являлись: Столпнер<sup>{243}</sup> и священник Агеев, раза два выступал Григорий Петров, тогда еще священник<sup>{244}</sup>. За слушание лекции взималась плата в пользу Петроградского комитета нашей партии. Для комитета лекции дали около 10 тысяч рублей.

Однако не эти мои, весьма «преступные», с точки зрения развивавшихся в них идей, и весьма громкие лекции и не моя агитационная работа, на которой я сорвался было 31 декабря 1905 года, а моя литературная работа, и притом в совершенно случайной ее части, послужила основанием моего «дела». Оно было возбуждено специально, чтобы парализовать во мне весьма вероятного кандидата во II думу.

Алексинский был известен гораздо меньше, чем я. Можно было сказать, что, выбивая меня из строя, большевиков окончательно лишали права иметь в думе какого-либо настоящего оратора.

Обвинительный акт был построен на моем предисловии к брошюре Каутского («Движущая сила русской революции»), в котором я говорил о русском правительстве как об организации приказчиков западноевропейского капитала, обязанной выколачивать из страны колоссальный доход для западной биржи.

Обвинительный акт был составлен так и прецеденты были так ясны, что приглашенный мною для совещания адвокат Чекеруль-Куш посоветовал мне немедленно эмигрировать. Стояло вне всякого сомнения, что я буду осужден на длительное тюремное заключение; между тем я не был арестован.

Я посоветовался с наиболее близкими мне партийными товарищами, и мы постановили, что мне действительно необходимо уехать. Это было зимою 1906 года.

К этому времени обстоятельства повернулись так худо, что уже почти никто из партийных товарищей-главарей не жил легально. Они ютились в Финляндии. Пресса наша была задушена.

Выехал я без семьи через Финляндию. На Финляндском вокзале не было никаких препятствий — похоже было даже на то, что меня пропускали нарочно, ибо дело шло не столько о моем заключении, сколько о том, чтобы отстранить меня от думской политической работы.

В Гельсингфорсе я прожил несколько дней у-тов. Смирнова<sup>{245}</sup> и затем абсолютно без всякого паспорта выехал из Ганге на Копенгаген. Первое время моего пребывания за границей (в Италии) я не принимал почти никакого участия в политической работе. Я сидел над моей книгой «Религия и социализм», которой придавал очень большое значение: я не

только сознавал, что надо сейчас положить препону растущему религиозному влечению и ввести его в законное русло, но и для будущего считал необходимым придать большую эмоциональную широту марксизму, не изменяя ни на один волос его подлинный дух.

Вскоре, однако, политические бури вновь коснулись меня. Это уже не были те несущиеся над всем русским миром революционные бури. Это были более или менее резкие порывы ветра в наших эмигрантских заливах и бухтах.

Креп наш раскол по поводу участия в думе<sup>{246}</sup>. Отношения между Богдановым и Лениным на этой почве стали совершенно нестерпимыми. Наконец в ЦК произошел разрыв. На пленуме ЦК меньшевики-мартовцы и большевики-ленинцы выбросили из партии ликвидаторов и, признав нашу группу партийной, в то же время исключили ее представителей из ЦК.

Время, по правде сказать, очень неприятной борьбы между ленинцами и богдановцами было скрашено нашей первой партийной школой, которую мы организовали на Капри. Как-нибудь надо будет более подробно описать события, связанные с моей дружбой с А. М. Горьким. Здесь же, в этом кратком очерке, придется сказать об этом только несколько беглых фраз.

Своим возникновением каприйская школа вдвойне обязана замечательному человеку — М. Вилонову. Он был родоначальником ее идеи, и он же был главным организатором. Надо прибавить, однако, к этому, что им же нанесен был каприйской школе сильный удар, дезорганизовавший ее. Тов. Вилонов, уральский рабочий, приехал на Капри по настоянию и на средства организации, к которой принадлежал, чтобы спастись от грызшей его чахотки. Натура необыкновенно могучая и психически и физически, тов. Вилонов нажил чахотку в результате жестокого избиения, которому был подвергнут после побега из уфимской тюрьмы.

Вскоре после своего приезда он приобрел большое уважение и дружбу со стороны живших в то время на Капри Горького и Богданова, равно как и с моей стороны.

Неугомонный организатор, Вилонов, едва оправившись от своей болезни под влиянием каприйского климата, который оказался ему благоприятным, начал поговаривать о возможности привезти тем же путем, каким ехал он, несколько десятков рабочих на Капри и здесь, в очаровательном и тихом уголке Европы, устроить партийный университет, из которого месяца через четыре можно было бы вернуть в Россию более или менее политически просвещенных товарищей.

Идея сначала показалась фантастической; возражения против

подобного плана приходили в голову очень легко. Но, с одной стороны, энергия Вилонова, с другой стороны — наша жажда увидеть подлинных русских пролетариев и поработать с ними превозмогли препятствия.

На партийные средства, при значительной поддержке М. Горького решено было основать эту школу.

М. Вилонов, рискуя арестом и смертью, все еще очень тяжело больной, отправился в Россию.

Через некоторое время, летом 1910 года, он вернулся с двадцатью рабочими, выбранными различными организациями в разных концах России. Среди них оказались люди разного уровня. Иные были середняками, другие отличались блестящими способностями. Быть может, эта разница уровней была одним из самых трудных обстоятельств в жизни нашей школы. Преподавателями ее являлись: М. Горький, Ал. Богданов, Алексинский, я, Лядов<sup>{247}</sup>, Десницкий-Строев.

Я преподавал историю германской социал-демократии, теорию и историю профессионального движения, вел практические занятия по агитации, а к концу прочел еще курс всеобщей истории искусства, который, как это ни странно, имел наибольший успех у рабочих и окончательно скрепил мою тесную с ними дружбу. Я глубоко сошелся с рабочими; отчасти этому способствовало то, что я жил и питался вместе с ними, а отчасти и влияние моей жены, которая приобрела на всю жизнь несколько горячих друзей из числа каприйских учеников. Занятия в школе шли хорошо, слушатели были проникнуты энтузиазмом. Практические занятия часто приобретали оригинальный и захватывающий характер.

Тем не менее о каприйской школе приходится вспоминать не без горечи<sup>{248}</sup>.

В школе был талантливый рабочий, по прозвищу «Старовер», который открыто являлся в нашей среде «агентом» Ленина... Пошатнулся и сам Михаил Вилонов... Ему казалось, что будущее всего выводка первой партийной школы омрачается перспективой борьбы в своей собственной, в большевистской среде.

Эта позиция Вилонова вызвала целую грозу над ним. Богданов, Алексинский объявили его буквально изменником. Теперь, когда я оглядываюсь назад, я считаю такое отношение к Вилонову крайне несправедливым. Но страсти в то время были в большом разгаре.

Вилонов с ленинцами уехали в Париж, а остальные отправились в Россию [...].

Вскоре после того как скончалась каприйская школа, должен был

собраться международный Копенгагенский съезд. На предшествовавшем Штутгартском съезде, тотчас же после моего приезда за границу (1907 г.), я участвовал в качестве представителя большевиков, и участие мое там было весьма активным: я был избран в комиссию этого конгресса по выработке взаимоотношений между партией и профессиональными союзами.

Большевики [...] слили свои тезисы с тезисами Де Брукера, стоявшего в то время на синтетической точке зрения необходимости рассматривать их рядом с партией — как второе, весьма существенное оружие рабочего класса в борьбе за социализм.

Стоя на этой позиции, я делал доклады в русской секции и в комиссии, причем бороться приходилось мне главным образом с Плехановым, стоявшим одновременно на точке зрения нейтрализма профессиональных союзов и на точке зрения пренебрежения к ним как революционному орудию.

В результате этой моей работы появился мой этюд по этому вопросу, напечатанный затем в заграничном журнале «Радуга». В то время кое-кто из товарищей-большевиков упрекал меня за эту уступку «синдикализму», но будущее показало, что моя линия тогда была правильной. Я не хочу сказать, конечно, что именно я определил дальнейшую политику большевиков по отношению к профессиональным союзам, но в то время проповедовавшаяся мною точка зрения была еще довольно нова и в нашей собственной среде проходила не без борьбы. Ленин, с обычной ясностью ума, сразу воспринял все положительные черты ее.

В связи с этой моей работой на Штутгартском конгрессе казалось естественным, чтобы я представлял партию также и на Копенгагенском съезде; группа «Вперед» дала мне для этого мандат [...].

Не доезжая Копенгагена, уже в Дании, мы встретились с Лениным и дружески разговорились. Мы лично не порывали отношений и не обостряли их так, как те из нас, которым приходилось жить в одном городе.

Из краткого обмена мнений выяснилось, что почти по всем вопросам копенгагенской программы мы стоим на близкой точке зрения. Моя задача была — по вопросу об отношении партии и кооперативов провести точку зрения, параллельную штутгартской; относительно профессиональных союзов я лелеял мечту, что на Венском конгрессе удастся закончить это дело, точно установив равноправное место среди орудий борьбы пролетариата и за культурно-просветительной его организацией.

И тут, как в Штутгарте, благодаря правильно понятой позиции, окончательные результаты съезда почти полностью совпали с теми резолюциями, которые были приняты большевистской фракцией по моему

докладу.

В результате кооператоры пригласили меня почетным гостем с решающим голосом на Международный съезд кооперативов в Гамбурге, имевший место тотчас по окончании конгресса в Копенгагене.

К сожалению, завязавшиеся, таким образом, короткие отношения с ленинцами не были прочны, ибо остальные члены нашей группы (особенно Алексинский) о таком сближении не хотели ничего и слышать.

Впрочем, на некоторое время я отошел от политической работы вообще, потому что меня постигло большое семейное несчастье: умер мой ребенок, и в связи с этим и рядом других обстоятельств, о которых я сейчас не буду ничего говорить, я покинул окончательно Капри и пространствовал некоторое время вместе с моей женою по разным местам Италии [...].

Мое пребывание в Париже от конца 1911 по 1915 год было посвящено довольно многосторонней деятельности. Во-первых, я сделался постоянным корреспондентом трех русских периодических изданий, именно: «Киевской мысли», «Дня» и «Вестника театра». Я переиздал в настоящее время часть моих статей, накопившихся за этот четырехлетний промежуток. Их очень много, они написаны на самые разнообразные темы, и я уверен, что вместе они покажут, что являлись не простыми статьями газетчика, а большой работой по анализу западноевропейской культуры, в особенности французской.

Одновременно с этим я писал довольно большое количество статей в ежемесячных журналах и различного рода сборниках.

Помимо литературной работы, я основал кружок пролетарской культуры, в котором работал целый ряд выдающихся пролетарских писателей: были там и Павел Бессалько, и поэт Герасимов, и Гастев, и [Ф. И.] Калинин, и многие другие.

Я читал также лекции для рабочих по истории всемирной литературы и огромное количество рефератов как в Париже, так и в русских колониях — Швейцарии, Германии и Бельгии.

Деятельность моя заставляла меня несколько разбрасываться, но все же она давала гораздо больше удовлетворения, чем политическая работа как таковая; политическая ситуация как-то запуталась, линия, отграничившая нас, впереводцев, стерлась, и часто позиция наша была как бы искусственной. (Это относится, впрочем, очень часто к эмигрантским группам.)

Внутри группы «Вперед» тоже опять пошел разлад. После короткой, но довольно тяжелой распри между Богдановым и Алексинским первый покинул группу «Вперед», и после этого Алексинский развил до

кульминационного пункта свои выдающиеся способности дезорганизатора: ему удалось постепенно поссориться и отколоть от нас тов. Менжинского {249}, Покровского {250} и в конце концов самым нелепым и довольно гнусным образом порвать также и со мной. Группа вовсе исчезла бы с лица земли, если бы ее женевская часть (тт. Миха, Лебедев-Полянский {251} и др.) не усилилась с моим переездом в Швейцарию.

Сближение группы «Вперед» с большевиками и вообще сплочение левого фланга произошло в результате войны.

Объявление войны я пережил еще в Париже, но сейчас же после этого мы с семьей поехали в Бретань, в маленький город Сен-Бревен, против города Сен-Назера. Там мы поселились на даче. Живя во Франции, испытываешь некоторое влияние той страны, судьбы которой на тебе непосредственно отражаются и определенным образом волнуют всех окружающих.

Несмотря на разные ненавистные поступки германской армии, я очень быстро обрел равновесие и стал на решительную интернационалистскую позицию.

Осенью я вернулся в Париж и нашел там готовую почву. На одном митинге русских эмигрантов, на котором определялись наши отношения, мы выступили вместе с Черновым как интернационалисты {252}. На этом и подобных собраниях определилось, что и социал-демократы и эсеры распались пока только на два очень заметных лагеря: лагерь интернационалистов — сторонников объявления во что бы то ни стало всеобщей социальной революции против всех правительств, и националистов, всеми правдами и неправдами прикрывающих свой национализм, но фактически бывших определенными сторонниками англо-франко-русского правительственного союза.

В качестве корреспондента «Киевской мысли» я старался просочить кое-как наш яд и в Россию и вместе с тем воспользоваться моим положением журналиста, чтобы побывать в Сент-Адресе, с одной стороны, то есть в резиденции бельгийского правительства, а с другой стороны — в Бордо, где жило французское правительство.

Там я вел с Гэдом и Самба длинные разговоры, которые глубже убедили меня в колоссальной ошибочности так называемого революционного патриотизма.

Газета «Наш голос», которую начали издавать в то время тов. Мануильский и тов. Антонов {253}, не решилась резко наметить линии.

Это беспокоило меня, и именно я первый напечатал статью против

Плеханова, где ясно доказывал, что расстояние между нами и Плехановым гораздо больше, чем между нами и хотя бы меньшевиками-интернационалистами.

Сначала редакция очень смутилась и даже написала какое-то бормотание, извинившись за эту статью, но позднее сама вступила на этот же путь.

Но в то время, как в нашем лагере происходило быстрое сближение и лозунг борьбы за интернационал, при этом обновленный и ярко революционный, прикрывал собою наши разногласия, у меньшевиков было не то. Мартов хотя и вошел в редакцию «Нашего слова», но всячески уклонялся и скользил из рук, когда я ставил вопрос с особой остротой. Я выдвинул лозунг, который поддержала вся редакция «Нашего слова»: рвать с оборонцами и смыкаться по линии интернационализма независимо от других оттенков. Но Мартов рвать со своими оборонцами не хотел, старое знамя меньшевизма оказалось для него слишком дорогим.

Это политически и погубило его.

При всех своих блестящих способностях Мартов смог только от времени до времени подниматься и сверкать своим тонким политическим умом, но потом вновь шел ко дну, потому что его всегда тянуло в бездну это несчастное пристрастие к меньшевистскому знамени как таковому.

Этот вопрос был для нас одним из мучительных, и рядом с героическими атаками на всякого рода патриотизм, атаками, которые были бесконечно трудны в обстановке французского испуга и угара, мы тратили много времени на то, чтобы убедить меньшевиков-интернационалистов отколоться от своей партии и примкнуть к нам.

Менее интересовали нас судьбы эсеров. С эсерами-интернационалистами (Черновцами) мы не прочь были заключить теснейший союз. Но союз этот тем не менее не состоялся, мы так сказать не успели его наладить — он нам не казался политически настолько важным.

В среде же самих эсеров раскол был явный, и пошел он не по позднейшей линии правых и левых эсеров, а по линии патриотов и интернационалистов, как у нас. Причем во главе левой фракции стоял Чернов.

Я не был ни на циммервальдском, ни на кинтальском совещании, но и «Наше слово» и «Вперед» примкнули сразу к этим объединениям, притом именно к их левому крылу. Это еще более сблизило нас с ленинцами. Когда я переехал в Швейцарию, руководимый той мыслью, что именно в Швейцарии, где доступна всякая литература со всех сторон, легче всего следить за войной, я сразу явился к Ленину с предложением самого

полного союза.

Соглашение между нами состоялось без всякого труда. Группа «Вперед», женевская ее часть, не была объявлена распущенной, но мы решили вести одну политическую линию. К этому союзу в значительной мере примкнул также и тов. Рязанов<sup>[254]</sup>. Вообще в Швейцарии создалось сильное течение интернационалистов, и на всех митингах мы получали решительное преобладание.

Мало того, я решился выступать с речами на французском языке: в Женеве, в Лозанне мне удавалось читать интернационалистские рефераты или говорить интернационалистские речи, причем рабочие воспринимали их порою с бурным энтузиазмом.

Я должен сказать, что пребывание мое в Швейцарии в течение двух лет (1915–1916 гг.) оставило во мне самые приятные воспоминания, но не в силу политической ситуации.

Война создала мрачные условия... Казалось, что какое-то безумие овладело человечеством, и мы сами чувствовали себя в значительной степени бессильными.

Я ни на минуту не покидал политической позиции: я все время продолжал устную и письменную борьбу за интернационал. Однако обе газеты, в которых я участвовал, — «День» и «Киевская мысль», под благовидными предлогами отказались от столь опасного сотрудника.

Пожалуй, я с семьей мог бы при существовавшей тогда дороговизне совсем помереть с голоду, но к этому времени я получил небольшое наследство и при поддержке моих друзей я перемогался. Живя около города Веве на даче, мое свободное время я расходовал на усиленные занятия. Я занимался швейцарской литературой и особенно великим поэтом Шпителлером. Эти занятия, в результате которых получилось много еще неизданных переводов Шпителлера, имели на меня очень большое влияние, но о себе, как о поэте, мне говорить здесь нечего. Скажу только, что мне и моим друзьям кажется, что те три драмы, которые мне удалось написать уже во время революции, прямо или косвенно останутся (во всяком случае, независимо даже от большей или меньшей их художественности) любопытным памятником. Они носят на себе печать влияния К. Шпителлера.

Поэтические занятия мои я считал подготовкой к той работе, которую придется, может быть, когда-нибудь сделать, которую, может быть, я уже и начал, к работе художественного синтезирования революционных эмоций.

Меня интересовали вопросы народного образования; в течение этих двух лет я обложился всякими книгами по педагогике, объезжал народные

дома Швейцарии, посещал новейшие школы и знакомился с крупными новаторами в области воспитания.

Дальнейшие события вырисовывались сквозь туман разных возможностей. Между тем подходы к русской революции были для нас мало ясны, и известие о перевороте поразило нас как громом. Тотчас же начали мы готовиться к отъезду в Россию, но началась целая длинная неприятная эпопея борьбы нашей с Антантой, которая ни за что не хотела пропустить революционеров-интернационалистов на их родину.

Убедившись окончательно, что это невозможно, мы стали взвешивать мысль, которая в первую минуту показалась нам чудовищной, но которая отнюдь не испугала Ленина, — мысль о возвращении в Россию через Германию.

## БОЛЬШЕВИКИ В 1905 ГОДУ

Впервые напечатано в журнале «Пролетарская революция»,  
№ 11(46) за 1926 г. Публикуется с сокращениями.

.....

О революции 1905 года написано чрезвычайно много. Мы можем сказать, что 1905 год в достаточной степени изучен нами. Мы противопоставили сейчас столько материала и в такой обработке пресловутым толстым томам меньшевиков, в которых так тенденциозно и нелепо подведены были итоги этой первой великой русской революции, что можно быть вполне спокойным относительно правильности усвоения опыта 1905 года последующими поколениями строителей коммунизма. В эту двадцатую годовщину революции я хочу высказать несколько мыслей и рассказать несколько фактов, связанных с положением и тактикой большевиков в 1905 году, больше следуя при этом личным воспоминаниям, чем изданным до сих пор материалам.

Я не хочу этим сказать, чтобы я имел намерение здесь излагать события 1905 года в мемуарной форме. Я только хочу вспомнить то, чем жили мы тогда, под тем углом зрения, под которым в то время раскрывалась передо мной многозначительная революционная действительность.

События 22 (9) января застали нас в Женеве. Женевская группа большевиков, непосредственно возглавлявшаяся Владимиром Ильичем, вела энергичнейшую борьбу против меньшевиков.

Быть может, наибольшей трудностью в этой борьбе было именно то, что II съезд, расколовший партию, не нащупал настоящих глубоких разногласий между мартовцами, с одной стороны, и ленинцами — с другой. Разногласия эти все еще казались вращающимися вокруг одного параграфа устава и личного состава редакции. Многих смущала незначительность повода, приведшего к расколу. Всеми чуткими представителями левого крыла скорее угадывалась, чем формулировалась, глубокая пропасть, начавшая нас отделять от меньшевиков.

Январские события в высочайшей степени ускорили процесс

самоопределения левого и правого крыла российской социал-демократии.

Само собой разумеется, что январские события произвели в женевских русских кругах эмиграции потрясающее впечатление.

Не только для нас, но и для меньшевиков, было несомненным, что это не конец народившегося в рабочих кварталах Петрограда движения, а начало русской революции. Мы все понимали, что немногие годы, а может быть, даже и немногие месяцы, отделяют нас от огромного подъема революционного настроения и революционной активности, который при случае может смести совершенно твердыни царизма.

Под этим углом началась наша работа. Весь смысл меньшевистской политической работы за границей после 22 (9) января уперся сразу в лозунг поддержки дальнейшего развития либеральной оппозиции. На все лады меньшевики говорили о необходимости развязать по возможности все силы революционного порядка, накопившиеся в русском обществе, и сделать из рабочего класса почти самоотверженную опору для русской буржуазии, дабы она выполнила с возможной полнотой свою миссию: дать конституцию России.

Я помню, как Владимир Ильич смеялся по поводу страха некоторых меньшевиков (правда, более или менее правого толка) относительно призыва нашего к республике: даже лозунг республики некоторым меньшевикам казался нетактичным. Лучше, говорили нам, предоставить будущему определить, каким будут максимальные лозунги революции. Самое же главное — собрать все силы в один кулак.

Это собрание всех сил в один кулак» по существу своему, для меньшевиков означало: максимальная помощь либеральному движению, в частности каде «там».

Помнится, главными ораторами, выступавшими на всяких эмигрантских собраниях с нашей стороны, были как раз Владимир Ильич и я. Было любо-дорого вместе с Владимиром Ильичем вырабатывать наши лозунги или, вернее, претворять те лозунги, которые в обилии давал Владимир Ильич, в более или менее зажигательные речи.

Сразу меньшевики стали обвинять нас в страшно грубом понимании ситуации. Если слово «республика» пугало наиболее неверующих среди них, то что же сказать о лозунгах, которые я выдвинул по поручению Владимира Ильича, — именно о лозунгах вооружения рабочих! Мы твердо устанавливали лакмусовую бумажку, как любил тогда выражаться Мартов, по которой можно отличить друзей революции от ее врагов. Мы говорили: тот друг революции, кто согласен всемерно способствовать вооружению рабочего класса. Разоружение самодержавия и вооружение рабочего класса

— а там дальше видно будет! И сколько бы ни говорили сладких слов и какие бы программные обещания нам ни давали, раз данная партия или группа противится непосредственному вооружению рабочего класса, мы сразу должны понять, что она враг его революционной самодеятельности.

Меньшевики шумели и галдели. Они доказывали, что мы представляем себе революцию по-бланкистски, как какую-то военно-техническую задачу. Они издевались над теми номерами наших журналов, в которых мы начали было подходить даже к техническим указаниям о том, как нужно рыть окопы, как нужно на улицах устраивать баррикады и т. д. Может быть, эти наши первые попытки военно-технического характера были в достаточной степени наивными. Я это допускаю. Но суть дела от этого нисколько не меняется. Мы шли к тому, чтобы предложить социал-демократии встать во главе народного восстания в качестве Организатора боевых сил поднявшихся революционных масс. Меньшевики же обвиняли нас в каком-то грубом революционном милитаризме и все ссылались на то, что дело отнюдь не решится пушками (в этом случае они предрекали полную гибель революции), а только какой-то сложной парламентской игрой и хитроумными комбинациями соглашения между рабочим классом и либералами, либералами и остальной буржуазией, всеми ими вместе и царской бюрократией и чуть ли даже не с самим царем и его династией. Путем переговоров, угроз, уступок и т. д. российская громада должна была сдвинуться с мертвой точки и переместиться возможно дальше налево, причем, кажется, даже самые смелые меньшевики не могли допустить, что перемещение это может дойти хотя бы до республики французского типа.

Так постепенно выявлялась чисто политическая противоположность между меньшевиками и большевиками. Разница приобретала классовый характер: должен ли рабочий класс выступить как подголосок буржуазии или как самостоятельная революционная сила?

Ко времени III съезда, открывшегося в Лондоне 25 апреля 1905 года, выяснились еще, пожалуй, более значительные политические разногласия. Владимир Ильич все яснее развивал эту мысль, что рабочий класс, конечно, не может совершить революцию без *непосредственной* помощи, что, оставшись одиноким, он может быть сломлен не только самодержавием, но союзом этого самодержавия с буржуазией, так как в верность буржуазии демократическому перевороту Владимир Ильич ни на минуту не верил. Кто же должен был выступить таким союзником рабочего класса? — крестьянство. Владимир Ильич развернул более или менее полно уже тогда свое представление о том, что грядущая революция в России не будет чисто буржуазной, хотя он представлял ее себе как демократическую; да вряд ли

по тогдашнему состоянию сил и можно было допускать, чтобы она перекатилась через демократию к тем формам Советского государства, о которых тогда еще никто вообще и не гадал.

Владимир Ильич полагал, что наша революция будет демократической, но что та демократия, которая будет возглавлять эту революцию и которая выдвинет из своих недр временное правительство, будет составлена из пролетариата и крестьянства — крестьянской бедноты, в значительной части даже крестьян-середняков.

Временное правительство, опирающееся на такую демократию, должно было, по мнению Владимира Ильича, пойти очень далеко и установить республику, несомненно, более демократическую, чем французская, осуществив полностью все достижения демократии, вплоть до национализации земли, равноправия полов и целого ряда других политических и социальных мероприятий, уже намечающих дальнейший ход к социализму. Но решительных шагов к коммунизму Владимир Ильич в результате данной революции не предвидел и именно потому, что боялся в этом случае разрыва между рабочим классом и крестьянством. Рабоче-крестьянская демократия рисовалась ему как в высшей степени крайняя, доводящая революцию в пределах частнособственнического строя до законченнейших форм, но в то же время все-таки это демократия не чисто пролетарская, не предрешающая поэтому непосредственного продвижения к социализму. Это продвижение должно было быть результатом дальнейших усилий рабочего класса и, конечно, рисовалось Владимиру Ильичу как сравнительно обостренный процесс.

Таким образом, во взглядах большевиков постепенно вырисовывалось стройное представление о типе предстоящей революции, о ее относительной новизне как революции более левой, чем даже якобинская, в силу несомненно большей роли, которую сыграет в ней рабочий класс; о революции как технически военной задаче, то есть о проблеме возможно более полного возглавления стихии революции сознательной партией пролетариата, и, наконец, о глубоком и прочном союзе с крестьянскими массами..

Меньшевики отвергали все это начисто.

Сама большевистская партия — или, вернее, левое крыло РСДРП, — в то время переживала еще внутренний кризис. Как известно, целый ряд выдающихся товарищей: Красин, Дубровинский, Носков<sup>{255}</sup>, Кржижановский колебались в то время. Они называли себя объединенцами и, составляя большинство русского Центрального Комитета, стремились вновь склеить расколовшиеся части партии. Им казалось, что разногласия

не так уже велики и что при наступающей революции надо сделать все возможные усилия, дабы собрать в единую силу РСДРП.

На III съезде произошло полное слияние большевиков левого ленинского фланга с примиренческим флангом Красина, выступавшего на съезде под псевдонимом Винтер. Соглашение произошло тем легче, что меньшевики не пожелали даже явиться в Лондон на III съезд и разногласия с ними уже сделались ярко политическими и, как я выше сказал, классовыми. Наши обвинения в том, что меньшевики представляют собой мелкую буржуазию, стремящуюся использовать пролетариат для своих умеренных политических целей и являющуюся, по существу говоря, бессознательным агентом буржуазии на ее пути от самодержавия к буржуазно-демократической конституции, оправдывались теперь лозунгами самих меньшевиков. А та зеленая пена у рта, с которой меньшевики ругали нас бланкистами, якобинцами, эсерами и т. д., показывала, что все-таки все их надежды опрокидываются определенностью нашей классовой линии.

К этому же времени, насколько я помню, Троцкий начал определять свою в высшей степени абстрактную и малопрактичную линию. Ему бросилось в глаза, что у меньшевиков пролетариат совершает революцию в глубоком союзе с буржуазией, а у нас в глубоком союзе с крестьянством. Он постарался провести «чистую» линию, а именно — заявить, что рабочий класс должен произвести революцию один. «Без царя, а правительство рабочее». Троцкий, однако, понимал, что рабочее правительство в России 1905 года продержаться не может, и поэтому уповал на революцию мировую, которая должна сейчас же ответить на взрыв революции у нас, а помимо этого упования, имел, по-видимому, в виду, на худой конец, создание, хотя бы и ценой конечного поражения, чего-то вроде нового грандиозного издания Коммуны с соответственными традициями для последующих борцов.

При всей своей «чистоте» эта позиция, конечно, казалась нам всем совершенно неприемлемой. Нам нужно было добиться победы пролетариата. Мы видели ясно, что изолированный пролетариат победить не может. Мы ясно видели также, что меньшевистский путь приведет к тасканию пролетарскими руками каштанов из огня для господ кадетов. Мы глубоко сознавали, что революция в России не может не быть мужицкой революцией. Использовать эту мужицкую революцию не только в борьбе с самодержавием, но и в борьбе с капитализмом, продвинуть наши позиции возможно больше налево — это было единственной разумной тактикой. Она определилась с полнотой и четкостью на III съезде. На нем приняты

были многозначительные резолюции о подготовке к организации вооруженного восстания, об организации революционного правительства и о крестьянско-пролетарской диктатуре. В сущности говоря, III съезд и его решения в значительной мере предрешили собою, предсказали, так сказать, те знаменитые тезисы, с которыми Владимир Ильич выступил в решающий момент нынешней революции.

Первая резолюция о вооруженном восстании была принята по моему докладу. Владимир Ильич дал мне все основные тезисы доклада. Мало того, несмотря на мою манеру никогда не записывать никаких своих речей, а говорить импровизированно, он потребовал на этот раз, чтобы я всю свою речь написал и дал ему предварительно прочесть. Ночью, накануне заседания, где должен был иметь место мой доклад, Владимир Ильич внимательнейшим образом прочитал мою рукопись и вернул ее с двумя-тремя незначительными поправками, что не удивительно потому, что, насколько я помню, я в моей речи исходил из самых точных и подробных указаний Владимира Ильича. Этой резолюцией раз навсегда предрешалось, что большевики будут не только пропагандистами марксизма в России, не только организаторами экономических протестов и социальной дипломатии пролетариата, но что они будут также биться вместе с пролетариатом и впереди пролетариата, что они дадут пролетариату и крестьянству его военно-командный состав. Когда принималась эта резолюция, то, можно сказать, из будущего уже шли навстречу ей те грандиозные фаланги наших военных комиссаров, которым суждено было впоследствии выковать Красную Армию и победить врага на фронте в 11 тысяч верст.

Не менее важной была и резолюция о временном правительстве. Я помню, что среди нас велись по этому поводу углубленные споры. Не то чтобы кто-нибудь стоял за учредительное собрание, но всем было ясно, что революция неизбежно должна в конце концов упереться в вопрос о парламенте, и все понимали, что парламентские методы дадут буржуазии возможность развернуть большую развращающую пропаганду среди крестьянства и постараться противопоставить не только зажиточные крестьянские элементы, но и середняков руководящей партии пролетариата. Большевики в 1905 году, приближаясь к революции, прекрасно понимали, что временное правительство, как чисто боевой центральный исполнительный комитет, даст несравненно больше сил самому организованному и политически определенному классу, то есть пролетариату, чем парламент. И мы тогда уже предвидели, что нам придется поддерживать всемерно длительное существование такого временного правительства. Но само собой разумеется, в нашем

представлении это совсем не было временное правительство Керенского. Это было временное правительство, выражающее собою диктатуру рабочих и крестьян, или, еще вернее, диктатуру рабочего класса, опирающегося на крестьянство.

Временное правительство, составленное из мелкобуржуазных партий, в нашей революции 1917 года оказалось буржуазным. Революционное же правительство опиралось на систему Советов, по существу своему глубоко демократическую. Но если это противопоставление выразить в других терминах, как борьбу рабоче-крестьянских Советов против так называемого общенационального учредительного собрания, то все стоит опять на том же месте, на котором стояло в прогнозе большевиков в месяцы, непосредственно предшествовавшие революции 1905 года.

Таким образом, теоретически и тактически мы были прекрасно подготовлены к дальнейшим событиям.

Я не буду следить здесь за тем, как развернулись они, начиная с забастовки наборщиков типографии Сытина 2 октября, продолжая все остальные перипетии этой величайшей по своему значению стачки, какую видел мир, и кончая царским манифестом 30 (17) октября. Немедленно вслед за этим манифестом вся эмиграция потянулась в Россию. Я несколько запоздал и попал в Россию к середине ноября. Положение, создавшееся в Петрограде, Москве и во всей России, было весьма своеобразным и очень сложным. Не только мы, большевики, но также и вся социал-демократия отнюдь не оказались во главе рабочего класса безраздельно. Напротив, Петербургский Совет рабочих депутатов, представляя собою, конечно, наиболее сильную организацию, пользовавшуюся неограниченным доверием рабочих, шел под руководством чужих нам людей.

Если его состав и действия казались далеко не удовлетворительными и сам Владимир Ильич стоял, так сказать, в некотором бессилии перед несовершенством этого аппарата, бывшего все же центральным и в то же время не всегда служившего революции, — то самая форма этого Совета глубочайшим образом запала в ум Ильича, а вместе с тем и в политическое сознание всех большевиков. Ильич сразу распознал в этом неожиданном продукте революционного творчества масс возможность осуществления нового государственного строя. Я помню, как взволнованно и с каким восхищением говорил он нам в редакции «Новой жизни» или «Волны» о том, что, в сущности говоря, Петроградский Совет в идее есть воскрешение лучших традиций Парижской коммуны и что фактически покрыть всю Россию Советами рабочих, а потом рабочих и крестьянских депутатов, это значит осуществить лучшую часть политических планов Коммуны,

заслуживших одобрение Маркса.

В Москве, как это выяснилось во время Декабрьского восстания, мы также далеко не были руководящей силой. Мы могли только принять участие, и очень могучее участие, в том революционном агломерате, куда входили в не меньшей, чем мы, степени эсеры и который подготовил, вернее, способствовал подготовке Декабрьского восстания. Когда восстание разрослось, большевики Петербурга прекрасно понимали, что победа его возможна лишь в случае парализования передвижения верных царизму войск из Питера в Москву. Делались отчаянные усилия, чтобы, пользуясь всем аппаратом агитации среди-железнодорожников Николаевского пути, помешать передвижению семеновцев в Москву. Но это оказалось не в наших силах. Вообще на каждом шагу чувствовалось, что мы совершенно не господа положения, что рабочий класс даже в Петербурге еще не созрел для руководящей революционной роли, тем более в других городах России. И сам он был плохо организован, и влияние его на крестьянство было недостаточным, и армия шаталась, причем только ее передовая часть: матросы, артиллеристы и инженерные войска — оказывались более или менее близкими нам. Стало очевидным, что массовое вооруженное восстание не созрело, в особенности поражение в декабре доказало это. Наша тактика очевидным образом оказывалась рассчитанной на более высокую степень сознательности и организованности масс. Поэтому большевикам, и самому Владимиру Ильичу в том числе, приходилось больше заниматься вопросами пропаганды, пользоваться свободой печати, которая, однако, все убывала, заботиться о содержании наших газет, о разбрасывании вокруг возможно большего количества зажигающих искр.

Много времени отнимала и внутривластная политика. Чрезвычайная сложность положения, постепенное отступление буржуазии, срыв крестьянского движения, разгром отдельных восстаний невысоких культурно окраин — все это заставило подумать о сближении между собою мало-мальски родственных сил. Казалось очевидным, что социал-демократы должны постараться маршировать плечом к плечу. Начались длительные переговоры между большевиками и меньшевиками об объединении. Этому посвящен был целый ряд заседаний. Помню, на многих из них, если не на всех, мне приходилось председательствовать. Владимир Ильич блестяще вел их и на длинные речи Мартова, Дана и других отвечал обыкновенно «бумажечкой», на которой кратко и ясно формулировано было то, с чем должны были согласиться меньшевики и в чем они должны дать свое согласие. «Бумажечки» эти производили крайне

неприятное действие на меньшевиков. Им хотелось растворить вопросы в длинных рацеях и во всякой полупринципиальной софистике, а Владимир Ильич упорно и умело формулировал все самое существенное в двух-трех строчках, так что оставалось только сказать: да или нет. Но меньшевики тут выступали настоящими диалектиками (конечно, в кавычках). Они не отвечали ни да, ни нет и «диалектикой» оправдывали такой ответ, чтобы нельзя было отличить «да» от «нет». Меньшевики злоупотребляли этой мнимой диалектикой, дело весьма туго подвигалось вперед. Когда мы подошли к Стокгольмскому съезду, имевшему место в апреле 1906 года, то выяснилось, что при общей цели объединения, о которой упоминал почти каждый оратор во время предвыборной кампании, обе части РСДРП напрягают все свои усилия, чтобы иметь большинство. Владимир Ильич сам выступал весьма энергично за объединение, но он полагал, что объединение это должно быть объединением под эгидой большевиков и на их принципах. Меньшевики думали, что поражение революции (а оно уже явно намечалось) совершенно отнимает почву у большевиков и что они, как нагло заявил Дан, в сущности, представляют собой секту, которая никак не может пережить тех испытаний, кои готовит нам история.

Борьба шла чрезвычайно напряженно. Все вопросы тактики пересматривались.

Будущее революции во время этой кампании рисовалось большевикам отнюдь не как безнадежное.

Рабочий класс устал. Он чувствовал, что понадобится длительный отдых, прежде чем можно будет снова собрать силы. Меньшевики же в общем играли на понижение, на использование легальных возможностей, хотя о ликвидаторстве в то время еще не было произнесено ни одного слова. Меньшевики были все же гораздо левее, чем в любой другой период своего существования. Несмотря на это, их аграрная программа, определявшая собой отношение к крестьянству, их напряженное стремление отстоять именно буржуазный характер революции и необходимость сохранения добрых отношений с либералами продолжали оставаться существенной чертой их пропаганды. Наши лозунги — самостоятельная роль рабочего класса, его гегемония, опирающаяся на крестьянство, — казались в некоторой степени подорванными действительностью.

Как известно, самый Стокгольмский съезд не дал сколько-нибудь определенных результатов. Меньшевики вместе с Бундом получили ничтожное большинство, но это предрешило собой большинство их в ЦК, а стало быть, после съезда была выяснена полная невозможность совместной

работы. Ленин и другие руководящие большевики отнюдь не желали работать под гегемонией меньшевиков. Ставка на общий ЦК была, в сущности, пробой — не выручит ли революционная ситуация и нельзя ли будет все-таки приобрести руководящее положение в партии? Но так как меньшевики цепко уцепились за свою хрупкую гегемонию и хотели парализовать работу большевиков, то сразу уже видно было, что объединенный ЦК будет недолговечным, что раскол Стокгольмским съездом нисколько не ликвидирован.

Плеханов, колоссально поправевший в то время и начавший работать в мелкобуржуазной газете «Товарищ», на съезде произносил речи, в которых повторял Ленину: «В новизне твоей старина мне слышится», и упрекал его в эсерстве. Это «эсерство» заключалось в том, что Ленин держался и впредь за перспективы рабоче-крестьянской революции.

Я в моей речи, к большому негодованию Плеханова построенной несколько иронически, цитировал брошюру тогдашнего Каутского о движущих силах русской революции и исчерпывающе доказал цитатами из нее, что с этим мнимым эсерством вполне согласен Каутский.

Хорошее время для Каутского, когда мы могли пользоваться его авторитетом против Плеханова! Я знаю, с какой внутренней болью расставался постепенно Ленин с тем своеобразным культом Каутского, который у него когда-то в юности был. Я помню, как на Штутгартском съезде, когда между нами и Каутским еще не было почти никаких разногласий, Ленин с высоким уважением говорил о его замечательной эрудиции, говорил о том, что мы можем гордиться наличием в наших рядах такого крупнейшего ученого. Но если Ленин мог с корнем вырвать из своего сердца всякое дружеское чувство к Мартову, если он мог решительнейшим образом порвать с Плехановым, которого искренне и глубоко любил, то, конечно, смог он бросить в лицо постаревшему и опустившемуся до самого правого меньшевизма Каутскому страшное слово: ренегат.

Повторяю, в то время — в 1905–1906 годах — мы еще находили опору в лучших представителях западноевропейской социал-демократии против нашего собственного правого крыла, в том числе и против Плеханова.

После Стокгольмского съезда мы вступили в полосу отступления. Владимир Ильич, в то время теснейшим образом связанный с Красиным и Богдановым и вместе с ними составлявший своеобразный триумвират, в общем и целом руководивший партией (конечно, согласно ее желаниям и доверию), старался удерживать ее на революционных позициях. Владимир Ильич чувствовал, что революция расплывается, и внешним проявлением

этого сознания была теория пятерок и троек, маленьких, решительных полутеррористических групп, которые должны были, так сказать, партизански разрушать еще стоявшие царские твердыни и перекинуть, таким образом, мост пожаров и «эксов» от первой волны революции ко второй. Но Владимир Ильич прекрасно понимал, что это только группы, отстреливающиеся в хвосте отступающей армии. Он уже впери́л свои глаза в будущее, он уже предвидел возможность наступления реакции и необходимость изменения тактики, чтобы всемерно использовать полосу затишья для отдыха, углубления пропаганды, реорганизации сил, для подготовки нового натиска.

Гениально перевооружившись, Ленин разошелся с Богдановым и Красиным. Сначала это расхождение, выявившееся в отношении к III думе, было даже не в его пользу. Революционный размах был еще так велик, что большинство на решающих конференциях получили как раз противники участия в III думе, считавшие участие в ней отказом от прямого действия. Но постепенно партия становилась на мудрую и проницательную точку зрения Ленина. В то время как получился длинный фланг, идущий вправо от гениальной тактики Ленина, направленной на использование всех еще оставшихся от революции легальных возможностей и вместе с тем на напряженное строительство нелегального аппарата — через разные оттенки меньшевизма вплоть до ликвидаторства, провозглашавшего ненужность нелегального аппарата, конец революции и необходимость приспособиться к столыпинскому порядку, как естественному результату сорвавшейся революции, — влево же от позиции Владимира Ильича сгруппировались те большевики, которые, повинувшись лишь внутреннему революционному импульсу, не хотели сложить оружие и мечтали о возможности немедленного нового подъема. Само собой разумеется, что эта группа обречена была на существование непродолжительное и, во всяком случае, бесплодное. Я сам принадлежал к левой группе и поэтому могу говорить об этом с полной уверенностью. Все эти группы ультиматистов, отзовистов и т. д., за которыми, собственно говоря, скрывалось нежелание считаться с длительным периодом реакции, романтическая вера в то, что не сегодня-завтра опять подымется мятеж» — все это было головное, выдуманное, все это было от прошлого, все это не учитывало живой действительности. Живую действительность учитывал полностью только тот авангард партии, во главе которого стоял Ленин и за которым в конце концов пошла вся партия.

Вот те некоторые факты и мысли о 1905 годе, которые кажутся мне самыми важными по крайней мере из того материала, каким я располагаю

непосредственно в моей личной памяти и в моем личном опыте. На какое бы то ни было систематическое суммирование коллективной общественной памяти, всей той горы напечатанных и ненапечатанных документов, которые остались от 1905 года, я, конечно, ни в малейшей мере не претендую.

## ИДЕОЛОГИЯ НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ

Впервые воспоминания напечатаны в сборнике «За 5 лет (1917–1922)», М., изд-во «Красная новь», 1922 (то же в книге «Партия и революция», М., 1924). Публикуется с сокращениями.

.....

Предложение редакции этого сборника написать статью на тему, указанную в заглавии, сделано было мне за короткий срок до издания и застало меня на курорте, где я был лишен всякой возможности достать даже самые необходимые справочники, чтобы облегчить работу своей памяти и пополнить какими-нибудь материалами круг моих личных наблюдений. Вот почему я заранее предупреждаю читателя, что могу предложить в этой статье только не совсем систематизированные воспоминания об идеологических настроениях различных кругов населения накануне Октябрьской революции и притом только в Петербурге.

Главным наблюдательным постом для меня была, пожалуй, Петербургская городская дума.

Состоя временно — до слияния с большевистской организацией — в так называемой межрайонной организации, я был выдвинут ею, почти сейчас же по окончании майского съезда Советов, в качестве кандидата в городскую думу.

Проходил наш список, конечно, как объединенный с большевиками, так как уже тогда никаких политических разногласий между нами не было и не могло быть и временное разделение организаций продолжалось только в силу некоторых тактических соображений, одобренных ЦК, авторитетно руководившим обеими организациями в равной степени.

Поэтому и в думу городскую мы вошли как единая группа (если не ошибаюсь, в конце июня 17-го года).

Дума уже тогда представляла собою известный агитационный интерес. Это было, пожалуй, единственное место, где мы, коммунисты, могли непосредственно встречаться с эсерами, меньшевиками и кадетами.

Крайняя скудность средств, полная новизна аппарата (районные думы

и т. п.) делала вопросы городского хозяйства не четкими и в горячей атмосфере революции лишенными самостоятельного значения. Выборами больше пользовались для подсчета голосов партий, а думской трибуной для политической агитации.

У меня нет под руками точных цифровых данных первых выборов, хотя они были очень характерны. Но общее соотношение сил и общее настроение было совершенно ясно.

Хотя наиболее крупные силы нашей партии были заняты в других местах, тем не менее и в думскую работу были брошены весьма недюжинные работники: из большевиков — Нахимсон, Калинин, Аксельрод, Закс, Пахомов и др. Из межрайонной организации — Иоффе, Дербышев и др. Уже на выборах сказалось, что идеологически наша группа была сильнее всех. Ее выступления всюду встречались с большой симпатией. Рабочие и солдаты были главными нашими избирателями. Тем не менее почти половину, насколько я помню, думы первого созыва составляли эсеры, за которыми в то время шла вся обывательская масса. Из районных дум только Выборгская имела большевистское большинство. По этому поводу было немало ликования в прессе. И пресса враждебных нам партий, уличная пресса, уже тогда с величайшим беспокойством следила за крайним революционным флангом и была приятно очарована в общем довольно крупной победой эсеров.

Тем не менее самой большой группой после эсеров в думе были мы. Следующей за нами по численности была небольшая группа кадетов, руководимых Шингаревым, группа же меньшевиков была уже тогда весьма невелика.

Наступившие очень скоро после выборов июльские события сразу изменили ситуацию в думе, поэтому дума первого созыва дала сравнительно мало симптомов своей идеологии.

Ясно было лишь одно, что эсеры, хотя и стеснялись несколько прямого союза с кадетами, но в конце концов братались с ними, а меньшевики тащились за эсерами, как хвост. Мы сразу оказались изолированной оппозицией. Тем не менее, согласно указанию центра, мы пытались завоевать места в управе, чтобы всюду проникать с нашей пропагандой.

Но тут-то и разразился инцидент, чрезвычайно характерный для озлобления фактически сплоченного думского большинства против нас и неразборчивости ею средств. Какой-то инцидент во время пожара, подробностей которого я не могу вспомнить, самым грязным образом был истолкован кадетской прессой против хорошо известного всей партии товарища нашего Харитонов. Со скандалом и шумом дума требовала

устранения Харитонова. Мы отказались уступить, и, так как дума, несмотря на наш протест, поставила на своем, мы объявили бойкот выборам в управу.

Если в этом довольно определенно пульсировавшем месте Петербурга руководимые эсерами, в то время уже совершенно безголовыми и не знавшими, куда они идут, обывательские круги выказывали по отношению к нам крайнее озлобление, смешанное со страхом, то после июльских дней это озлобление дошло до своего апогея.

Все помнят, конечно, ту вакханалию озверения, сказывавшуюся на улицах, в газетном вое, в позорных мероприятиях правительства, вроде разоружения рабочих.

В думе мы оказались как бы выброшенной из общего круга партией. Для меня это длилось недолго, так как я вскоре был арестован.

Я вышел из тюрьмы перед вторыми выборами в думу, когда рабочий класс, окрепнув несколько от понесенного в июле поражения и желая показать свою симпатию в глазах противников «повергнутому» большевизму, вновь встревожил буржуазию и ее приспешников, симптоматически послав в думу утроенную в своем числе большевистскую фракцию.

В новой городской думе эсеры не могли быть гегемонами. Они стояли в мучительном затруднении: на кого опереться?

Вместе с кадетами они имели слабое большинство. Но мы с такой энергией клеймили этот очевидный союз с буржуазией, что единственная сколько-нибудь значительная голова среди серой массы эсеров городской думы — Г. И. Шрейдер — при всем своем оппортунизме колебался. В конце концов управа была избрана приблизительно пропорционально от всех партий, и мы как для нашей пропаганды, так отчасти даже для хозяйственной и культурной работы в городе приобрели серьезные возможности. В управу от нас вошли я, в качестве товарища городского головы, и товарищи Кобызев и Пилявский в качестве членов управы.

Больше всего изменилась физиономия кадетской группы. По-видимому, кадеты решили сделать из думы новый центр своего политического и идеологического влияния. Все кадетские верхи оказались на скамьях думы: Милюков, Шингарев, Набоков, Винавер и др.

Эсеры с Шрейдерам во главе умоляли «заниматься делом» и не вести политических дискуссий. Кадеты же и мы придавали особенное значение именно агитационной стороне работы в думе. Я должен отметить при этом, что от практической хозяйственной работы на пользу пролетариата мы не отказывались. Кадеты в этом отношении были гораздо бесплоднее. Но и

они и мы пользовались всяким случаем, чтобы развернуть генеральные дебаты.

На общие собрания думы приходило очень много публики, журналисты со страстью следили за ней. Бывали дискуссии, казалось бы, не имеющие никакого отношения к думской работе, например, поистине блестяще закончившиеся для нас столкновением по поводу введения смертной казни для большевистски настроенных солдат. Все кадетские лидеры говорили в защиту смертной казни. Набоков дошел в этом отношении до пафоса и наглости. Мы, отнюдь не становясь на сентиментальную точку зрения недопустимости кровопролития вообще, вскрывали социальную подоплеку именно этого шага правительства. Сдача Риги была опять поводом для резкого столкновения.

Эсеры присутствовали в качестве растерявшихся свидетелей. Казалось, что спор идет только между кадетами и большевиками — партией, откровенно стремившейся остановить революцию, и партией, еще более откровенно стремившейся толкнуть ее дальше.

Тут грянула корниловщина. Эсеры были совершенно перепуганы. Меньшевики тоже растерялись. Кадеты явно торжествовали.

Петербург разделился на три лагеря: реакционный, фактически возглавлявшийся Милюковым, который радовался подступу Корнилова и строил всяческие козни, чтобы облегчить ему вступление в Петербург; обывательский во главе с Керенским и его правительством, до смерти перепугавшийся слишком явно волчьих аллюров им же воспитанного кандидата в диктаторы; и рабочий — весь целиком и безусловно группировавшийся вокруг нашего комитета обороны, официальным руководителем которого был тов. Дзержинский.

Думские эсеры и меньшевики были в панике. Они смотрели теперь на кадетов, как на людей, потворствующих Корнилову, а на нас, как на опору и спасителей. Было смешно видеть, как переменились позиции. Дума единогласно вотировала предложения оборонительного характера, которые мы вносили, и известная энергичная прокламация думы, которую с аэропланов бросали над корниловскими лагерями и которая свое значение имела, была написана мною и принята думой без поправок, при угрюмом воздержании кадетов.

Когда полчища Корнилова растаяли, кадеты вдруг потеряли всякий престиж. Но и дума в значительной степени потеряла для нас интерес. Революционная волна стала набухать с огромной силой, а в думе чувствовалось одно беспомощное ожидание эсерами и толпившимися за ними обывателями грядущих событий. Это было время, когда, например,

Церетели говорил мне лично: «Вы придете к власти, но смотрите: мы худо или хорошо восемь месяцев поддерживали революцию в России, а вы рискуете погубить ее в два месяца». Фраза, свидетельствующая о зоркости Церетели на вершки и о близорукости его на версты.

Мое положение товарища городского головы по всем культурным делам давало мне возможность производить некоторые наблюдения над идеологией различных групп Петрограда и вне думы.

Правда, осматривая школы Петрограда и знакомясь с учительством, я ничего особенного констатировать не мог. Ко мне лично, как большевику, ставшему внезапно во главе народного образования в Петербурге, отношение было опасливое и настороженное. Я старался сделать все от меня зависящее, чтобы подчеркнуть то важное значение, которое мы придавали народному образованию и подготовке учительства к дальнейшей общей работе. Конечно, времени для этого было слишком мало. В общем учительство можно было разделить на три группы. Совершенно ничтожное меньшинство коммунистов и примыкавших к ним, значительная группа лиц, державшаяся направления так называемых передовых педагогов: Гуревича, Чарнолусского, Гердта и некоторых других, и масса обывательская, но в общем явно нам враждебная. Что касается прогрессивной группы, довольно сильной и педагогически интересной, к которой примыкал в Москве и сделавшийся там руководителем школьного дела Шацкий, то она отнюдь не отказывалась от работы со мной, наоборот, весьма охотно шла на выработку школьной реформы совместно с нами. Отмечу, что и ответственные работники тогдашнего министерства призрения с Половцевой во главе также весьма симпатически относились к нашей органической культурной работе. Симпатии распространялись вплоть до левых кадетов вроде Паниной.

Но при одном упоминании о предполагающемся переходе власти к Советам и, стало быть, о диктатуре пролетариата вся эта публика приходила в раж, который и разразился в свое время в форме своеобразного саботажа.

Конечно, до реальной школьной реформы дело не дошло. Октябрь наступил раньше, чем подошли к ней. Но она обсуждалась. Обрисовывая учительству контуры трудовой школы, я особенно напирал на необходимость насытить ее и в области обществоведения и в воспитательной социалистическим духом. Противопоставлять этому идеалу черносотенную школу или хотя бы определенно буржуазную в теории никто не решался, хотя на практике такая тенденция и после Октября была сильной и теперь существует; излюбленной позицией

учительства и его «передовых» вождей была политическая нейтральность школы. Аполитизм в педагогике. Мысль была жалчайшая сама по себе, невежественно-обывательская, к тому же многие учителя и учительницы пресерьезно верили, что они при царе в школах с законом божьим и патриотической историей (то и другое учительский союз, руководимый эсерами, защищал еще на последнем своем съезде после Октября) работали аполитично!

Ближе других стоял к нам новожиженец Пинкевич. Его согласно решению фракции я и предполагал взять себе в помощники по специально школьной части. Но эсеры с кадетами объединились на кандидатуре вождя учительского союза — Золотарева. Он должен был стараться парализовать мои революционные тенденции. Впрочем, реально с Золотаревым нам пришлось столкнуться уже после Октября, и это сюда не относится.

С академическими кругами я сталкивался меньше. Встречал их только у Горького, ставшего в то время во главе громадного объединения всех ученых сил, являвшегося и чем-то вроде профессионального союза и культурно-пропагандистской организацией. И тут случился факт, сейчас позабытый и немногими учтенный, а может быть, мало кому известный, но необычайно характерный для этой среды, — факт, который недурно было бы хоть иногда вспоминать и самому Алексею Максимовичу.

Горький считался главным предстателем за ученых и уже тогда, как о важнейшем для культуры страны деле, хлопотал за жизненные нужды ученой касты.

После июля — размахнись, рука! — озверевший и уже тогда столь же полоумный, как теперь, негодяй Бурцев, перечисляя «на основании документов» всех большевиков — «шпионов кайзера», заявил, что хотя прямых улик против Горького у него и нет, но Горький, во всяком случае, сознательный потворщик предателям родины.

В те дни такой донос приводил и к арестам и хулиганским нападениям. Добрейший и талантливейший врач, доктор Манухин возмутился духом. Он написал трогательное заявление от имени ученых, выражавшее негодование Бурцеву и неизменное доверие ученого мира их преданному другу Горькому.

Манухин три дня ездил в поте лица своего к десяткам членов горьковского объединения и... кроме своей подписи, нашел еще одну — какого-то чудака математика. Остальные при петушином крике Бурцева отреклись от Горького. Все отвечали: кто там их знает! Мы не хотим вмешиваться в эту грязную историю!.. Мы ведь аполитичные. В то время Горький был болезненно огорчен, а Манухин растерялся от такой

неожиданно подлой трусости. Но потом это забылось. Да и сами мы готовы стать на ту точку зрения, что полезным спецом ты быть обязан, а на твою гражданскую мораль можно и рукой махнуть, не будь только активным контрреволюционером.

Мало соприкосновения было у меня и со студенчеством, но студенты-коммунисты и студенты, примыкавшие к нам (их было немного), рассказывали о растерянности и апатии в студенческих кругах. Эти настроения отвечали вообще тогдашней идеологии интеллигентщины. Интеллигентный обыватель тяги к церкви и монархии, которая проявилась после революции и дает себя знать и сейчас, еще не ощущал. Те самые люди, которые теперь открыто ходят в церковь и кокетничают черносотенными фразами (конечно, они и теперь *не большинство*), тогда еще стыдились подобных аллюров. К продолжению революции, к грядущей диктатуре Советов отношение было злобно-трусливое. Господствующая же коалиция кадетов, эсеров и меньшевиков, за явной неспособностью правительства, тоже симпатиями не пользовалась. Керенский совершенно потерял свое обаяние. Куда идти? Ни в каком случае не вперед. Не хотелось бы и назад. И на месте топтаться нельзя: явным образом грязная тряпина. Чем сильнее, однако, напирала большевистские колонны, тем ярче становилось контрреволюционное настроение студенчества, только едва-едва не дошедшее в Питере до того активного сопротивления революции с оружием в руках, до которого дошло оно в Москве.

Я не знаю (так как в Москве в тот период не бывал), объяснилось ли вообще более ожесточенное сопротивление интеллигентщины московской перевороту большей определенностью ее антиреволюционной идеологии или более случайными историческими обстоятельствами. Факт тот, что в Петербурге дума, эта главная выразительница обывательщины, ограничилась в Октябре только известным комическим походом к Зимнему дворцу на выручку министрам, а в Москве стала активным центром вооруженной борьбы (Руднев). В Петербурге учительство и врачи даже не примкнули к саботажу чиновников; в Москве, как известно, имел место чудовищный саботаж школ учителями и больниц врачами.

Теперь несколько слов о журналистике, которая, конечно, была выразительнейшим органом идеологии.

В пролетарских и отчасти солдатских низах «Правда» была окружена настоящим ореолом. Я должен констатировать, что в то время, не завися еще от тем и манеры писать, связанных с положением официальной газеты правящей партии, ограничиваясь задачей газеты, мощно агитирующей и

пропагандирующей, «Правда» велась идеально. Ее публицисты добились какого-то кристально ясного, всякому понятного слога без малейшей вульгарности, умели в крошечных статьях давать массовому читателю необычайно много. По-моему, в смысле классической популярности нынешней «Правде» далеко до тогдашней. Правда, с тех пор появилась довольно удовлетворительная в этом отношении специальная пресса («Рабочий», «Деревенская беднота»).

Не имея под руками газет, я, разумеется, не могу восстановить тогдашней картины. Это довольно серьезная задача близкого будущего. Одно только ясно было. Газеты до чрезвычайности расслоились в своем влиянии. Здоровые пролетарские низы читали «Правду». Низы нездоровые: темные торговцы, дворники, хулиганская публика, пьяная часть солдатчины, — вероятно, продолжали упиваться желтыми газетками, так как они в то время шли бойко; некоторым из них нельзя было отказать в хлесткости их раешников и пересмешников. Крестьясь от времени до времени на соборы и на корону, они главным образом освистывали легко поддававшийся осмеянию керенский режим.

Меньшевицкая пресса была слаба, незаметна и невлиятельна. Эсеры раздувались на большие газеты, старались быть универсальными и европейскими, но были скучны, отбалтывались от самых серьезных вопросов, с важным видом садились между двух стульев, вообще черновствовали. Влияние они потеряли. Быть может, интеллигенция более охотно читала кадетские газеты. Они были определеннее, злее, за ними таилась какая-то контрреволюционная сила, которая после корниловщины, впрочем, как многие догадывались, становилась все более призрачной.

Неопределенность положения, резкое отрицание поворота назад, недовольство настоящим делало передовую, но не большевицкую интеллигенцию беззубо оппозиционной по отношению к коалиционному министерству, но побаивавшейся «авантюры» слева. Эта благодушная и весьма культурная публика, по-видимому, отводила себе роль острой на словах, но до дряблости мягкой на деле оппозиции керенщине и «опытного», «зрелого», «сдерживающего» друга по отношению к большевизму. По крайней мере такое место занял орган этих кругов «Новая жизнь».

Газета Горького, несомненно, пользовалась успехом и внешним влиянием. В отношении культурном это была самая сильная газета в Петербурге. В редакцию ее входили такие талантливые и образованные писатели, как Базаров, Строев-Десницкий, Николай Суханов, Гойхбарг и многие другие. В политическом отношении это была тоже «литература»,

тоже чистойшей словесностью.

Одно время казалось, что в теории по крайней мере разногласий между «Новой жизнью» и «Правдой» нет. Друг друга газеты редко критиковали. «Новая жизнь» часто поддерживала «Правду». Если случайно попадалось противоречие, отделялась мягкими замечаниями. Я лично участвовал в «Новой жизни». Писал там от времени до времени статьи о пролетарской культуре. Партийные круги против участия не возражали, и наиболее левыми новожизненцами с Борисом Авиловым во главе сделано было предложение завоевать эту большую газету путем устранения правых и вхождения в редакцию нескольких публицистов революционного крыла [...].

Но, как известно, со ступеньки на ступеньку — после Октября особенно — «Новая жизнь» докатилась до точек зрения, ничем не отличных от меньшевистских.

Как курьез расскажу, что артист Юрьев (позже ставший идейным руководителем б. Александрийского театра) пригласил от имени труппы меня, совершенно для меня неожиданно, выяснить, какую, по моему мнению, политику повели бы большевики в области театра, если бы стали у власти. Хотя я и был несколько удивлен такой предусмотрительностью, но приглашение принял.

Удивление мое увеличилось, когда я встретил на собрании не только тогдашнего заведующего государственными театрами Батюшкова, но и кадета Набокова. После моего доклада, вызвавшего даже аплодисменты (я намечал ту линию, которую я и проводил потом), что-то не очень отчетливое промямлил и Набоков.

Перед концом один актер прошептал мне: «Мы ведь не знаем, кто из вас двоих будет вскоре министром народного просвещения, но смекаем, что один из вас... так вот... на всякий случай!» Как видите, у актеров было некоторое политическое чутье.

Соприкосновение с пролетариатом шло у меня в двух плоскостях: во-первых, в виде чрезвычайно частых, почти каждодневных митинговых выступлений, во-вторых, в виде организации Пролеткульта. То и другое, конечно, давало возможность заглянуть в идеологию масс вообще и пролетариата в частности.

Начиная с приезда моего в Петербург, то есть с начала мая (раньше не знаю) и до самого Октябрьского переворота в Петербурге, было, так сказать, золотое время митингов. Казалось, массы не могли наслушаться, не могли насытиться новым словом. Страшную остроту митингам придавала их необычайная активность, ибо агитация велась здесь прямо и деловым

образом, в смысле подготовки новой революции.

Митинги распадались главным образом на три категории: просто массовые митинги (моя резиденция, так сказать, для них была цирк «Модерн»), митинги солдатские, главным образом в казармах, и митинги чисто рабочие — на заводах.

На массовых митингах публика была пестрая. По моим наблюдениям в цирке «Модерн», где аудитория моя постепенно определилась и отличалась необычным рвением и вниманием, было процентов двадцать рабочих, процентов пятьдесят солдат, а остальное делилось на неопределенную городскую бедноту и интеллигенцию.

Я не ограничивался в цирке «Модерн» митингами чисто политическими, хотя они преобладали. Я решил прочесть перед этой аудиторией, которую я сердечно любил, довольно сложный курс лекций под названием «Великие демократические коммуны». Сюда входили: коммуны древней Греции, особенно Афины, коммуны Италии конца средних веков, особенно Флоренция, коммуны Флаандлии и Голландии, коммуны Парижа 90-х годов XVIII столетия и Парижская коммуна 1871 года. Только последнюю лекцию я не дочитал из-за наступивших бурных событий.

Лекции читались в большей своей части во время приступа Корнилова. Это были оригинальные вечера. К семи часам цирк «Модерн» бывал совершенно переполнен. Выступая, я прежде всего давал подробный отчет о движении Корнилова и о важнейших мероприятиях обороны и политической борьбы против него. Три тысячи человек, меня слушавшие, проглатывали с огромным вниманием каждое слово. Ведь вся их судьба зависела от успехов и неудач этой борьбы. Я помню, с каким безумным ликованием принимала к концу корниловщины эта масса известие о ее разложении.

Несмотря на всю свою смешанность, эта аудитория была, безусловно, большевистской. Такие вопросы, которые заставляли иногда колебаться даже некоторых большевиков, например бойкот предпарламента или разгон Учредительного собрания, разрешались этой аудиторией в самом радикальном и, я бы сказал, в самом ортодоксальном политическом духе.

Припоминаю еще один весьма оригинальный митинг в цирке «Модерн». Тогда у нас были какие-то иностранные гости. Какие именно — я не помню. Быть может, это было уже после Октября, но вскоре. Случайно испортилось электричество. Когда мы с иностранцами пришли в цирк, там было темно. Горела только тусклая керосиновая лампа у трибуны, да вспыхивали повсюду звездочками закуренные папиросы. Но цирк был

полон. Никто и не думал расходиться. Электричество так и не загорелось. Ораторы: Володарский, кто-то из иностранцев, помнится, тов. Шатов и я — бросали наши слова в эту звездами вспыхивавшую темноту. Слушатели же видели только с одной стороны освещенную фигуру оратора и его теряющуюся в полутьме жестикуляцию. Вероятно, благодаря темноте митинг шел с напряженной торжественностью. Полная тишина, словно в огромной зале нет никого. Когда мы выходили, один товарищ, приехавший из провинции, сказал: «Это уж не митинг, а священнодействие какое-то». Что касается митингов в казармах, то настроение их было разное. Пулеметчиков надо было сдерживать, они отчаянно рвались в бой и до июля и после него в тех отрядах, которые не убрали из Питера. Остальные полки делились на наши и колеблющиеся. Слушали везде внимательно, и разница была только та, что «наши» слушали как-то необычайно радостно, а колеблющиеся сумрачно, напряженно, как будто зло, но всегда смятенно и глубоко вдумчиво [...].

## **КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО в 1917–1933 гг.**

С 1917 по 1929 гг. — народный комиссар просвещения РСФСР (раздельных министерств и комитетов по высшему образованию, начальной и средней школе, по культуре, искусству и т. д. тогда не было — все эти отрасли входили в Наркомпрос).

Во время гражданской войны Луначарский выезжал по поручению ЦК партии на Украину, на Кубань, на Волгу, где шли бои; в самый острый момент наступления Деникина на Москву назначен был представителем Реввоенсовета в Тульский укрепленный район (направление главного удара противника).

В последующие годы Луначарский одновременно с работой в Наркомпросе работал во Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете, членом которого был с 1917 до 1931 г., выполнял много отдельных поручений партии и правительства, в том числе дипломатических (был делегатом СССР в Женевском комитете по разоружению при Лиге наций). Читал курсы по истории русской и западноевропейской литературы в Коммунистическом университете имени Свердлова, в Московском государственном университете, в Институте красной профессуры, проводил съезды учителей, ученых, художников, деятелей культуры. Выступал по всей стране — преимущественно перед молодежью — с лекциями, докладами на политические, культурные, философские, антирелигиозные, художественные темы. Написал много статей по различным вопросам, драмы для театра, три сценария для кино.

В 1929 г. по собственному желанию оставил пост наркома просвещения и был назначен председателем Комитета по ученым и учебным заведениям при ЦИК СССР. В том же году был единогласно избран действительным членом Академии наук СССР. Возглавил как директор Институт русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде и Институт литературы и искусства Коммунистической академии (Москва).

В 1933 г. назначен послом в Испанию (которая впервые устанавливала дипломатические отношения с СССР), но к этой работе не приступил из-за болезни сердца, начавшейся в 1922 г. и приведшей к смерти 26 декабря 1933 г. в Ментоне (Франция). Урна с его прахом замурована в кремлевской стене.

## INFO

На первой странице обложки:

В. Н. Ленин, А. И. Герцен, А. М. Горький, Я. М. Свердлов, В. Г. Короленко, А. С. Серафимович, Г. В. Плеханов, М. С. Урицкий, М. М. Володарский.

На последней странице обложки;

А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. Я. Брюсов, Ф. Бэкон, Н. А. Римский-Корсаков, Р. Вагнер, И.-В. Гёте, Г. Гейне, А. Н. Радищев.

.....

*Луначарский Анатолий Васильевич*

СИЛУЭТЫ.

М., «Молодая гвардия», 1965, 544 с., с илл. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 18(412).)

ЗКПЦ092) + 1 +8

Редактор *Е. Любушкина*

Серийная обложка художника *Ю. Арндта*

Худож. редактор *А. Степанова*

Техн. редактор *Л. Будова*

А10754. Подп. к печ. 13/ХІ 1965 г. Бум. 84×108 1/32.

Печ. л. 17 (28.56) + 13 вкл. Уч. — изд. л. 26,5.

Тираж 100 000 экз. Заказ 1095. Цена 98 коп.

Б. 3. № 44, 1965 г., п. 10.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия».

Москва, А-30, Сущевская ул., д. 21.

# СИЛУЭТЫ



*А. Луначарский*

98 коп

М О Л О Д А Я      Г В А Р Д И Я

---

**notes**

## **Примечания**

Пересмотрев эти строки теперь, в марте 1923 года, во время тяжелой болезни Ленина, я склонен все же признать, что ни он себя, ни мы его не берегли достаточно. Тем не менее я убежден, что богатырская природа Владимира Ильича пересилит его болезнь и что недалеко то время, когда он вновь вернется к руководству РКП и Россией. *(Прим. 1923 г.)*

Увы, не только в марте, но еще за какую-нибудь неделю до смерти Владимира Ильича мы все надеялись на это. Решительно все врачи, которые его лечили, заверяли его семью и ближайших его друзей, что дело идет быстро на поправку. В этом смысле в марте мы относились к делу несколько пессимистичнее, чем, скажем, в декабре 1923 года. Между тем неизлечимый недуг продолжал свое дело. Врачи ошибались, и в заблуждение их вводило то, что великий мозг Владимира Ильича, несмотря на ужасные изъязнения, нанесенные ему болезнью, так энергично боролся с ее симптомами, что приводил иногда к обнадеживающим улучшениям. — А. Л. *(Прим. 1924 г)*

В день, когда я просматривал последнюю корректуру этого силуэта, пришло известие о смерти Мартова.

Памятник Лассалю художника Зелита. *(Прим. авт.)*

Зато небольшое стихотворение того же Маяковского о волоките очень насмешило Владимира Ильича, и некоторые строки он даже повторил\*.  
(Прим. авт.)

\* Ленин сказал о стихотворении Маяковского «Прозаседавшиеся» в докладе «О международном и внутреннем положении» (6 марта 1922 г., на заседании комфракции съезда металлистов): «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (Полн. собр. соч., т. 45, стр. 13).

т. е. в сборнике биографических очерков «Революционные силуэты».

Статья написана была после ранения Владимира Ильича. (Прим. 1923 г.).

Согласие (*нем.*). — *Ред.*

Аристократическая личность (нем.). — Ред.

К сожалению, прекрасный бюст уже не стоит перед Зимним дворцом. Скоро придет время, когда мы вернемся к постановке памятников великим революционерам уже в бронзе. Многие из временных памятников в Петербурге были хороши, в Москве они были гораздо менее удачны. *(Прим. авт. 1923 г.)*

**10**

Речь идет о первой мировой войне.

С комической стороны (франц.). — *Ред.*

См. «Феликс Дзержинский». М., Соцэкиэ, 1931.

**13**

Воодушевление (нем).

Enfant perdu (*франц.*) — военный термин: одиночный передовой пост.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр. 6.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр. 6–7,

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр. 142–143.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр. 156.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. II, стр. 345.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр. 156.

Естественно, по своей природе (*лат.*). — *Ред.*

«Государственная партия» (гол.).

«Партия штатгальтера» (наместника) *(гол.)*.

Круглый зал (голл.).

Лагерная улица на берегу канала (*голл.*).

Дословно: устремляйте вверх сердца! (*лат.*) — то есть: ободритесь!  
Библийская фраза (из плача Иеремии). — *Ред.*

До войны 1914 г.

Комментатор помнит, как А. В. Луначарский говорил, что, возможно, одна или обе следующие части будут изложены в обычной критико-публицистической форме, как заключительная часть «музыкально-критической фантазии» о Римском-Корсакове.

Макароническими назывались шуточные стихи, преимущественно сатирического содержания, написанные на жаргоне, состоявшем из смешения латинских слов со словами живого народного языка, которым придавались латинские окончания (вроде «бабус» или «лопатус» гоголевских семинаристов). — Ред. «Известий».

**30**

Без гнева и пристрастия (*лат.*). — *Ред.*

---

---

**comments**

## **Комментарии**

Работа Ленина «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» была опубликована в сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития», СПб, 1895, под псевдонимом «К. Тулин».

*П. Б. Аксельрод (1850–1928)* — один из основателей группы «Освобождение труда» (1883), популярный в 90-х гг. с.-д. писатель. С 1903 г. — меньшевик крайне правого направления. После Октября активный противник советской власти.

Точность воспоминаний Луначарского о его беседе с П. Б. Аксельродом подтверждается изданными в 1925 г. воспоминаниями последнего о пребывании Ленина за границей в 1895 г.

*Струве П. Б.* (1870–1944) — автор манифеста, изданного 1 съездом РСДРП. Вскоре после этого, под видом «проверки экономического учения Маркса», начал ревизию основ марксизма, призывая рабочий класс к сотрудничеству с капиталистами, и кончил тем, что перешел в конституционно-демократическую («кадетскую») партию. После Октября белоэмигрант. Умер в Париже.

*Туган-Барановский М. П.* (1865–1919) — профессор-экономист, критик народничества — «легальный марксист», по политическим взглядам либерал, автор капитальных трудов «Промышленные кризисы в современной Англии» и «Русская фабрика в прошлом и настоящем».

*Богданов (Малиновский) А. А. (1873–1928)* — врач по образованию, автор экономических и философских работ, после II съезда РСДРП и до 1909 г. — один из активных членов большевистской фракции. Позднее организатор отколовшейся от большевизма группы «Вперед» и проповедник идеалистической философии «эмпириомонизма». Потерпев в 1920 г. неудачу в попытке восстановить, используя «Пролеткульт», свою фракцию, отошел от политической деятельности, сосредоточился на научной работе и стал одним из пионеров в выработке методов переливания крови с медицинскими целями, организатором института переливания крови в Москве.

*Поль Верлен* (1844–1896) — французский поэт. *Эжен Каррьер* (1849–1906) — французский художник.

*Ксенофонт* (род. в середине V в. до н. э.) — греческий историк, философ и военачальник;

*Платон* (род. в 427 г. до н. э.) — греческий философ.

В то время, когда этот очерк Луначарского был написан, портреты Ленина были еще сравнительно мало распространены.

7

Имеется в виду русская революция 1905 г.

12 ноября 1922 г. Ленин в докладе IV конгрессу Коминтерна говорил об уроках «новой экономической политики» в РСФСР и в связи с этим об умении своевременно и правильно отступать в классовых боях, чтобы готовить успешное наступление. (Поли. собр. соч., т. 45, стр. 278).

Луначарский, размышляя о человеческом облике великих революционеров прошлого, неоднократно в первые годы после Октября упоминает это имя. В 1920 г. им была написана драма «Оливер Кромвель».

О группе «Вперед» см. в Приложениях «Воспоминания. Из революционного прошлого».

*Е. К. Малиновская* (1870–1943) — член большевистской фракции РСДРП со дня раскола с меньшевиками. В 20-х гг. занимала должность директора Государственного Академического Большого театра в Москве.

«Партия «октябристов» получила свое название от изданного 17 октября 1905 года царского манифеста о введении конституции, лишь несколько ограничивающей самодержавие.

«Резолюция об отношении к среднему крестьянству» была принята VIII съездом РКП(б) 23 марта 1919 г.

Волна крестьянских восстаний поднялась высоко в 1859–1863 гг.

*Михайлов А. Д.* (1855–1884) — один из организаторов «Народной воли». В 1880 г. осужден на пожизненную каторгу. Умер в крепости.

*Лопатин Г. А.* (1845–1918) — народоволец, друг Маркса и Энгельса, узник Шлиссельбургской крепости с 1887 по 1906 г.

См. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». М., Госполитиздат, 1951. Ф. Энгельс в статье «Об общественных отношениях в России», говоря о «воодушевлении и энергии героических русских борцов», также писал: «Этих борцов, которых было всего несколько сот человек, но которые своей самоотверженностью и отвагой довели царский абсолютизм до того, что ему приходилось уже подумывать о возможности капитуляции и об ее условиях, — таких людей мы не потянем в суд за то, что они считали свой русский народ избранным народом социальной революции. Но это вовсе не обязывает нас разделять их иллюзии. Время избранных народов миновало безвозвратно» (там же, стр. 295.)

Мысль Н. К. Крупской приводится здесь в пересказе.

Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? (*Ответ на статьи «Русского Богатства» против марксистов*). Нелегальное гектографированное издание вышло в 1894 году (Полн. собр. соч., т. I).

В 1923 г. в Гамбурге рабочие и матросы подняли восстание под лозунгом создания советской власти. Это восстание было подавлено войсками и полицией имперского правительства, во главе которого стояли правые социал-демократы.

Имеется в виду стихотворение Н. Тихонова «Сами».

«Идеализм» здесь означает преданность идее.

*Бланки Луи Огюст (1805–1881)* — французский революционер, участник революций 1830 г. и 1848 г., строивший план свержения эксплуататорского строя посредством заговора и захвата власти узкой по составу революционной партией.

По библейской легенде, во время бегства иудеев из египетского пленения среди них были люди, боявшиеся далекого и опасного перехода по пустыне и призывавшие остаться в плену, где досыта кормят «из мясных котлов».

Здесь неточность: Ленин говорил об этом на II съезде политпросветов 17 октября 1921 г.: «У нас комиссия по ликвидации безграмотности создана 19 июля 1920 года. Я нарочно, перед тем как приехать на съезд, прочел соответственный декрет. Всероссийская комиссия по ликвидации безграмотности... Мало того — Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности...уже то обстоятельство, что пришлось создать чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, доказывает, что мы — люди (как бы это выразиться, помягче?) вроде того, как бы полудикие, потому что в стране, где не полудикие люди, там стыдно было бы создавать чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, — там в школах ликвидируют безграмотность» (В. И. Ленин, Новая экономическая политика и задачи политпросветов. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 169–170).

«Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика». (там же, стр. 174).

*НОТ* — Научная организация труда; для разработки ее проблем, в частности для введения у нас такой конвейерной системы, при которой устранялись бы вредные последствия от чрезмерно узкой и односторонней специализации рабочих движений, был создан Центральный институт труда под руководством А. Гастева.

«Последняя статья о РКП и ЦКК» Ленина — «Как нам реорганизовать Рабкрин» (Предложения XII съезду партии) (Полн. собр. соч., т. 45, стр. 383–388).

*Лавров П. Л. (Миртов)* (1823–1900) — виднейший деятель и теоретик народничества, член обществ «Земля и воля», «Народная воля», а также I Интернационала. Его «Исторические письма» имели огромное влияние на интеллигенцию конца XIX в.

«Рабочее дело» — орган заграничного «Союза русских с.-д.», начал выходить в 1899 г. Ленин полемизировал в статье «С чего начать?» и ряде других работ с этой газетой, с ее то оппортунистическими, то безосновательно «левыми» лозунгами.

Письмо не сохранилось, и его автор не установлен.

(в отношении специально-художественных знаний). — В докладе «О международном и внутреннем положении Советской республики» (6 марта 1922 г.) Ленин, например, сказал о Маяковском: «Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области» (Поли. собр. соч., т. 45, стр. 13).

Подобные же высказывания Ленина приводят в своих воспоминаниях Н. К. Крупская и Клара Цеткин.

*Лещенко Д. И.* — большевик, активный участник ряда дореволюционных партийных изданий в Петербурге и за границей. После Октября работал в Наркомпросе. (Ленин упоминает его имя в письме к М. Горькому от 15.9.1911 г.)

«Кнакфус» — немецкая издательская фирма, продававшая за сравнительно недорогую цену иллюстрированные монографии о художниках.

Имеется в виду скульптор С. Д. Меркуров.

Сохранилась фотография Ленина на торжестве закладки памятника К. Марксу на Театральной площади в Москве (теперь площадь Свердлова). Проект группы С. С. Алешина осуществлен не был.

Отдел народного образования. Гомель был уездным городом Черниговской губернии, потом стал губернским (ныне областным) центром.

Л. В. Шервуд был также автором памятника Герцену. Бюст Софьи Перовской был сделан О. Гризелли, «неплохой памятник» Шевченко — скульптором И. К. Тильберн; «чрезвычайно вычурный» памятник Чернышевскому — Т. Э. Залькалнс (автором одного из наиболее удачных памятников Добролюбову). Памятник Никитину сделан И. Н. Блажневич; авторство памятника Лассалю ошибочно приписано Луначарским скульптору Зелит (правильно: А. Залит) — на самом деле оно принадлежит В. А. Синайскому. Футуристический памятник Бакунину создал Б. Д. Королев — позднее автор широко известного скульптурного портрета Л. Толстого и др. реалистических работ. Проект памятника Марксу и Энгельсу («бородатые купальщики») принадлежал С. А. Мезенцеву. «Мемориальная доска» С. Т. Коненкова и теперь находится в Московском Кремле.

По другим воспоминаниям самого А. Луначарского, анархисты лишь угрожали разрушить памятник Бакунину, а снят он был по распоряжению Московского Совета.

Натан Альтман, автор барельефа «Халтурин», оставил несколько набросков головы Ленина, сделанных с натуры.

ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские — высшее учебное заведение в Москве, имевшее факультеты: живописный, графический, скульптурный, монументально-декоративной живописи, архитектурный, художественной обработки металла, дерева, тканей, керамики. Позднее ВХУТЕМАС реорганизован путем разделения на отдельные институты. О беседе Ленина с учащимися рабфака при ВХУТЕМАСе см. в воспоминаниях о Ленине Н. К. Крупской.

*Мейчик, Добровейн и Романовский* — известные московские пианисты.

Государственный струнный квартет имени знаменитого мастера смычковых инструментов XVII в. Страдивариуса был организован в Москве виолончелистом и дирижером В. Л. Кубацким.

С. А. Кусевицкий (1873–1951) — знаменитый дирижер и контрабасист, игравший на этом инструменте сольные концерты.

*А. Д. Цюрупа* (1870–1928) — выдающийся революционный деятель, большевик, член Советского правительства.

Письмо ЦК РКП о Пролеткультах было опубликовано в журнале «Вестник работников искусств», № 2–3, 11/XII 1920 г.

В суде над правыми эсерами (1922 г.) А. В. Луначарский участвовал как общественный обвинитель.

(франц, attentat) — покушение на жизнь.

Заключенные в кавычки слова взяты из документов, фигурировавших в обвинительном акте против эсеров (прокурором был Н. В. Крыленко).

«Сеньорами», т. е «старшинами», по парламентской терминологии, называются главы делегаций.

«Левые» в Учредительном собрании — большевики и левые эсеры, стоявшие тогда на платформе советской власти.

В речи «Памяти Я. М. Свердлова» (впервые напечатана в «Правде» № 60, 20 марта 1919 г.) Ленин сказал: «Такого человека, который выработал в себе этот замечательный организаторский талант, нам не заменить никогда, если под заменой понимать возможность найти одно лицо, одного товарища, совмещающего в себе такие способности. Никто из близко знавших, наблюдавших постоянную работу Якова Михайловича, не может сомневаться в том, что в этом смысле Яков Михайлович незаменим. Та работа, которую он делал один в области организации, выбора людей, назначения их на ответственные посты по всем разнообразным специальностям, — эта работа будет теперь под силу нам лишь в том случае, если на каждую из крупных отраслей, которыми единолично ведал тов. Свердлов, вы выдвинете целые группы людей, которые, идя по его стопам, сумели бы приблизиться к тому, что делал один человек» (Полн. собр соч., т. 38, стр. 79).

*Политический Красный Крест* был нелегальной межпартийной организацией, оказывавшей юридическую и материальную помощь политическим заключенным.

*Е. В. Тарле* (1875–1955) — до 1917 г. исторический писатель либерального направления; позднее — видный советский историк, действительный член Академии наук СССР, автор широко известных биографий Наполеона и Талейрана.

*В. В. Водовозов* (1864–1933) — публицист и экономист, народник. С 1904 по 1906 г. был заключен в крепость за литературную антиправительственную деятельность. После Октябрьской революции эмигрировал за границу.

Как часто у А. В. Луначарского, это слово означает здесь человека, беззаветно преданного идее.

*«Межрайонная организация объединенных социал-демократов»* возникла в Петербурге в 1913 г. На VI съезде РСДРП(б), в июле 1917 г., она влилась в большевистскую партию.

Имеется в виду переезд Совета Народных Комиссаров РСФСР из Петербурга в Москву в марте 1918 г.

После Февральской революции Луначарский возвратился из Швейцарии в Россию, присоединив подпись к заявлению Ленина о проезде через Германию.

*М. И. Калинин* в сентябре 1917 г. был выбран рабочими Лесного района Петрограда в районную думу и председателем районной управы.

А. А. Иоффе (В. Крымский) (1883–1927) — старый социал-демократ, меньшевик, потом «впередовец»; в большевистскую партию вошел с «межрайонцами». После Октября — советский дипломат, участник мирных переговоров с Германией в Бресте, делегат на Генуэзской конференции, посол в Китае, Японии, Австрии. В последние годы жизни был в троцкистской оппозиции.

*Г. Д. Закс* (р. 1882) — член ЦК эсеровской партии с 1905 г., с 1917 г. — левый эсер. В Октябре — член президиума Военно-революционного комитета, потом замнаркомпроса, зампред ВЧК. После восстания левых эсеров в ноябре 1918 г. вступил в большевистскую партию, участвовал в гражданской войне, а по ее окончании перешел на хозяйственную работу.

Вероятно, *И. И. Аксельрод* (1871–1917) — член РСДРП, литературный критик, пропагандистка. Со времени своего вступления в группу «Освобождение труда» находилась под политическим влиянием Г. В. Плеханова и вскоре после его возвращения из эмиграции в 1917 г. приехала в Петроград.

Речь идет о «левых» художниках во главе с Татлиным, которые видели конструктивность не в продуманности построения, не в нахождении композиции, наиболее полно, выразительно и экономно воплощающей содержание, а в чисто формальном, внешнем подражании формам машин. Татлин, например, создал металлическую «конструкцию», которую назвал «Летатлин» — и она, по его мнению, должна была передать «идею полета», но не имела смысла с точки зрения практической техники и науки о летательных аппаратах. Луначарский называл эти потуги «машиномоляйством» — так же, как теории тогдашних литературных конструктивистов (И. Сельвинского, Б. Агапова, К. Зелинского и др.).

Э.-А. Мильеран (1859–1943) — французский социалист, сделавший карьеру прислужничеством империализму. В 1914–1915 гг. стал военным министром. В 1920–1924 гг., когда в послевоенной Европе нарастал протест в массах, Мильеран был, для борьбы с революцией, проведен крупной буржуазией в президенты республики.

*Ф. Ф. Раскольников (Ф. Ф. Ильин)* (1892–1939) вступил в партию в 1910 г. С 1914 г. — моряк. В 1917 г. был товарищем (т. е. заместителем) председателя Кронштадтского Совета, редактором «Голоса правды».

Известная в то время на Украине семья демократических интеллигентов, близких к социал-демократам; один из членов этой семьи был знаком с украинским писателем М. Коцюбинским.

Книга В. Г. Плеханова «*Наши разногласия*», изданная в 1895 г. и содержащая критику народничества, была одним из первых теоретических выступлений русских марксистов. Этот труд был высоко оценен Фр. Энгельсом.

*Генрих Грейлих* (1842–1925) — в юности рабочий, позднее — статистик и журналист, один из организаторов Цюрихской секции I Интернационала. Во II Интернационале занял крайне правую оппортунистическую позицию.

На величественного библейского патриарха.

Большинство жителей цюрихского кантона швейцарии говорит на немецком языке.

Точное содержание этого спора между *Иодко* и *Р. Люксембург* выяснить не удалось. Известно лишь, что *Иодко* — он же *Авропский* (подпольные псевдонимы *Витольда Наркевича* (1869–1924), одного из создателей Польской партии социалистов (ППС), близкого сотрудника *Пилсудского*, позднее — министра по иностранным делам в его правительстве) — был ярко выраженным националистом. *Р. Люксембург* впадала в другую крайность и настаивала на том, чтобы социал-демократия не требовала для Польши независимости, пока эта цель практически недостижима. *Ленин* настаивал на выдвижении лозунга национальной независимости Польши в числе других определяющих цели и принципы революционных марксистов и отмечал непоследовательность *Плеханова* в критике *Р. Люксембург*.

«Богатый духом» — интересная стилистическая находка Луначарского. Немецкое слово *Geistreich* обычно переводят «умный» или «остроумный». Приближая свой перевод к буквальному, Луначарский освежает и углубляет значение слова.

Ленин (см. его книгу «Материализм и эмпириокритицизм») также отмечает, с противоположной точки зрения, недостаточную убедительность критики махизма у Плеханова в его «теории иероглифов».

Имеется в виду книга Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

*Вильгельм Гаузенштейн* (р. 1882) — известный немецкий историк и теоретик искусства, буржуазный социолог, изучавший марксизм и использовавший некоторые марксистские положения в своей исторической концепции. В 20-х гг. оказал значительное влияние на часть марксистской художественной критики. Луначарский с большим интересом относился к его сочинениям, но указывал, что в основе взгляды Гаузенштейна немарксистские (см. статью «Вильгельм Гаузенштейн» в книге: А. В. Луначарский, Статьи об искусстве. М., изд-во «Искусство», 1941).

*Луи де Брукер* (р. 1870) — до войны 1914 г. бельгийский левый социалист, противник реформизма; под влиянием германского вторжения в Бельгию стал «социал-патриотом», шовинистом, яростным противником коммунизма.

*Жюль Гэд* (1845–1922) — основатель и многолетний руководитель марксистской рабочей партии во Франции, сотрудничавший в 1881 г. с Марксом и Энгельсом. В начале войны 1914 г. поддался шовинистическому угару и стал министром в империалистическом правительстве «национальной обороны».

*Шляпников и Колонтай* — в 1920–1921 гг. лидеры так называемой «Рабочей оппозиции». *Колонтай* с 1923 г. находилась на дипломатической работе.

Г. А. Алексинский (р. 1879) — «крайний большевик», т. е. «впередовец». В 1906–1913 гг. выступал против Ленина, отрицая сочетание легальных методов с нелегальными в революционной борьбе. С 1914 г., т. е. с начала мировой войны, — шовинист, «социал-патриот», затем сотрудник монархической газеты. После Октября — один из вождей черносотенной части белоэмиграции. В 1927 г. готовил в Париже террористический акт против Луначарского.

«Тов. Седой» — вероятно, Седов Л.; Л. С., Кольцов Д. — псевдонимы Гинзбурга Б. А. (1863–1920), с.-Д. меньшевика.

Цитаты из сочинений и писем Радищева и Пушкина в этой речи А. В. Луначарский приводил наизусть, не всегда с дословной точностью.

Радищева обучали преподаватели Московского университета, но студентом Московского университета он не был.

Павел I повелел освободить Радищева и разрешить ему поселиться в Калужской губернии в ноябре 1796 г., но до места ссылки приказ дошел лишь в конце января 1797 г.

«Натуралистический» — здесь значит «естественнонаучный».

Имеется в виду празднование в 1921 г. столетия со дня рождения Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова и А. Ф. Писемского.

Речь о Достоевском в связи со столетием со дня рождения писателя была напечатана в журнале «Красная новь», 1921, № 4, позднее включена в сборник: А. Луначарский, Литературные силуэты.

*Важнейшие статьи А. В. Луначарского о Л. Толстом:* «Смерть Толстого и молодая Европа» (1911), «О Толстом» (1911), «Лики Толстого» (1913), «Отзывы о фильме «Поликушка» (1922), «Толстой и Маркс» (1924), «Ромен Роллан и Л. Толстой» (1926), «О творчестве Толстого» (1927), «О Льве Толстом» (1928), «Предстоящее чествование Л. Толстого» (1928), «По поводу юбилейного издания сочинений Толстого» (1928), «К юбилею Л. Н. Толстого» (1928), «Чернышевский и Толстой» (1928), «Ленин о Толстом» (1928), «О значении юбилея Толстого» (1926), «Речь на открытии памятника Л. Н. Толстому в Ясной Поляне» (1928), «Мы, Толстой и Европа» (1928), «Ленин и Раскольников о Толстом» (1928), «Толстой-художник» (1928). Большое количество статей, относящихся к 1928 году, объясняется необходимостью отстаивать ленинское отношение к наследию Л. Толстого в сложных спорах вокруг него в то время.

*Шталмейстер (конюший)* — высокий придворный чин.

Здесь, в сравнении с Некрасовым, чтобы ярче оттенить его революционность, преувеличено значение либеральных тенденций в общей характеристике Герцена.

Здесь несомненная ошибка стенографической записи или типографская опечатка. Вероятно, следует читать: «...первый его очерк посвящен именно пролетариату и голодному пролетариату: это «Петербургские углы» в книге «Физиология Петербурга». (Эта книга вышла в двух частях под редакцией Н. А. Некрасова в 1845 г.).

*И. А. Белоголовый* (1834–1895) — врач и литератор, друг Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Добролюбова, Чернышевского. Цитируемое Луначарским письмо было адресовано Чернышевским своему двоюродному брату, историку русской литературы А. Н. Пыпину (1833–1904).

Из стихотворения Пушкина «Поэт».

Строка из стихотворения Тютчева «Silentium!» («Молчание!»).

Имеются в виду строфы XXX–XXXII из поэмы «*Мороз, Красный нос*».

*Ипполит Тэн* (1828–1893) — французский социолог, теоретик искусства, историк позитивистского направления. Мысль, на которую указывает А. В. Луначарский, изложена Тэном в «Истории английской литературы».

В первопечатном тексте эта мысль развита значительно шире. Она заканчивается так: «...Эта новейшая формация интеллигенции чрезвычайно легко подпадает под влияние любой доминирующей силы. Благо ей, когда это сила положительная, и горе ей, когда это сила отрицательная».

А. К. Воронский (1884–1943) — старый большевик (в 1925–1927 гг. троцкист), литературный критик, публицист, автор повестей и рассказов, из которых наиболее читаемой была автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой». В 1963 г. издательством «Советский писатель» выпущен том избранных литературно-критических статей Воронского.

См. работу Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 317).\*

\* Здесь и в других местах ссылки относятся к 1-му изданию Сочинений Маркса и Энгельса, которым пользовался Луначарский.

*См. работу Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке»  
(там же, т. 19, стр. 190).*

*См. предисловие Ф. Энгельса к его «Анти-Дюрингу» (там же, т. 20, стр. 16).*

*А. Я. Таиров* (1885–1950) — выдающийся режиссер, основатель и руководитель Московского Камерного театра. Первые годы отличался остростилизованными постановками («Благовещение», «Жирофле-Жирофля» и др.). С конца 20-х гг. поставил ряд более традиционных реалистических спектаклей (в их числе — первая постановка «Оптимистической трагедии» В. Вишневского).

*Ф. В. И. Шеллинг* (1775–1854) — философ-идеалист, один из представителей классической немецкой философии.

*В. И. Иванов* (1866–1949) — поэт и теоретик символизма. В 20-х гг. эмигрировал за границу, перешел в католичество и заведовал библиотекой Ватикана.

*Ф. Сологуб* (1863–1927) — поэт и прозаик, символист.

«*Руссотианцы*». Максимилиан Робеспьер и главы якобинцев в французской революции XVIII в. признавали себя последователями философского учения Ж.-Ж. Руссо (1712–1778).

*В. В. Каменский* (1884–1961) — поэт и драматург, близкий к футуристам.

*И. М. Форрегер* (1892–1939) — режиссер, основатель театра-студии («мастерской»), в которой приемы театра-обозрения использовались для «производственной» тематики («Танцы машин» и т. п.).

*Делле-Грацие М.-Н.* (1904–1931) — австрийская писательница, прозаик и драматург.

*С. М. Третьяков* (1892–1939) — поэт, драматург, прозаик и критик, принадлежал к группе «Леер».

«Весь» — журнал группы символистов под редакцией В. Я. Брюсова, выходил в 1904–1909 годах.

Последние строфы стихотворения «Довольным» (1905):

*Но ненавистны полумеры,  
Не море, а глухой покой,  
Не молния, а полдень серый,  
Не агора, а общий зал.  
На этих всех довольных малым,  
Вы, дети пламенного дня.  
Восстаньте смерчем, смертным шквалом,  
Крушите жизнь — с ней меня!*

*П. И. Сакулин* (1868–1930) — историк русской литературы.

Имеется в виду стихотворение 1905 г. «Грядущие гунны».

Журнал *«На посту»* издавался в 1923–1925 гг. одноименной группой писателей, претендовавших на монопольное представительство от лица пролетарской литературы; руководители журнала с «левых» позиций выступали против «органически связанных с прошлым» деятелей советской культуры, не входящих в их организацию. Позднее на основе группы «На посту», создалась «Российская ассоциация пролетарских писателей» (РАПП).

*Главпрофобр* — Главное управление профессиональным образованием  
в Наркомпросе РСФСР.

*ГУС* — Государственный ученый совет при Наркомпросе.

*П. С. Коган* (1872–1932) — историк литературы и критик, президент Государственной Академии художественных наук.

*Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ)* был первой в мире попыткой создать учебное заведение специально для молодых людей, готовящихся к творческой работе, выработать для этого объективные и вместе с тем живые методы обучения истории литературы и теоретическим дисциплинам. Институт был широко известен под названием «Брюсовского». В нем училось немало прозаиков, поэтов, историков, ставших впоследствии известными (Артем Веселый, Е. Н. Герасимов, Г. Березко, И. В. Сергиевский, С. А. Макашин, В. Ц. Гоффеншефер и мн. др.). В начале 30-х годов институт прекратил существование.

*Медичисы (Медичи)* — купеческо-аристократическая династия, правившая Флоренцией в XV–XVII вв.

*Э. Карнеги (1835–1919)* — американский миллионер-меценат, имя которого носят многие культурные учреждения и общества США.

*Д. Д. Бурлюк* (р. 1882) — русский поэт и художник-футурист, друг молодости В. Маяковского. С 1922 г. живет в США.

Творчеству Александра Блока посвящена одна из лучших монографических статей А. В. Луначарского, напечатанная впервые как предисловие к Собранию сочинений А. Блока в 1932 г. (см. также Собрание сочинений Луначарского в 8 томах, т. 1, 1963 г.). В этой статье раскрывается, между прочим, глубокое отличие символизма русского, испытавшего влияние предреволюционной обстановки в России, от французского символизма.

Это обращение к музе В. Брюсов заимствовал из римской литературы, повествующей о прославленном простотой нравов Цинцинате (V в. до н. э.), который продолжал пахать свое поле и тогда, когда был избран главой республики. С цитированными Луначарским словами из стихотворения Брюсова «В ответ» (1902) Цинцинат, по преданию, обращался к своим волам.

«*Легенда веков*» В. Гюго — серия стихотворений на тему истории человечества, которые поэт писал на протяжении двух десятилетий.

*Ссылка на недостаток времени* указывает на то, что две главы статьи представляют собой стенограмму выступлений Луначарского на двух вечерах памяти В. Брюсова (предположительно, в Государственной Академии художественных наук и в Высшем литературно-художественном институте).

*Пятидесятилетие В. Я. Брюсова* торжественно праздновалось в московском Большом театре в декабре 1923 года. Присутствовали делегации советских республик. В ответном слове поздравителям юбиляр сказал, что все говорят почти исключительно о том, что им сделано в прошлом, между тем он надеется, что главное, как поэт, он сделает в будущем. (Эти несколько горько прозвучавшие слова Брюсова подтверждают, как правильно А. В. Луначарский понимал его духовную судьбу.) На юбилее Брюсов прочел свое стихотворение «У Кремля» и «Вариации на тему «Медного всадника».

*Недоюскин* — персонаж из «Записок охотника» И. С. Тургенева (рассказы «Чертопханов и Недоюскин» и «Конец Чертопханова»).

*В. Ф. Переврзев* (р. 1882) — историк литературы. Полемизируя против его общих вульгарно-социологических взглядов, Луначарский высоко ценил его пронцательные и оригинальные наблюдения над конкретными художественными явлениями. Книга В. Ф. Переврзева, которая здесь имеется в виду, — «Творчество Гоголя».

В указанном А. В. Луначарским источнике эта статья Маркса не найдена.

*Апеллес* из Эфеса (IV в. до н. э.) — величайший, по преданию, греческий художник. Луначарский имеет в виду стихотворение Пушкина «Сапожник».

«Дивись, яка така намалевана», — говорить женщина в «Ночи под Рождество» Гоголя, указывая ребенку на изображение черта.

«Если и его кисть стала ломаться...» — Сопоставление с трагической судьбой художника Черткова в повести Гоголя «Портрет».

В последние годы своей жизни Гоголь переписывался со священником Константиновским, учившим его аскетическому отречению от земных интересов.

*Иеремия* — библейский пророк. Его обличения несправедливой жизни, жалобы на испорченность людей стали, под названием «иеремиад», нарицательным обозначением для горестных обличений во все времена.

Указание на стихотворение Пушкина «Эпиграмма». (Из антологии.)

*Лук звенит, стрела трепещет,  
И клубясь издох Пифон;  
И твой лик победой блещет,  
Бельведерский Аполлон!*

*Любим Торцов* — персонаж из пьесы «Бедность не порок» А. Н. Островского.

«*Леди и медведи*» — танцевальный номер, поставленный К. Я. Голейзовским для Московского мюзик-холла в 1929 г.

«*Ныне отпущаеши...*» — в евангельской легенде слова старца Симеона, прожившего слишком долгую жизнь и уже тяготящегося ею; бог отпустил его на вечный покой лишь тогда, когда Симеон увидел младенца Христа — символ зарождения новой эпохи.

*См. Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21).*

*Передонов* — главный персонаж из романа Ф. Сологуба (1863–1927) «Мелкий бес».

О постановке «Ревизора» Гоголя в 1926 г. и «Горе от ума» Грибоедова (под названием «Горе уму») в 1928 г. в театре Мейерхольда А. В. Луначарский писал в статьях «Театр Мейерхольда» и «Еще о театре Мейерхольда» (см. в книге: А. В. Луначарский, О театре и драматургии, М., изд-во «Искусство», 1958, т. I).

В 1892 г. семеро жителей села *Старый Мултан*, удмурты, были приговорены к каторжным работам по ложному обвинению в совершении ритуального убийства; в 1910–1913 гг. в г. Киеве, организован был громкий процесс против еврея-мясника *Бейлиса*, также обвиняемого по показаниям лжесвидетелей в ритуальном убийстве христианского мальчика. В. Г. Короленко принял деятельное участие в общественном протесте против этих двух провокационных судебных процессов и в значительной мере помог тому, чтобы дело удмуртов было пересмотрено и их невиновность установлена, а Бейлис был оправдан по суду.

Отношение правящих кругов царской России к общественному движению в помощь голодающему крестьянству Поволжья (1891) заключалось, с одной стороны, в обвинении самих крестьян, будто их нерадивость стала причиной бедствия, а с другой стороны — в натравливании темных и доведенных до отчаяния крестьян на врачей и студентов, пришедших им на помощь. Очерки Короленко «В голодный год» были правдивым свидетельством и опровержением реакционной клеветы.

Здесь в пересказе приведена одна из мыслей Ф. Энгельса в книге «Людвиг Фейербах...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 290).

Имеются в виду художественные автобиографические произведения Горького — прежде всего «Детство», «В людях», «Мои университеты».

*В. Н. Пудовкин* (1893–1953) поставил фильм «Мать» по сценарию *Н. А. Зархи* (1900–1935) в 1926 г. Роль Павла играл артист МХАТ *Н. П. Баталов*. Фильм имел огромный успех в СССР и за границей. После Отечественной войны этот фильм на экраны не выходил; он был заменен другим одноименным фильмом по новому сценарию и с новым составом исполнителей.

В 1909 г. в XXIII сборнике «Знание» А. В. Луначарский напечатал статью, высоко оценивающую повесть М. Горького «Исповедь» (1908). И сама повесть и статья о ней проникнуты были «богостроительскими» взглядами Горького и Луначарского тех лет: порабощающую и ложную веру в бога, якобы создавшего человека, предлагалось заменить верой в безграничные «человеческие потенции» (возможности) и построить мир новых, социалистических эмоций, этики и эстетики на основе «обожествления человеческих потенций». Большевицкая печать резко выступила против этих взглядов. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» и Плеханов в брошюре «Materialismus militans» («Воинствующий материализм») вскрыли недопустимость для марксиста этого «заигрывания с религией». Луначарский позднее признал правоту Ленина в критике религиозной терминологии, употреблявшейся им в «богостроительских» статьях и книге «Религия и социализм» (1911–1912), но продолжал считать, что, вопреки ложной форме выражения, в этой книге заключены также и верные идеи. Из комментируемого места в речи о Горьком видно, что в 1928 г. Луначарский еще не полностью отказался от этого убеждения. В последней его теоретической работе — «Ленин и литературоведение» (1932) мы этой мысли уже не находим.

О группе «*Вперед*» — см. в Приложениях.

По совету В. И. Ленина Горький, у которого к тому времени обострился туберкулез легких, уехал в 1921 г. в Италию.

Луначарский пересказывает мысли Горького, изложенные в ряде писем, опубликованных в советской печати в 1927–1928 гг., а также в ответной речи во время чествования на пленуме Моссовета 31 мая 1928 г.

*Ипполит* — псевдоним критика и литературоведа И. К-Ситковского. Его статья была напечатана в журнале «Литература и марксизм», № 1 за 1931 г.

*И. В. Богословский* (1904–1961) — историк русской литературы, литературный критик и редактор, автор незаконченной беллетризованной биографии Чернышевского (издана 1-я часть).

А. А. Фадеев (1901–1956) в 1929 г. в своей литературно-публицистической книге *«Столбовая дорога пролетарской литературы»* писал, что такие романы, как *«Что делать?»* Чернышевского, «выходят за пределы искусства». Позднее он отзывался о них иначе.

Это мнение о романе «*Война и мир*» — редкий у Луначарского случай, когда проявляется, что и он, противник вульгарной социологии, порой поддавался влиянию этого направления, почти безраздельно господствовавшего в то время в среде литераторов-марксистов (или считавших себя марксистами).

Неверно здесь даже фактическое обоснование. В романе Толстого есть достаточно выразительный эпизод отъезда княжны Марьи из имения, когда крепостные крестьяне, чья патриотическая доблесть в партизанских отрядах была одной из причин разгрома наполеоновской армии, не дают помещице увозить имущество из имения. И в последней книге романа, в главе о супружеской жизни княжны Марьи с Николаем Ростовым, рассказывается, как он, самолично управляя имением, бил по лицу и приказчика, и провинившихся мужиков, как страдала от этой грубости его жена. Кроме того (и это еще более важно), изображение людей дворянского класса в романе «*Война и мир*» трудно назвать апологией: честнейшие люди, такие, как отец и сын Болконские или Пьер Безухов, добровольно сторонятся и придворной, и бюрократической карьеры, составляющей цель всех усилий большинства дворян, и никак не принадлежат к типичным помещикам-крепостникам.

А. В. Луначарский прав, напоминая, что первоначальным замыслом самого Л. Толстого было прославление аристократии — «единственного класса, жизнь которого красива» (см. первый вариант неизданного при жизни Толстого предисловия к «*Войне и миру*» в т. 13 Академического полного собрания сочинении). Но тем и велик Толстой, что не мог идти против истины в угоду своему самому любимому предрассудку: в течение семи лет работы над романом изменялось мировоззрение автора, от первоначального замысла не осталось почти ничего. Уже в размышлениях о Платоне Каратаеве началась та эволюция, которая привела Толстого к «*Воскресению*». «По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России, — писал Ленин в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение», — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды... Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого» (Ленин, Поли. собр. соч., т. 20, стр. 39–40).

Для правильного понимания, почему и А. В. Луначарский впадал

иногда в грех упрощенного «классового анализа», следует помнить, какого труда ему стоило, например, организовать полное издание сочинений Толстого (см. его статью «Ленин и Раскольников о Толстом» в сборнике статей Луначарского «О Толстом». М., ГИХЛ, 1928) и достойно провести празднование столетия со дня рождения великого писателя. В этой и других статьях об Л. Толстом (см. Собр. соч. Луначарского, т. 1) Луначарский судит о Толстом по-марксистски, по-ленински. В статье «К предстоящему чествованию Л. Н. Толстого» (1928) он писал: «Ленин охарактеризовал Толстого не как барина... Толстой был для Ленина прежде всего типичным крестьянским революционером».

*Отзыв Флобера о романе «Война и мир» сообщил в письме к Л. Н. Толстому И. С. Тургенев: «Это первоклассная вещь! Какой художник и какой психолог! Два первые тома изумительны, но третий страшно катится вниз. Он повторяется! И философствует! Одним словом, здесь виден он сам, автор и русский, тогда как до тех пор видны были только природа и человечество...»*

(В первопечатном тексте статьи Луначарского в этом абзаце есть очевидные ошибки, исправленные нами.)

*Бельтов* — герой романа А. И. Герцена «Кто виноват?».

*Флак Коинт Гораций* (I в. до н. э.) — римский поэт. Цитируемый здесь его совет взят из «Послания к Писонам» («Искусство поэзии»).

«ТРАМ» — сокращение названия «Театр рабочей молодежи». В конце 20-х — начале 30-х гг. особенно был известен «Ленинградский ТРАМ», в котором широко применялись интермедии с прямым ораторским обращением к зрительному залу.

Такая критика романа М. Горького «Клим Самгин» исходила одновременно из двух «левых» литературных групп — Ассоциации пролетарских писателей (политическая «левизна») и Лефа (формалистическая «левизна»), обычно споривших друг с другом.

*О романтике* в литературе социалистического реализма — см. статью М. Горького «О литературе и прочем» (1931).

*О В. Ф. Перверзеве* — см. прим, к стр. 186. Здесь Луначарский имеет в виду дискуссию 1931 г. против вульгарно-социологических основ теории Перверзева.

В первопечатном тексте здесь явное искажение: «такой является не подставная личность «подпольного человека», а сам Достоевский». Возможность такого высказывания у А. В. Луначарского отвергается всем, что он писал о Достоевском.

«Трагедийная ночь» А. Безыменского — поэма об ударной стройке, издана была в 1931 г. Ироническое замечание Луначарского («как ни странно») по поводу того, что «даже Безыменский» задает себе вопрос о мотивах человеческих поступков, вызвано тем, что А. Безыменский в то время был членом группы «Литфронт», соединявшей в своих теоретических декларациях вульгарно-социологическое и футуристическое отрицание «психологизма» в литературе.

Цитата из поэмы «Хорошо!» В. Маяковского.

В сибирской ссылке у Чернышевского делались обыски с изъятием рукописей. Один экземпляр «Пролога», переданный Чернышевским А. Н. Пыпину для опубликования за границей, не был последним отослан (из опасения повредить семье Чернышевского).

«Американский или прусский путь развития России» — т. е. полное уничтожение феодализма или компромисс между буржуазным и помещичьим классами. Такому компромиссу могла помешать только крестьянская революция, и медленность назревания ее в России привела к тому, что пережитки феодализма удерживались в русском общественном строе вплоть до 1917 г.

Наиболее полное (но с некоторыми сокращениями) издание дневников Н. А. Добролюбова вышло в 1931 г.

Здесь и дальше мы опускаем цитаты на немецком языке и даем только перевод, сделанный редактором текста.

*Мориц Файт* — немецкий прозаик и критик. В своих письмах Гейне высмеивал «этого молодого человека», который сперва докучал ему изъявлениями дружбы, а потом стал на него клеветать.

*К. А. Фарнгаген фон Энзе* (1785–1858) — немецкий прозаик и критик, публицист, автор «Дневников», из которых т. IV, о революции 1848 года, заинтересовал Маркса.

*Грюндерство* — «учредительство» новых предприятий, жажда предпринимательства и быстрой наживы в первый период развития германского капитализма.

О Скрябине см. в сборнике статей: А. В. Луначарский, В мире музыки. Изд-во «Советский музыкант», М., 1958.

*М. О. Гершензон* (1869–1925) — историк литературы и публицист, основатель и издатель сборников «Русские пропиллеи». Буржуазно-либеральные политические взгляды Гершензона наложили печать на его книгу «Мудрость Пушкина», которую имеет в виду Луначарский.

*М. Л. Михайлов* (1829–1865) — революционный деятель и поэт.

*Философская книга Гейне* называется «К истории религии и философии в Германии». Ф. Энгельс по поводу этой книги сказал, что Гейне был первым, кто понял революционное значение диалектики Гегеля (см. Ф. Энгельс, Развитие социализма от утопии к науке).

Sturm und Drang (*нем.*) — «Буря и натиск», группа писателей, к которой принадлежал молодой Гёте. Эти писатели стремились к естественности, гуманизму, к разрушению феодальных условностей, сковавших мысль и поведение людей; своим духовным вождем они считали великого просветителя Лессинга. Позже эта группа разделилась на классиков (Гёте и Шиллера) и на романтиков.

Перевод А. В. Луначарского. (В первопечатном тексте стихи Гёте цитированы также в оригинале.)

В лекциях «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах» Луначарский пишет о *Шекспире*, как о *выразителе кануна революций XVII в. в Англии*.

Статья Ф. Энгельса «Немецкий социализм в стихах и прозе», К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.» т. 4, стр. 243. (Стихотворные строки из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»).

*И. П. Эккерман* (1792–1854) — секретарь Гёте, оставивший книгу «Разговоры с Гёте» (есть русский перевод); он общался с Гёте 10 последних лет его жизни.

*«Греция и Ренессанс... великие бюргерские эпохи».* — Слово «бюргер» имеет в немецком языке два смысла: «гражданин» и «буржуа». Здесь это слово взято в первом смысле — эпоха, проникнутая духом гражданственности.

*Брандес* (Т.-М. Коэн) (1842–1927) — известный датский критик.

Рассказ *Кизера* и *Людена* о Гёте взят из монографии Гундольфа «Гёте» (на нем. яз.; цитата переведена А. В. Луначарским).

*Профессор Люден* — вероятно, историк Г. Люденс (1780–1847), книгу которого «История немецкою народа» Гёте читал в те годы, о которых идет речь.

Мы опускаем здесь немецкие стихи, цитируемые в первопечатном тексте, и даем лишь подстрочный перевод.

*А. М. Деборин* (р. 1881) — в то время профессор философии, позднее действительный член Академии наук СССР.

*Картезианство* — учение французского философа рационалиста, математика и естествоиспытателя *Рене Декарта* (1596–1650), звавшегося по-латыни Картезиус.

*Макс Вебер* (1864–1920) — выдающийся немецкий буржуазный социолог и историк хозяйства.

*В. М. Фриче* (1870–1929) — советский профессор истории литературы и искусства. Луначарский спорил против вульгарно-социологического уклона в истолковании марксизма у Фриче.

«Натуралист» (или «натурист») — здесь в значении «естествоиспытатель» или «человек, любящий и чувствующий природу, постоянно ощущающий с нею связь».

*Дж. Толланд* (1670–1722) — английский философ. От его сочинения «Пантеистикон» берет начало термин «пантеизм».

*И.-Г. Гердер* (1744–1803) — немецкий философ и филолог, родоначальник науки о славянских языках, поэт и переводчик.

Имеется в виду характеристика Гёте в статье Ф. Энгельса «Немецкий социализм в стихах и прозе».

*Н. Ленау* (1802–1850) — австрийский поэт. В 1904 г. Луначарский опубликовал свой перевод поэмы Ленау «Фауст» (со вступительной статьей: «Н. Ленау и его философские поэмы»).

*Сциентизм* — одно из направлений в современной идеалистической философии, ставящее себе задачу критики частных наук.

*Брунсвик* (правильнее: *Леон Брюнсвик*) (1869–1944) — французский философ, считавший причину, пространство, время, меру духовными понятиями, не существующими независимо от человеческих представлений.

*Анри Бергсон* (1859–1941) — французский философ-интуитивист, субъективный идеалист, оказавший большое влияние почти на всю буржуазную философию конца XIX в., а также на современную художественную литературу (на Марселя Пруста, позднее на экзистенциалистов и «Новый роман»). «*Мистическая книга Бергсона*», о которой здесь упоминается, озаглавлена: «Два источника морали и религии», 1932.

*Сэмюэль Александер* (1859–1938) — английский философ.

Время написания статьи точно обозначено Луначарским, который это делал редко. В данном случае дата имела значение.

Не участвуя в конгрессе по случаю юбилея Спинозы, Луначарский был в то время в Голландии (его «Письма из Голландии» печатались в августе 1932 г. в газете «Вечерняя Москва»). Он был уже тяжело болен и вскоре поехал в Берлин, где после неудачных попыток лечения должен был подвергнуться болезненной операции. Пожалуй, лучшая из работ Луначарского о Горьком — «Самгин» — была продиктована им жене, Н. А. Розенель-Луначарской, именно в эти дни и закончена за полчаса до операции. «Барух Спиноза и буржуазия» — первая работа, написанная Луначарским после операции, лишившей его глаза.

Эти биографические факты заслуживают внимания. Они помогают лучше понять Луначарского — человека, которому, по мнению некоторых писавших о нем современников, ко всем личным достоинствам недоставало лишь твердости характера.

*Опопонакс* — зонтичное растение, встречающееся в южных районах Европы и Азии. Используется для фабрикации духов.

Имеется в виду ленинское определение революционного народничества, в котором утопическая сторона учения облекает объективную тенденцию к решительному осуществлению буржуазной революции по типу «американского пути развития капитализма», т. е. полной ликвидации феодализма и его пережитков. Кратко излагая эту мысль, Луначарский не упоминает о том, что в «левом крыле народничества» Ленин выделял крестьянскую революционную тенденцию.

В 60—90-х гг. XIX века театр в городе Меннингене (Германия) стал во главе реформ, выдвинувших на первое место роль режиссуры; К. С. Станиславский («Моя жизнь в искусстве») анализировал достижения «мейнингенцев» и их слабую сторону (нивелирование отдельных исполнителей ради ансамбля).

«*В Москву, в Москву*» — восклицание в пьесе Чехова «Три сестры», выражающее бессильную мечту вырваться из давящего захолустного быта.

В 1933 г. А. В. Луначарский был директором *Института литературы и искусства* Коммунистической академии при ЦИК СССР (в Москве).

«Литературные среды» — кружок московских писателей, собиравшийся в один и тот же день каждую неделю (с 1899 г.) в квартире писателя Д. И. Телешова (1867–1957) и носивший название «Среды».

*ЛИТО* — Литературный отдел Наркомпроса.

Имеется в виду начало статьи Л. Н. Толстого «Что такое искусство?».

См. речь Ленина на VIII съезде РКП(б) (Поли. собр. соч., т. 38, стр. 125–215).

См. «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». Составил Мих. Лифшиц. М., 1957, т. 1, стр. 166–171.

См. К. Маркс и Ф. Энгельс, *Немецкая идеология*. Гл. «Святой Макс». Соч., изд. 2-е, т. 3, стр. 392.

*М. Штирнер* (1806–1856) — теоретик анархизма-индивидуализма.

В письме к Ф. Энгельсу от 19 августа 1876 г. К. Маркс писал: «... собрались люди со всех концов света, направляющиеся в Байреит на дурацкое празднество государственного музыканта Вагнера».

Имеется в виду диссертация Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». См. о ней статью Луначарского «Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности» (Соч. Луначарского, т. 1, М., 1963).

Об опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» см. в сборнике: А. В. Луначарский, В мире музыки. М., 1958, «Боги хороши после смерти» и «Мысли о граде Китеже».

«*Пустите Дуньку в Европу!*» — комическая реплика из пьесы К. А. Тренева (1878–1945) «Любовь Яровая».

А. О. Смирнова (1809–1882) — придворная дама, друг Гоголя, поддерживавшая в нем религиозное настроение. Книга воспоминаний Смирновой, несмотря на предвзятость мнений автора, одна из интереснейших в мемуарной литературе XIX в.

*С. П. Шевырев* (1806–1864) — критик и историк литературы. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» полемизировал против его реакционно-славянофильской критики «Мертвых душ».

*Н. В. Кукольник* (1809–1868) — реакционный драматург, многочисленные пьесы которого, написанные в ложнопатетическом, мелодраматическом стиле, плохими стихами, пользовались успехом, и критика часто ставила их выше сочинений Гоголя.

*И. П. Котляревский* (1769–1838), *Г. Ф. Квитка* (1778–1843) — украинские писатели;  
*В. Т. Нарезный* (1780–1825) — русский писатель.

«*Владимир 3-й степени*» — пьеса, над которой работал Гоголь.  
(Сохранилось несколько отрывков.)

В одном из писем *Н. М. Карамзин* (1766–1826) уподоблял цензуру черному медведю, преграждающему его писательский путь.

«Сашка Хлестаков» — в «Ревизоре» имя Хлестакова Иван Александрович.

Имеется в виду следующее замечание Энгельса:

«Существует старый, ставший уже народной пословицей, афоризм диалектики, что крайности сходятся. Мы поэтому вряд ли ошибемся, когда станем искать самые крайние степени фантазерства, легковерия и суеверия не у той естественнонаучной школы, которая, подобно немецкой натурфилософии, старалась вписать объективный мир в рамки своего субъективного мышления, а наоборот, у того противоположного направления, которое, чванясь одним лишь опытом, относится с суеверным презрением к мышлению и дошло, действительно, до геркулесовых столбов в своей теоретической беззаботности... Эта школа господствует в Англии. Уже ее родоначальник, прославленный Фрэнсис Бэкон требует особого внимания к своему новому эмпирио-индуктивному методу, чтобы достигнуть при его помощи прежде всего следующих вещей: продления жизни, омоложения в известной степени, изменения телосложения и черт лица, превращения одних тел в другие, произведения новых видов, победы над воздухом и вызывания грозы; он жалуется на то, что эти исследования были заброшены, и дает в своей естественной истории форменные рецепты для изготовления золота и совершения разных чудес. Точно так же и Исаак Ньютон занимался на старости лет комментариями к Откровению Иоанна. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за последние годы английский эмпиризм в лице своих — далеко не худших — представителей стал как будто бы окончательно жертвой вывезенного из Америки духовидения и духостучания». Ф. Энгельс, Диалектика природы, гл. III. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II. ГИЗ, М.—Л., 1925, стр. 109 (сохранилась эта книга с пометками Луначарского).

Это краткое замечание Луначарского «о жизни, превышающей роман-биографию» важно для понимания его отношения к жанрам биографической литературы. Признавая интерес романов-биографий (изданию некоторых из них он содействовал, даже предпосылая им с этой целью предисловия), он тем не менее предпочитал им дельную биографию, в которой научно проверенный материал и оценки отчетливо отделяются от вымысла или «домыслов» биографа.

«*Опыты*» французского философа *Мишеля Монтеня* (1533–1592), опиравшегося на учение стоиков, изданы на русском языке издательством Академии наук СССР в 1960 г.

*Просперо* — главное действующее лицо драмы Шекспира «Буря».

*Франц Меринг* (1846–1919) — выдающийся представитель революционного марксизма в Германии, биограф Маркса, друг Энгельса, левый социал-демократ, с 1918 г. коммунист. В русском переводе его работы о литературе изданы (2 тома) издательством «Academia» в 1934 г.

Луначарский ошибочно ссылается на статью Меринга о Гёте. Интересующая его мысль высказана в книге: «Шиллер. Биография для немецких рабочих» (см. Франц Меринг, указанное выше издание, т. 1, стр. 556 и 558).

*И. Н. Мошинский* — социал-демократ, меньшевик, участник II съезда РСДРП, один из организаторов с.-д. съезда горнозаводских рабочих в Донбассе.

*И. А. Бердяев* (1874–1948) — реакционный философ, мистик, в молодости формально примыкал к марксизму, но уже в 1901 г. в политике был реформистом, а в философии пытался соединить марксизм с кантианством. К 1906 г. он стал «кадетом», в 10-х гг. — религиозным публицистом в духе православия. После Октября, в эмиграции, проповедовал возврат к средневековой церковной идеологии; это сделало его «философию» модной в реакционных кругах США и Западной Европы.

*А. И. Чупров* (1842–1908) — народник-либерал, профессор-экономист, большой знаток экономики ж.-д. транспорта, статистик, земский деятель, редактор газеты «Русские ведомости».

*Нелегальная марксистская литература в России конца XIX в.* была очень небогата. Даже в 1920 г., когда А. В. Луначарский писал эти воспоминания, из философского и эстетического наследия Маркса и Энгельса было известно и немного и немногим, притом не только в России: руководители правой немецкой социал-демократии не издавали большую часть рукописного архива основоположников марксизма, и только благодаря помощи Франца Меринга советским исследователям удалось получить копии и издать на немецком и русском языках «Немецкую идеологию», письма и статьи по философским вопросам, «Диалектику природы», собрать написанное классиками марксизма о религии, об искусстве и т. д. Правда, в 90-х гг. Луначарский мог уже знать «Анти-Дюринг» Энгельса или «Развитие социализма от утопии к науке». Философско-методологическая сторона «Капитала» Маркса никем не исследовалась, к нему относились только как к экономическому труду. Очень недостаточное знание Луначарским марксизма облегчило махисту *Новикову* соблазнить шестнадцатилетнего юношу мыслью о необходимости дополнить марксизм позитивными, т. е. якобы на изучении естественных наук основанными, взглядами английского позитивиста *Герберта Спенсера* (1820–1903), переносившего на развитие общества законы развития природных организмов, немецкого неопозитивиста «эмпириокритика» *Рихарда Авенариуса* (1843–1896), австрийского физика и философа *Эрнста Маха* (1838–1916). Раннее увлечение позитивизмом наложило надолго печать на мышление Луначарского, помешало ему более конкретно, по-марксистски развить взгляды Чернышевского, которого он ставил выше всех домарксистских эстетиков, и в значительнейшей степени обусловило в 1909–1912 гг. расхождение с Лениным.

*В. В. Лесевич* (1837–1905), по словам Ленина, был «первым и крупнейшим русским эмпириокритиком» (см. «Материализм и эмпириокритицизм», гл. II, § 2. «Открытие элементов мира». (Поля. собр. соч., т. 18).

*Август Форель* (1848–1931) — доктор медицины, известный работами по вопросам пола, своеобразный демократ и пацифист, близкий по взглядам к Л. Толстому; до революции был другом русских политических эмигрантов, позднее — другом Советского Союза.

*М. М. Ковалевский* (1851–1916) — профессор-либерал, член I Государственной думы, выдающийся по литературному таланту культурно-исторический писатель.

*Фихте, Шеллинг, Фейербах.* — Луначарский имеет в виду эстетическое и этическое учение этих представителей немецкой классической философии. Некритическое следование слабым сторонам учения Фейербаха о религии сказалось на выработке Луначарским его теории «богостроительства».

На недооценку «русскими махистами» значения материалистической французской философии XVII–XVIII вв. Ленин указывал в своем труде «Материализм и эмпириокритицизм».

*М. Ф. Владимирский* (1874–1951) — старый большевик, врач по образованию. В Октябре 1917 г. — член большевистского Военно-революционного комитета («пятерки») в Москве, затем крупный работник партийного аппарата; в 1930–1933 гг. — народный комиссар здравоохранения.

*И. И. Скворцов-Степанов* (1870–1928) — старый большевик, литератор, историк, экономист, автор (совместно с А. А. Богдановым) четырехтомного курса политической экономии, писал также о французской революции, о естествознании и марксизме. Одно время был близок к «богдановцам» (к группе «Вперед»).

«Спілка» (укр.), т. е. «Союз», был национально-культурной и кооперативной украинской организацией, руководимой демократическими интеллигентами, ведущими пропаганду преимущественно среди крестьян и организующими издание книг на украинском языке.

*А. М. Ремизов* (1877–1957) — русский писатель, талантливый стилизатор в духе русской сказочной старины. После Октября эмигрировал за границу.

*Б. В. Савинков (В. Ропшин)* (1879–1925) — один из виднейших эсеров-террористов. В период реакции написал несколько литературных произведений о революции, проникнутых разочарованием в ней. Во время войны 1914–1918 гг. — «оборонец». После Октября — эмигрант, организатор антисоветских заговоров и восстаний. В 1924 г. арестован, заявил об отказе от антисоветской деятельности, был приговорен к тюремному заключению, в 1925 г. покончил жизнь самоубийством.

*Дороватовский* — известный издатель философских книг.

А. А. Богданов (см. о нем в прим, к стр. 19) был одним из организаторов III съезда РСДРП и выступал на нем с докладом от Бюро комитетов большинства, был членом редакций нелегальных большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий», из которых был исключен в 1909 г. ввиду расхождения с большевистской фракцией сперва по философским, а позднее и по политическим вопросам.

«*Иннокентий*» — И. Ф. Дубровинский (1877–1913) — один из виднейших большевиков, многократно подвергавшийся тюремному заключению и ссылкам. В 1903 и 1910 гг. настаивал на примирении с меньшевиками, оставаясь сам верен революционно-марксистским взглядам Ленина.

«*Философия революции*» Луначарского в те годы была чрезмерно отвлеченной и не могла служить надежной опорой для верных политических выводов.

*Миха Цхакая* («Барсов», «Леонов») (1865–1950) — один из старейших большевиков, основатель с.-д. движения в Грузии.

Мы уже обращали внимание читателей на эту фразу. Она указывает, что «Воспоминания» Луначарского, печатаемые здесь, должны были быть частью более обширной работы — вероятно, предисловием к истории Октября под названием «Великий переворот».

*П. П. Румянцев (Шмидт)* (1870–1925) — статистик и литератор-марксист, участник III съезда РСДРП от большевиков, первый переводил на русский язык «К критике политической экономии» Маркса. С 1906 г. отошел от политической деятельности. Умер за границей.

*И. Минский* (псевдоним Н. М. Виленкина) (1855–1937) — поэт, писавший на «гражданские темы», но не имевший сколько-нибудь ясного мировоззрения, заменявший его высокопарными фразами. После Октября эмигрировал за границу.

Речь идет о решении большевистского центра — используя все возможности для легальной работы в массах и для планомерной нелегальной политической работы во всех формах, не отказываться также от формирования глубоко законспирированных «троек» и «пятерок», трудноуловимых для полиции. Признано было возможным также использовать методы индивидуального террора против самых ненавистных представителей царской власти, предпринимать экспроприацию банков, правительственной денежной почты (героем таких «партизанских действий» был легендарный Камо).

*Б. Г. Столнер* — историк философии, переводчик. Им переведены были две части «Эстетики» Гегеля (вышли в 1938 и 1940 гг.).

*Г. С. Петров* (1868–1925) — священник, депутат II Государственной думы от Петербурга, кадет, известный проповедник, постоянно вступавший в конфликты с церковной властью и лишенный за это священнического сана, приговоренный к высылке из столицы.

*А. П. Смирнов («Фома-Питерец»)* (1877–1938) — член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», делегат IV и V съездов РСДРП от большевиков, после Октября — ответственный партийный и советский работник.

Богданов и его группа («впередовцы», «бойкотисты») стояли за бойкот выборов в Государственную думу и за перенесение всей главной партийной работы в подполье; ликвидаторы, наоборот, настаивали на ликвидации революционного подполья и на использовании исключительно легальных возможностей. Ленин и большевики резко выступали против обеих групп.

*М. Н. Лядов (М. И. Мандельштам) (1872–1947) — участник V съезда РСДРП от большевиков, в 1909–1911 гг. — «впередовец». Автор капитальных трудов по истории социал-демократии. В 1923–1928 гг. — ректор Коммунистического университета им. Свердлова в Москве.*

Большевики резко осудили организацию «впередовцами» партийной школы. В июне 1909 г. расширенная редакция «Пролетария», рассмотрев вопрос о школе, признала, «что организация этой школы группой инициаторов... шла с самого начала помимо редакции «Пролетария» и сопровождалась агитацией против нее. Сделанные до сих пор группой инициаторов шаги уже с полной ясностью обнаруживают, что под видом этой школы создается новый центр откалывающейся от большевиков фракции...

Расширенная редакция констатирует, что в связи с разногласиями, обнаружившимися в нашей фракции по вопросам об отзовизме, ультиматизме, отношении к проповеди богостроительства и вообще о внутрипартийных задачах большевиков, в связи с тем, что инициаторами и организаторами школы в NN являются исключительно представители отзовизма, ультиматизма и богостроительства, — идейно-политическая физиономия этого нового центра определяется с полной ясностью.

Ввиду всего этого расширенная редакция «Пролетария» заявляет, что большевистская фракция никакой ответственности за эту школу нести не может» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 19, стр. 41–42).

*В. Р. Менжинский* (1874–1934) — старый большевик, в революции 1905 г. — работник Петербургской военной организации. В 1907–1911 гг. — «впередовец». После Октября — народный комиссар финансов, затем РКИ; с 1923 г. — заместитель председателя, затем председатель коллегии ОГПУ.

*М. Н. Покровский* (1868–1932) — ученый-историк, социал-демократ с 90-х гг., большевик с 1905 г., в 1909–1917 гг. — «впередовец». В 1918–1929 гг. — заместитель народного комиссара по просвещению РСФСР.

*П. И. Лебедев-Полянский* (1882–1948) — старый большевик, известный советский историк литературы и критик.

*В. М. Чернов* (1876–1952) — лидер правых эсеров, впоследствии активный враг советской власти, во время первой мировой войны колебался между оборончеством и интернационализмом.

*Д. З. Мануильский* (1883–1959) — большевик с 1903 г. В 1907 г. вошел в группу «Вперед», на VI съезде возвратился в большевистскую партию. В 1921 г. был секретарем ЦК КП (б) Украины, с 1924 г. — членом президиума Исполкома Коминтерна.

*В. А. Антонов-Овсеенко* (1881–1938) — член РСДРП с 1902 г., в 1905–1906 гг. — организатор восстаний в Польше и Севастополе, подвергался арестам. В 1910 г., в эмиграции, примкнул к меньшевикам. В 1917 г. вступил в РСДРП (б). Во время Октябрьского восстания был секретарем Военно-революционного комитета в Петрограде и руководил штурмом Зимнего дворца. Занимая ответственные должности в армии, руководил многими боевыми действиями частей Красной Армии в гражданской войне. Позднее перешел на дипломатическую работу.

*Рязанов* (он же «Буквояд» — псевдоним Д. Б. Гольдендаха) (1870–1938) — социал-демократ с начала 90-х гг. После участия в революции 1905 г. и пятилетнего тюремного заключения эмигрировал за границу. После Октября — один из главных организаторов Института Маркса — Энгельса при ЦК ВКП(б), главный редактор первого издания Сочинений Маркса и Энгельса. В 1931 г. исключен из партии по политическому обвинению. Последние годы жил в Саратове.

*В. А. Носков* (1873–1913) — социал-демократ, член ЦК РСДРП после II партийного съезда. С конца 1905 г. отошел от революционной работы. Кончил жизнь самоубийством.